

Mrtě 20 bek

ГЕОРГИЙ
АРБАТОВ

Человек системы

НАБЛЮДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ ОЧЕВИДЦА ЕЕ РАСПАДА

МОСКВА • ВАГРИУС •
2002

Мой XX век

ГЕОРГИЙ АРБАТОВ

Человек СИСТЕМЫ



ВАГРИУС

УДК 882-94
ББК 84.Р7
А79

В книге использованы
фотографии из семейного архива
Г.А.Арбатова

Дизайн серии Е.Вельчинского
Художник С.Виноградова

ISBN 5-264-00851-5

© Издательство «ВАГРИУС», 2002
© Г.А.Арбатов, автор, 2002

ПОЧЕМУ Я ВЗЯЛСЯ ЗА ПЕРО
Вместо предисловия

Время моей активной работы в науке, журналистике и политике пришлось на очень важный, захватывающе интересный, а для участника событий — трудный, таящий немало опасностей и риска период истории нашей страны. Все, что выпало за последние семьдесят—восемьдесят лет на ее долю, так или иначе коснулось моего поколения, то есть тех, кто родился в начале двадцатых годов.

Себя мое поколение хорошо, можно сказать, внятно помнит, начиная с тридцатых. Помнит и многократно воспетую героику созидания тех лет — о ней я и мои сверстники знали как по газетам, книгам, фильмам, речам политиков, так и — не в последнюю очередь — от очевидцев, в том числе родных и их друзей. Помнит и все, что сделало тридцатые годы одним из самых мрачных десятилетий в долгой истории нашей многострадальной страны: раскулачивание и голод, начало ликвидации самого многочисленного класса страны — крестьянства. И, конечно, — массовые репрессии, которые так или иначе коснулись десятков миллионов. Это тоже мои ровесники видели, прочувствовали и никогда не забудут. Могу судить по себе — для меня репрессии не были чем-то далеким и абстрактным. Они буквально выкосили родителей моих друзей, так же как друзей моих родителей, коснулись родственников, а затем и моего отца. Хотя ему по тем временам невероятно повезло: он отсидел, будучи обвиненным по печально знаменитой 58-й статье Уголовного кодекса в «контрреволюционном саботаже», «только» год и был освобожден из тюрьмы, как значилось в выписке из постановления трибунала, «за отсутствием состава преступления», что, впрочем, до самой

смерти Сталина не избавило его, а в какой-то мере и меня от многократных проявлений политического недоверия, даже политической дискриминации.

И совсем уж прямой наводкой ударила по моему поколению война. Военную форму я надел 21 июня 1941 года, то есть буквально накануне войны. Первый раз я «понюхал пороха» под Москвой в октябре 1941-го, а потом, наскоро закончив училище, попал на фронт уже всерьез. Отслужив несколько месяцев начальником разведки дивизиона реактивных минометов, в восемнадцать лет я командовал батареей «катюш», а затем служил на других боевых должностях. «Свою войну» закончил в 1944 году, двадцати одного года от роду, капитаном, начальником разведки полка, инвалидом Отечественной войны II группы, демобилизованным вследствие острого — тогда, до изобретения новых лекарств, почти всегда смертельного — туберкулеза легких. Я оказался среди относительно немногих счастливчиков, которым помогли пневмоторакс и хирургическая операция.

Как студент, потом издательский редактор и журналист, я пережил, пусть далеко не в полной мере, то, чем после войны болела страна. Получилось так, что я уже многое понимал, хотя, наверное, тогда до конца так еще и не осознавал всю ложь, глупость и изуверство происходящего — послевоенные идеологические погромы и новые вспышки политических репрессий.

И наконец, как редактор, журналист, участник теоретических работ, готовившихся по решению ЦК КПСС, затем как сотрудник аппарата ЦК, а в завершение как руководитель одного из крупных академических институтов, исследующих политику, и один из советников высшего руководства (от Брежнева до Ельцина), наблюдал вблизи и переживал обнадеживающее и вместе с тем затянувшееся на десятилетия «выздоровление» от сталинизма, тяжкий, противоречивый, часто мучительный процесс, медленное, неуверенное движение народа и страны к нормальной жизни, к нормальному состоянию. А иногда так

или иначе принимал участие в событиях, из которых складывался этот процесс.

Собственно, обо всем этом пока еще трудно писать в прошедшем времени. Процесс далеко не закончился. Он и сейчас требует от людей с чувством гражданственности ясной позиции и посильного участия. Я этот социальный вызов, давление ответственности ощущаю почти физически. Не только из-за официальных постов, которые занимал, будучи депутатом Верховного Совета СССР, затем народным депутатом СССР (а в течение многих лет и членом ЦК КПСС), но прежде всего как сын своего времени.

Благодаря моей причастности ко многим важным событиям мне пришлось встречаться, а нередко и работать с крупными политическими и общественными деятелями, в частности, с О.В.Куусиненом, Ю.В.Андроповым, Л.И.Брежневым, М.С.Горбачевым, Б.Н.Ельциным. Если же говорить о знакомстве, беседах, то и с десятками других представителей советского руководства шестидесятых—девяностых годов; а кроме того — и со многими видными зарубежными лидерами и известными общественными деятелями. Мне давно уже советовали написать о том, что запомнилось, положить на бумагу свои наблюдения и рожденные ими мысли. Эта идея превратилась в неодолимое искушение в годы перестройки, когда наконец открылась возможность сказать если еще не всю, то почти всю правду и о весьма горьком и деликатном, ранее запретном.

Осуществить эти планы оказалось, однако, делом более трудным, чем я поначалу предполагал. И не только потому, что непросто было выкроить время. Более сложным оказалось другое: в последние годы быстрые темпы набрали общественные перемены, менялись наши представления о прошлом и настоящем, о правдивости, о ценности суждений, в связи с чем планка требований к себе и к тому, что пишешь, непрерывно поднималась.

Скажу честно: первые заготовки появились в 1987 году. Но, возвращаясь к ним, я каждый раз переписывал почти все, с начала до конца. В том числе и потому, что раба, го-

воря конкретнее — раба привычных представлений, взглядов и условностей, — действительно удается выдавливать из себя лишь по капле. Не говорю уже о том, что передо мной, как и перед каждым пишущим мемуары, стояло два искушения. Одно — свести задним числом счеты с людьми, которых я не любил. И второе — изобразить себя, опять же задним числом, более умным, смелым и честным, чем я в действительности был. Надеюсь, мне удалось эти искушения преодолеть. Так или иначе, но пришел момент, когда я все же набрался решимости и поставил точку.

Не потому, что все уже понял и во всем разобрался, — наверное, это не так. Но мне казалось крайне важным, чтобы такие люди, как я, уже начали все вместе создавать, писать и публиковать обстоятельную историю послесталинской эпохи.

Это не значит, конечно, что тема самого Сталина и сталинщины исчерпана. Это не так. Но мы иногда забываем, что Сталин был у власти тридцать лет, а со дня его смерти прошло почти полвека — очень трудные, неровные, противоречивые годы. Я убежден, что главным их историческим назначением и содержанием как раз и было исцеление общества от страшной болезни тотальных деформаций, его восстановление, начиная с самих основ: экономических, политических, интеллектуальных и нравственных.

Мне не раз приходило в голову: может быть, мы даже не вправе жаловаться, что дело исцеления от наследия тоталитаризма идет так медленно. Может быть, нам, при всех пережитых проблемах, еще повезло, если, конечно, и в дальнейшем этот процесс будет идти и нам удастся его успешно завершить. История дает много примеров, когда после тоталитарных деспотических диктатур следовали либо длительные эпохи безвременья, либо даже распад государства и общества.

Послесталинские десятилетия дали нам опыт — возможно, наряду с первой половиной двадцатых годов самый важный из всей нашей послереволюционной истории, опираясь на который, мы можем продвигаться к всесторонней

реформе столь деформированного общества. Однако попыток не только осмыслить, но даже описать то, что происходило, пока не так уж много, а если говорить о качественных, честных и глубоких работах — то их совсем мало.

Эти публикации, естественно, различаются по степени достоверности, глубине мысли и литературным достоинствам. Я не берусь и не хочу здесь их оценивать. Но, какими бы ни были их достоинства и недостатки, такие публикации — это еще далеко не история послесталинской эпохи.

Почему еще так малочисленны публикации, посвященные этой совсем недавней истории нашей страны? Не знаю. Хочу надеяться, что их будет больше. Тем более что документов, на отсутствие или недоступность которых часто ссылаются, возможно, окажется не так уж много и тогда, когда архивы откроются полностью. В последние десятилетия, насколько я знаю, не стенографировались, а часто и не протоколировались обсуждения и дискуссии на Политбюро, где вершились все сколько-нибудь важные дела. В постсоветский период в смысле документирования политики положение стало еще хуже. Большая часть появлявшихся книг скорее была нацелена либо на «самовыдвижение», либо на самооправдание и поношение политических противников. Ну а писание обстоятельных писем, эпистолярный жанр как таковой, так же как ведение дневников — какими же бесценными были эти источники для летописцев многих предшествующих периодов! — оказались почти сведенными на нет в суровую сталинскую эпоху. Мешал прежде всего всеобщий страх. Не располагали к пространным письмам и дневникам также бурный темп эпохи, ее стиль и образ жизни и мыслей.

Потому, я думаю, пока живы свидетели, пока остались очевидцы событий этого важного и сложного периода нашей истории, тем более те, кто в них в той или иной мере участвовал, надо дать им высказаться — какой бы скромной ни была их роль в том, что происходило.

Должен сказать, что эти аргументы я не раз приводил сам себе, чтобы преодолеть не только свойственную каждому леность, но и какие-то внутренние, психологические барьеры. И это помогло решиться. Хочу сразу же оговориться, что не претендую на многое. Эта книга — прежде всего рассказ о том, что я помню о некоторых важных эпизодах того поистине мучительного пути, которым шло после смерти И.В.Сталина и XX съезда КПСС раскрепощение нашей общественно-политической мысли и политики. При этом я понимаю, что систематическая история развития политики и политических взглядов после смерти Сталина может быть написана лишь в результате многолетних усилий многих людей.

Тема эта — трудности процесса раскрепощения людей, общества, и прежде всего нашей общественно-политической мысли — особенно интересует меня по двум причинам.

Одна — чисто субъективная. Мне она ближе, я просто лучше знаю эту сторону усилий, связанных с преодолением последствий сталинщины.

И другая — объективная. Состоит она в огромном, поистине критическом значении самого раскрепощения мысли (еще далеко не закончившегося) для обновления страны, для перестройки, для всего нашего будущего.

Прекрасный писатель Чингиз Айтматов поведал (а может быть, и сочинил) легенду о манкуртах — людях, которым с младенчества туго затягивали лоскутами сыромятной кожи черепа, обрекая тем самым на недоразвитость мозга, чтобы превратить в безропотных, послушных рабов. Одно из самых опасных проявлений сталинщины как раз и состояло в упорных, последовательных, длившихся десятилетиями попытках духовно оскопить людей, при помощи безжалостных репрессий и тотальной пропаганды сделать их бездумными винтиками тоталитарной государственной машины.

Этот замысел осуществить в полной мере не удалось — иначе просто не состоялись бы ни XX съезд, ни перестрой-

ка. Но многого, очень многого Сталин, его окружение добиться смогли. И это тяжко сказалось на всех сферах духовного творчества, духовной жизни: на культуре и искусстве, на общественных, а в какой-то мере и естественных науках. И в целом — на общественном сознании.

Если нужны были тому еще какие-то символические свидетельства, то их дала сама смерть «великого вождя». Когда общество — во всяком случае, его большинство — поначалу оцепенело в глубоком вселенском горе, в совершенно иррациональном страхе перед будущим. И даже некоторые из его совестливых, думающих представителей публично (и, я уверен, искренне) провозглашали, что главной задачей отныне становится достойно воспеть почившего вождя, в дополнение к уже существующим тысячам памятников соорудить какой-то невообразимый, невиданный памятник на многие века в умах и душах людей. Символом этого массового помешательства (не буду отрицать — тогда мне оно таким не представлялось, я переживал и горевал, как, за редкими исключениями, все вокруг) стали дни «прощания с вождем» — настоящая кровавая тризна, когда в Москве обезумевшей толпой, рвущейся к Дому союзов, где лежало выставленное для прощания тело «вождя», были насмерть затоптаны многие сотни, если не тысячи людей.

Но еще тягостнее символов было реальное положение в духовной жизни общества. Самыми серьезными последствиями для общественного сознания стали его оскудение, опасный подрыв интеллектуального потенциала общества, с особой очевидностью выразившийся в упадке общественно-политической мысли. Печальный парадокс: как раз когда Российская революция провозгласила высокие цели построения благоденствующего, свободного общества, сделав еще более острой потребность в передовой творческой мысли, способной высветить неизведанные пути вперед, она была ценой невероятных жестокостей втиснута в прокрустово ложе сталинского догматизма. За это пришлось — и до сих пор приходится — платить дорогой ценой.

Незадолго до 70-й годовщины Октябрьской революции, обдумывая предстоявшее, весьма ответственное для меня выступление на Пленуме ЦК КПСС, я попытался найти хоть примерные, каким-то образом измеримые и сопоставимые параметры этой цены. Наверное, одним из них могло бы быть развитие теории, пусть только в допускавшихся тогда рамках ортодоксального марксизма. Имея это в виду, я отсчитал 70 лет не вперед, а назад от 1917 года. И с некоторым удивлением обнаружил, что оказался в 1847 году, то есть за год до того, как был написан «Манифест Коммунистической партии», работа, которую, собственно, считают началом марксизма как теории.

И вот в первые 70 лет уложились не только все творчество Маркса и Энгельса, но и огромная часть того, что написал В.И.Ленин, — от его самых первых работ и до «Государства и революции». На эти же первые 70 лет пришлись труды Бебеля и Плеханова, Каутского и Либкнехта, многих других мыслителей. А на вторые 70 лет?

Были, конечно, принципиально важные, но только начатые ленинские разработки новой экономической политики (НЭП) и вообще перевода российской революции в русло «нормальных», а не чрезвычайных условий развития. Было немало интересного в творчестве видных деятелей нашей и других коммунистических (как, впрочем, и социал-демократических) партий. Но из-за сталинских репрессий, всей духовной атмосферы культа личности они не вошли в теоретический оборот и оказали очень незначительное воздействие на умы людей и тем более на практическую политику страны. Примерно та же участь постигла принципиально важные решения VII конгресса Коминтерна о едином фронте, единстве коммунистов, социалистов, демократических сил всех стран, правда, запоздавшего и никогда не пользовавшегося симпатией Сталина. И много позже пришли сыгравшие большую политическую роль, но не получившие тогда должного теоретического развития положения XX съезда КПСС, подвергшего критике Сталина

и сталинизм. Словом, творческий послужной список 70 послереволюционных лет оказался более чем скромным; были отринуты все теории, кроме единственной, государственной — марксизма, на деле сведенного к убогим догмам сталинизма.

Что касается общественно-политической мысли за рубежом, то для советских людей, включая подавляющее большинство специалистов, ее развитие закончилось в начале XX века теми философами и политологами, которых критиковал Ленин (Мах, Авенариус, Каутский, Бернштейн). И знали их только по критике — у Ленина, правда, такой, что можно было еще себе как-то представить суть взглядов критикуемого. В последующие годы о том, что делается за рубежом, узнать становилось еще труднее. Зарубежная литература ушла в «спецхраны», где хранилась как «секретный» (когда цензор ставил штамп с одним шестиугольником, внутри которого был присвоенный ему номер, — в просторечии это называли «гайкой») или «совершенно секретный» (две «гайки») документ. Даже специалистов к ней допускали с трудом. Остальные же могли знакомиться с зарубежной мыслью лишь по трудам наших критиков — но кроме ругательств, уничтожающих эпитетов и прямых измышлений там, как правило, трудно было что-либо найти.

Это нанесло огромный вред. Не только студенты, но и специалисты, большая часть ученых просто пропустили несколько важных десятилетий развития мировой общественной мысли. Мы не можем уйти от вопроса: почему все это произошло?

Я думаю, отвечая на него, было бы неверно возлагать вину только на сам марксизм. Он долгое время развивался как открытая к переменам, гибкая теория, не боящаяся отказа от старых представлений, впитывающая новое. Наверное, поэтому марксизм и оказал заметное влияние на развитие мировой общественно-политической мысли. Хотя «универсализм», претензия на то, что все в теории объяснено и имеет всеобщий характер, закладывали основы для

последующих извращений. Так же как решительное неприятие других точек зрения.

А при Сталине, как известно, теория была обращена сначала в догму, а затем в религию. К тому же у верующих, если следовать этой аналогии, поспешили отнять сначала Ветхий, а затем и Новый завет — я имею в виду настоящий смысл трудов Маркса и Энгельса, отчасти Ленина. И оставили им один лишь «псалтырь» в виде «Краткого курса истории ВКП(б)» (особенно его печально знаменитой четвертой главы) да пары сборников брошюр, статей и речей «великого вождя».

Ведь это тоже трагедия, духовная, интеллектуальная трагедия, которую пережила гордая своей победой революция, вдохновленная, как утверждал марксизм, всем научным и культурным развитием человечества, призванная стать восприемником и приумножателем этого великого наследия.

Да, нас постигла трагедия. Но трагедия — это еще не гибель, не утрата всех надежд. И я хочу рассказать о некоторых первых попытках преодолеть эту трагедию, освободиться интеллектуально, духовно.

Но вначале, без чего в мемуарах не обойтись, немного о себе, своей семье, детстве и юности, в том числе и юности военной.

МОЯ СЕМЬЯ, МОЯ ЮНОСТЬ И МОЯ ВОЙНА

Я не хотел делать эту книгу чрезмерно личной, уделять много места себе, своей биографии и тем годам моей жизни, которые не имеют прямого отношения к главной теме: описанию послесталинской эпохи. Но сама внутренняя логика темы заставила меня, уже после того как книга была вчерне закончена, написать о личном — о семье, юности, военных и студенческих годах — отдельную главу. Как сформировались мое мировоззрение, политическая позиция, которые лежат в основе тех или иных оценок описываемых событий? И поскольку всякие воспоминания в какой-то мере субъективны — в чем может состоять моя собственная субъективность, какую «скидку» на нее должен делать читатель?

Итак, начну с «корней», с семьи. Дальше дедов и бабушек я своей «генеалогии» не знаю — очень уж простонародным является мое происхождение. А в среде простых, «неродовитых», обычных людей не очень принято интересоваться далекими предками. Да и трудно было это делать в вихре перемен и постоянных перемещений.

Мой отец Аркадий Михайлович Арбатов ушел из жизни в 1954 году, за несколько дней до того, как ему должно было исполниться 54 года. Я, уже взрослый человек (мне был 31 год), тогда еще не понимал, каким молодым в сущности был отец. И какую тем не менее большую и сложную жизнь он прожил. Это я начал осознавать позже, особенно по мере того как становился ровесником, а потом и «старше» своего отца. Но уже сразу после его смерти и долго потом меня не покидало острое чувство утраты,

даже чувство вины оттого, что я с ним о столь многом «недоговорил».

Отчасти оно, наверное, обычно при утрате близкого человека. Только после его смерти мы спохватываемся, начинаем понимать, как важен и близок он нам был, и жалеем о каждой упущенной минуте общения. Но что касается моих отношений с отцом, то для этого была еще одна причина: по-настоящему откровенно, открыто он стал со мною разговаривать лишь в последний год своей жизни, хотя понимать друг друга мы начали раньше. Чтобы было ясно, о чем я говорю, должен хоть коротко рассказать о жизни отца.

Он родился в 1900 году в бедной еврейской семье в одной из захолустных сельских волостей тогдашней Екатеринославской губернии (в советские времена — Днепропетровская область Украинской ССР). Это была довольно редкая для тех времен семья колонистов, евреев-крестьян, как я могу догадаться, не очень удачливых, настолько бедных, что с радостью пристроили отца в ремесленное училище в Одессе, где он начал самостоятельную жизнь семи лет от роду. Вот это и был его «университет». О своих годах в этом учебном заведении он рассказывал мало — знаю, что жизнь была бедной и трудной. Окончив училище, отец работал рабочим-металлистом (модельщиком) на одном из заводов в Одессе. В феврале 1918 года вступил в коммунистическую партию (в политической деятельности он, как и многие его сверстники, в эти бурные годы начал участвовать очень рано — в 17 лет). Потом пошел на Гражданскую войну. А когда она окончилась, жил обычной для коммунистов тех лет жизнью — его перебрасывали то на партийную, то на хозяйственную работу. Какое-то время трудился на селе, потом судьба забросила его в Херсон, где он женился, где потом родился я. Отец через пару лет был назначен директором консервного завода в Одессе, а в 1930 году, как тогда практиковалось, по рекомендации присланной для отбора кадров из Москвы комиссии был отправлен на зарубежную работу — в торгпредство СССР в Германии.

Там мы жили до 1935 года, и я скажу ниже о своих впечатлениях и о том, какое влияние эти годы оказали на мое миропонимание.

С 1935 года отец работал в Наркомате внешней торговли, откуда вместе с большинством других, оставшихся на свободе коммунистов с «досталинским» партийным стажем был вскоре изгнан и устроился на работу заместителем директора Библиотеки имени Ленина по административной части. А затем и его не миновала горькая чаша — он был арестован. После освобождения и до самой смерти был на хозяйственной работе (последний скромный, но очень хлопотный пост — директор строительной конторы Министерства лесного хозяйства РСФСР).

Но вернусь к своему ощущению, о чем мы с отцом «недоговорили». Оно родилось не потому, что нас что-то разделяло, вносило в отношения отчуждение. Нет, мы были душевно близки, много общались, я его глубоко уважал, с ним советовался, к его мнению прислушивался. Отец — я это ощущал тогда, думаю так и теперь, несмотря на отсутствие хорошего, сколь-нибудь основательного образования, был человеком больших знаний, необычного ума и завидной одаренности. Помню с детства, как, к моему удивлению, он за несколько месяцев изучил немецкий и так же быстро французский языки (мы в 1935 году четыре месяца жили в Париже), читал по-английски, занимался переводами переписки Энгельса и, что я оценил уже позже, став студентом, а затем издательским редактором и журналистом, хорошо разбирался в политике и экономике. Ко мне он тоже относился с доверием, гордился и тем, что я участвовал в войне, и моими первыми газетными и журнальными статьями.

Но при всем этом было много тем, на которые отец категорически отказывался со мной говорить. К их числу относились, конечно, Сталин, а также внутрипартийная борьба двадцатых—тридцатых годов, массовые репрессии, коллективизация. О ком-то конкретно из своих репрессированных знакомых или друзей он мог сказать, что уверен

в его невиновности. Или рассказать, что кто-то оказался доносчиком, предал своего друга. Но никаких обобщений! И никаких (кроме чисто бытовых) подробностей о собственном аресте. А тем более — ничего о «вождях». Почему?

Я не раз размышлял потом о причинах такой осторожности отца. Когда я был мальчишкой, это было понятной осмотрительностью, чтобы я не сболтнул никому из друзей, а от них не пошло бы дальше. Ну а когда я уже стал взрослым, пришел с войны и он мне мог верить и верил как самому себе?

Я задал этот вопрос отцу уже после смерти Сталина и ареста Берии (как раз с обсуждения этого события начался новый, к сожалению, очень короткий период наших доверительных бесед). И он мне ответил, что ему самому, при его опыте и закалке, стоило огромного труда сохранить какую-то политическую и моральную целостность, не извериться вконец, не стать прожженным циником, зная ту правду, которую он знал. И он боялся обременять ею меня, тем более что времена становились все более трудными и все сложнее было совместить то, что знаешь и понимаешь, не только с верой в какие-то идеалы, но даже и просто с нравственным, душевным равновесием. «Я боялся за тебя, — сказал отец. — И, конечно, за всю семью: если бы ты где-то сделал глупость, несчастье могло обрушиться на всех». И потому он предпочитал молчать, «крутил шарики», как говорила в сердцах мать (у отца была привычка крутить в пальцах шарики из того, что попадалось под руку, — обрывков бумаги, крошек хлеба и т.д.), хотя мог быть веселым и оживленным (особенно после рюмки-другой, а этим удовольствием он не пренебрегал, хотя и не злоупотреблял). Но и тогда о политике говорил редко.

Должен признать, что в те трудные времена не только его, но и меня в немалой мере спасала интуиция. Он на некоторые темы не говорил, а я опасных вопросов не задавал, не отдавая себе даже до конца отчета в причинах своей сдержанности. Тяжкие времена вырабатывали какое-то

«шестое» политическое чувство (если оно не срабатывало — ты был обречен). Ведь уже лет с четырнадцати-пятнадцати я хорошо понимал, что сажают, уничтожают и совершенно невиновных, хороших, честных, преданных своей стране людей. Я знал многих из них — это были родители моих товарищей, друзья моего отца. И я тогда вполне допускал, что и отца могут арестовать, каждый вечер в 1937—1938 годах ложился спать с тревогой, даже произносил про себя какое-то подобие «мирской» молитвы: «Только бы не арестовали отца!» Тем более что жили мы тогда в доме наркоматов иностранных дел и внешней торговли, откуда чуть ли не каждый день (точнее — ночь) «брали» по несколько человек. В моем классе у доброй половины учеников родители были арестованы, и ребята проходили через омерзительный и унизительный ритуал отречения от отца или от матери.

И я очень рано понял, «ощутил кожей» некоторые реальности тогдашней жизни. Возможно, это меня спасло. Троих или четверых сверстников, с которыми я дружил, арестовали и осудили, хотя они были несовершеннолетними. Нескольких других, как я узнал позже, завербовали в осведомители.

После смерти Сталина и первых симптомов того, что времена начали меняться (реабилитации «врачей-убийц», ареста Берии, первых упоминаний в газетах тогда еще анонимного «культа личности») отец впервые начал мне рассказывать. Преимущественно не о двадцатых годах (проживи он дольше, наверное, дошли бы и до этого), а о более жгучих, оставивших в его (а через него — и в моей) жизни очень глубокий след тридцатых.

Я не узнал от него больше того, что сегодня знает почти каждый. Наверное, он и сам тогда многого еще не осознал — я заметил, что в сталинские годы страх отучал людей не только говорить, но часто и думать о запретном. Мысли не всегда удается до конца скрыть, и, когда за человеком все время бдительно и профессионально следят, рано или поздно почти каждый себя выдает. В этом

Джордж Оруэлл, пожалуй, прав. Но он, по-моему, не осознал до конца, что деспотический режим вырабатывает у замордованных подданных особые механизмы самозащиты, контролирующие не только язык, но и мысль.

Из запомнившихся тогдашних разговоров: отец строго делил своих партийных сверстников, людей, участвовавших в революции и в том, что за ней последовало, на четыре категории.

Первая — это фанатики. Такие, как говорил он, наверное, есть при каждой идее, каждом деле: это скорее даже не убежденность, а состояние ума и психики. Они будут верить, несмотря ни на что. Были такие и среди его друзей, некоторых и я видел у нас в доме. Он мне рассказал, что как-то, в 1938 году, одному из них — члену коллегии Главсевморпути П.Г.Куликову, своему товарищу со времен Гражданской войны — задал вопрос: что же происходит, как это один за другим «врагами народа» оказываются люди, которые беспредельно преданы партии и стране? И назвал несколько имен. А в ответ услышал гневную филиппику: «Аркадий, как ты, честный коммунист, можешь такое даже думать — надо полностью доверять партии, Сталину». По иронии судьбы в ту же ночь самого П.Г.Куликова арестовали. Он каким-то чудом выжил, вернулся из лагеря уже после смерти отца, был реабилитирован, восстановлен в правах, стал уважаемым персональным пенсионером. Мы встречались, беседовали — я поддерживал с ним в память об отце добрые отношения до самой его смерти. Что поразительно: даже пережив все, что выпало на его долю, он остался если не фанатиком, то слепо верующим. И хотя теперь уже не боготворил лично Сталина, с пеной у рта защищал созданный им режим, установившиеся при нем порядки. Я как-то в сердцах после одного горячего спора ему сказал: «Таких, как вы, Петр Григорьевич, зря сажали, но зря и выпускали: дай вам волю — и вы все вернете к старым временам». Он даже не обиделся...

Вторая группа — безжалостные и беспринципные карьеристы. Они могли приспособиться к любому режиму, и

чем более жестоким был режим, тем больше возможностей открывалось для их карьеры. Были такие люди и в «старой гвардии», среди большевиков с большим, даже дореволюционным стажем. Отец называл некоторые фамилии, но я их не запомнил — речь шла о людях не очень высокого положения, таких, как и сам отец. Ну а еще больше циничных карьеристов было среди тех, кто сформировался, занял какие-то посты позднее, уже в период массовых расправ, лжи и доносов.

Третья группа — «неподлые циники». Они просто ни во что не верили, только притворялись, что верят, ради положения и карьеры. Но при этом избегали (по возможности) подлостей, не были готовы с радостью шагать по головам других. К таким людям (их было немало среди приятелей и знакомых отца) он относился без уважения, но вполне терпимо и даже добродушно. Отвечая как-то на мой вопрос относительно конкретного его товарища, отец сказал: «Большинство — это ведь и не герои, и не злодеи. Они просто хотят выжить, и не надо презирать тех, кто пытается это сделать без подлостей, не губя других».

Ну и, конечно, в-четвертых, были «разумно верующие». Ради идеи они готовы были беззаветно трудиться, но они не могли предать других, делать карьеру на их костях. Не фанатики (верили они уже не всему), но и не циники. Таким был он сам.

Конечно, встречались в годы сталинщины и настоящие герои «сопротивления», хотя было их очень немного. Отвечая на мой вопрос, верили ли он и его друзья во все версии о «врагах народа», включая громкие процессы 1936 — 1938 годов, отец сказал, что в душе он и (он уверен) многие из друзей не верили. Но, исключая самых близких товарищей, друг с другом об этом не говорили. Мы, заметил он, быстро поняли, что арестованных пытают, хотя не сразу могли поверить, что выбивают не только признания, но и ложные показания. Я как-то спросил, неужто никто никогда не протестовал — даже из старых большевиков, прошедших, казалось бы, огонь и воду и медные трубы. Отец

сказал, что таких, кто открыто выступал, было очень мало: все дело в том, что людей поначалу ловили на святой вере, затем убеждали: великое дело, мол, оправдывает любые жертвы, а когда они спохватывались, было уже поздно протестовать. Но случалось...

И он рассказал (ругаю себя, что не записал тогда фамилии) о советском торгпреде в Японии, вернувшемся в Москву в 1937 году и сразу же попавшем на обычное для тех дней партсобрание в Наркомвнешторге, на котором исключали из партии очередных «врагов народа» и всех, кто не проявил в отношении них «бдительности», то есть не донес, не предал, не «разоблачил». Послушал этот человек, послушал, потом вышел на трибуну и произнес гневную честную речь: «Что происходит, до какой низости и трусости все мы опустились! Ведь мы знаем этих людей как честных коммунистов и своих товарищей, но никто за них не скажет и слова. Позор нам, стыд на наши головы, так нельзя жить...» Что-то вот в таком роде, так мне, во всяком случае, запомнился рассказ отца. Торгпред в Японии закончил свою речь. И мертвая тишина взорвалась аплодисментами — это было, говорил отец, особенно поразительным в той обстановке всеобщей запуганности и психоза. Но оратора арестовали тут же, по выходе из здания наркомата.

Такой, в общем-то, постыдной была тогда жизнь, несмотря на успехи индустриализации, пафос созидания, энтузиазм — хотя они были, на них и держался этот монстр кровавого самовластия.

Но вернусь к теме.

Знаю от окружающих, что отца считали добрым и терпимым человеком, многие его любили — даже сокамерники в тюрьме. Об этом тяжком годе своей жизни он тоже в деталях рассказал мне только после смерти Сталина. И, я думаю, не потому, что боялся, как бы не стало известно о нарушении им подписки «о неразглашении» (она бралась у каждого, кого освобождали из тюрьмы). Мне кажется, что до 1953 года он просто не был уверен, что ему (а может

быть, и мне) не придется еще раз пойти по этому пути на сталинскую голгофу, не хотел вспоминать, гнал от себя дурные мысли и предчувствия.

Арестован он был в конце 1941 года (может, и вспомнили о нем потому, что в свое время работал в Германии, хотя заподозрить его, еврея, в сотрудничестве с нацистами могло только больное воображение тогдашних следователей) по обвинению в контрреволюционном саботаже. И решением трибунала (кажется, войск МВД Приволжского военного округа — сидел он в тюрьме в Ульяновске) был осужден на восемь лет. Председатель трибунала (и отец, и мать до самой смерти вспоминали его имя с благоговением — к сожалению, я его тоже не записал, и оно не сохранилось в моей памяти), зачитав приговор, тут же ему буркнул: «Немедленно подавайте апелляцию». Отец в растерянности спросил: «Что-что?» Тот, не ответив, ушел из зала суда. Конечно, апелляция была подана, председатель трибунала тут же отменил вынесенный им же приговор и передал дело на доследование другому следователю. Через несколько месяцев состоялся новый суд, и в декабре 1942 года отец был оправдан «за отсутствием состава преступления».

Он рассказывал мне о годе, проведенном в тюрьме, без горечи и обиды (да и на что, по тогдашним стандартам, было обижаться — ведь он просидел «только» год и был еще в те трудные времена реабилитирован), даже с юмором. Вспоминал, что в камере находились около сорока человек: было немало политических, в том числе бывший эстонский адмирал, несколько генералов и офицеров Красной Армии, пересыльные москвичи, так как эвакуировали московские тюрьмы, и местные. Были и уголовники. К отцу и те, и другие относились неплохо. В семье сохранились сувениры: вышитый кем-то из сокамерников к отмечавшемуся отцом в тюрьме двадцатилетию брака с моей матерью кисет (на это пошли выдернутые из матраса цветные нитки) и вылепленный каким-то художественно одаренным уголовником из мякиша ржаного хлеба «медаль-

он» с профилем отца (весьма похожим) — он сохранился до сих пор, хлеб был такой по качеству, что превратился почти в камень.

Веру в идеалы, с которыми отец восемнадцати лет от роду связал свою жизнь, движимый, как я понимаю, искренним стремлением к справедливости и свободе, с отсутствием коих не мог не сталкиваться с юных лет повседневно, он, видимо, не терял до конца и в эти тяжкие времена. Хотя не мог не знать, по сколь тонкому льду он, как и все другие, ходил, как легко и быстро все могло закончиться необратимой трагедией.

Мне кажется, перенести все трудности и не сломаться ему помогло то, что он был очень деятельным человеком, фанатически преданным работе. В конце жизни он служил в строительной конторе, переживал — и, наверное, этим тоже сократил себе жизнь — каждую ее неудачу и радовался успехам, очень быстро освоил новое для себя дело и хорошо с ним справлялся. И точно так же я помню его всегда увлеченным работой в Библиотеке имени Ленина — как раз тогда, когда вводили в строй ее новые здания. И конечно же, он часто вспоминал о Наркомвнешторге начала тридцатых годов — работе, судя по его рассказам, очень творческой, когда стояла задача не только дешевле купить все необходимое для индустриализации страны, но и всеми правдами и неправдами, включая рискованные коммерческие операции, заработать для этого валюту.

Но раскрылась мне лишь небольшая часть того, что знал отец. Виню я за это не только обстоятельства, но и самого себя: слишком занят был собственными делами, откладывал серьезные разговоры на потом, до лучших времен. Сейчас тут уже ничего не поделаешь.

Теперь коротко о матери — Анне Васильевне. Она была годом моложе отца, а пережила его на двадцать три года. Ее родители были крестьяне. Бабушка в молодости батрачила в Аскания-Нова у знаменитых немецких колонистов-помещиков Фальц-Фейнов, о чем я как-то рассказал их из-

вестному потомку, осевшему в Лихтенштейне, — нас все-таки свела судьба. Дед родился в Гродненской губернии, был солдатом, отслужив, подался на юг Украины, где они и встретились. Потом переехали в Херсон, обосновались на окраине в деревенской хате, жили очень скромно, до конца жизни остались неграмотными, но всех детей выучили — дали гимназическое образование. Это позволило матери впоследствии учительствовать в начальной школе. А несколько лет она работала с беспризорниками.

Мать была умной женщиной, имела сильный, твердый, иногда суровый характер (отец, наоборот, был человеком мягким). Во времена, когда под напором обрушивавшихся на него проблем отец падал духом, терялся, мать его поддерживала, возвращала ему веру в себя, мужество. А когда он оказывался без работы (все по тем же причинам: как бывший репрессированный и как еврей), что его абсолютно деморализовало, бралась за любую работу, чтобы содержать семью, не теряла бодрости и силы духа, что благотворно действовало и на отца. Все это помогло ей выдержать удары судьбы и, я думаю, даже спасти семью. Самый тяжкий для нее год — 1942-й. Я — на фронте, отец — в тюрьме, она с моим трехлетним братом — в эвакуации в Ульяновске. Ездит в окрестные села выменивать какие-то оставшиеся вещи на продукты, чтобы прокормить младшего сына и собрать передачу отцу, которую в пронизывающую стужу несет через замерзшую Волгу и потом — по длинной крутой лестнице — наверх по обрыву...

По рассказам матери я живо представлял себе ее тогдашнюю жизнь и даже местность, где все это происходило, — как будто видел ее, хотя в жизни в Ульяновске не был. А потому, читая воспоминания Андрея Сахарова, сразу узнал это место — там недалеко от домика, где снимали угол мать с братом, был патронный завод, на котором начинал работать, добивался первых успехов, делал первые открытия и изобретения этот выдающийся ученый и гражданин. И жили они там почти год в одно время.

Конечно, мать, ее мужество и упорство спасли в те го-

лодные времена и отца, и брата. А потом и меня, когда я приехал с фронта с открытой формой туберкулеза, умирающий, и она, доменивая на рынке последнее, что оставалось в семье, несла мне в госпиталь масло и мед...

Мать очень любила моего отца, тяжко перенесла его смерть, но не сломалась. Надо было еще вывести в люди младшего сына (он тогда учился в школе). Я был с нею очень близок до самой ее смерти в 1977 году. Мы часто и много разговаривали, хотя бы по телефону по несколько раз в день. Я бывал у нее не реже чем пару раз в неделю, пока она себя прилично чувствовала, и она приезжала к нам. В последние годы ее жизни мне, к сожалению, приходилось чаще всего навещать ее в больнице. Но остроты ума, восприятия она не теряла до самого конца. Потому это были полноценные, интересные встречи, из которых я много узнал и о семье, и о себе самом. Да и о стране. Мать отличалась трезвостью взглядов, наблюдательностью, умением найти нужные слова даже для сложных явлений и событий. Словом, говорили мы много. И для меня это было важно и полезно. Тем не менее меня до сих пор мучает совесть — мог бы уделить ей больше внимания, больше помочь. Но это, повторяю, наверное, даже нормально, у всех нас сохраняется ощущение неоплаченного долга родителям.

Себя я помню лет с пяти-шести, но только отдельными эпизодами, выхваченными из потока событий неподвижными кадрами, запечатлевшимися в памяти как фотография в альбоме.

Я с бабушкой (она была верующей, мечтала о том, чтобы меня тайком крестить) в церкви: все торжественно, непонятно и немножко страшно.

Со сверстниками спускаемся с головокружительно высокого обрыва к морю (это на даче под Одессой) — мне очень страшно, но я иду с ребятами, а потом счастлив, что не струсил.

Или — поездка с отцом (на извозчике, машины у него

не было) на завод, где он был директором. Самого завода не помню — мое внимание всецело захватывала «чумная гора», мимо которой проезжали, захватывала именно тем, что там хоронили погибших во время эпидемии чумы, и вот это поразило воображение: эпидемия, мор, как мне чудилось, целая гора из скелетов, останков погибших, присыпанных землей. На деле, конечно, дело было не так, на этом холме просто открыли в те печальные годы специальные кладбища.

С семи лет воспоминания становятся более систематическими и живыми. И потому что я стал постарше, и потому что в нашей жизни произошла перемена — мы уехали за границу (тогда это выпадало очень немногим). И вот здесь я уже помню многое — как мы ехали в Москву (сентябрь 1930-го), мои первые впечатления от столицы — включая храм Христа Спасителя, который еще не был взорван, и Красную площадь. И «главную улицу» — Тверскую (старую, узкую, извилистую, еще до реконструкции). Она показалась мне поменьше и поплоше одесской «главной» — Дерибасовской. И, наконец, — роскошный международный вагон, граница (тогда — Негорелое), Варшава — там поезд стоял довольно долго, и мы выходили в город, который меня изрядно разочаровал, — и вот уже Берлин.

Я не хочу отвлекаться на бытовые, житейские стороны своего зарубежного детства. Затрону только то, что повлияло на становление моих политических взглядов, моего мировоззрения. Жил я в Германии с 1930 по 1935 годы — в переломное для этой страны время, в пору великой депрессии, прихода к власти Гитлера, становления фашизма. Конечно, я был мал — приехал семи, а уехал двенадцати с половиной лет. Но многое понимал: семья была очень политизированная, отец, его друзья говорили в основном о политике, я уже знал немецкий язык, что-то читал, слышал по радио, видел на улицах и в кинохронике. Последний же год, когда я, двенадцатилетним, учился в немецкой школе в Гамбурге, видел драматическое развитие политических событий прямо здесь, в классе, где учились дети из самых

разных семей — от коммунистов до фашистов. Все это я запомнил на всю жизнь. Может быть, именно возраст делал и впечатления, и воспоминания очень свежими и непосредственными.

Но опять я не хочу приводить эпизоды. Перейду прямо к обобщениям. Что дала мне, уже взрослому, эта пятилетняя жизнь за рубежом в детстве?

Во-первых, трезвое представление о Западе, а если говорить нашим идеологическим языком — о капитализме. Я на всю жизнь получил иммунитет от двух крайностей. Первая — сугубо негативные представления о капитализме, о западном обществе, включая «обнищание» пролетариата, «имманентно присущее» этому обществу презрение к гуманным идеалам и духовности и т.д. И вторая — идиллическое представление об этом обществе как о царстве всеобщего благосостояния, свободы и справедливости. К тому же — гуманного и миролюбивого, как белый голубок.

(Отвержение этих двух крайностей где-то отложилось, и когда, уже взрослым, с 1960 года я начал часто ездить на Запад, мне ничего не надо было «переосмысливать», я не приходил в беспочвенные восторги и вместе с тем не имел поводов для глубоких разочарований. Ибо в общем и целом представлял себе, что такое «другое» общество, знал его свет и тени, принимал его как реальность, как факт и потому, что называется, «не отвлекаясь», мог сразу спокойно браться за дело, ради которого приехал; это не значит, что я оставался равнодушен как к достижениям Запада, так и к некоторым неприглядным аспектам его образа жизни.

Не могу не вспомнить в этой связи такой эпизод. В начале семидесятых годов на последнем курсе института мой сын был направлен на несколько месяцев на практику в советское представительство при ООН в Нью-Йорке. Через пару недель с моим товарищем он передал письмо, где писал о своих первых впечатлениях. Восстанавливаю по памяти — письмо, конечно, не сохранилось, хотя оно мне запомнилось. Он писал: «Впечатлений множество. Много интересного, хорошего. Но я к нему был подготовлен, ви-

дел на фото или в кино, читал, словом, ожидал. А вот когда я увидел Бауэри, Гарлем, другие нью-йоркские трущобы — это меня поразило. Хотя, поразмыслив, подумал — и об этом читал, и об этом нам говорили. Но именно потому, что главный упор делался на всем плохом — мы в душе этому плохому не верили. При нашей неловкой, неумелой пропаганде, наверное, было бы полезным, чтобы побольше людей Америку увидели своими глазами».

Я солидарен с таким суждением. Правда, в последние годы в связи с очень заметным ухудшением ситуации у нас в стране оно начинает терять свою силу. Ибо многое мы узнали, увидели у себя дома: бездомных и нищих, собственные трущобы и районы, ставшие смертельно опасными из-за преступности. Равно как бьющую в глаза поляризацию общества: горстка богатых и очень богатых — и масса бедных и очень бедных.)

Ну, а во-вторых, я своими глазами увидел фашизм, увидел предметно. И в быту — на отношениях с домохозяйкой в Берлине, вдовой, у которой мы снимали две комнаты, а точнее — на отношениях с ее сыном, несчастным, заискивающим безработным, потом штурмовиком, постепенно все более наглевшим, так что, несмотря на попытки что-то наладить очень заинтересованной в деньгах, а значит, и в жильцах госпожи Барш, нам пришлось досрочно сменить квартиру. И на настроениях и судьбах немецких знакомых отца, растущих среди них страхе, растерянности перед неминуемо надвигавшимися бедами.

И в немецкой школе, и на улицах я сталкивался с зоологической ненавистью к себе просто потому, что я советский (пару раз, когда я шел по улице с приятелем и громко разговаривал по-русски, нас обзывали последними словами, а один раз — нарвались на ватагу подростков из семей белоэмигрантов — изрядно побили), видел озверевший милитаризм и фашистские сборища, митинги и факельные шествия сотен тысяч людей, потерявших человеческий облик, видел антисемитские бойкоты, а потом и погромы принадлежавших евреям лавок и многое другое.

Домой, в Советский Союз, мы возвращались в сложное время. Хотя позади остались голод и острая нужда периода коллективизации и материальные условия улучшились. И хотя после убийства Кирова над страной сгущались тучи массовых репрессий, осенью 1935 года ситуация еще не была столь тревожной, какое-то время даже царила эйфория, предполагалось, что грядет демократизация (вскоре началось обсуждение новой Конституции) и т.д.

Как я тогда воспринял жизнь на Родине? Должен прежде всего сказать, что в наших зарубежных советских колониях обстановка была не совсем обычная. Тогда в стране, в партии было еще очень много искренних энтузиастов, и в основном люди из их числа направлялись на службу за рубеж. Такая среда не могла не влиять и на меня, моих сверстников. Мы были убежденными патриотами, патриотами не только страны, но и общества, идеи.

Это сняло для меня многие психологические проблемы, которые могли бы возникнуть при возвращении — возвращении не только на родину, это всегда радость, но и к очень примитивному, часто убогому быту. Жили мы в Москве или в одной маленькой комнате, или в квартирах коллег отца, уехавших в командировку за границу. Лишь в 1938 году получили в коммуналке свои две крохотные комнаты, а было нас тогда уже четверо. Возвращались к жизни очень скудной, бедной, хотя до голода в те годы дело не доходило.

Я жил, как мои сверстники, не очень много думая об ухудшавшейся политической обстановке, учился, развлекался, занимался спортом, обрел немало друзей, некоторых сохранил до сих пор. Хотя не ощущать происходившего вокруг мы не могли — вскоре начались массовые репрессии, через некоторое время затронувшие, как я уже говорил, и мою семью. И моих друзей. И моих одноклассников. Сказались эти репрессии на всем обществе. И на сознании, психологии каждого из нас — некоторые ломались, уходили в себя, озлоблялись, другие начинали всего бояться, становились конформистами, отучались самосто-

ятельно думать, третьи давали себя использовать, становясь добровольными доносчиками либо платными осведомителями.

Оглядываясь назад, я пытаюсь оценить, как все это сказалось на мне. Наверняка это сделало меня более осторожным, выработав не только адекватные формы поведения, но и определенные политические инстинкты. Но я не сломался, не утратил способности самостоятельно мыслить (впрочем, способность эта развилась по-настоящему много позже). И хотя не мог не позволить себя в какой-то мере оглупить, все-таки не стал идиотом, не дал полностью забить себе голову идеологическим мусором. И главное, как я считаю — да не примет это читатель за нескромность, — сохранил честь. Я никого — ни тогда, ни после, на протяжении жизни, — никого не предал, ни на кого не донес, ни в одной проработочной кампании, травле людей не участвовал. Это не такая уж большая заслуга, конечно. Но все-таки хоть что-то — во всяком случае, по меркам последних десятилетий.

В наших политических дебатах сейчас нередко муссируется вопрос о различии между тоталитаризмом и авторитаризмом. Мне больше всего понравилось такое определение: авторитаризм — антипод демократии, он заставляет безусловно подчиняться воле правительства, не позволяет людям должным образом участвовать в политике, на нее влиять. А тоталитаризм, в дополнение ко всему этому, требует, чтобы каждый активно участвовал в усилиях по подавлению и оглуплению людей и самого себя. И это, могу заверить читателя, было именно так, во многом на этом держалась вся система диктаторской власти, установленной Сталиным (и в той или иной мере пережившая его).

Павлик Морозов, то ли реально существовавший, то ли придуманный мальчик, написавший политический донос на родителей и якобы (а может быть, и действительно) за это убитый, стал национальным героем.

Практика была куда изобретательней и шире. Следователи заставляли доносить на других и на самого себя. На

партийных собраниях обязательным было покаяние. А отказ от участия в кампании травли очередных «врагов», «уклонистов» или «сторонников», отказ признать осуждаемые и критикуемые взгляды ложными часто стоил если не свободы, то карьеры, даже работы. В таких условиях, естественно, по-иному оценивалась и порядочность. Иногда подвигом становились не только хорошие поступки, но и воздержание от плохих, когда от тебя их ждали или даже требовали.

Но я несколько отвлекся, хотя все это на тему: чтобы правильно оценить послесталинскую историю, важно понимать тяжесть бремени, от которого надо было освобождаться, в том числе бремени нравственного.

Возвращусь, однако, к своей юности. Она кончилась внезапно, в один день — 22 июня 1941 года, когда гитлеровская армия напала на Советский Союз.

И, я думаю, будет уместно здесь несколько подробнее рассказать о своей короткой, но, наверное, наложившей печать на всю мою жизнь военной карьере. Печать в том смысле, что благодаря военной службе я быстрее стал взрослым, обрел больше независимости, самостоятельности в суждениях и решениях. Возможно, это помогло мне стать и смелее — что в жизни меня не раз ставило под дополнительные удары: они нередко обрушивались на меня и приводили к неприятностям. Но в конечном счете пошли на пользу.

Ибо смелость — непременная предпосылка творческого склада ума, и если я чего-то достиг в жизни, то прежде всего благодаря ему. И говорю я здесь о вполне конкретных, даже житейских делах. Если бы я более скованно и ортодоксально думал, а значит, и писал, скорее всего, не обратил бы на себя внимание в журналистском мире, а позднее, что сыграло в моей жизни немалую роль, — внимание О.В.Куусинена, а вслед за ним других серьезных и влиятельных людей, включая некоторых лидеров страны, уже понявших необходимость перемен.

Хотя должен оговориться: смелость фронтовая не все-

гда адекватна гражданской. Не раз геройские перед врагами на фронте ребята оказывались жалкими трусами и конформистами перед начальством. Помню даже анекдот: «Солдат, ты немца боишься? — Нет. — А кого боишься? — Старшину». И не только потому, что от него зависит твое повседневное благополучие: лишняя пайка хлеба и порция каши, новые портянки, а то, если сильно повезет, и новые сапоги. От него еще больше, чем от врага, на фронте зависят само твое существование, свобода и жизнь.

Но, оглядываясь назад, должен сказать, что самым главным было даже другое: вступать в сознательную жизнь мне пришлось в очень трудный период нашей истории, и то, что я был на войне, помогло мне сделать это с чувством выполненного долга, без комплекса неполноценности. Я был спокоен, уверен в себе, понимал цену многим вещам, поскольку уже с восемнадцати лет воочию видел и отвагу, и трусость, и смерть, и кровь, и товарищескую преданность, и предательство.

При этом хочу сразу же откровенно сказать, что мне с «моей войной» очень повезло. И не только потому, что остался жив, хотя и в моем случае это чудо, выигрыш по лотерейному билету: убить могли много раз немцы, да и шансы погибнуть от открытой формы туберкулеза, которым я заболел на фронте, были почти девяностопроцентные.

Повезло, во-первых, потому, что риск, а также физические лишения были в ракетной артиллерии все же меньшими, чем в танковых войсках, в противотанковой или полковой артиллерии. Правда, у себя в полку я ходил в весьма смелых и рисковых: большую часть фронтовой жизни провел в артиллерийской разведке, а это значит — на передовой, часто в боевых порядках пехоты, при наступлении порой и впереди нее, пока не наткнешься на оставленную немцами засаду. Но тем не менее в артиллерии было менее опасно, чаще выживали, хотя и у нас многие погибли или были ранены.

Во-вторых, по-настоящему воевать мне довелось не в

самое плохое (хотя и не в самое хорошее) для Советской Армии время. В частности, не пришлось пережить больших отступлений, паники, окружений и сокрушающих дух поражений (у многих, чуть старше меня офицеров, с которыми я воевал, они надломили или совсем сломали психику) — позора нашей армии, государства, строя, который некоторые ревнители старого безуспешно пытаются отмыть до сих пор. Я оплакиваю вместе со всеми своими согражданами эту трагедию — она отнюдь не из тех, которых нельзя было избежать. Я разделяю боль всех и каждого, кто попал тогда «под колеса», и сделаю все, что могу, чтобы восторжествовала справедливость и с попавшими в плен или пропавшими без вести жертвами бездарного руководства перестали обращаться как с предателями. Но я благодарен судьбе, что она меня избавила от всех испытаний первых месяцев войны. И в то же время, не скрою, горжусь тем, что мне не пришлось собирать одни лавры в виде множества взятых городов и освобожденных стран, а также щедрого дождя наград, посыпавшегося к концу войны. Я видел войну все-таки в ее очень тяжелых измерениях — от Москвы осени 1941-го и очень трудного, полного риска 1942 года до 1944-го — когда большой, часто неоправданно большой кровью, тяжело, но все более уверенно мы начали наступать, вернее, «контрнаступать», освобождая страну — от Курской дуги до Днепра, а потом за Днепр.

Но по порядку.

Почему и как я попал в армию?

Должен честно сказать, что в принципе я никогда не был «военным человеком», «военной косточкой», не мечтал о военной карьере. Но время налагало очень сильный отпечаток на каждого из моих сверстников, на каждого из нас.

Конечно, за всех говорить не возьмусь. Но что касается меня самого, то без советов и влияния семьи, друзей я уже с осени 1940 — зимы 1941 годов пришел к выводу, что дело идет к войне и мне надо думать о своем будущем в соответствии с этой реальностью.

С начала 1941 года — для меня это было вторым полугодием последнего класса в школе — я определился: надо идти в военное училище. Поначалу меня почему-то привлекало Ленинградское училище связи. Я даже, помнится, послал туда письмо. Но потом приехал мой дядька, брат отца, — в 1941 году майор, начальник артиллерии танковой бригады, дислоцированной в Брест-Литовске. Он был заочником Академии имени Фрунзе, прибыл сдавать экзамены и меня уговорил идти не в связь, а в артиллерию.

Я подал документы в 1-е Московское артиллерийское училище имени Красина и был туда принят уже 21 июня 1941 года. Вначале оно специализировалось на тяжелой артиллерии, а затем было перепрофилировано на «гвардейские минометы», то есть на реактивную артиллерию, получившую в народе название «катюш».

Но пока мы этого не знали. Зачехленные боевые установки «катюш» мы принимали за понтоны, а занимались учебой с 122-мм пушками и 152-мм пушками-гаубицами, хотя что-то подозрительное на территории училища — оно было как раз на углу Беговой улицы и нынешнего Хорошевского шоссе — мы замечали. Уж очень много «понтонов» появлялось у нас. А потом они внезапно исчезали.

В середине октября 1941 года обстановка в Москве обострилась. Мы, отгороженные от всего мира забором училища, ощутили это не сразу, хотя к боевой обстановке были уже приучены. Приучены бомбежками Москвы, начавшимися с июля 1941 года. Мы тушили пожары, стояли в оцеплениях, ловили «ракетчиков», якобы указывавших немецким пилотам цели (ни одного пойманного диверсанта такого рода я не видел), а то и просто спасались в траншеях. Особенно досталось в первую бомбардировку, когда рядом с училищем на рельсах Белорусской железной дороги горели и всю ночь рвались несколько эшелонов с боеприпасами.

Так вот, в один из тусклых, уже холодных октябрьских дней всю нашу батарею построили у штаба и по одному начали вызывать в кабинет командира. Там сидела комис-

сия — трое военных, двое штатских; с каждым из нас обстоятельно разговаривали. Дошла очередь и до меня. Спросили: «Товарищ курсант, если вам доверят секретную технику и возникнет угроза, что она попадет к врагу, сможете ли вы ее взорвать, рискуя собственной жизнью?» Я сказал: «Конечно, смогу».

Меня отпустили. Потом из строя вместе с семью другими курсантами отвели в угол огромного двора училища, где за заборчиком стоял тот самый «понтон». И мне объявили, что я назначен командиром орудия, а остальные — мой расчет. Сняли с «понтона» чехол, под ним увидели некое подобие восьми рельсов, точнее, двутавровых балок, насаженных на конструкцию, которая двигалась на станине вверх-вниз и слева направо. Показали снаряд (или мину) — называлось все это почему-то «гвардейским миномётом», хотя речь шла о ракете. Показали, как стрелять (из кабины, опустив на лобовое стекло броневой щиток и прокручивая за ручку маховичок специального устройства). Показали и заложенные на станине два ящика тола (25 килограммов каждый), которые следовало в случае опасности взорвать. Уже потом, на фронте, я подумал: зачем при этом сидеть на них и демонстрировать героизм? Включатель электрического взрывателя можно было отвести подальше в окоп или воспользоваться бикфордовым шнуром, а вовсе не кончать с собой. Но таким уж было время, оно требовало самопожертвования, а может быть, хотели вместе с секретной техникой уничтожать и тех наших солдат, которые ее знали.

На следующий день мы отправились куда-то по Волоколамскому шоссе, а потом — в сторону. И где-то стреляли. Я так и не понял — по врагу или это была учебно-демонстрационная стрельба (на огневой позиции присутствовала группа офицеров). Но сам залп никогда не забуду: оглушающий шум (сидишь ведь прямо под стартующими ракетами), огонь, дым, пыль. Машина содрогается при пуске каждой ракеты, а их на одной машине было шестнадцать.

А уже на следующий день нас вернули в училище, отобрали «катюши», выдали карабины, и с утра до вечера пошла строевая подготовка. «Ать-два!», «Шире шаг!», «Смирно!» и т.д. и т.п. Мы не могли понять, чего от нас хотят. Другие рядом, под Москвой, воюют (у нас на территории формировались «коммунистические батальоны» и ополчение, которые уходили пешим маршем на фронт — до него было километров 40—50), а мы занимаемся ерундой! И никому не приходило в голову, что готовится парад.

7 ноября рано встали, пошли на завтрак — он был праздничным, дали даже белый хлеб и масло. Но не успели поднести ко рту — тревога. Построились и пошли. Прямо на Красную площадь — училище открывало парад. Я был правофланговым где-то в середине батальона. Волновался, даже немножко сбился с шага, но быстро исправил ошибку — еще до Мавзолея.

Запомнилось: низкая облачность (потому, наверное, и решились проводить парад), снег. Мы были в касках, снег таял в местах, где ободок крепился к стали, и потом замерзал. «В белом венчике из роз...» «Двенадцать» Блока были свежи в памяти. Подумал: праведники или мученики?

И совсем из другой области: всем участникам парада (как нам объявили — по приказу наркома, то есть Сталина) дали по сто граммов водки — половина граненого стакана. Мне тогда казалось: очень много...

Потом был получен приказ перевезти училище в Миасс (на Урал), и там под Новый год я закончил его лейтенантом. После этого — формирование боевой части, куда я был направлен — вначале в Татарии, около городка Арска, потом в Москве. И наконец — эшелон на фронт. По дороге нас дважды бомбили, и именно здесь, на железнодорожных путях, мы понесли сильные потери.

А теперь я перенесусь в год 1990-й, май. Уже полгода я веду публичную полемику (вначале — с трибуны Второго съезда народных депутатов СССР, затем — в печати) с некоторыми нашими адмиралами и генералами (и даже одним маршалом) о сокращении военных расходов и воору-

жений и военной реформе. Генералы на меня злы, как черти. Однажды вечером, 17 мая (я сижу с одним из своих заместителей и зашедшим гостем у себя в кабинете), звонит «вертушка» — телефон правительственной АТС. Снимаю трубку — чей-то голос: «Георгий Аркадьевич?» Отвечаю: «Да». Собеседник: «Я знаю, что у вас завтра день рождения, хотел бы поздравить, пожелать здоровья и успехов». Пауза. Я говорю: «Извините, не узнаю». Голос: «Это Дмитрий Тимофеевич Язов (то есть министр обороны. — *Г.А.*). У меня для вас подарок. Передо мной книга, в которую Центральный архив нашего министерства собрал документы или их ксерокопии, относящиеся к вашей боевой, военной биографии и истории вашего полка. Как вам передать?» Диктую адрес, говорю, что это недалеко от Министерства обороны. Отвечает: «Ну что ж, может быть, завтра и завезу сам».

И завез рано утром, меня еще не было на работе, так что приняла подарок секретарь. Подарок для меня действительно дорогой. Хотя присутствовавшие при моей телефонной беседе с Язовым гадали: что бы значил этот жест? И более конкретный вопрос — зачем военные товарищи по моему поводу полезли в архив? Не за «компроматом» ли? Я эти догадки отмел. Думаю, есть какие-то душевные узы бывших фронтовиков. А Язов — мой ровесник и воевал примерно в тех же чинах.

Все это я рассказал, чтобы было понятно, откуда у меня документы, которые буду цитировать. Так вот, из «Журнала боевых действий» 221-го отдельного гвардейского дивизиона (в нем я начал службу начальником разведки): «13 марта 1942 г. Разъезд № 65 Калининской ж.д. — убит машинист паровоза и сержант Владимиров из 2 батареи, где и похоронены, ранены старшина 2 батареи Фролов и гвардеец Довголюк, которые отправлены в госпиталь в г. Осташков».

«15 марта 1942 г. в 19.00, разъезд № 84, убитых и раненых нет, разбита боемашина».

Один убитый и двое раненых в первую бомбежку по-

пали, между прочим, в беду, делая то же, что и мы все, — сбрасывая с платформ невзорвавшиеся небольшие, чуть больше ручной гранаты, бомбочки, которыми немецкие самолеты буквально засыпали эшелон. Одна из них взорвалась у кого-то в руках. Так что «моя война» могла закончиться уже в тот день, и я бы даже не доехал до фронта...

Ну а потом — Калининский фронт. Степной и Воронежский, 1-й и 2-й Украинские. Началом был долгий тяжкий год оборонительных и отвлекающих наступательных боев в Смоленской области. Потом — наступление после Курской битвы до Днепра, форсирование Днепра южнее Канева, а потом, в декабре 1943 года, — у Черкасс (в 1985 году мне присвоили звание почетного гражданина этого города)... Там я тяжело заболел туберкулезом легких и был отправлен в тыл. Летом 1944-го был демобилизован как инвалид Отечественной войны II группы.

Как я воевал? Как мог. Но, судя по документам, переданным мне Д.Т.Язовым, неплохо. Может, и нескромно, но о войне, мне кажется, все же можно сказать, и я приведу отрывки из боевых характеристик.

Из «боевой характеристики», представленной командованием дивизиона 25 августа 1942 года (первая такая характеристика в деле): «Батарея, которой командует т. Арбатов, за период действий по борьбе с немецкими оккупантами показала хорошие результаты. Не было случая, чтобы фашистские гады уходили из-под огня батареи. Организацию, распоряжение и руководство при выполнении боевых задач т. Арбатов проделывает грамотно и культурно. 6 августа его батарея уничтожила свыше роты пехоты противника и одну минометную батарею. Личным примером храбрости учит подчиненных в бою».

Из «боевой характеристики» от 22 октября 1942 года: «За время своего пребывания в дивизионе т. Арбатов проявил себя как храбрый, стойкий, дисциплинированный, подтянутый, культурный командир. В боях с немецкими захватчиками т. Арбатов показал образцы мужества, при

выполнении дивизионом боевых задач по уничтожению гитлеровских бандитов лично руководил дивизионным огнем. Культурный, знающий командир-артиллерист, владеющий в совершенстве своим делом, требовательный к себе и своим подчиненным, пользуется огромным авторитетом среди всего личного состава дивизиона. Тов. Арбатов рекомендуется на должность командира дивизиона». Это было лестное представление — в мои девятнадцать лет! Но назначения этого я тогда не получил, как узнал потом, из-за того, что в тюрьме как «враг народа» сидел мой отец. Впрочем, поскольку все это было от меня в секрете и саму характеристику-представление я впервые прочел в 1990 году, я даже не имел повода для обид и разочарований.

Из «боевой характеристики» от 14 апреля 1943 года: «С работой справляется, при выполнении боевых заданий разведки (я был в то время начальником разведки полка. — *Г.А.*) дает ценные данные, по которым не один раз давались залпы и уничтожена не одна сотня фашистов». И вместе с тем: «...недостаточно дисциплинирован, мало работает над собой». Но в заключение: «Авторитетом среди подчиненных пользуется, идеологически выдержан, морально устойчив». Я усиленно старался вспомнить, почему единственный раз — попреки. И потом, с помощью однополчанина, вспомнил. Как-то на переформировании (получали новую технику) делать было нечего, и мы вчетвером играли в карты — в преферанс. В комнату зашел дивизионный комиссар (он и подписал характеристику) — старый сухарь «с подпольным стажем», который долго прорабатывал нас за то, что мы — «картежники». И вот не удержался — вписал пару плохих фраз в боевую характеристику.

И последнее — на полгода позже, подписанное не комиссаром, а командиром полка, — представление к награде, «наградной лист» от 10 сентября 1943 года: «Энергичный, смелый и бесстрашный разведчик. За период пребывания в этой должности дал много ценных данных о противнике, по которым полк вел огонь. 4 сентября, находясь на передовом наблюдательном пункте, установил основ-

ные районы скопления противника в деревнях Гусань и Пилипенки, по которым полк произвел два залпа. После залпов наши части успешно продвинулись вперед и заняли эти пункты. 5 сентября Арбатов под сильным огнем противника, на открытой местности, презирая смерть, пренебрег опасностью, точно установил передний край обороны, после чего был дан залп. Наши части после залпа овладели высотой и продолжали продвигаться вперед».

Потом меня ожидали болезнь, долгие месяцы госпиталя, в июле 1944 года демобилизация. А полк, после Черкасс, уже без меня пошел на Корсунь-Шевченковскую операцию, на Бельцы и Яссы, Бухарест и Клуж, Сегед, Будапешт, Брно. И стал он Черкасским Краснознаменным, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого 17-м гвардейским минометным полком.

Но прошу читателя извинить за невольные сантименты.

Сейчас же хотел бы сказать еще несколько слов о той роли, которую эти годы сыграли в моей последующей жизни. Конечно, они оставили эмоциональное, даже иногда сентиментальное отношение ко многому, с чем была связана военная служба в те годы — верности долгу, боевому товариществу, готовности бороться, пока хватает сил, — и в то же время демистифицировали армию, военную службу да и Отечественную войну, лишили их культивировавшегося у нас потом сверхромантического ореола. Ибо в армии я хорошо узнал и неприглядные стороны военных порядков (хотя тогда армия была у нас много чище, нормальней, чем сейчас), в частности, какой простор они открывают для самодурства, унижения старшим по званию младшего, солдафонства, процветания серых, бездарных людей, протекционизма и т.д. Достоверно узнал, имея какие командные кадры (до полковника — с более высокими чинами у меня контактов не было, хотя там дело, видимо, обстояло еще хуже), мы вели войну, какие из-за этого несли лишние потери, вообще во что нам обходились победы.

В результате этого опыта и вопреки тому, что говорили обо мне мои оппоненты из числа генералов, критиковав-

ших мои статьи о необходимости более радикальных сокращений военных затрат, я не стал «врагом» Вооруженных Сил, врагом армии. Но не мог уже говорить о них с воспитывавшимся долгие годы «придыханием», а потому, когда все послевоенное развитие и его венец — кризис восьмидесятых—девяностых годов — породили в армии и руководстве ею так много негативных вещей, не мог не выступить и с критикой. Особенно после того, как — столь явно — интересы военно-промышленного комплекса начали приходить в столкновение с интересами страны, народа.

Это привело к упоминавшемуся конфликту с частью генералитета, в котором противники мои проявили крайнюю агрессивность, а некоторые действовали в классическом для сталинских времен стиле политического доносительства и навешивания ярлыков. Я к этому был готов, когда начинал полемику, и своим решением вступить в нее тоже был вполне удовлетворен. Это помогло начать первую за многие годы публичную дискуссию по военным и военно-политическим вопросам и в то же время еще раз выявить, что и у нас находит свое проявление корыстный интерес военно-промышленного комплекса, что возможны попытки подчинить ему политику.

Сегодня я убежден, что демилитаризация нашего общества, как и демилитаризация международных отношений, является не только важнейшей предпосылкой прогресса, но и условием выживания человечества. Интерес к этим темам у меня, таким образом, давний. Собственно, первые сколь-нибудь творческие, а не описательные мои работы (статья и брошюра, написанные в 1955 году, то есть после смерти Сталина, когда уже можно было хоть о чем-то смелее говорить, но еще до XX съезда КПСС, снявшего некоторые запреты на творчество) были в значительной мере посвящены историческим судьбам милитаризма, его обреченности с точки зрения истории и ущерба, наносимого интересам общества.

Итак, в июле 1944 года я был выписан из военного гос-

питаля, стал инвалидом войны II группы, получал продовольственные карточки и пенсию около 900 рублей в месяц (90 рублей по деньгам до 1992 года — в тот момент достаточно, чтобы выкупать то, что полагалось по карточкам, а по рыночным ценам недостаточно, чтобы купить бутылку водки). И передо мною встал вопрос — что делать дальше? Семья жила небогато, но меня поддержать могла, и все вместе мы решили — учиться.

Собственно, об этом я думал давно, даже подобрал себе институт (точнее — факультет Московского университета). Еще на фронте, осенью 1943 года, в газете «Известия» прочитал объявление, что в университете открывается факультет международных отношений, и вслух, при товарищах, сказал: «Вот куда я после войны пойду». Они подняли меня на смех (по-дружески, конечно) — такими далекими казались и конец войны, и учеба, да и выживешь ли?

Сложилось все, однако, так, что год спустя я подавал документы на этот факультет (через несколько месяцев он стал самостоятельным институтом при Министерстве иностранных дел СССР). И был принят.

Начались студенческие годы — наверное, для каждого полные самых приятных воспоминаний. Я, как и большинство моих сверстников, — не исключение. Хотя годы были голодные и бедные. А к тому же разочаровали всех, кто надеялся, что уж после такой войны, после такой проверки народа на верность, на преданность Сталин пойдет на какие-то послабления и в экономической, и в политической, и в культурной сфере. Ничего подобного не произошло — очень скоро после великой победы начались новые кампании проработок и репрессий.

В институте это ощущалось с особой силой — нас готовили для работы в области внешней политики, за рубежом или с иностранцами. Потому и надзор за нами был свирепейший. Я не помню таких длинных, дотошных анкет, как те, которые ежегодно приходилось заполнять в институте. И практически каждый год какую-то группу студентов арестовывали — когда уж очень усердно ищешь, почти всегда

найдешь какие-то «грехи», тем более что по тогдашним правилам многого находить и не требовалось. «Вольные» разговоры на политические темы или слишком откровенный дневник, найденный осведомителем в общежитии, даже случайный контакт и беседа с иностранцем, затеянная неосмотрительным студентом, пожелавшим проверить, достаточно ли он уже знает язык, чтобы вот так поговорить, — этого было вполне достаточно для ареста и осуждения.

Почему Сталин вел себя так и после войны? Моя догадка: он, человек догматического склада, помнил, что массовое пребывание русских офицеров и солдат за рубежом после победы над Наполеоном родило настроения недовольства жизнью на Родине и вольнодумство. И это было питательной почвой для оппозиционного движения, а потом и для попытки первого (если не считать крестьянских бунтов) в истории России революционного выступления — восстания декабристов. Насколько я могу судить, после Второй мировой войны таких бунтарских настроений среди возвращающихся из-за рубежа военнослужащих не было. А то, что они увидели другую, более благоустроенную жизнь, так это могло быть очень полезно — рождалось желание улучшить условия в собственной стране. Но такой ход мысли был, видимо, глубоко чужд Сталину. В общем, после войны продолжался тот же сталинизм с новыми страшными преступлениями — репрессиями в отношении целых народов, в отношении возвращавшихся из гитлеровских концлагерей (прямиком — в наши) военнопленных и т.д., а также новых уродливых черт, вроде возведенного Сталиным в государственную политику антисемитизма. И особенно отчетливым стало стремление оглупить народ, лишить его знаний об обществе и политике (до такой убогости наши общественные науки, пожалуй, раньше не низводились), открыть поход и против многих естественных наук (генетики, кибернетики и др.). И, конечно же, втиснуть в жесткие, уродующие ее рамки великую культуру великого народа. Все это на фоне заметно вырос-

шего культурного и образовательного уровня населения — появились новые, грамотные, овладевшие основами знаний поколения. Может быть, это больше всего и пугало Сталина — ведь с народом, на 80 процентов неграмотным, как это было после революции, он себя, наверное, чувствовал много увереннее.

Вот в такой сложной обстановке оказалось мое поколение. Хотя все было неоднозначно. Образование мы получили совсем неплохое. Во всяком случае, в институте, в котором я учился, таких профессоров, как тогда, никогда больше не появлялось. Это были лучшие из сохранившихся представителей старой, блестящей плеяды российских ученых (многие из них вскоре подверглись гонениям).

Став студентом осенью 1944 года, я сделал выбор — специализироваться на изучении США. Мои американские знакомые меня потом не раз спрашивали: «Почему?» Мне кажется, это было вполне естественным. Шла война. США были нашим союзником, точнее — даже главным союзником. Отношение к США было у большинства моих соотечественников теплое, дружеское. Ну, а кроме того — это понимали даже многие первокурсники, — США и СССР будут играть особую роль в послевоенном мире. Да и страна сама по себе была, бесспорно, очень интересной. Вот такие простые соображения и подтолкнули меня к первому шагу на долгом пути к тому, чтобы сделать изучение США своей профессий (full-time job). Пути тем более долгом, что в течение первых почти двадцати лет после окончания института я занимался Америкой только «для души», в свободное от другой работы время.

Пока же предстояло учить английский язык и массу других предметов и наук.

Но при распределении на работу после института в полной мере дала себя знать бюрократическая система, в которую он был вписан. Хотя я был одним из лучших студентов на курсе — получил диплом с отличием, за все пять лет на экзаменах — без единого срыва — удостаивался только высшей оценки да еще был фронтовиком, офице-

ром, имел боевые награды, — меня никуда на работу не направили. Председатель комиссии (это был, насколько помню, тогдашний заведующий управлением кадров МИД СССР, некто Силин) дал прямо понять, что загвоздка в том, что был арестован отец. В ответ на мое недоуменное замечание, что его ведь освободили и реабилитировали, он только пожал плечами.

Но, как потом оказалось, мне повезло. Последние полтора-два года, чтобы пополнить свой скудный бюджет, я прирабатывал рецензиями на книги, рефератами и переводами в только что открывшемся Издательстве иностранной литературы. И, видимо, его работникам приглянулся — они написали в институт письмо с просьбой направить меня в их распоряжение.

Вот так я туда и попал. И никогда об этом не жалел. Главной моей обязанностью было читать американскую, английскую и немецкую политическую, экономическую и философскую литературу, чтобы отобрать наиболее интересное для перевода и реферирования в «закрытых» (предназначенных для руководства) изданиях. За всю свою остальную жизнь я не прочел столько политических книг, сколько за эти четыре года.

Издательство, между прочим, оказалось довольно необычным учреждением. Создано оно было в 1946 году по инициативе Сталина. Главная идея — и это для меня одно из оснований считать, что в конце войны и сразу после ее окончания он не планировал конфронтации, надеялся сохранить отношения какого-то сотрудничества с Западом — была в том, чтобы открыть более широкую дверь в Советский Союз знаниям, накопленным в мире, а также мировой культуре.

Издательство замышлялось как гигант: четырнадцать редакций по всем отраслям знаний — от физики и математики до экономики и международных отношений, а также редакция художественной литературы. Оклады работников были в два-три раза выше, чем в других издательствах, включая Политиздат, напрямую подчиненный ЦК КПСС.

Издательству щедро ассигновали конвертируемую валюту — мы выписывали больше периодики и книг, чем кто-либо в СССР.

Но и добавлю — директором был назначен довольно известный в то время ответственный функционер из аппарата ЦК КПСС, восходящая «идеологическая звезда» Борис Сучков.

К тому времени, как я начал внештатно работать в издательстве и познакомился с его работниками (для этого надо было пройти специальную процедуру «засекречивания», допуска к секретным документам и литературе) — по-моему, это был конец 1947-го или начало 1948 года, — там уже многое слиняло, поблекло, стало ясно, что первоначальные планы не реализуются, во всяком случае, в изначальном виде. Изменились международная ситуация и политическая обстановка в стране. Шла «охота на ведьм», все свирепее становилась цензура. Выпускать зарубежную литературу общественно-политического характера становилось все сложнее. Вместо открытой двери получилась замочная скважина — во всяком случае, в этих сферах знаний.

В довершение всего арестовали директора издательства Б.Сучкова (потом его, конечно, реабилитировали) и его заместителя С.Ляндреса (отца много позже ставшего известным литератора Юлиана Семенова). И стало издательство обычным учреждением, только что иностранной литературы там было больше да должностные оклады выше.

В издательстве я работал до 1953 года (мне там стукнуло 30 лет, так что на место юности уже пришла зрелость). В том же году умер Сталин. О том, что последовало за его смертью, — ниже.

Заключая эту главу, хотел бы (интересно и самому) дать оценку тогдашнему состоянию собственного сознания. Кем, чем я был в этом смысле? Если использовать классификацию, которую придумал мой отец, я, конечно, не был фанатиком и не был карьеристом. Не стал я и циником. И без всяких оговорок признаю, не был «тайным», скры-

вавшим в чулане свои взгляды инакомыслящим, маскирующимся под лояльного коммуниста «прогрессистом» и «реформатором».

А был я, как и большинство других, «разумно верующим». Веру эту я получил в семье и в обществе, взошла она на дрожжах очень хороших, добротных идеалов социализма, восходящих своими корнями к раннему христианству. Видному австрийскому экономисту и ярому противнику социализма, лауреату Нобелевской премии Фридриху фон Хайеку принадлежат слова: всякий, кто верит в социальную справедливость, уже наполовину социалист. (Привлекательность социалистической идеи, может быть, как раз и оказалась для нее величайшей опасностью, позволяя властолюбцам и тиранам так долго этой идеей прикрываться.)

В этом плане, повторяю, я не отличался от большинства людей моего возраста и моего круга. То, о чем я писал в этой главе — ранние непосредственные впечатления от Запада и фашизма, равно как от сталинских «чисток», задевших и нашу семью, война, неплохое образование, основательное знакомство с послевоенной зарубежной общественно-политической литературой, — может быть, лишь заложило какие-то основы, благоприятные для эволюции моих взглядов в направлении, которое много позже начали называть «новым политическим мышлением».

Помогло этому и то, что мой уровень критического отношения к сталинизму по причинам, о которых говорилось, был несколько выше среднего. Меньше у меня было и ложных представлений и предрассудков как насчет Запада, так и насчет своей страны. И меньше было иллюзий. Ну и, конечно, свою роль сыграло то, что мне позднее довелось поработать с интересными творческими людьми, в сильных творческих коллективах.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Когда умер Сталин, я в Издательстве иностранной литературы буквально «доживал» свои дни. По причине ареста в январе 1953 года органами государственной безопасности одного из моих подчиненных (потом его, разумеется, реабилитировали) на мне висело строгое партийное взыскание за «притупление политической бдительности» — одно из самых зловещих для тех лет обвинений. Дело при этом стремительно разрасталось — от инстанции к инстанции мне «добавляли». Началось с указания и предупреждения, а дошло, на общем партийном собрании, проходившем в присутствии мрачно молчавших представителей Московского городского комитета партии и ЦК КПСС (его представляла — помню эту весьма красноречивую фамилию и сейчас — некая Мрачковская), до строгого выговора с предупреждением. И, как я узнал, райком планировал исключить меня из партии, а дирекция издательства — снять с работы. Если бы не крутая перемена политической обстановки, меня ждали бы эти, а может, и еще более суровые испытания. В 1953 году, похоже, начинался новый 1937-й — ставший для моей страны символом безжалостных массовых репрессий, уничтожения миллионов ни в чем не повинных людей.

Так что оставаться безразличным к политике я и по личным причинам не мог, даже если бы захотел. И потому тогдашнюю обстановку запомнил очень хорошо.

Люди опытные (в их числе был мой отец, скончавшийся год спустя) не могли не обратить внимания, в частности, на тональность состоявшегося осенью 1952 года XIX съезда партии, на некоторые темы и даже лексику от-

четного доклада, с которым выступил Георгий Маленков. Они удивительно напоминали риторику 1937 года, когда тоже подчеркивалась необходимость укрепления партийной дисциплины и улучшения кадровой политики, усиления критики и самокритики. На размышления наводило и создание наряду с широким Президиумом ЦК «узкого бюро» — явно замышлялись крупные перестановки в высших эшелонах власти.

В конце 1952 — начале 1953 года печать — особенно передовые статьи газеты «Правда», игравшие роль своего рода камертона для всей советской пропаганды, — начала пестрить терминологией 1937 года. Вновь и вновь повторялись заклинания о «капиталистическом окружении» (это в условиях, когда столь разительные перемены произошли во многих странах Европы и в Китае!), о «законе», согласно которому классовая борьба обостряется по мере успехов социализма, а действия врагов становятся все более изощренными.

Ну а после публикации в январе 1953 года статьи о «врачах-убийцах» и материалов, прославлявших «разоблачившую» их доносчицу Лидию Тимашук, в средствах массовой информации началась настоящая истерика, очень серьезно отравившая политическую и нравственную атмосферу в обществе, раздувавшая массовый психоз, бывший и в тридцатых годах постоянным спутником массовых репрессий. О том, что к ним уже велись соответствующие приготовления, я потом узнал от своих коллег по издательству, приглашенных, а точнее, возвращенных после смерти «великого вождя» на работу в органы государственной безопасности[1].

---

[1] Один из них, так сказать, мой «подельник» — проходивший по одному со мной партийному делу Борис Манойлович Афанасьев, болгарский революционер и советский разведчик, изгнанный в 1948 году из разведки и потому оказавшийся в издательстве. Когда умер Сталин, его пригласили на прежнюю работу. Он вскоре, правда, вышел в отставку и еще много лет — вплоть до смерти — работал заместителем редактора журнала «Советская литература». В 1954 году он мне рассказал, что по своей короткой «второй» работе в КГБ достоверно знает: в нача-

Такой кампании ненависти и истерии я еще не видел. Хотя на работе в издательстве да и в студенческие годы мне и моим сверстникам довелось, конечно, получить уйму представлений, впечатлений, а кто к этому был расположен — и «рабочего опыта» по части методов духовного насилия, закрепощения, даже умерщвления мысли. У нас на глазах развертывались одна за другой послевоенные идеологические кампании — против «низкопоклонства» перед Западом, «космополитизма», «уклонов» в литературе, кино, музыке, генетике, языкознании и других областях. Видели мы, как жестоко прорабатывают, «избивают» людей, ни в чем не повинных, — чтобы понять это, у большинства из нас уже хватало ума и опыта. И точно так же многие уже понимали, что в качестве научной истины провозглашаются нелепости. Равно как и то, что всем, кто вслух усомнится в виновности невиновных или в истинности нелепостей, грозит безжалостная расправа. Все это достойно дополняли все более свирепые секретность и цензура, доносительство и страх. Они, как серная кислота, разъедали, но, к счастью, до конца не разъели наши умы и души.

Я тогда не очень задумывался о смысле государственной политики. Уже потом мне приходило в голову, что объяснялось это не столько молодостью, сколько прививавшимся и развивавшимся системой инстинктом самосохранения (те, кто не хотел или «не поддавался», как правило, просто не выживали). Как я уже писал, одной из главных целей происходившего было внушить всем нам главное правило поведения подданного диктатуры: бойся своих мыслей, каждая своя мысль может быть опасна.

ле 1953 года были получены предписания увеличить в связи с предстоящим «наплывом» заключенных «емкость» тюрем и лагерей и подготовить для перевозки заключенных дополнительное количество подвижного железнодорожного состава. По его же словам, разрешение бить и пытать подследственных, после 1937 года в течение многих лет оставшееся в основном «монополией» центра, было снова дано всем. Словом, в последние месяцы жизни Сталина карательный аппарат готовился к новой волне массовых репрессий.

Весь строй жизни, начиная даже, казалось бы, с вольных студенческих лет, учил будущих политиков, теоретиков, журналистов писать, говорить и даже думать чужими мыслями — «классиков» марксизма-ленинизма (хотя осторожно, с очень большим разбором, иначе можно было попасть в крупные неприятности), Сталина (его полагалось цитировать в два-три раза чаще Ленина и в пять-шесть раз чаще Маркса и Энгельса) и признаваемых в тот момент других «вождей», а также вчерашних (они быстро устаревали) передовиц «Правды». Словом, мы все на своем опыте познали, как закрепощается сознание.

Однако с марта 1953 года, хотя это не сразу и не все заметили, настала другая жизнь. Начиналась она робко, почти незаметно, рождаясь в муках.

Первые сигналы о грядущих переменах пришли не из сферы мысли, а из сферы политики. По явному указанию сверху уже в середине марта 1953 года в печати прекратились всеобщий стон и плач по почившему «вождю». Чуть позже последовала следующая сенсация: была разоблачена вся затея с «делом врачей», и тех из них, кто остался жив, выпустили на свободу. В июне арестовали, а в конце года казнили Л.П.Берию и его сообщников. Правда, в чем-то здесь не обошлось без старых приемов, унаследованных от прошлого. В частности, того, что Берия убивал, пытал, мучил тысячи и тысячи советских людей, тогдашнему руководству показалось недостаточно для обвинения. Поэтому, чтобы преступления этого изверга и палача выглядели еще более серьезными, ему добавили привычное, почти традиционное обвинение в шпионаже в пользу, кажется, английской разведки.

Сентябрьский (1953 года) Пленум ЦК КПСС в нашем сознании отложился как очень непривычная — пусть не напрямую — критика существовавших порядков, а тем самым и прошлого руководства, хотя имена, тем более имя Сталина, там не назывались. Речь, скорее, шла о «критике делом»: о крупных мерах по оздоровлению сельского хозяйства, повороте экономики к повседневным нуждам лю-

дей (к сожалению, многие из принятых тогда решений остались на бумаге, но я говорю сейчас о политической и психологической стороне дела). Исподволь — сначала в виде едва заметных политических жестов, введения в оборот новых слов — началось размораживание отношений с окружающим миром. Со временем то там, то здесь вдруг появлялся, опять же без упоминания имени Сталина, новый тогда для нас термин «культ личности». Что очень существенно — понемногу начала рассеиваться атмосфера страха. Именно тогда я начал всерьез задумываться о политике. К тому времени относятся и мои первые серьезные статьи, за которые не стыдно и сегодня, в том числе первые теоретические работы против милитаризма, критика которого стала одной из главных тем моей творческой работы как ученого.

Что еще важнее, все чаще приходили вести уже не о том, что кого-то посадили, а о том, что кого-то, подчас знакомого тебе лично или по фамилии, выпустили из тюрьмы или посмертно реабилитировали.

Очень важными были и некоторые внешнеполитические перемены. Поначалу наше руководство не выступало ни с какими новыми инициативами в международных делах — и это понятно: смерть Сталина означала слишком уж крутую перемену, а, кроме того, слишком уж сложным было положение в тогдашнем советском руководстве.

Ситуация, в общем, была такая, что инициативу во внешнеполитической области, хотя бы символическую, должен был проявить Запад — прежде всего США. По-моему, это вытекало не только из ситуации в СССР, но и из тогдашнего состояния советско-американских отношений, да и из тогдашней американской политики.

Известно, что в 1952 — начале 1953 года «холодная война» достигла особой остроты. 1953—1954 годы рассматривались в США и, насколько можно судить, в СССР как момент наибольшей опасности — то есть риска войны. В США в этой связи развернулась острая дискуссия насчет политической доктрины — с начала «холодной

войны» была принята доктрина «сдерживания» коммунизма (ее справедливо связывают с именем известного американского дипломата и историка, «патриарха» советологии Джорджа Кеннана). Но более консервативные и воинственные круги выдвинули в противовес ей доктрину «освобождения» (освобождения Восточной Европы, части СССР, а может быть, и всего Советского Союза — рамки здесь были неопределенными, нарочито стертыми). Я это очень живо помню, поскольку в 1953 году редактировал для закрытого издания, то есть для руководства СССР, перевод книги Дж. Бернхэма «Сдерживание или освобождение».

Так вот, в ходе избирательной кампании 1952 года в США ряд близких к Эйзенхауэру политиков, а иногда и сам будущий президент выказывали предпочтение идеям «освобождения». И у нас это знали. Победа Эйзенхауэра на президентских выборах, его назначения в кабинете, видная роль, отведенная в нем братьям Даллес — один стал государственным секретарем, другой директором ЦРУ, — убеждали советских лидеров в том, что американская политика в отношении СССР будет еще больше ужесточена.

Потому и для советской общественности, и для многих специалистов и политиков полной неожиданностью стала речь президента Дуайта Эйзенхауэра, произнесенная 16 апреля 1953 года перед редакторами американских газет. В этой речи не только отвергалась доктрина «освобождения», но и давалось понять, что США, если такая возможность будет открыта позицией СССР, готовы к нормализации, улучшению американо-советских отношений.

Что было для всех нас не менее неожиданным — речь перепечатали в «Известиях». Это означало сигнал и американцам, и нашим гражданам, что к словам американского лидера надлежит отнестись серьезно.

И тот факт, что в то же время или чуть позже в «Правде» был напечатан не очень конструктивный комментарий к выступлению Эйзенхауэра, дела не менял.

Хотел бы сделать здесь отступление. Отношение к этой речи Эйзенхауэра как к серьезному сигналу, знали тогда это наши лидеры или нет, было вполне обоснованным. Сравнительно недавно я узнал о некоторых деталях происходивших тогда в руководстве США дискуссий — от Джорджа Кеннана, а затем от американских участников проходившего в Москве в ноябре 1990 года семинара, посвященного памяти Эйзенхауэра (в связи с его столетием).

Вот что рассказал Дж.Кеннан. Он, как известно, был до 1952 года послом США в СССР. Но его объявили (конечно, с ведома, а скорее, по указанию Сталина) «персоной нон грата» и вынудили вернуться домой. Вскоре после инаугурации Эйзенхауэра и назначения на пост государственного секретаря Д.Даллеса (то есть в начале 1953 года) Кеннан был последним принят. Разговор был предельно жестким: «Для вас у меня места не будет. Даю три месяца на поиск новой работы». Даллес кардинально расходился с Кеннаном по идеологическим и политическим вопросам. При этом Кеннан заметил, что никогда не забудет смелость, доброту, гражданское мужество Оппенгеймера, пригласившего его, по сути опального, в Принстонский университет, где Оппенгеймеру предстояло создать исследовательский центр самых продвинутых исследований. Здесь началась вторая, очень успешная карьера Кеннана.

Но несколько дней спустя, продолжал Кеннан, его пригласили в Белый дом. И там он получил лично от президента поручение — возглавить одну из трех «команд», которые, каждая со своих позиций, должны были дать оценку перспективам развития американо-советских отношений после смерти Сталина. Вскоре всех троих руководителей заслушал президент Эйзенхауэр. И поддержал именно Кеннана, представившего самый умеренный, оптимистический и конструктивный сценарий.

Вскоре за этим последовала и упоминавшаяся речь президента — видимо, первый, пробный шар.

К рассказу Кеннана остается добавить, что вскоре ему

все-таки из Государственного департамента пришлось уйти.

Почему мне это кажется важным, имеющим прямое отношение к первым «шагам оттепели», начавшейся после смерти Сталина в СССР? Потому прежде всего, что внешний враг, международная напряженность, внешняя опасность, существующая или просто придуманная, — это одна из важных предпосылок репрессивного режима внутри страны и уж как минимум самая питательная почва для такого режима. И наоборот — оздоровление международной обстановки, снятие напряженности всегда способствуют ослаблению репрессивных начал, жесткого политического режима во внутренней политике.

Так, шаг за шагом, складывались предпосылки духовного пробуждения нашей страны. И оно вскоре началось. Началось так, как нередко случалось и раньше, и позже, — с литературы и публицистики. Они быстрей и решительней реагировали на перемены и, в свою очередь, подталкивали их. Именно в этот период — после смерти Сталина, но до XX съезда КПСС — были напечатаны произведения В.Овечкина и других писателей. Они были непривычно смелы, хотя локализованы на проблемах села и большую политику, равно как и руководителей выше районного масштаба, не затрагивали. Более наглядным предвестником близящихся перемен стала «Оттепель» И.Эренбурга, давшая название всему этому периоду (и многими тут же воспринятая в штыки). За «Оттепелью» последовали «Об искренности в литературе» В.Померанцева, несколько позже — «Не хлебом единым» В.Дудинцева... Особенно быстро возрождалась свободная мысль в поэзии. Именно в эти годы получили общественное признание Е.Евтушенко, А.Вознесенский и Р.Рождественский.

Для интеллектуальной, духовной, а также политической жизни страны все это было крайне важно — без такой идейной и нравственной подготовки труднее и болезненнее была бы воспринята в стране правда о прошлом, высказанная с трибуны XX съезда КПСС. Эти произведения

прозы, поэзии, публицистики на какое-то время стали осью духовной жизни для думающей части общества, символом и барометром перемен, способствовали тому, что число тех, кто начинал думать, учился думать, непрерывно росло.

Подобные произведения создавались, я думаю, и раньше. Но опубликовать их стало возможно лишь в условиях, когда начались перемены в политике. А поначалу писали «в стол», то есть для потомков, не имея надежды увидеть свои произведения опубликованными. Да и опасное это было занятие — особенно, конечно, при Сталине, но в какой-то мере и после него — при Хрущеве и Брежневе.

Сталина поначалу даже не обязательно было публично упоминать, чтобы дать обществу сигнал, что начинается критика, а может быть, и преодоление сталинизма. Прекращение массовых арестов, реабилитация невинно репрессированных, арест и казнь Берии и некоторых других палачей, пусть не поворот, но хотя бы готовность что-то менять в сельском хозяйстве, а в какой-то мере и в промышленности, нащупывание новых позиций и новых путей во внешней политике — все это говорило людям о вызревании перемен. Рождались надежды, которые сами по себе вдохновляли на смелые мысли, а наиболее решительных — и на смелые публикации. Хотя, как не раз потом выяснялось, руководители, то есть те, от кого объективно исходили эти импульсы, сами часто тут же пугались, поворачивали назад, увидев, какие джинны выпущены из бутылки. И потому либо начинали сами бить тех, кто поторопился «высунуться», либо поощряли на такое «битие» других, а в желающих «вдарить» нехватки, как правило, не было.

Одновременно выяснялось, что наше общество перестало быть монолитным, а если быть точным, на деле, несмотря на все усилия властей предержащих, никогда и не было духовно монолитным. Существовавшие подспудно противоречия, острые конфликты вышли наружу. Началась поляризация — для начала довольно элементарная,

знающая лишь две позиции: за перемены — или против; иначе говоря: за отказ от сталинского наследия, сталинских порядков — или за их сохранение. Обе стороны взывали к руководству, на него надеялись. А оно поначалу как раз на этот счет молчало. Молчало потому, что еще не определилось. И, как потом стало ясно, было глубоко расколото именно по этому главному вопросу. Главному на протяжении всей послесталинской эпохи, включая, хотел бы здесь заметить, и годы перестройки. Сегодняшний идеологический ландшафт, спору нет, стал куда более многообразным, пестрым, сложным. Но эта разделительная линия сохранилась, а в чем-то даже обозначилась еще более резко, несмотря на то что сторонники сталинизма сегодня по большей части предпочитают не выступать с открытым забралом.

Вдоль линии, намеченной изначально политикой и литературой, начались споры и дискуссии — прежде всего в общественных науках, но не только в них. Крайне политизированными к этому времени стали и многие отрасли естественных наук: генетика, физиология и др., идейно-политическая борьба затронула даже физику, математику, химию. Появлялись первые неординарные критические статьи, люди начинали свободнее говорить, даже лично незнакомые единомышленники быстро научились узнавать друг друга почти что по символам: отношение к теории относительности и кибернетике, к Лысенко, Кочетову, Грибачеву с Софроновым и к «Оттепели» Эренбурга, к стихам Евтушенко. Впервые за долгое время начали заявлять о себе непривычно яркие, самостоятельно мыслящие люди, включая ученых.

Судьбы их, как правило, складывались потом трудно: почти каждому пришлось пережить жестокие нападки и гонения, подчас длительную опалу, а иногда и репрессии. Ирония судьбы состояла в том, что меньше всего они могли себя выразить там, где, казалось бы, это было наиболее естественно, — в академических институтах, занимающихся общественными науками, и в вузах. Здесь по-прежнему доминировал сталинский догматизм.

Мне довелось быть свидетелем и того, и другого — консерватизма официальной общественной науки и в то же время первых попыток ученых вырваться из его оков, попыток преодолеть старые схемы и теоретические извращения, которые насаждались силой принуждения и страха. А также, конечно, и силой невежества — оно к тому времени стало отличительной чертой целого поколения лидеров обществоведения практически во всех его областях.

Все это я живо помню, поскольку с осени 1953 года начал работать в академическом журнале «Вопросы философии». Журнале своеобразном, созданном с началом послевоенных проработочных кампаний взамен закрытого еще в 1944 году журнала «Под знаменем марксизма», притом с явной задачей «идеологического надзора» не только за философией, но и за другими науками. Собственно, в значительной мере это отражало и функции самой философской науки в сталинскую пору, функции, помимо всего прочего, своеобразного «идеологического полицейского», обеспечивающего должную правоверность, ортодоксальность всех наук, теории, духовной жизни общества в целом.

Очень активно занявшись выполнением этой функции, а также наведением «порядка» в собственном философском доме (там грызня шла непрерывная), работники этой, как и других общественных, науки сами погрязли в непроходимом догматизме и начетничестве, несмолкающей апологетике «великого теоретика» Сталина: бесчисленное количество статей, брошюр и книг было, в частности, выпущено о той «революции», которую произвели в философии, во всей марксистской теории сталинские изыскания по языкознанию. Ну и, конечно, велась яростная, просто оголтелая критика западной философии. Притом на крайне низком уровне, когда критика просто сводилась к брани и оскорблениям.

Мне попалась не так давно на глаза ничем не выдающаяся, но очень типичная в этом отношении статья, опуб-

ликованная в девятом номере журнала «Большевик» (так тогда назывался «Коммунист») за 1951 год, посвященная разбору книги Мориса Корнфорта «В защиту философии». Вот в каких выражениях говорилось там о западной философии: философия современной империалистической буржуазии находится в состоянии деградации и маразма, влачит отвратительное, грязное существование, что отражает всю глубину падения разлагающейся буржуазии. А дальше шли бесконечные ярлыки: отравление человеческого сознания ядом ненависти к человечеству, расизма, космополитизма, раздувание военного психоза и антикоммунистической истерии, пропаганда мистицизма и иррационализма, оправдание самых зверских фактов подавления всего передового и прогрессивного. Позитивистская философия — насквозь реакционна, пережевывает двухсотлетней давности идейки английского попа Беркли. «Логический анализ» «философского мракобеса» Бертрана Рассела — не что иное, как очередной вариант субъективного идеализма, давно уже выброшенного на свалку истории.

Американский философ, основоположник прагматизма Джон Дьюи характеризовался в «Кратком философском словаре» как реакционный буржуазный американский педагог, закоренелый идеалист, идеологический оруженосец американского империализма, стремящегося к мировому господству, участник грязных клеветнических кампаний против Советского Союза.

Впрочем, стоит ли удивляться! Почти в таких же выражениях наши философы долгое время вели «научную полемику» друг с другом, с оппонентами из своей среды, навешивая им самые невероятные обвинения и ярлыки. Так стоит ли стесняться с «инакомыслящими» из числа иностранцев?

После смерти Сталина ветры перемен, конечно, донеслись и до философской науки. Но она оказалась весьма устойчивой против них, зарывшись в долговременных огневых позициях сталинизма. Консервативное руководство Института философии (директором его был тогда П.Н.Фе-

досеев) и редакторы журнала «Вопросы философии» (вначале Ф.В.Константинов, а затем — М.Д.Каммари) всеми силами «держали фронт», опираясь при этом, конечно, на соответствующие отделы ЦК КПСС. Но делать им это становилось уже все труднее.

Естественно, что немалую роль в первых телодвижениях, давших сигнал о некотором оживлении на философском фронте, сыграл именно журнал — у книг длиннее производственный процесс и больше инстанций, на которых их легче остановить. Способствовало этому и то, что журналу повезло с некоторыми членами редколлегии (из них я особо выделил бы Б.М.Кедрова, а также тогдашнего ответственного секретаря М.В.Сидорова). К поиску нового были готовы и многие еще молодые тогда сотрудники редакции (среди них Э.А.Араб-оглы, А.Л.Субботин, Н.Н.Козюра и некоторые другие). Кто не поленится заглянуть в журнал тех лет — пожалуй, с середины 1954 года, — найдет там уже ростки творческой мысли. Выходит ряд статей, критикующих работы «официального» философа Г.Ф.Александрова (в частности, «Диалектический материализм» и «Историю философии», которые он редактировал) за «нигилистическое отрицание значения буржуазных философов», за то, что все творцы великих философских систем прошлого изображаются им просто как идеологи эксплуататорских классов, заботящиеся лишь о защите существующего строя.

В 1955 году дискуссия по проблемам философской науки завершилась полной победой тех, кто решительно отверг и заклеймил как вылазку реакционеров попытки философов А.А.Максимова и Р.Я.Штейнмана, физика И.В.Кузнецова и ряда других авторов объявить теорию относительности несовместимой с марксизмом, повторить в физике то, что сделали Лысенко и Презент в генетике. В 1956 году кибернетика, которую раньше клеймили как буржуазную псевдонауку, была, так сказать, полностью «реабилитирована», признана. На страницах журнала начали наноситься первые удары по лысенковщине (вскоре

ее критика, к сожалению, вновь была напрочь запрещена), делались попытки узаконить, легитимизировать социологию. В журнале начали появляться новые имена, среди них — Е.У.Плимак, Ю.Ф.Карякин, Э.В.Ильенков, А.А.Зиновьев, Мераб Мамардашвили и ряд других.

Примерно так же обстояло дело и в других общественных науках. Не очень скоро, но в них все же начинались дискуссии, борьба мнений, рожденная различием взглядов и позиций, столкновением нового со старым. Однако философии (как, впрочем, и истории, политэкономии, науке о государстве и праве) суждено было еще долго оставаться в целом прежней. Три года поверхностной, то и дело одергиваемой либерализации не могли вспахать, сделать плодородным поле, которое почти тридцать лет утаптывалось мощью государственной и партийной власти, тяжеловесными катками низменных страстей карьеристов, честолюбивых невежд и фанатичных недоучек.

Слушая тогда рассказы маститых философов об истории этой науки с начала тридцатых годов, я невольно вспоминал библейские строки: «У Еноха родился Ирад; Ирад родил Мехиаеля; Мехиаель родил Мафусала; Мафусал родил Ламеха...» и т.д., и т.п. (Быт. 4:18). Только здесь не рождали, а уничтожали. А.М.Деборин и его сподвижники согнали с общественной сцены своих предшественников. А П.Ф.Юдин и М.Б.Митин (опять же со своими сподвижниками) ликвидировали «меньшевиствующих идеалистов» — деборинцев (в основном физически, при помощи доносов в органы госбезопасности: отнюдь не мифом была знаменитая юдинская записная книжка, куда этот «лидер» философской мысли записывал имена тех, кого «надо посадить», и неизменно быстро приводил свои приговоры в исполнение). А выдвинувшиеся перед самой войной Г.А.Александров и его группа оттеснили «юдинцев-митинцев» (а некоторых членов этой группы сумели и посадить), чтобы, в свою очередь, стать жертвой новых фаворитов, диктовавших очередную моду в философии...

И так обстояло дело во многих общественных науках.

«Научные школы» возникали не на базе новых концепций, идей, теорий, а на базе разоблачений, уничтожающей критики, разгрома предшественников — часто своих учителей. Осколки разных групп и периодов этого «слоеного пирога» могли объединиться лишь на платформе отчаянного сопротивления возврату к настоящей науке, к творческому труду. Ибо к нему они были неспособны, этому были, как говорится, не научены. Может быть, потому так трудно, натужно шел процесс возрождения общественных наук?

Но он все же начался. И, возвращаясь к тем временам, я бы решился на такой вывод: к середине пятидесятых годов наше общество несомненно стало более зрячим, трезвее смотрело на себя, освободилось от некоторых иллюзий. Люди начинали думать. Многие ждали и надеялись. Конечно, разные люди на разное, но в целом зрело ощущение необходимости и приближения перемен.

Вместе с тем старое лежало настолько толстым пластом, что XX съезд КПСС, речь Н.С.Хрущева о культе личности Сталина, пожалуй, большинством советских людей были восприняты как гром среди ясного неба, стали сенсацией, глубоко потрясшей партию, все наше общество.

Слухи об этой речи разнеслись по Москве моментально. Подробности, притом абсолютно достоверные, я узнал в тот же день — от академика Юрия Павловича Францева, присутствовавшего на съезде. В то время он работал заместителем главного редактора газеты «Правда», вел в ней международную тематику. Одновременно был членом редколлегии журнала «Вопросы философии», где курировал отдел зарубежной философии и идеологии, в котором работал и я.

Пригласил он меня, чтобы поговорить. И разговор состоялся откровенный, тем более что нас связывала не только работа, но и давнее знакомство — с того времени, когда я учился в Институте международных отношений, а он был его директором. Для тогдашних студентов Ю.П.Францев, замечу попутно, был фигурой почти леген-

дарной — рафинированный интеллигент, что среди людей этого ранга становилось явлением все более редким, видный ученый-египтолог и историк философии — и в то же время человек, уверенно чувствующий себя в политике. Он имел репутацию демократа для студентов и строгого, придирчивого и отличающегося злым языком начальника для преподавателей. Биография Францева складывалась непросто, жизнь его немало корежила, ломала, заставляла приспосабливаться, особенно, когда из института его перевели в МИД СССР заведующим отделом печати — при очень недобром министре А.Я.Вышинском и к тому же на место только что арестованного Зинченко.

В тот вечер, рассказывая о речи Н.С.Хрущева, Юрий Павлович вопреки вполне заслуженной славе скептика и даже, может быть, не вполне заслуженной — циника был искренне взволнован, мало того — ошарашен. Мне запомнились его слова, показавшиеся неожиданными: «Я мог думать, что это когда-то произойдет, должно произойти, но никогда не ожидал, что до этого доживу». Францев был довольно одиноким человеком, почти не имел, исключая жену, друзей и, наверное, испытывал потребность с кем-то поделиться переполнявшими его впечатлениями и эмоциями — потому, видимо, и пригласил меня в тот вечер. Пересказывать то, что он говорил, сейчас, когда «секретная речь Хрущева» опубликована, не имеет смысла, но мне запомнилось, что в ходе разговора собеседник несколько раз переходил почти на шепот — такой страшной ему по привычке казалась правда о Сталине. Хотя удивить вроде бы она уже не должна была. Я, помнится, задал ему вопрос: знал ли он о том, о чем сказал Хрущев, раньше. Он ответил, что знал. «Обо всем?» — «Пожалуй, обо всем, кроме разве что некоторых деталей».

На следующий день о том, что «Хрущев разоблачил Сталина», говорила вся Москва. А еще пару дней спустя — вся страна. И хотя основные положения речи для всех, кто интересовался политикой, три года спустя после смерти Сталина, казни Берии, многих разоблачений и реа-

билитации не могли быть такой уж неожиданностью, общее состояние иначе, чем шоком, не назовешь. Оказалось, что то, о чем ты догадывался, а в последние годы, в общем-то, даже знал, обсуждал в кругу близких друзей, воспринимается совершенно иначе, когда зачитывается с трибуны партийного собрания (а речь Хрущева вскоре начали читать во всех первичных парторганизациях).

Оглядываясь назад, понимаешь, что XX съезд, сказав вслух правду о многом, не столько дал нашему обществу ответы, сколько поставил перед ним важные, непривычные вопросы — и в этом его историческое значение. Ответов тогда ни у кого не было, важно было со всей остротой поставить главный вопрос — о необходимости перемен, поиска новой модели социализма (или в качестве единственной альтернативы — отказ от него), — о чем-то другом тогда еще мало кто мог думать. Но для того, чтобы убедительно этот вопрос поставить, надо было сказать жестокую правду о прошлом. Разоблачение Сталина, его преступлений было самым эффективным, что в этом плане мог сделать Н.С.Хрущев.

Другое дело, что после его доклада (не побоюсь сказать — исторического доклада, хотя Хрущев был не во всем последователен и до конца правдив) далеко не все пошло в правильном направлении. На то, наверное, были свои причины.

Во-первых, объективные. Сталинщину, ее наследие, как потом все убедились, можно было преодолеть лишь в борьбе — длительной, острой, охватывающей самые разные стороны общественной жизни. Даже самый совершенный доклад, самое продуманное решение съезда не могли заменить, даже предвосхитить эту борьбу, огромную работу по переделке и людей, и общества.

И во-вторых, причины субъективные. Положение в руководстве было таково, что за предыдущие три года партию, народ все же не удалось должным образом подготовить к крупнейшей политической акции, предпринятой на XX съезде КПСС, — к разрыву со сталинским про-

шлым, крутому повороту в политике. Видимо, по тем же причинам XX съезд не смог выдвинуть позитивную программу преодоления наследия сталинщины хотя бы на первые годы.

Ссылаясь на положение в руководстве, я имею в виду не только очевидный факт неприятия XX съезда и критики Сталина значительной частью членов Политбюро (тогда называвшегося Президиумом ЦК) — Молотовым, Маленковым, Кагановичем и некоторыми другими. Дело было в самом Хрущеве, в его позиции, в его непоследовательности. Истоки этой непоследовательности — вопрос, опять же вызывающий споры. В этой связи говорят, во-первых, о том, что Хрущев не мог быть последовательным, так как сам, как и все другие лидеры того времени, участвовал в репрессиях. Во-вторых, о том, что он нес на себе — и в себе — тяжкий груз убеждений, нравов, методов и подходов, которые иначе, как сталинскими, не назовешь. А в-третьих, о его личных недостатках — необразованности, импульсивности, грубости, неумении владеть собой.

Думаю, и то, и другое, и третье имело место и сказалось на политике. Но, мне кажется, была и еще одна важная причина, не позволившая руководству партии выработать последовательную политику десталинизации. Она относится к мотивам, которые толкали Хрущева к критике Сталина. Не вызывает сомнений, что жестокость, коварство, деспотизм Сталина отталкивали Хрущева, вызывали у него осуждение и даже отвращение. Было и чувство личной обиды за унижения, которые ему пришлось терпеть от Сталина, в том числе, я думаю, за подавляющий человеческое достоинство постоянный страх. Но я уверен, что присутствовал и еще один очень весомый мотив. Это — борьба за власть, в которой Н.С.Хрущеву противостояла старая сталинская «гвардия», прежде всего Молотов, Маленков, Каганович. А поначалу также и Берия. Судьба Хрущева — свидетельство крайней остроты конфликта (в соответствии с действовавшей еще сталинской традицией

поражение могло означать и физическую смерть — не только политическую). В этой трудной и опасной борьбе критика Сталина и сталинизма не могла не рассматриваться Н.С.Хрущевым как одно из его главных орудий, временами даже как самый крупный козырь.

Н.С.Хрущев за предыдущие три года физически убрал одного — Берию — и отодвинул еще двух своих соперников — Маленкова и Молотова, сняв с занимаемых постов и подвергнув очень жесткой критике в закрытых письмах ЦК КПСС, зачитывавшихся на собраниях первичных парторганизаций. Это сыграло немалую роль в решении выступить с разоблачением культа личности Сталина на XX съезде партии. Думаю (в какой-то мере это подтверждается воспоминаниями сына А.И.Микояна С.А.Микояна), что здесь Хрущев пошел против воли значительной части членов Президиума, оказал на них давление, а возможно, даже далеко не все с ними согласовал, поставив их на съезде перед свершившимся фактом.

Насколько можно судить, критика культа личности Сталина была в руках Хрущева одним из важных инструментов в борьбе за политическое выживание и на июньском (1957 года) Пленуме ЦК КПСС, последовавшем за драматическими заседаниями Президиума ЦК, на которых против Хрущева высказались большинство. Пленум охарактеризовал Молотова, Маленкова, Кагановича и, как тогда писали, «примкнувшего к ним Шепилова» как антипартийную группу, хотя примкнули к ним также Ворошилов, Булганин, Сабуров, Первухин. Документировать это предположение я не могу, поскольку не читал стенограмму этого архисекретного Пленума, но в правильности самого предположения практически уверен.

Зато на XXII съезде КПСС линия Хрущева на то, чтобы использовать критику культа личности Сталина для борьбы со своими политическими противниками, проявилась совершенно неприкрыто и однозначно. Хотя в то время у многих вызвал некоторое удивление (у меня, не скрою, — приятное) тот упор, который без видимых причин был

сделан на критику Сталина и его еще живых соратников в докладе и практически во всех выступлениях. Казалось бы, на XX съезде уже сказали, и, если иметь в виду самого Сталина, сказали больше. А что до Молотова, Маленкова и других членов антипартийной группы, то они уже были исключены из партии, политически и морально уничтожены. Зачем же делать это практически главным вопросом съезда? Объяснение нахожу лишь одно: Н.С.Хрущев опасался (может быть, даже имел на сей счет информацию), что члены антипартийной группы попытаются апеллировать к съезду, чтобы взять реванш за июньский Пленум. Основанием могло послужить то, что они обратились к съезду с заявлением о восстановлении в партии. И это как раз и могло спровоцировать Хрущева на то, чтобы повернуть дискуссию на съезде в антисталинское русло. Что, в общем, по тем временам продолжающихся шатаний и неустойчивости в вопросе о Сталине было полезным и, мне кажется, затруднило попытки ряда консервативных деятелей уже после устранения Хрущева (в частности, на XXIII съезде партии) отменить решения XX съезда КПСС.

Какие есть основания считать: мотивы борьбы за власть играли большую, а может быть, и очень большую роль в решении Хрущева пойти на разоблачение того, что назвали культом личности Сталина, а на деле — его преступлений? По-моему, очень веские.

Среди них я назвал бы прежде всего очевидную непоследовательность самого Хрущева в критике сталинизма, его нескончаемые метания между разоблачениями творившихся тогда преступлений и рассуждениями о заслугах покойного «вождя». В том числе и прежде всего о заслугах «в борьбе с врагами партии», то есть именно в той области, где начались и обрели чудовищный размах преступления, обратившиеся в массовые репрессии и террор против своей же партии и своего народа. Соответствующие похвальные формулы вошли и в спешно подготовленное уже после опубликования «секретной речи Хрущева» газетой «Нью-Йорк таймс» решение ЦК КПСС «О культе лично-

сти Сталина и его последствиях», на долгие годы ставшее единственным каноническим документом на эту архиважную тему.

Колебания Н.С.Хрущева по этому вопросу были совершенно очевидны. И первое, в чем они проявились, — это в отсутствии четкой идеологической и политической позиции даже непосредственно после XX съезда партии. Хрущев все же мог и должен был ее сформулировать при всех противоречиях в руководстве. XX съезд дал ему огромную силу и авторитет. Между тем уже на партийных собраниях, посвященных обсуждению решений съезда, выявилось, что после первоначальной растерянности старые руководящие кадры в партийных органах быстро пришли в себя, постарались максимально ограничить воздействие идей съезда, а тех, кто воспринял XX съезд всерьез, хотел идти дальше, — примерно наказать в назидание другим. Сам же Хрущев в дни, когда вся страна и вскоре весь мир бурлили в острых дискуссиях, когда задавалось множество вопросов, остававшихся без официального ответа, отмалчивался, а иногда в мимолетном обмене репликами с иностранными журналистами даже позволял себе двусмысленные высказывания.

Не хочу, чтобы эти мои оценки были поняты как попытки принизить заслуги Н.С.Хрущева, тем более — изобразить его беспринципным политиканом и интриганом. Таким он был не в большей мере, чем другие наши политики того нелегкого времени. Дело, скорее, в том, что во многих своих представлениях Хрущев был и не мог не быть истинным порождением сталинской эпохи. А она обязательно прививала политикам страх и заставляла их следовать определенным правилам самосохранения. Те, кто не обладал этими качествами, просто гибли уже на первых ступенях лестницы, которая вела к политической карьере.

Но я не могу не принять во внимание убежденности людей, в отличие от меня лично знавших Хрущева, что в своей критике Сталина, неприязни к нему он был искре-

нен. И что природный крестьянский ум Н.С.Хрущева, а еще в большей мере, наверное, политический инстинкт нередко подталкивали его к решениям, которые объективно были направлены на развал сталинской системы. Эти решения часто были импульсивны, неуклюжи, плохо продуманы, но целью их было освободить общество от того, что неизбежно вело в перспективе к его параличу. Таким решением люди, лично знавшие Хрущева, с которыми я обсуждал эту проблему, считают, например, его пусть нескладную, но очень смелую попытку создать, по существу, две партии в нашей стране — «городскую» и «сельскую». Эта попытка могла рассматриваться не только как дилетантская импровизация, но и как вполне сознательный шаг к подрыву монополии всесильного бюрократического аппарата. Допускаю, что все так и было. Политика — это равнодействующая, которая складывается из множества приложенных сил и факторов.

И среди них я хотел бы назвать еще один.

У меня уже тогда закралось подозрение: не испугался ли и не растерялся ли после XX съезда КПСС Хрущев, увидев, что он сделал, каких духов разбудил? Сейчас я в этом уверен и считаю это одной из величайших ошибок Хрущева. В партии, народе была высечена искра надежды, пробуждены вера, даже искренний энтузиазм, энергия борьбы за очищение общества, за подлинно социалистические идеалы. К тому же XX съезд на какое-то время напугал, сковал сталинистскую бюрократию, подорвал позиции консерваторов. В этой уникальной ситуации на волне подъема наиболее активной, творческой части общества, используя пробудившуюся общественную энергию, можно было бы продвинуться далеко вперед — много дальше, чем удалось на практике. И уж во всяком случае, устранить элемент провокации: люди начали самостоятельно мыслить, говорить, писать, что думают, а уже через несколько месяцев их снова попытались загнать в тесные рамки предписанного сверху. А тех, кто был особенно активен, наказали, подвергли проработке.

И уже к концу 1956 года все, казалось бы, вошло в старую колею.

Характерно, что Хрущев не решился (или не смог) опубликовать свой доклад на XX съезде в собственной стране — это было сделано лишь в годы перестройки, много лет спустя после его смерти. Есть версия, что ему не позволили сделать это раньше другие члены Президиума ЦК. И потому он даже сознательно передал его подробное, почти дословное изложение для публикации на Западе через тогдашнего корреспондента агентства Рейтер Джона Ретти, на которого вывели человека, назвавшегося Костей Орловым, судя по всему, работника КГБ (см. «Московские новости» от 11 июля 1990 года). Но ведь потом, скажем, после июньского (1954 г.) Пленума ЦК, изгнавшего Молотова, Маленкова, Кагановича и ряд других деятелей из руководства партии (а затем — и из партии), Хрущев мог бы это сделать. Тогда ему уже никто не мог помешать. Но не сделал. Не сделал, скорее всего, потому, что боялся, не решался на этот важный шаг.

Осенью 1956 года, когда произошел откат, могло казаться, что все вернулось к старому. На деле, однако, в эту старую колею ничто по-настоящему войти не могло. Хотя сами попытки загнать только-только рождавшееся новое в жесткие рамки в основе своей старых воззрений сбили порыв, в значительной мере погасили энергию обновления. Сложилась нелепая ситуация своего рода идейно-политического «двоевластия», когда общество, долгое время приучавшееся к единомыслию, к тому, чтобы следовать четко заданной сверху линии, запуталось, смешалось, растерялось. В результате были потеряны и общественная энергия, и темп, и драгоценное время.

Размышляя уже потом о причинах такого поведения Хрущева, его растерянности, даже страха в момент его величайшего, по сути, исторического триумфа и невиданных возможностей, я относил их также за счет некоторых «внешних» обстоятельств. И прежде всего за счет осложнений, вызванных критикой культа личности Сталина в стране и

за рубежом, накладывавшихся, судя по всему, на отсутствие четкой антисталинистской позиции у самого Хрущева.

Если говорить об осложнениях в стране, то речь идет главным образом о «брожении», воспринятом в качестве оппозиционных настроений — особенно среди интеллигенции и молодежи. Хотя на деле, как правило, речь шла именно о попытках понять, осмыслить XX съезд, сделать из него должные выводы. Но Хрущева, не говоря уж о других руководителях, это, судя по всему, серьезно напугало. Наиболее наглядное подтверждение тому — его встречи с представителями творческой интеллигенции, многочисленные высказывания на сей счет — часто сталинистские по содержанию. И еще более разнузданные, чем у Сталина, по форме. (Я сознательно не касаюсь здесь трагедии в Тбилиси, где было применено оружие против демонстрации студентов в защиту Сталина, — это эпизод, хотя и очень печальный, но не укладывающийся в ясно выраженную тенденцию.) В целом внутри страны ничего действительно способного послужить основанием для попятного движения и колебаний руководства не произошло. Главным внутренним источником этих колебаний было, скорее, сопротивление линии XX съезда со стороны консервативных сил общества, сопротивление, впрочем, понятное, даже неизбежное, а также неясная, можно даже сказать, двусмысленная позиция самого Хрущева.

Что касается событий за рубежом, то они вскоре приняли драматический характер.

В полосу острых трудностей вступили, в частности, коммунистические партии капиталистических стран. И это тоже понятно. Объективно получилось так, что Хрущев, по сути, подтвердил многое из того, что говорили об СССР и социализме враги коммунизма, но во что коммунисты не верили и, убежденные в своей правоте, оспаривали. В результате последовало разочарование многих коммунистов, отток из партий, отход значительной части сочувствующих, особенно из числа радикальной левой интеллигенции. В некоторых партиях усиливались немысли-

мая раньше тенденция критического отношения к КПСС и Советскому Союзу, стремление к идеологической, а во многом и политической самостоятельности, поиску новой тактики и т.д. В одних партиях происходили внутренние кризисы, откол каких-то фракций, в других — изменение общего их курса.

И находилось немало людей, в том числе внутри страны, которые возлагали вину за все это на Хрущева и XX съезд.

Это — очень серьезные обвинения, и они стали достаточно традиционным оружием консерваторов в тех ситуациях, когда политик, политическое руководство оказываются перед необходимостью исправлять допущенные в прошлом ошибки и тем более раскрывать преступления, что, естественно, вызывает соответствующую реакцию общественности. Вину за такую реакцию в подобных случаях пытаются возложить не на тех, кто ошибки и преступления совершал, а на тех, кто пытается сказать о них правду и их исправить. Так происходило и после XX съезда, хотя речь шла о неизбежной, рано или поздно должной наступить расплате за злодеяния Сталина и за то, что зарубежные коммунистические деятели столь упорно их не замечали, даже оправдывали или отрицали, считая (многие — искренне, кто-то — будучи обманутым), что все, в чем долгие годы обвиняли советское руководство, — пропагандистские измышления антикоммунистов.

Дело здесь осложнялось и тем, что измышления такие действительно фабриковались начиная с 1917 года, и это служит одним из объяснений недоверия иностранных друзей Советского Союза также и к достоверным сведениям о том, что делалось в СССР в тридцатые годы и позже, включая очевидные всем, неоспоримые факты. Ну а кроме того, у очень многих зарубежных коммунистов была святая, почти фанатичная вера в Советский Союз и в Сталина, нередко благородная по мотивам, но в принципе чуждая марксизму («Все подвергать сомнению!» — забытый девиз Маркса).

Она, эта вера, утвердилась в сознании тысяч и тысяч людей, в том числе честных, умных, подчас выдающихся. На то, конечно же, были свои исторические причины. Такие, как катастрофа Первой, а затем Второй мировой войны, ужасы фашизма, тяготы «великого кризиса» 1929—1932 годов. Все это порождало у левой зарубежной общественности и в рабочем движении страстное желание, даже жизненную потребность иметь надежду на светлое будущее. Для очень многих легче всего ее оказалось тогда обрести в лице Страны Советов, а потом незаметно делался следующий шаг: надежда на светлое будущее связывалась с именем ее «вождя». И кстати, надежда на Советский Союз, если быть объективным, вовсе не была только иллюзией или обманом. СССР был главной антинацистской силой, он сыграл решающую роль в разгроме фашизма во Второй мировой войне, спасении Европы от нацистского рабства.

Безусловно, сегодня, много лет спустя, можно бросить зарубежным коммунистам, особенно их руководителям, упрек за слепую веру, которая дорого обошлась прежде всего самим их партиям. (Я здесь не говорю о тех зарубежных коммунистических деятелях, которые сознательно участвовали в создании культа личности Сталина и даже в его преступлениях, — к сожалению, были и такие.) И в конечном счете вера эта не только помогала (чего тоже нельзя отрицать — вспомним движение «Руки прочь от Советской России!», ускорившее прекращение интервенции сразу после революции 1917 года), но и мешала нам, устранив из нашего политического процесса важный фактор — общественное мнение коммунистов, который в какие-то периоды, возможно, мог сдерживать Сталина.

Но не менее важно видеть и объективные причины этих заблуждений. Основная тяжесть ответственности за них не на зарубежных коммунистах, а на тех, кто совершал эти преступления. Огромна вина Сталина и его окружения не только перед зарубежными коммунистами, но и перед рабочим движением и левыми политическими дви-

жениями и силами мира. Вина за то, что он творил в стране, компрометируя социализм, грубо пренебрегая международной ответственностью руководства государства, называющего себя социалистическим. И за то, что творил в мировом коммунистическом движении при помощи репрессий (их жертвами стали многие деятели Коминтерна и даже целые партии, в частности, польская), интриг и оглушающей пропаганды, насаждая там сектантство, авторитарные порядки, слепое послушание и культ своей личности.

Мне довелось знать немало зарубежных коммунистов, среди них у меня есть друзья, и я хорошо понимаю те трудности и проблемы, с которыми они столкнулись после XX съезда КПСС, а затем и в годы перестройки. Потому я остановился на них подробнее.

Но вернемся в год 1956-й. Тогда ситуация, сложившаяся внутри страны и за рубежом, оставляла, как мне кажется, перед Хрущевым два выхода. Один заключался в том, чтобы смело идти вперед, — с одной стороны, признав полный суверенитет, дав полную самостоятельность каждой партии в поиске путей выхода из трудностей, с которыми она столкнулась, а с другой — сосредоточившись на смелых внутренних реформах, которые подняли бы авторитет КПСС и Советского Союза, умножили притягательную силу идей, на коих бы строился курс обновления социализма. Второй путь (как это и произошло внутри страны): поспешить дать отбой, ограничившись лишь немногими уступками новым реальностям мира, которые были сделаны на XX съезде КПСС (имею в виду «освящение» до тех пор крамольных идей о возможности избежать войны, о возможности мирного перехода к социализму и признании разных путей его строительства и некоторых других). Но в этом случае возникала необходимость по мере сил удерживать партии от более глубокого переосмысления идеологических проблем, политики и тактики. И пытаться одновременно как-то вновь «организовать» международное коммунистическое движение, в определенной

мере его «дисциплинировать». К сожалению, был избран второй путь. Он не мог принести и не принес желаемого успеха. Хотя, честно говоря, я не уверен, что объективные условия и так называемые субъективные факторы, то есть личные качества Хрущева и положение в руководстве страны, открывали тогда возможность иного выбора. Конечно, даже считая этот иной выбор предпочтительным, никак нельзя сбрасывать со счетов некоторые положительные моменты первых международных совещаний коммунистических и рабочих партий (тем более что они последовали за роспуском «Коминформа» и начались как раз с 1956 года) и создания в 1958 году международного марксистского журнала «Проблемы мира и социализма». Но остается фактом, что нарастания трудностей в коммунистических партиях этими мерами остановить не удалось, как не удалось полностью преодолеть и наш великодержавный (в данном случае правильнее было бы сказать «великопартийный») подход к другим компартиям, как и сектантство и догматизм в решении проблем, с которыми сталкивалось мировое коммунистическое движение.

Пожалуй, наиболее пагубные последствия такого выбора были связаны с тем, что трудности в коммунистическом движении помогли склонить Н.С.Хрущева к тому, чтобы замедлить, а не ускорить преодоление сталинизма, осуществление реформ, и прежде всего демократизацию политической и общественной жизни страны.

Еще более очевидной была такая реакция Хрущева, тогдашнего руководства в целом на политический кризис в ряде стран Восточной Европы, в особенности в Венгрии, а также в Польше.

Внутри СССР бурные события в этих странах отозвались в конечном счете очень болезненно, сначала, правда, оживив политическую дискуссию, но затем ускорив ее зажим, дав консерваторам, сталинистам не только одобренный сверху предлог, но действенное оружие борьбы с теми, кто действительно принял XX съезд. Ибо в свете этих событий обрели плоть призраки контрреволюции и

антисоветской деятельности, которые давно уже использовались у нас для подавления не только инакомыслия, но и вообще элементарной свободы мысли.

В том, что это оружие начали тут же активно использовать, я вскоре убедился на личном опыте. В 1956 году журнал «Вопросы философии» опубликовал несколько смелых статей, в том числе в номере пятом — получившую широкий отклик статью Б.А.Назарова и О.В.Гридневой «К вопросу об отставании драматургии и театра». За это сразу после событий в Польше и Венгрии журнал вместе с некоторыми другими органами печати был подвергнут проработке. Среди снятых с перепугу материалов было первое в нашей стране социологическое исследование «О причинах преступности в социалистическом обществе (на материалах Горьковской области)», подготовленное мною и Э.А.Араб-оглы, о чем я сожалею до сих пор. А вокруг меня сложилась обстановка, вскоре вынудившая меня оставить работу в журнале.

Словом, в течение ряда лет для политических и идеологических работников обвинение в том, что они-де толкают нас к «венгерским событиям» или разделяют «польские настроения», оставалось весьма опасным. Думаю — хотя не могу это документально подтвердить из-за недоступности стенограммы июньского (1957 года) Пленума и протоколов (если они велись) предшествующих заседаний Президиума ЦК КПСС, — что события в Венгрии и Польше использовались сталинистами для борьбы с идейными противниками не только «на низах», но и в руководстве партии и страны. В частности, едва ли без этого обошлось в предпринятой Молотовым, Маленковым и их сторонниками в июне 1957 года попытке отстранить от власти Н.С.Хрущева.

Сам факт сложной взаимосвязи событий в странах, получивших впоследствии название Социалистического Содружества, и внутреннего развития СССР очевиден и во многом естественен, во всяком случае, на первых этапах. Но, к сожалению, эта взаимозависимость чаще имела для

самого Советского Союза (а также, конечно, и для других стран Содружества) негативные последствия. Ниже я еще коснусь этого вопроса в связи с событиями 1968 года в Чехословакии и, конечно, в связи с развитием событий в Китае в шестидесятых, а затем и восьмидесятых годах, хотя тут ситуация складывалась особая, заслуживающая специального рассмотрения. Почему дело, как правило, оборачивалось во вред нам, нашим реформам? Думаю, в значительной мере по нашей же вине.

Начиная со сталинских лет и до самого последнего времени мы считали (во всяком случае, таковой была официальная точка зрения и у нас, и в других странах социалистического содружества), что построили у себя единственно правильный социализм. Другим же странам, при скромном праве учитывать при выработке деталей экономического и политического устройства национальные особенности, оставалось наш опыт воспроизводить, копировать. А потому всякий отход от советской модели, советского образца воспринимался как ересь, как попытка создать другую всеобщую модель социализма, что бросало нам вызов. Такая универсализация своего опыта, своей модели невольно заставляла наших людей, наблюдая за тем, что происходит в других странах Содружества, примерять все на себя: лучше это, чем у нас, или хуже? В этих условиях ход событий в других странах действительно воздействовал на внутреннюю борьбу, способствуя поляризации мнений и настроений, укрепляя позиции одних, ослабляя позиции других. И, разумеется, наоборот — те или иные перемены в твоей стране вызывали острую реакцию у соседей и подчас сбрасывали их с рельсов как последний вагон длинного поезда на слишком крутом повороте.

Ситуации создавались взаимоопасные, постоянно подстегивавшие желание наших лидеров повлиять на ход событий у соседей, а то и вмешаться в их дела. Ибо развитие там каких-то процессов могло восприниматься не только как нежелательное, но и как угрожающее нашей внутрен-

ней стабильности. В годы перестройки, когда мы наконец перестали претендовать на монополию на истину, на «единственно настоящий социализм», отказались в принципе от вмешательства во внутренние дела своих друзей и союзников, положение радикально изменилось как для нас, так и для них. События в другой стране перестали восприниматься как наше внутреннее дело, что устраняло и мотивы для вмешательства. А потому были предотвращены и многие внешнеполитические осложнения.

Конечно, эта перемена в нашей внешней политике имела далеко идущие последствия: руководство многих стран — в том числе ГДР, Румынии, Чехословакии, Болгарии — не проявило своевременной готовности к обновлению общества, упорно, подчас демонстративно оставалось на старых позициях, сформировавшихся в свое время пусть в значительной мере под нашим влиянием или давлением, но сейчас сохранявшихся вопреки тем процессам, которые развернулись в СССР. В этом состоял жестокий исторический парадокс: отказавшись вмешиваться в их дела, мы отказались силой исправить и то плохое, что было им навязано силой раньше. А запоздание привело к усилению внутренней напряженности и последовавшему за ним взрыву. В ряде стран — с немалыми издержками не только для наших друзей, но и для демократических сил в целом.

В свете драматических перемен, охвативших в 1989 году страны Восточной и Центральной Европы, наша новая политика в отношении их стала в Советском Союзе объектом не только дискуссии, но и острой политической борьбы. С трибун пленумов и съездов ЦК КПСС, а затем и в парламенте политическое руководство — в особенности М.С.Горбачев и Э.А.Шеварднадзе — подверглось острой критике со стороны консерваторов, сторонников имперских традиций и амбиций. Они ставили руководству страны в вину то, что его курс привел к «развалу социалистической системы», утрате «буферной зоны», подрыву безопасности страны. Я решительно не согласен ни с одним из этих обвинений.

Социалистическая идея — а я в нее не утратил веры и сегодня — это часть человеческой цивилизации. Мы найдем ее истоки в раннем христианстве, в трудах великих просветителей и лидеров демократических движений последних нескольких веков. Но претворяться в жизнь социалистическая идея не может вопреки воле народа. Мы попытались оспорить эту истину (кстати, теоретически свойственную классическому марксизму), форсировав, навязав ряду стран Европы силой социалистические — в нашем понимании этого слова — преобразования. Как только последовал отказ от политики «социалистического принуждения», выяснилось то, чего можно было ожидать: в этих странах «социализм» нашего образца не пустил, да и не мог пустить собственных корней, не обрел жизненной силы.

Это — социальная сторона проблемы. Что касается ее внешнеполитических аспектов, то обвинения в адрес М.С.Горбачева и Э.А.Шеварднадзе в утрате «буферной зоны» («Кто потерял Восточную Европу?») пронизаны неприемлемым имперским мышлением и просто не отвечают реалиям сегодняшнего мира. Реалиям, не оставляющим в нашу эпоху места ни для империй, ни для претензий на превращение суверенных государств в свои «буферные зоны». А представления критиков о том, что подрывает, а что укрепляет безопасность, тоже неверны, противоречат новым структурам и реальностям международных отношений.

Много позже — 15 июня 1990 года — мне довелось выступать по некоторым из этих проблем на заседании Комиссии ЦК КПСС по вопросам международной политики. Я бы хотел вкратце повторить то, что сказал там.

Наша безопасность не пострадала от того, что мы перестали рассматривать в качестве союзников людей из числа руководителей некоторых стран Восточной и Центральной Европы, продававших НАТО советскую секретную военную технику (печать сообщала, что этим систематически занимались Чаушеску и в прошлом ряд польских деяте-

лей). Тем более не могут быть надежными союзниками страны и народы, которые удерживались в составе союза силой. Наоборот, наступивший наконец «момент истины», выяснение реального положения вещей только укрепили нашу безопасность.

Кроме того, чтобы поддерживать существование этого псевдосоюза, нам не только приходилось дорого платить, но и раз за разом прибегать к вооруженному вмешательству: в ГДР в 1953 году, в Венгрии в 1956-м, в Чехословакии в 1968-м. Могли мы оказаться на грани таких действий и в отношении Польши. Каждый раз это вело к обострению напряженности, ухудшению отношений с Западом, подстегивало гонку вооружений. И покуда существовал не подлинно добровольный, а основанный на принуждении союз, существовала и возможность новых интервенций со всеми их возможными последствиями, вплоть до крупного вооруженного конфликта в Европе. Разве это вклад в безопасность?

Все это мы (и то не все) прочувствовали, однако, позже. Тогда, в 1956 году, от этой ступени развития политического понимания и политики нас отделяло много лет. И при отсутствии должных политического опыта и политической зрелости ситуация, увы, виделась руководству иначе.

Яркая иллюстрация тому — вооруженное вмешательство в события в Венгрии. (Хотел бы, правда, оговориться: наши действия в немалой степени были связаны со всей тогдашней международной обстановкой, с «холодной войной», рожденными ею страхами и представлениями, а также с тем, что события в этой стране подогревались пропагандой и секретной деятельностью США, и это, по тогдашним нашим представлениям, оправдывало вмешательство.) Венгрии эти события стоили дорого. Но немало пришлось заплатить за них и нам. Прежде всего торможением в политике десталинизации и реформ, и без того сталкивавшейся со многими трудностями.

Международные осложнения усугубляли и без того непростую обстановку в руководстве, острую, временами

драматичную внутреннюю борьбу. Это еще больше затрудняло Н.С.Хрущеву проведение последовательной политики преодоления сталинизма. Но мне не хотелось бы сводить дело к внешним обстоятельствам. Не вызывает сомнений тот факт, что предпринятая тогдашним советским руководителем на XX съезде резкая критика И.В.Сталина была отчаянно смелым шагом, но «шагом в неизвестное», навстречу проблемам, многие из которых он, скорее всего, даже не мог предвидеть. Мне не раз потом приходило в голову, что такой шаг требовал даже какой-то авантюристической жилки, и она, представляется, присутствовала в характере, психическом складе, темпераменте Никиты Сергеевича, став предпосылкой его отдельных успехов, так же как и причиной многих его ошибок и неудач.

При всем значении объективных факторов нельзя не видеть, что возникавшие трудности, как правило, оставляли не один, а несколько вариантов действий. И если Хрущев часто, слишком часто избирал тот из них, который вел не прямо вперед или совсем не вперед, а предусматривал движение зигзагами, подчас даже в сторону, а то и назад, то причина тому, как мне кажется, уже не только объективные обстоятельства, но и определенные идейные и политические установки самого этого человека.

Его десятилетнюю деятельность нельзя свести к XX съезду, ряду других крупных правильных решений во внутренней и внешней политике. Были и серьезные ошибки либо даже негативные, устремленные не вперед, а назад решения. И они отнюдь не всегда навязывались ему кем-то или чем-то извне. Хрущев, хотя и имел немало дурных советников, несомненно, был, что называется, самим собой, обрушившись вскоре после XX съезда на творческую интеллигенцию (он делал это не раз и в последующем), а также возродив монополию Т.Д.Лысенко в биологии. Когда одного из подручных этого лжеученого завалили на выборах в Академию наук СССР, дело чуть не дошло до разгона Академии — так разгневался Никита Сергеевич. При нем осуществлялась позорная травля Бориса Пастер-

нака. И произошел безжалостный расстрел протестующих против повышения цен рабочих в Новочеркасске. Я не говорю уж о неверных экономических и внешнеполитических решениях. Но дело даже не в этих конкретных акциях. В них, судя по всему, тоже проявилась какая-то органическая сторона Хрущева как политика, как государственного деятеля.

На нее, эту сторону, проливают, мне кажется, некоторый свет воспоминания Н.С.Хрущева. Я имею в виду не только тот факт, что и на склоне лет, уже отойдя от дел и не преследуя никаких политических целей (а значит, искренне), он не удержался от похвалы И.В.Сталину, в том числе снова за то, что он «решительно боролся» с врагами. Еще показательней в этом плане его воспоминания о начале собственной партийной карьеры. Ведь это факт, что уже в конце жизни, очень многое испытав и о многом передумав, Хрущев с нескрываемым упоением, ничуть не сомневаясь в своей правоте, не испытывая ни малейшего укора совести, рассказывает о годах, проведенных в Промышленной академии, почти только одно — как там боролись с «правыми», «левыми» и прочими врагами, как он активно участвовал в этой борьбе, стал одним из ее лидеров, как именно это привлекло к нему благосклонное внимание Сталина, узнавшего о «ратных» подвигах Хрущева от своей жены, тоже учившейся в академии.

Н.С.Хрущев по всему складу ума и души — «дитя» сталинизма. Он взрос в то время, когда не требовалось ни знаний, ни компетентности, а лишь безоговорочное послушание и готовность бросаться в атаку на любого врага, которого ему сверху укажут (или подскажут) либо которого он, исходя из собственного понимания обстановки и соответствующим образом работающего политического инстинкта, обнаружит сам. Следуя этому инстинкту, он почти без сбоев, с меньшими, чем многие другие соратники Сталина, потерями прошел самые тяжелые годы сталинизма — с начала тридцатых и до самого конца «сталинской эпохи», все время поднимаясь со ступеньки на ступеньку,

а к моменту смерти И.В.Сталина (в отличие, скажем, от А.И.Микояна, даже В.М.Молотова и ряда других), будучи вполне в чести, смог в марте 1953 года занять одну из самых сильных политических позиций. Став же единоличным лидером, проявил похожую на сталинскую страсть к единоличной власти, поклонению и подхалимству окружающих, их беспрекословному послушанию (хотя все это — уже, так сказать, в «мирских», секулярных, а не религиозных формах, не столь, что ли, необузданно и, главное, несравненно менее жестоко — во всяком случае, почти без крови и тем более без пыток).

Все это не могло не сказаться и на его политике. Словом, получилось так, что движение вперед шло не только медленно, но и очень неровно, то и дело замирая, останавливаясь, прерываясь, откатываясь назад, чтобы потом смениться новым продвижением, как правило, под воздействием каких-то очередных политических событий, заставлявших Н.С.Хрущева во имя сохранения власти делать новый шаг вперед.

Так, из оцепенения и известного отступления после венгерских и польских событий партию вывел июньский (1957 года) Пленум ЦК КПСС, на котором была сделана первая попытка свергнуть Н.С.Хрущева. Потом снова наступил длительный период политической летаргии, прерываемой начавшейся полемикой с китайским руководством — в центре ее был также спор о XX съезде, о роли И.В.Сталина — и XXII съездом КПСС.

Все это сказано не для того, чтобы принизить действительно большие заслуги Н.С.Хрущева. А для того, чтобы более полно и точно представить себе и его, и его время, и его место в истории.

Удивляться противоречивости политического облика этого деятеля не приходится. Если бы он не был в каких-то очень важных своих убеждениях и установках, в своем характере искренним единомышленником Сталина, он не только не стал бы его преемником, но и не выжил бы физически. Так что даже ту положительную роль, которую

сыграл Н.С.Хрущев в нашей истории, мог сыграть только человек, в большей или меньшей мере наделенный этими недостатками.

Но у него при этом, конечно же, должны были быть и были также крупные достоинства. Политическая смелость, подчас доходящая до авантюризма. Ну а кроме того, у него, как говорится, сердце было с правильной стороны.

Я имею в виду тот несомненный факт, что этот человек, в прошлом убежденный сталинист, участник немалого числа затеянных тогда неблаговидных дел, когда изменились обстоятельства, когда он мог оглядеться, одуматься и проявить свою волю, сделал все же правильный выбор — выступил против Сталина, разоблачил его преступления. И этому ничуть не противоречит то, о чем говорилось выше, в частности, что выступление против культа личности было в руках Хрущева одним из важных инструментов борьбы за власть.

Ибо известная свобода выбора, повторяю, все же была. В вопросе о сталинизме Н.С.Хрущев, равно как В.М.Молотов и другие, сам выбрал, по какую сторону баррикады встать. Конечно, Молотов активно участвовал в злодеяниях Сталина. Но в них (пусть меньше) участвовал и Хрущев. При этом Молотов, в отличие от Хрущева, пострадал от Сталина: была заточена в тюрьму его жена; он (вместе с А.И.Микояном) в последние годы и особенно месяцы жизни Сталина был в опале, после XIX съезда КПСС даже не вошел в бюро Президиума и не допускался на заседания Президиума ЦК. И, скорее всего, Молотова ждал арест, а возможно, и публичный процесс. Но он тем не менее до последних дней своих остался убежденным сталинистом. Так никогда и не покаявшимся. А Хрущев смог переломить себя, смог пойти наперекор тому, в чем многие годы был убежден, чем многие годы жил. И в этом его большая политическая заслуга. Одно это делает его крупной исторической фигурой.

Сложность, противоречивость периода, последовавше-

го за XX съездом, сказалась на всех областях жизни нашего общества.

Съезд пробудил сознание и совесть людей. Хотя, конечно же, были отдельные герои, сознание и совесть которых никогда не засыпали. Но людей, которые не давали себя оглупить или запугать, было немного, а выжили, уцелели буквально единицы. XX съезд не только дал им свободу действий, но и породил если не поколение, то целую плеяду новых, новых, так сказать, по своему генотипу людей мысли — писателей и поэтов, публицистов и, хотя их было меньше, философов и историков, даже некоторое число политиков. В обществе начала работать живая мысль, которую, как мы смогли убедиться потом, не удалось полностью придавить, остановить даже в худшие из лет застоя. Уверен, что это было одним из необходимых и главных источников наступившего много лет спустя периода перестройки и гласности, одним из главных предвестников нового политического мышления.

Но, с другой стороны, во множестве сфер общественной мысли царили старые догмы и руководили старые, только чуть перекрасившиеся люди. Они не давали ходу, глушили, а когда открывалась возможность — нещадно (и нередко с успехом) давили тех, кого интеллектуально и нравственно сформировал XX съезд. Ибо официальная линия и официальные люди, даже в отсутствии такой линии делавшие идеологическую политику, очень часто и во времена Хрущева сохраняли возможность не только затыкать другим рот, но и безжалостно унижать, угнетать, сворачивать в бараний рог неугодных. А в годы застоя просто расправиться со многими — жестоко и бессовестно.

Ситуацию, сложившуюся после XX съезда, можно было бы охарактеризовать так: были преданы гласности ошибки и преступления в деятельности И.В.Сталина — беззакония, репрессии, злоупотребления властью, которую он сделал единоличной и абсолютной, создание безудержного культа собственной личности. И было сказано о некоторых их последствиях, например, о поражениях и неуда-

чах на первом этапе Великой Отечественной войны. Но при этом подразумевалось, а часто и говорилось (несогласных подвергали суровой проработке), что сама идеология, принятая после В.И.Ленина концепция социализма и линия партии все это время были правильными. В этих условиях преодоление культа личности и его последствий имело одну цель — более успешное движение вперед на основе прежних теории, идеологии, концепций и моделей (хотя их теперь отделили от имени Сталина). Это относится как к внутренним делам, так в значительной мере и к внешним, международным, где были сохранены основные из утвердившихся ранее представлений: о расколе мира на две системы и их борьбе как главном содержании международных отношений, о все новых этапах углубления общего кризиса капитализма и обострения межимпериалистических противоречий и др. Конечно, жизнь вносила в эту ситуацию определенные коррективы, заставляла то здесь, то там идти на известные подвижки. Но в целом картина оставалась именно такой, а в период застоя даже стала более мрачной.

Это большое противоречие политики определило своеобразие идеологического ландшафта в отдельных сферах культуры и науки в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов. В литературе и искусстве, так же как в общественных науках, продолжали процветать и благоденствовать «герои прошлого времени», те, кто сделал карьеру на подхалимстве, угодничестве, самых отвратительных проработочных кампаниях сталинских лет. Их даже усердно защищали, прикрывали от критики, не позволяли публично напоминать о постыдных делах прошлого. Но рядом появились новые имена, новые люди, которые подчас очень непросто пробивались вперед и начинали привлекать к себе внимание общества, оказывать серьезное влияние на умы и души.

Наиболее заметно изменился общий облик литературы — все-таки рядом со старыми «Огоньком» и «Октябрем» появились новые «Новый мир» и «Юность», вышел

один номер «Литературной Москвы», публиковались произведения А.Солженицына, Е.Евтушенко и А.Вознесенского, В.Тендрякова, В.Аксенова и В.Некрасова, целого ряда других писателей и поэтов. В общественной науке, в общественно-политической мысли дело обстояло намного хуже. В целом они претерпели очень небольшие изменения — разве что в обращение были формально пущены некоторые новые положения и формулировки из решений последних партийных съездов и пленумов.

Но общественно-политическая мысль все-таки проснулась, и пробужденная энергия искала выхода. Тем более что ее развитие — это ощущали отдельные, к сожалению, немногие, политические деятели — становилось объективной потребностью общества.

Наверное, поэтому сложилась ситуация, когда при общем застое в развитии теории, знаний об обществе и политике или, во всяком случае, крайне замедленном движении вперед то там, то здесь возникали своего рода «оазисы» свободной мысли — как правило, вокруг достаточно смелых, авторитетных лидеров, которые и сами были готовы и способны творчески мыслить.

«ОАЗИСЫ» ТВОРЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Творческий коллектив О.В.Куусинена. Учебное пособие «Основы марксизма-ленинизма»

Считаю, что мне в жизни повезло: я поработал в нескольких таких «оазисах», притом в хорошем, плодотворном возрасте — от 35 до 45 лет.

В первый такой «оазис» я попал по счастливому случаю. В самом начале 1957 года, чтобы предотвратить надвигавшиеся неприятности, связанные с ухудшением общей обстановки, я вынужден был срочно сменить работу — из «Вопросов философии» перешел в журнал «Новое время». Там произошла знаменательная, сыгравшая в моей жизни большую роль встреча с Отто Вильгельмовичем Куусиненом, который со дня основания журнала состоял (негласно) членом его редколлегии.

Тогда этот видный политический деятель и теоретик, человек заслуженный, известный и в нашей стране, и в мировом рабочем и коммунистическом движении, был почти в отставке (за ним оставалась почетная должность члена Президиума Верховного Совета СССР). Но на июньском (1957 года) Пленуме ЦК КПСС, где он резко и, как говорили, ярко и убедительно выступил против Молотова, Маленкова, Кагановича — всей группы, пытавшейся сместить Н.С.Хрущева, был избран секретарем и членом Президиума ЦК КПСС.

Хотя вспомнило о нем руководство даже несколько раньше. В 1956 году, видимо, сразу после XX съезда, в Центральном Комитете было принято решение создать несколько новых учебников и учебных пособий по главным обществоведческим дисциплинам: политэкономии, истории партии, а также по основам марксизма-ленинизма.

Последний, рассчитанный на наиболее массовую чита-

тельскую аудиторию, должен был охватить все главные составные части марксизма (философию, политэкономию и научный коммунизм) и при этом быть доступным широким массам читателей как советских, так и зарубежных. Руководить авторским коллективом «Основ» ЦК КПСС и поручил О.В.Куусинену.

Решение срочно подготовить эти труды было вызвано естественным желанием как-то заполнить вакуум, образовавшийся после «демонтажа» ряда сталинских теоретических и идеологических новаций и дискредитации «Краткого курса истории ВКП(б)». Но, как часто случается, здравая идея на пути к исполнению была извращена, выхолощена. Тем прежде всего, что писать новые книги поручили в основном прежним идеологическим жрецам и их подручным, которые долго и упорно работали, утверждая сталинский догматизм в разных областях знания.

Именно из таких людей Отдел пропаганды ЦК КПСС подобрал и авторский коллектив для Куусинена, возможно, пользуясь тем, что он людей в общественной науке и публицистике знал плохо. Впрочем, нельзя исключать, что других людей тогдашнее руководство Агитпропа, в частности, его заведующий — тот же Ф.В.Констатинов, не знало или им не доверяло. Как бы то ни было, прочитав в начале 1957 года первый вариант рукописи, написанный подсунутыми ему авторами, Куусинен, как он потом нам рассказывал, сначала пришел в полное уныние, а потом занялся срочным поиском новых людей. Практически реализовать этот замысел ему удалось, лишь когда он стал секретарем ЦК — до этого некоторые работники в партийном аппарате ожесточенно сопротивлялись пополнению коллектива и никто из новых людей к работе не приступал. Так вместе с рядом других товарищей получил приглашение войти в этот коллектив и я.

Несколько позднее я узнал, почему О.В.Куусинен остановил свое внимание именно на мне. С приходом в «Новое время» я начал много писать, и мои статьи привлекли его внимание. Он расспросил обо мне другого члена редколле-

гии — Льва Максимовича Шейдина (тот писал под псевдонимом Л.Седин), прекрасного, к сожалению, недооцененного при жизни журналиста-международника, которого Куусинен глубоко уважал, ценил, даже любил. И которому он, зная его много лет, очень доверял. Видимо, рекомендации я получил хорошие и вскоре был приглашен в авторский коллектив, как и сам Шейдин. Нам обоим вместе с приглашенным тогда же в авторский коллектив работником аппарата ЦК КПСС Алексеем Степановичем Беляковым, потом ставшим помощником Куусинена, а затем — заместителем заведующего Международным отделом ЦК, с того момента выпала творческая удача и большая честь помогать Куусинену в его творческих делах до его последних дней. Самое последнее, что мы для него сделали, был проект некролога и речи Н.В.Подгорного на похоронах Отто Вильгельмовича (Хрущев, относившийся к Куусинену с большим уважением, в это время был в Египте).

Среди других новых участников работы хотел бы назвать философов Ю.А.Мельвиля и А.А.Макаровского. К работе над философскими главами на отдельных этапах привлекались также профессор В.Ф.Асмус — один из самых выдающихся философов старшего поколения, увлекавшийся к тому же астрономией и приехавший в подмосковный дачный поселок ЦК, где работал творческий коллектив, с большой подзорной трубой, а также молодой в те годы, очень способный ученый Ю.Н.Семенов, написавший по просьбе Куусинена неортодоксальную для учебников того времени главу об общественном прогрессе. Для переработки экономических глав Куусинен пригласил А.Г.Милейковского (ставшего потом академиком) и профессора С.А.Выгодского. А в качестве советника, автора ряда фрагментов — одного из старейших специалистов академика С.Г.Струмилина. Как консультант плодотворно работал также профессор Мендельсон.

И наконец, был приглашен ряд авторов по другим темам, имевшим, по замыслу Куусинена, большое значение для книги. Ему больше всего хотелось обстоятельно, по-

деловому, по-новому осветить главные проблемы внутренней и внешней политики партии, тактики и стратегии политической борьбы, отношение марксизма к проблемам мира, демократии, национальной независимости, а также к государству. Работа над этими проблемами была поручена А.С.Белякову, Л.М.Шейдину и мне, а также Б.М.Лейбзону — одному из очень немногих у нас тогда настоящих специалистов по вопросам партии и партийного строительства, обладавшему редким даром интересно писать даже на заезженные, избитые темы. К разделам о государстве был привлечен также Ф.М.Бурлацкий, в то время работавший в журнале «Коммунист».

Я не назвал всех участников работы. Были там некоторое время и люди из первоначального коллектива (от их текстов вскоре ничего, кроме названий глав, не осталось), привлекались по частным вопросам консультанты. Я перечислил тех, кто входил в основной состав, который работал именно как творческий коллектив: перекрестно редактируя друг друга, критикуя, а нередко переписывая один за другого целые куски. Затем пошла очень важная окончательная редактура, над которой непосредственно работали сам Куусинен, а также Беляков, Шейдин и я.

Должен сказать, что начать работу нам всем пришлось с учебы, а точнее — с переучивания, отказа от въевшихся в сознание каждого, почти что ставших его второй натурой догм. И с овладения не таким простым для нас искусством ставить под сомнение привычные представления, цитаты, расхожие истины. Сопоставлять их с реальностями жизни, пытаясь докопаться до правды. О.В.Куусинен был в этом плане прекрасным учителем. Вопреки возрасту (когда я с ним познакомился, ему было за семьдесят пять), это был человек со свежей памятью, открытым для нового умом, тогда очень непривычными для нас гибкостью мысли, готовностью к смелому поиску. Ну а кроме того, он умел думать. Честно скажу, я впервые познакомился с человеком, о котором можно было без натяжек сказать: это человек, который все время думает.

Только позже я и мои коллеги узнали, что это свойство Куусинена в свое время подметил и высоко ценил В.И.Ленин. Через несколько месяцев после начала нашей работы был опубликован очередной «Ленинский сборник», содержавший письмо Ленина Зиновьеву. Последний пожаловался, что Отто Вильгельмович, которому было поручено написать проект резолюции Коминтерна по национальному вопросу, «как всегда», тянет. Ленин ему ответил: «Он знает и думает». А в скобках по-немецки не без иронии, скорее, с явным намеком добавил: «...что очень редко случается среди нас, революционеров»[1].

Это была точная характеристика. То, что Куусинен думал, ощущалось почти физически: ты чувствовал, что за каждым словом собеседника стоит работающая, все время проверяемая и шлифуемая мысль, что каждый твой вопрос, твою реплику человек серьезно обдумывает, взвешивает, оценивает. Тем, кто понял это, говорить, работать с Отто Вильгельмовичем было поначалу хотя и интересно, но сложно, несмотря на его — тоже тогда для начальства очень непривычную — простоту, доступность, демократизм. Ибо ты всегда был в напряжении, начеку, остерегался необдуманных слов. Потом почти все мы, видимо, поняв, что лучше, чем мы есть, мы показаться «старику» (так его все называли за глаза) не сможем, начали себя вести естественно. Но при этом все становились хоть чуточку умнее — в присутствии сильного интеллекта, взаимодействуя с ним, сам невольно мобилизуешь свои резервы и возможности. В этом, наверное, сила хороших, состоящих из действительно умных людей творческих коллективов. Они, как правило, сильнее того, что дает сумма интеллектуальных потенциалов их участников. Когда образуется «критическая масса мозга», дает себя знать эффект не только взаимного обогащения и творческой конкуренции, но и своеобразного общего интеллектуального взрыва.

И еще одно открытие, которое ожидало каждого, кто ра-

---

[1] Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 52. С. 272.

ботал с Куусиненом, — новое представление о политике, новое для нас, чьи умы были замусорены и притуплены долгими годами сталинизма. В общении с этим человеком открывалось понимание политики как сложного творческого процесса, сочетающего ясное представление о цели с постоянно выверяемым поиском методов и средств, способов соединять стратегию с тактикой, науку с искусством (поясняя последнее, Куусинен как-то поразительно точно заметил: «В политике важно не только знать, но и уметь»). Словом, то, о чем раньше мы иногда читали, но либо не воспринимали, либо воспринимали как теоретическую абстракцию, в разговорах с Отто Вильгельмовичем обретало плоть.

Куусинен был живым носителем очень хороших, но ставших для нас к тому времени ужасно далекими традиций европейского рабочего движения, ранней «левой» социал-демократии, зрелого ленинизма, лучших периодов Коминтерна, в частности, его VII конгресса. Добавьте ко всему этому высокую культуру — помимо всего другого он писал стихи, сочинял музыку, немало времени отдавал литературоведческим изысканиям.

В общем, для всего коллектива «Основ» эта работа была настоящим «университетом», длившимся более полутора лет уроком творчества и, что очень важно, нового, в нашем представлении демистифицированного, понимания самого предмета политики.

Я подчеркиваю эту сторону дела, поскольку в конкретных условиях, сложившихся в нашей стране, при нашем прошлом, при том, что так много за истекшие десятилетия было упущено, не осознано, даже не замечено, при реально существовавших тогда образе и характере общественного сознания единственно логичным первым шагом на пути раскрепощения общественно-политической мысли был возврат к подлинному, не искаженному Сталиным и сталинщиной марксизму и ленинизму. В этом была суть, главное содержание первого этапа духовного обновления советского общества. Творческое развитие этого учения

вперед от Маркса и Ленина, приведение его в соответствие с новыми реальностями мира — это могло быть лишь делом следующего этапа, по существу, начавшегося с перестройкой и новым политическим мышлением. Сначала «назад к Ленину» и лишь потом «вперед от Ленина» — только такой могла быть логика развития общественной мысли, хотя, конечно, и здесь нельзя было впадать в догматизм — существовали тогда отдельные вопросы, где новых подходов и скорых решений требовали жизненные интересы политики страны. По таким вопросам жизнь заставляла уже тогда развивать Ленина, идти от него вперед сразу же, пусть оставляя на будущее детальное теоретическое обоснование. Это относилось, например, к вопросу о мирном сосуществовании и отсутствии неизбежности войны, о многообразии форм революции и форм перехода к социализму и некоторым другим.

Для развития этих идей, а главное — для освобождения от напластований сталинских лет Куусинен был удивительно подходящей фигурой. Ибо он не только понимал идеи Ленина, но и мыслил в одних с ним измерениях, теми же категориями. Для него они были не абстракцией и не иконой, а частью политической и идеологической реальности, в которой и он сам жил, которую он живо помнил. Ну а кроме того, едва ли был тогда в нашей партии другой деятель, который бы так глубоко понимал, насколько далеко Сталин отошел от подлинного марксизма-ленинизма, мог оценить урон, нанесенный им как нашей стране, так и освободительному движению в целом.

Что практически дала работа творческого коллектива, возглавляемого О.В.Куусиненом, если отвлечься от «самообразования» его участников?

Ну, во-первых, сам учебник, а если следовать официальному наименованию — учебное пособие. Хотя мне, члену авторского коллектива, это не совсем удобно говорить, я убежден, что была создана совершенно необычная для того времени работа. Конечно, с позиций сегодняшних наших знаний и понимания проблем учебник не пошел до-

статочно далеко, не все в нем выдержало испытания временем. С учетом того, что со дня первого издания «Основ» прошло пятьдесят лет, это едва ли может быть поставлено авторам в упрек. Но, внимательно проштудировав недавно эту книгу, я был удивлен как раз другим — тем, что многие страницы, даже целые главы книги довольно пристойно выглядят и в наши дни. Отчасти это печально — без столь длительного застоя книга, наверное, устарела бы куда больше. Но в то же время это — показатель неплохого творческого уровня. А уж по тогдашним временам учебник мог рассматриваться как наглядное свидетельство сдвигов в советской политической мысли, обозначившихся после XX съезда КПСС. И по содержанию, и — в значительной мере — по форме, начиная с написанного с первого до последнего слова лично Куусиненом вступления (названо оно было тоже необычно — «Вводное слово»). Написанного превосходным языком, нестандартно, с доверием, без тени снисходительности, обращенного к человеку, впервые приступающему к изучению марксистской теории. В учебнике (во всяком случае, в большей части его глав), как мне кажется, впервые за много лет удалось отказаться от того «партийно-китайского» языка, которым долгие годы до, как, впрочем, и после этого писалась наша политическая литература, перевести политические идеи, теорию на простой, ясный, местами яркий русский язык.

Что касается содержания, то здесь я коснусь лишь одной проблемы: анализа культа личности как общественно-политического явления.

Я не преувеличиваю достоинств соответствующего параграфа учебника, но тогда это была первая — после известного решения ЦК КПСС — попытка самостоятельного анализа культа личности, выходившая за рамки ссылок на трудные внутренние и внешние условия, требовавшие предельной централизации и железной дисциплины. Параграф этот давался очень трудно (знаю, потому что на последней стадии работал над ним лично). Одна из главных идей О.В.Куусинена состояла в том, что лидером в услови-

ях социализма все-таки, как правило, становится человек, обладающий какой-то суммой качеств, которые в данный момент больше нужны обществу, выражают общественные потребности. Здесь работает так или иначе объективная закономерность.

В частности, после смерти В.И.Ленина советскому обществу нужна была прежде всего уверенность в возможности построить социализм, оставаясь единственным социалистическим государством в мире. А также, конечно, единство, централизация, дисциплина, без которых молодая Советская власть тогда едва ли могла выжить. И.В.Сталин как бы олицетворял эти качества и твердо стоял на той позиции, что социализм можно построить в одной стране.

Но вся проблема в том, что с течением времени потребности общества могут измениться, а лидер при этом останется прежним. И вот тогда открывается путь для всевозможных искажений и деформаций, когда уже общество подлаживают, нередко силой, под личные качества, желания и взгляды лидера. Здесь уже в полную силу работает субъективный фактор. Дальше этого Куусинен тогда не пошел и, видимо, не мог пойти. Но в дискуссиях в авторском коллективе высказывал однозначно и следующий отсюда вывод: такой поворот может произойти, субъективный фактор получает недопустимо широкий простор в том случае, если нет достаточно развитых демократических механизмов, которые могли бы ограничить власть лидера, либо заставив его изменить свою политику, либо отстранив его от руководства страной. В отсутствии таких механизмов начинаются неприятности, подчас очень крупные, а иногда, как случалось в истории, — роковые.

Должен признаться, я не раз потом думал, что история эта повторилась и с Н.С.Хрущевым: нужны были обществу после смерти Сталина такие качества нового лидера, как смелость, способность к решительному повороту, может быть, даже известная готовность идти на большой риск. Но потом то, что было достоинством, превратилось в недостаток. Хрущев был способен «взрывать» прежние по-

рядки, а не преобразовывать их и тем более не создавать новые. Между тем после XX съезда КПСС этот вопрос встал в полный рост. И чем дальше, тем очевиднее выявлялось, что Хрущев начал себя изживать, что он все меньше может предложить стране. Мало того, понемногу соскальзывает к старому, даже в плане проклятого им культа личности руководителя.

Аналогичное произошло позднее, пожалуй, также и с Л.И.Брежневым. К концу хрущевского периода острой стала потребность в стабильности, даже передышке от бесконечных перетрясок и рывков вперед-назад. И уж что-что, а стабильность, неприязнь к переменам Брежнев в себе воплощал. Но опять же, как только вышли на первый план другие общественные потребности, эти качества руководителя стали вредными для общества, обратились в существенные предпосылки застоя. В обоих случаях (как и со Сталиным) общество получило, так сказать, больше, чем изначально хотело. И оказалось беззащитным, так как не имело демократических механизмов.

Но это уже не учебник, а навеянные им мысли. Мысли, так сказать, задним числом.

В оценке самой сталинской деспотии, ее характера и последствий О.В.Куусинен был однозначно жестким, отказывался прятать ее несовместимость с социализмом, коммунистическими идеалами, ссылками на «историческую необходимость», «строгие требования» периода перехода от капитализма к социализму. В то время он, правда, всего, что думал, публично высказать не мог.

Но несколько лет спустя, выступая на Пленуме ЦК КПСС в феврале 1964 года с критикой теории и практики маоизма, Отто Вильгельмович изложил давно уже выношенную им идею: «В действительности в Китае (речь шла о Китае в канун «культурной революции». — *Г.А.*) нет никакой диктатуры народа, нет диктатуры пролетариата, нет и авангардной роли компартии. Вся псевдомарксистская фразеология китайских руководителей есть лишь камуфляж для маскировки той диктатуры, которая там в самом

деле имеется. Это диктатура вождей, а точнее говоря, диктатура личности»[1].

Как рассказывал мне в те дни А.С.Беляков, когда он после Пленума зашел к О.В.Куусинену и поздравил его с удачным выступлением, тот сказал: «Там речь шла не только о Мао Цзэдуне». Другими словами, начиная с мыслей, изложенных в учебнике, Куусинен шел к важному теоретическому и политическому выводу, который высказал уже в конце своей жизни, в 1964 году, — о перерождении диктатуры пролетариата в диктатуру личности. «Простили» тогда ему этот вывод, думаю, потому, что отнесли его за счет «увлечения» в полемике с Мао. Ниже я еще расскажу о принципиальном значении этой полемики для развития общественно-политической мысли в нашей стране.

Но вернемся к книге «Основы марксизма-ленинизма». Параграф о культе личности был очень важен и злободневен тогда, но он, как и главы об истмате и диамате, вообще «учебниковые» разделы, был отнюдь не главным достижением и отличием этого труда. Думаю, что настоящий творческий прорыв, по тогдашним масштабам, конечно, был сделан в политических разделах книги — там, где речь шла о политике нашей страны, о политике и тактике коммунистических партий.

Учебное пособие «Основы марксизма-ленинизма», в общем, как считали не только мы, но и большая часть рецензентов, которым рассылалась рукопись накануне сдачи в печать, могло тогда стать явлением в нашей идеологической жизни. Но не стало. В какой-то мере из-за ревности именитых авторов конкурирующих учебников, вышедших в то время, да и вообще официальных идеологов нашей партии (надвигалась работа над новой программой КПСС; поначалу Хрущев поручил Куусинену возглавить ее, но потом «старика» оттерли более шустрые «теоретики», что, безусловно, сказалось и на качестве этого документа). Но главным было все-таки другое. В 1959 году, когда вышел

---

[1] Правда. 1964. 19 мая.

учебник, уже весьма значительной была консервативная оппозиция курсу XX съезда КПСС. И она-то с первого взгляда распознала суть этой работы.

Едва ли пришлась книга по душе, в частности, М.А.Суслову. Мои друзья, работавшие в аппарате ЦК КПСС, рассказывали, что тогдашний секретарь ЦК по идеологии Л.Ф.Ильичев тоже не терпел наш учебник. Передавали, что в узком кругу ответственных сотрудников отдела этот закоренелый сталинист называл книгу под редакцией О.В.Куусинена «социал-демократической». Такие оценки подхватывались тогда с ходу и охотно повторялись консерваторами, в частности, в Академии общественных наук. Немилостью идеологического руководства объясняется и ничтожный для такой работы тираж: первое издание — 300 тысяч, второе — 400 тысяч. И это для учебника, специально рассчитанного на массового читателя. Для сравнения: только в ГДР учебное пособие издали на немецком языкс тиражом миллион экземпляров.

В печати учебник практически не рецензировался, никто не отметил его реальных достоинств. Никто не позаботился о его изучении в сети партпросвещения. В немалой степени по всем этим причинам учебник не получил должной популярности и авторитета в стране.

Но если говорить об идеологических, теоретических и политических кадрах, особенно молодых, многие из которых, скорее всего, учебник прочли, то они получили немало пищи для размышлений. В этом смысле он, как мне кажется, сработал. Читали его и коммунисты за рубежом: учебник был переведен на основные европейские языки.

Думается, эта работа, занявшая в общей сложности (имея в виду оба издания) более трех лет, стала известной вехой в развитии нашей политической м сли и по той причине, что генерировавшиеся творческим коллективом идеи через самого Куусинена и тех, кто с ним работал (некоторые из этих людей вскоре заняли ответственные посты в аппарате ЦК КПСС), все же нашли путь в политический процесс. И тем самым оказали известное воз-

действие на решение ряда крупных вопросов теории и политики.

И хотя коэффициент полезного действия в данном случае оказался не очень большим, в то время и это было важно, поскольку в теории, в общественной и политической мысли дело с места почти не сдвигалось. Мало того, то там, то здесь начинались контратаки сталинизма.

Мне кажется, что Отто Вильгельмович видел свою роль, свою миссию в том, чтобы стать как бы мостом, соединяющим Ленина, ленинизм с послесталинским руководством Советского Союза. При этом, конечно, следует учитывать различие эпох. Для Ленина объективно главным была борьба с «ревизионизмом справа», со II Интернационалом. В последующем на первый план выдвинулась борьба с «левизной». Ленин ее опасность тоже видел, но выражал надежду, что «левый коммунизм» как «течение молодое» может быть «легко излечено»[1]. Надежда эта не оправдалась, в том числе в двух первых громадных государствах, где победили революции, — России и Китае.

Важно, однако, то, что Куусинен подхватил нить борьбы с левой угрозой, выпавшую из рук Ленина, и продолжал тянуть ее дальше. В нелегких условиях он, как мог, развенчивал «левизну», псевдомарксистскую фразеологию некоторых коммунистов и мелкобуржуазных «революционеров».

Одно мое добавление — политическое. О.В.Куусинен избегал разговоров о прошлом, в которых затрагивались бы какие-то личные темы. Видимо, в его прошлом были страницы, с которыми он сам не мог примириться. Мои чисто умозрительные догадки: он не мог и не решился в свое время вступиться за своих близких и за товарищей, попавших в мясорубку сталинских репрессий, и не хотел об этих жизненных ситуациях вспоминать. Впрочем, как мне рассказывал Ю.В.Андропов, в период работы в Карелии Отто Вильгельмович спас его от серьезных неприят-

---

[1] Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 88.

ностей во время «ленинградского дела». То же самое, возможно, относится к событиям конца 1939 — начала 1940 года, когда ему пришлось возглавить так называемое териокское правительство Финляндии, созданное Сталиным. Я не раз с трудом преодолевал сильное искушение спросить его об этом периоде жизни. А сам он никогда о нем не говорил, возможно, и потому, что где-то ощущал свою вину, хотя едва ли мог в то время что-то сделать, чтобы избежать драматического развития событий. Я потом думал, что в сталинские времена он натерпелся немало унижений и страха. И это было одной из причин того особого, в известной мере слепого уважения к Хрущеву, преданности ему. Я помню единственную ссору с Куусиненом — когда я и Шейдин в разговоре с ним выразили возмущение тем, что книга очерков о поездке Хрущева в США — «Лицом к лицу с Америкой» — получила Ленинскую премию, и тогда нам здорово от него попало.

Его горячим желанием было внести максимально возможный вклад в решение нагромождавшихся проблем. Но он был в высшей степени осторожен, его к этому вынуждало все его прошлое. В КПСС он все же был «иностранец», к тому же «бывший социал-демократ», да еще и с арестованными в качестве «врагов народа» женой и сыном, — это делало его вдвойне, втройне «уязвимым» в сталинские времена и не на сто процентов «своим» даже после Сталина. Как человек, который «много думает», он, видимо, частенько запаздывал со своими оценками и выводами, так что и этот его «недостаток» тоже предохранял его от поспешных, импульсивных высказываний, от того, чтобы безрассудно «ввязываться в какую-то драку». Но в решающие моменты он действовал смело, без оглядки. Так произошло в июне 1957 года на Пленуме ЦК КПСС, в ряде серьезных теоретических споров в Политбюро (например, насчет исторических судеб диктатуры пролетариата), при решении ряда исторических вопросов. Хотя и здесь Куусинену мешало иногда слишком большое доверие к Хрущеву, даже какая-то эйфория в этом плане, что отразилось в ка-

кой-то мере и на учебнике, особенно на его втором издании. Но это было отношение искреннее — в Хрущеве и его деятельности Куусинен видел, может быть, единственный шанс, преодолев сталинизм, вернуться к изначальным идеалам рабочего и коммунистического движения, которому он был беззаветно предан.

Еще одно наблюдение — чисто личное. О.В.Куусинен отличался, притом безотносительно, даже без сравнений с другими крупными политическими работниками того времени, особой, очень высокой интеллигентностью. И не только в смысле образованности и общей культуры (то и другое досталось ему не от семьи, а достигнуто было собственным тяжким трудом: происхождения он был самого пролетарского), но и по отношению к людям, в том числе к тем, кто младше его по положению, к подчиненным. Один маленький штрих: два-три раза в год (обычно через неделю-две после Нового года, Майского и Ноябрьского праздников) Куусинен по воскресеньям на целый день собирал у себя на даче всех, с кем он непосредственно — либо по службе, либо творчески — работал (начиная с видных ученых, партийных работников и включая своих секретарей). Приглашал их с женами и детьми. И это были удивительно интересные и приятные дни, когда забывались и служебные, и возрастные различия.

И в заключение — более серьезный вывод. Если посмотреть на состав Политбюро (тогда — Президиума) ЦК КПСС в послесталинские времена, видишь, что при всех многочисленных заменах одних людей другими, при множестве давно уже забытых козловых, кириченко, фурцевых, мухитдиновых и подгорных вокруг Н.С.Хрущева было очень мало людей, которые могли быть источниками благотворного, прогрессивного влияния. В конце концов, могли бы просто честно высказать свое мнение или дать совет по сложному политическому вопросу. Я знаю только двоих таких людей. Один из них — О.В.Куусинен. И другой, как мне кажется, А.И.Микоян (с ним я был знаком лишь формально). Я был рад, когда в начале 1989 года на

международном семинаре, посвященном истории Карибского кризиса 1962 года, сын Н.С.Хрущева Сергей Никитович подтвердил это, зачитав выдержку из воспоминаний отца, где говорилось, что только эти два человека предостерегали его относительно возможных опасных последствий размещения ракет на Кубе. Предостерегали, конечно, в крайне осторожной, соответствовавшей тогдашним нормам отношений в Политбюро, но достаточно ясной для самого Хрущева форме, — предупредив, что будут голосовать за его предложение, но только потому, что верят Хрущеву; думают, что тот понял всю свою ответственность и необходимость хорошо взвесить возможные последствия этого шага.

Н.С.Хрущев именно так понял эти замечания.

«Его (т.е. Куусинена. — *Г.А.*) ответ, — отмечал он в мемуарах, — всю ответственность возлагал на меня. Я очень уважал тов. Куусинена, знал его честность и искренность, и поэтому я по-хорошему это понял». Другим членом Политбюро, высказавшим сомнение (опять же в очень осторожной форме), был Микоян. Смысл его возражения состоял в том, что «мы решаемся на опасный шаг». Хрущев в своих воспоминаниях говорит: «Это я и сам сказал. Я даже так сказал, что, знаете, это шаг, если грубо формулировать, на грани авантюры. Авантюризм заключается в том, что мы, желая спасти Кубу, сами можем ввязаться в тяжелейшую, невиданную ракетно-ядерную войну».

Со своей стороны, мог бы добавить, что это был бы не только авантюризм, но и тягчайшее преступление. Я лично считаю, что ввоз ракет на Кубу — опаснейший просчет Н.С.Хрущева, а Карибский кризис — следствие грубейших ошибок в политике со стороны как СССР, так и США. Но, возвращаясь к Куусинену, хотел бы сказать, что эпизод этот весьма показателен. Он говорит, во-первых, о политической прозорливости Куусинена, уловившего опасность предполагаемого шага. И о его принципиальности — в тогдашней сложной обстановке, когда просто не полагалось возражать лидеру, он нашел возможность довести свою тревогу до сознания Хрущева.

Я посвятил воспоминаниям о О.В.Куусинене, работе с ним над учебником «Основы марксизма-ленинизма» так много страниц не только потому, что то и другое сыграло большую роль в моей жизни. Думаю, речь шла и о первой серьезной попытке развить, расширить тот прорыв, который совершил в наших представлениях о мире и о себе XX съезд КПСС, сделать настоящий шаг вперед в развитии общественно-политической мысли. Пусть даже этот шаг не получил тогда должного признания. И, конечно же, творческий коллектив, руководимый Куусиненом, был «оазисом» творческой мысли — по тем временам редким. Но не единственным.

Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО)

Я был не участником создания этого института, а, скорее, свидетелем, зрителем, пусть заинтересованным, тесно с коллективом института связанным (мне довелось поработать в нем, но позже — уже в 1963—1964 годах, через шесть с лишним лет после его основания). И полагаюсь как на то, что помню из рассказов многих своих товарищей, работавших в институте со дня его основания, так и на любезно предоставленные мне воспоминания некоторых ветеранов института (в том числе Я.А.Певзнера).

Создание Института мировой экономики и международных отношений Академии наук СССР (ИМЭМО) тоже было прямым результатом XX съезда КПСС. В середине пятидесятых годов сохранялась нелепая, абсурдная ситуация: среди множества исследовательских институтов и центров, созданных в стране, не было ни одного, изучавшего международную тематику — зарубежные страны, внешнюю политику, международные экономические и политические проблемы. Единственное исключение — старинный, созданный задолго до революции Институт востоковедения, но он занимался почти исключительно проблемами языков, культуры, истории.

Положение не всегда было таким. Не говоря уж об исследовательских институтах или центрах Коминтерна и связанных с ним организаций (все они, видимо, закончили свое существование вместе с ним), существовал еще Институт мирового хозяйства и мировой политики (ИМХиМП), входивший в Социалистическую, потом в Коммунистическую академию, а с начала тридцатых годов преобразованный в академический. Он действовал с 1924 по 1947 год и перед ликвидацией насчитывал 120 сотрудников. Это был тогда едва ли не самый крупный гуманитарный институт Академии наук СССР. Возглавлял его академик Е.С.Варга, долгое время бывший доверенным консультантом Сталина. Это давало Варге известную самостоятельность, смелость суждений (не говоря уж о том, что, видимо, поэтому сам Варга и работавшие с ним несколько венгров избежали репрессий в тридцатых годах) и существенно помогло развернуть серьезные исследования как по текущей конъюнктуре, так и по истории и теории экономических циклов и кризисов. Долгое время, видимо, потому, что с кризисами связывали подъемы революционного движения, это было темой, привлекавшей главное внимание советских специалистов по мировой экономике. Занимался институт также международными отношениями, главным образом в плане изучения противоречий и конфликтов, назревания угрозы войны.

После Второй мировой войны Сталин, видимо, в значительной мере потерял интерес к Варге и его оценкам. Тем временем у Института мирового хозяйства и мировой политики появился могущественный противник — тогдашний председатель Госплана, член Политбюро, человек, ощущавший себя диктатором и в экономике, и в экономической науке, — Н.А.Вознесенский[1]. Он подверг Варгу уничтожающей критике за «приукрашивание» капитализ-

[1] Он сам вскоре был безвинно арестован и казнен. Но я думаю, что, восстанавливая историческую правду, мы не можем не сказать правды, которая их не красит, и о людях, ставших невинными жертвами и мучениками.

ма, за концепцию «организованного капитализма». Институт вскоре был закрыт, заменен отделом капитализма в Институте экономики АН СССР, ряд его сотрудников арестовали, многих уволили с работы. И в последующие девять лет научная работа по изучению мировой экономики, экономики капитализма, международных отношений, по сути, не велась, а ограничивалась подбором аргументов в поддержку предписанных тогда сверху тезисов касательно углубления общего кризиса капитализма.

Е.С.Варга попытался сопротивляться. Как вспоминает Я.А.Певзнер, работавший в ИМХиМП, он обратился к Сталину с письмом, где возражал против закрытия института. Но на сей раз Сталин сам его не принял, а передал письмо Жданову, который встретился с Варгой и сказал ему, что вопрос (о закрытии института. — *Г.А.*) решен, так как для ЦК главное — это сравнения, которые помогали бы быстрей решить задачу «догнать и перегнать», а такие сравнения возможны, «только если специалисты по советской и зарубежной экономике будут работать совместно». Комментируя это абсолютно достоверное свидетельство, могу лишь сказать: даже я, в тот момент (1947 год) студент Института международных отношений, не мог бы поверить, что представления нашего руководства о мире и мировой экономике, о нашем месте в международных отношениях настолько примитивны и догматически идеологизированы. Но можно ли было принять на веру это объяснение Жданова?

И здесь я снова предоставляю слово Я.А.Певзнеру: «Встает вопрос: почему Сталин на сей раз (до войны тоже предпринимались атаки на Варгу и институт, но Сталин их защитил. — *Г.А.*) отвернулся от ИМХ и закрыл его? Личные мотивы Вознесенского вряд ли могли играть здесь решающую роль. Я полагаю, что это нелепое решение было результатом послевоенного внешнеполитического курса Сталина, курса, суть которого заключалась в следующем: капитализм потерпел сильнейшее поражение, его общий кризис продолжает углубляться, надо готовиться к тому,

чтобы нанести капитализму последний, смертельный удар, и в этой обстановке такое учреждение, как ИМХиМП, не нужно. Само его существование вносит элемент неуверенности в скорой и неотвратимой гибели капитализма».

Я не уверен в стопроцентной правильности этого анализа, чтобы не было недоразумений, хочу заметить, что Я.А.Певзнер, говоря о «последнем, смертельном ударе», имеет, разумеется, в виду — мы с ним этот вопрос обсуждали потом специально — не военный удар, не «революционную войну» СССР и его союзников, а подъем классовой и национально-освободительной борьбы во всем мире. Мне кажется, судя по осторожности, которую проявлял Сталин, давая в конце войны совет П.Тольятти и М.Торезу воздержаться от революционных выступлений, несмотря на то что ситуация в Италии и во Франции выглядела как революционная, согласившись на урегулирование в иранском Азербайджане, проявив готовность к компромиссам в ряде других мест (включая перемирие в Корее в 1951 году и попытки привлечь симпатии западной интеллигенции, используя ее антиядерные настроения), он отнюдь не был уверен, что капитализм при смерти и что приближается «последний и решительный бой». Вместе с тем в его политике, политических заявлениях не проявлялось и реальной воли к нахождению взаимоприемлемых решений (в годы войны он все же умел их искать), не выдвигалось реалистических предложений и инициатив. Пропаганда же становилась все более воинственной и непримиримой, а в том, что касается капитализма, — все более далекой от правды.

Чудовищные нелепости городили не только заурядные журналисты и штатные пропагандисты, но и руководители партии и государства, включая самого Сталина. Ведь это он в своей последней теоретической работе «Экономические проблемы социализма в СССР» писал, что «неизбежность войны между капиталистическими государствами остается в силе» (и это в условиях сложившейся после войны расстановки сил в капиталистическом мире и «холодной войны» со странами социализма!). А касаясь перспек-

тив экономического развития США, Англии, Франции, Сталин категорически утверждал, что «рост производства в этих странах будет происходить на суженной базе, ибо объем производства в этих странах будет сокращаться». Напомню, что написано это было в 1952 году, как раз к началу двадцатилетия самого быстрого развития экономики капитализма за всю его историю.

В отношении капитализма у Сталина в этот период, скорее всего, были при всем недоверии и вражде две линии (что само по себе — плохая политика): с одной стороны, довольно пассивная, осторожная и, в общем-то, не имеющая реальной цели, а потому безвыигрышная политическая практика и, с другой, крикливая, хвастливая, очень воинственная пропаганда (верил ей сам Сталин или нет — вопрос особый, у меня на него ответа нет). Имея в виду как раз пропаганду, во многом, видимо, заменившую Сталину политику, стоит достаточно серьезно отнестись к мнению профессора Я.А.Певзнера о подлинных причинах закрытия ИМХиМП.

Я подробно остановился на этой истории, чтобы дать читателю представление о еще одном аспекте глубокого падения нашей общественно-политической мысли в последние годы жизни Сталина, в частности, о господстве самых примитивных представлений об окружающем мире и мировой экономике, о капитализме, о международных отношениях, сводившихся к конфронтации двух систем. И от этих представлений в течение многих лет не хотели отказываться, мало того — их вдалбливали в умы целого поколения специалистов в качестве незыблемых догм.

Именно на фоне этой картины, мне кажется, становятся ясными как значение создания Института мировой экономики и международных отношений, так и связанные с этим событием трудности.

Они начались с очень существенного вопроса — выбора директора. Как рассказывал своим друзьям Е.С.Варга (я основываюсь на свидетельстве покойного Н.Н.Иноземцева и др.), тогдашний заведующий сектором экономической

науки Отдела науки ЦК КПСС К.И.Кузнецова (она играла весьма зловещую роль во всех делах, на которые могла влиять) настаивала на кандидатуре И.И.Кузьминова — заведующего кафедрой Академии общественных наук при ЦК КПСС. Всем международникам этот человек был известен как дремучий и притом воинственный догматик, воплощавший в своей сфере самый махровый сталинизм (одним из генераторов догматизма и сталинизма в экономической науке, в частности, в политэкономии капитализма, он оставался еще многие годы — до самой своей смерти). Очень характерная для того времени деталь: хотя все происходило после XX съезда, когда перед институтом ставилась задача по-новому взглянуть на мир, дать его правдивую картину, аппарат ЦК КПСС, Отдел науки представили на Секретариат именно кандидатуру Кузьминова.

Но у него, к счастью для создаваемого института, для науки, нашелся очень сильный конкурент. Им был Анушаван Агафонович Арзуманян, в 1953 году приехавший в Москву и назначенный на должность заведующего сектором теоретических проблем капитализма Института экономики АН СССР. А вскоре он стал заместителем директора этого института. В момент, когда решался вопрос о директоре ИМЭМО, Арзуманян был почти неизвестен в науке. Но у него был сильный козырь: Арзуманян был близким другом и родственником А.И.Микояна (они были женаты на сестрах). И это, видимо, обеспечило ему назначение, хотя официально этим вопросом занимался не Микоян, а Д.Т.Шепилов — в то время секретарь ЦК КПСС по идеологии и науке. Думаю, впрочем, что и Шепилов в душе отдавал предпочтение Арзуманяну. Характерно, что он приглашал Е.С.Варгу, спрашивал его мнение о кандидатурах — оно было, естественно, однозначным: против Кузьминова, за Анушавана Агафоновича.

Говорю это не в укор Арзуманяну или Микояну. Протекционизм, оказывается, не всегда зло. И тот факт, что А.И.Микоян — в те годы один из самых прогрессивных и думающих людей в руководстве — использовал свое влия-

ние для отклонения архиконсервативного кандидата и назначения более прогрессивного, может быть поставлен ему только в заслугу.

А.А.Арзуманян действительно сыграл очень большую роль не только в создании ИМЭМО и превращении его в серьезный научный центр, но и в становлении новых по типу научных исследований экономики капитализма и международных отношений. Далось это, конечно, не легко. И эту роль лично Арзуманяна (равно как, я уверен, поддерживавшего его, придававшего ему этой поддержкой силу и смелость Микояна) трудно переоценить.

Прежде всего директору нового института надо было преодолеть несколько фундаментальных препятствий.

Одно из них — крайне догматический, пропагандистский характер представлений большинства наших специалистов по экономике капитализма и столь же отсталые представления в этом вопросе многих руководящих политических и идеологических работников, задававших тон в науке. Некоторые из них сами не совсем верили описаниям крайних трудностей, в которых барахтается, почти тонет капитализм, но тем не менее считали нормальным и необходимым, чтобы широкой публике продолжали преподносить эту версию. Вся абсурдность, а если говорить о науке, то и трагизм ситуации состояли в том, что такая позиция даже не отражала желания сознательно обманывать людей. Просто общественная наука, и в этом одно из тяжелых порождений сталинизма, часть его наследия, которое до конца не преодолено и сейчас, не мыслилась вне рамок общих пропагандистских установок. Ей отводилась незавидная роль прислужницы политики, способной «с марксистских позиций» обосновать каждый очередной политический финт руководства, даже если он ничего общего с марксизмом не имеет.

XX съезд изменил положение с точки зрения потребностей тех, кто делает политику. Они уже нуждались в правде, хотя бы в знании объективной картины мира (в руководстве это едва ли понимали многие, но наверняка ощу-

щали О.В.Куусинен и А.И.Микоян и, можно думать, Д.Т.Шепилов). Но стандарты, которые допускались в печати и даже научных изданиях, оставались в основном прежними, и на их страже стояло еще множество бдительных «охранителей основ», политических ортодоксов, которым, кстати, и начальство никогда не препятствовало, если те брались в пух и прах разносить любую свежую, нестандартную, содержавшую новые мысли работу, тем более если ее автор покушался на «священные» догмы.

Такая ситуация, конечно же, крайне затрудняла Арзуманяну развертывание института как исследовательского центра нового типа. Уже позже — в начале шестидесятых годов — у меня как-то был с ним обстоятельный разговор на эту тему, и Анушаван Агафонович откровенно рассказал, как он выходил из положения. В журнале института, в выпускаемых им книгах соблюдалась необходимая ортодоксальность. Достаточно почитать эти книги, так же как журнал «Мировая экономика и международные отношения» в первые годы его издания, чтобы в этом убедиться. Там продолжали взахлеб причитать о «шаткости и неустойчивости» капиталистической экономики, о приближающихся ее «новых потрясениях» и «кризисах» и обещали в недалеком будущем «догнать и перегнать» наиболее развитые капиталистические страны по производству всех важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции на душу населения. Но в то же время в записках, направляемых руководству, давалась куда более реалистическая картина. В ходе работы над записками, во внутренних дискуссиях, связанных с их подготовкой, как сказал тогда Арзуманян, росли кадры, люди понемногу освобождались от догматизма, учились писать по-новому. И потом, постепенно это начало сказываться и на публикациях в открытой печати.

Должен сказать, что в конце шестидесятых годов я не раз вспоминал этот разговор, решая в роли только что назначенного директора проблемы становления другого института — Института США (а с 1975 года — США и Кана-

ды) АН СССР. Мне тоже в чем-то пришлось идти по этому пути. Хотя обстановка позволяла (так, во всяком случае, считал я) смелее, реалистичнее писать также и в открытых изданиях, а тем более не упускать блестящих возможностей промолчать по некоторым вопросам, чтобы не кланяться обветшавшим догмам. Конечно, при условии, что ты сам был готов идти на риск, открываться для критики, а может быть, и подвергаться проработке. Идти на такой риск — в общем, по нашим советским представлениям, сложившимся на основе нелегких исторических традиций, не слишком большой (за не понравившиеся начальству статьи уже не сажали) — я и мои коллеги были готовы.

Вторым трудным препятствием для Арзуманяна была проблема кадров. Долгое отсутствие спроса резко ограничивало и предложение. Конечно, оставались еще старые имховцы. Но из небольшого числа тех, кто работал (среди них были и серьезные специалисты: М.И.Рубинштейн, В.Я.Аболтин, Я.А.Певзнер и др.), невозможно было укомплектовать крупный институт (а дали ИМЭМО сразу 300 единиц). Анушаван Агафонович проявил здесь незаурядную смелость. Тем, во-первых, что принял на работу группу специалистов, вернувшихся из сталинских лагерей (С.А.Далина, Е.А.Громова, В.В.Зубчанинова), а также долгое время подвергавшихся остракизму, по тем или иным политическим обвинениям вышвырнутых из науки В.И.Каплана, Л.А.Мендельсона, Е.Л.Хмельницкую и др. И одновременно не побоялся пригласить, в том числе на ответственные посты, большую группу творческой молодежи. Из этой группы хотел бы прежде всего отметить будущего преемника Анушавана Агафоновича — Н.Н.Иноземцева, заботливо им выращенного и оправдавшего его надежды. Ну а кроме него — В.А.Мартынова, В.Л.Тягуненко, О.Н.Быкова, Г.Е.Скорова, Т.Т.Тимофеева, Е.С.Хесина, В.В.Рымалова, И.М.Осадчую, С.М.Никитина и др. Добавлю, что с первых шагов работы в институте Арзуманян поддерживал самые тесные научные и личные контакты с Е.С.Варгой.

Третье препятствие — это на протяжении долгих лет утверждавшийся и достигший, казалось бы, железобетонной прочности административно-командный стиль в науке вместе с его двойником — страхом перед свежей, неортодоксальной мыслью. Здесь огромную роль сыграли личные качества Арзуманяна: его человеческая порядочность, нетерпимость к попыткам проработок (а такие попытки предпринимались) и, наоборот, терпимость к мнениям других, в том числе достаточно смелым, конечно, когда они высказывались в должной форме и в достаточно узком кругу. Это сочеталось с решительностью, когда надо было освободиться от не оправдавших надежд, тянувших назад сотрудников (ошибок в отборе людей, естественно, избежать он не мог, но старался их быстро исправлять). Все это содействовало формированию в институте товарищеской обстановки, создавало условия для довольно свободной творческой дискуссии — а без того и другого просто не может сложиться и нормально развиваться творческий коллектив. Должен сказать, что именно это привлекло в конце 1962 года в ИМЭМО и меня, заставив отказаться от ряда других интересных предложений.

Естественно, возникает вопрос: что конкретно дал новый институт в первые после XX съезда КПСС годы, чем он помог раскрепощению творческой мысли и — что особенно важно — развитию самой политики?

Если судить не по сегодняшним меркам, учитывать всю неприглядность доставшегося Арзуманяну и окружавшим его людям теоретического наследия, то можно сказать, что уже в первые годы институт дал немало. Прежде всего в плане расшатывания старых догм, расчистки пути для более реалистического взгляда на мир, на капиталистическую экономику и международные отношения. В открытых публикациях, как уже отмечалось, это сказалось далеко не сразу. Тем более что старым, я бы сказал, честным, но тем не менее препятствующим творчеству «коминтерновским» догматизмом страдали и многие (хотя не все) из привлеченных в институт старых специалистов — в том

числе и в свое время пострадавшие за неортодоксальность, что, впрочем, не так уж удивительно: ведь очень часто до смешного несущественными, талмудистскими были объекты теоретических схваток тридцатых и сороковых годов. А подчас был придуманным и сам предмет спора — нужный лишь как повод для расправы с людьми, ставшими неугодными по каким-то другим причинам. Кроме того, как уже отмечалось, в центре внимания исследователей стояли совершенно другие проблемы, и Арзуманяну пришлось столкнуться с тем, что привлеченных в институт людей не всегда легко было развернуть лицом к новым реальностям и новым приоритетам.

Но в институте очень быстро сложилась сравнительно немногочисленная группа ученых, пользовавшихся личным доверием Арзуманяна, которым была дана относительно большая свобода. Мало того, их в какой-то мере поощряли на неортодоксальность. Эти люди работали для руководства, и работали довольно успешно. Произвела, в частности, впечатление посланная наверх записка о появлении на Западе специального научного направления, сравнивающего результаты развития экономики капиталистических и социалистических государств (вскоре это направление исследований, хотя и не всегда полностью объективных, появилось и в СССР). То же самое можно сказать о записках, посвященных западноевропейской экономической интеграции и говоривших о ней как о реальности, — до этого наши специалисты заодно с журналистами громили ее как реакционную выдумку, пропаганду, чьи-то происки. Был поднят и ряд других тем. Эти записки нередко вызывали недовольство консерваторов, которые пытались перекрыть или хотя бы поставить жесткий контроль за новым каналом информации руководства.

В связи с одной из записок, в которой критиковались формы нашей помощи развивающимся странам (ее написал Г.Е.Скоров), произошел характерный эпизод. Арзуманян разослал записку «тиражом» 50 экземпляров, так сказать, «в заинтересованные инстанции», включая ГКЭС, в

щали О.В.Куусинен и А.И.Микоян и, можно думать, Д.Т.Шепилов). Но стандарты, которые допускались в печати и даже научных изданиях, оставались в основном прежними, и на их страже стояло еще множество бдительных «охранителей основ», политических ортодоксов, которым, кстати, и начальство никогда не препятствовало, если те брались в пух и прах разносить любую свежую, нестандартную, содержавшую новые мысли работу, тем более если ее автор покушался на «священные» догмы.

Такая ситуация, конечно же, крайне затрудняла Арзуманяну развертывание института как исследовательского центра нового типа. Уже позже — в начале шестидесятых годов — у меня как-то был с ним обстоятельный разговор на эту тему, и Анушаван Агафонович откровенно рассказал, как он выходил из положения. В журнале института, в выпускаемых им книгах соблюдалась необходимая ортодоксальность. Достаточно почитать эти книги, так же как журнал «Мировая экономика и международные отношения» в первые годы его издания, чтобы в этом убедиться. Там продолжали взахлеб причитать о «шаткости и неустойчивости» капиталистической экономики, о приближающихся ее «новых потрясениях» и «кризисах» и обещали в недалеком будущем «догнать и перегнать» наиболее развитые капиталистические страны по производству всех важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции на душу населения. Но в то же время в записках, направляемых руководству, давалась куда более реалистическая картина. В ходе работы над записками, во внутренних дискуссиях, связанных с их подготовкой, как сказал тогда Арзуманян, росли кадры, люди понемногу освобождались от догматизма, учились писать по-новому. И потом, постепенно это начало сказываться и на публикациях в открытой печати.

Должен сказать, что в конце шестидесятых годов я не раз вспоминал этот разговор, решая в роли только что назначенного директора проблемы становления другого института — Института США (а с 1975 года — США и Кана-

ды) АН СССР. Мне тоже в чем-то пришлось идти по этому пути. Хотя обстановка позволяла (так, во всяком случае, считал я) смелее, реалистичнее писать также и в открытых изданиях, а тем более не упускать блестящих возможностей промолчать по некоторым вопросам, чтобы не кланяться обветшавшим догмам. Конечно, при условии, что ты сам был готов идти на риск, открываться для критики, а может быть, и подвергаться проработке. Идти на такой риск — в общем, по нашим советским представлениям, сложившимся на основе нелегких исторических традиций, не слишком большой (за не понравившиеся начальству статьи уже не сажали) — я и мои коллеги были готовы.

Вторым трудным препятствием для Арзуманяна была проблема кадров. Долгое отсутствие спроса резко ограничивало и предложение. Конечно, оставались еще старые имховцы. Но из небольшого числа тех, кто работал (среди них были и серьезные специалисты: М.И.Рубинштейн, В.Я.Аболтин, Я.А.Певзнер и др.), невозможно было укомплектовать крупный институт (а дали ИМЭМО сразу 300 единиц). Анушаван Агафонович проявил здесь незаурядную смелость. Тем, во-первых, что принял на работу группу специалистов, вернувшихся из сталинских лагерей (С.А.Далина, Е.А.Громова, В.В.Зубчанинова), а также долгое время подвергавшихся остракизму, по тем или иным политическим обвинениям вышвырнутых из науки В.И.Каплана, Л.А.Мендельсона, Е.Л.Хмельницкую и др. И одновременно не побоялся пригласить, в том числе на ответственные посты, большую группу творческой молодежи. Из этой группы хотел бы прежде всего отметить будущего преемника Анушавана Агафоновича — Н.Н.Иноземцева, заботливо им выращенного и оправдавшего его надежды. Ну а кроме него — В.А.Мартынова, В.Л.Тягуненко, О.Н.Быкова, Г.Е.Скорова, Т.Т.Тимофеева, Е.С.Хесина, В.В.Рымалова, И.М.Осадчую, С.М.Никитина и др. Добавлю, что с первых шагов работы в институте Арзуманян поддерживал самые тесные научные и личные контакты с Е.С.Варгой.

Третье препятствие — это на протяжении долгих лет утверждавшийся и достигший, казалось бы, железобетонной прочности административно-командный стиль в науке вместе с его двойником — страхом перед свежей, неортодоксальной мыслью. Здесь огромную роль сыграли личные качества Арзуманяна: его человеческая порядочность, нетерпимость к попыткам проработок (а такие попытки предпринимались) и, наоборот, терпимость к мнениям других, в том числе достаточно смелым, конечно, когда они высказывались в должной форме и в достаточно узком кругу. Это сочеталось с решительностью, когда надо было освободиться от не оправдавших надежд, тянувших назад сотрудников (ошибок в отборе людей, естественно, избежать он не мог, но старался их быстро исправлять). Все это содействовало формированию в институте товарищеской обстановки, создавало условия для довольно свободной творческой дискуссии — а без того и другого просто не может сложиться и нормально развиваться творческий коллектив. Должен сказать, что именно это привлекло в конце 1962 года в ИМЭМО и меня, заставив отказаться от ряда других интересных предложений.

Естественно, возникает вопрос: что конкретно дал новый институт в первые после XX съезда КПСС годы, чем он помог раскрепощению творческой мысли и — что особенно важно — развитию самой политики?

Если судить не по сегодняшним меркам, учитывать всю неприглядность доставшегося Арзуманяну и окружавшим его людям теоретического наследия, то можно сказать, что уже в первые годы институт дал немало. Прежде всего в плане расшатывания старых догм, расчистки пути для более реалистического взгляда на мир, на капиталистическую экономику и международные отношения. В открытых публикациях, как уже отмечалось, это сказалось далеко не сразу. Тем более что старым, я бы сказал, честным, но тем не менее препятствующим творчеству «коминтерновским» догматизмом страдали и многие (хотя не все) из привлеченных в институт старых специалистов — в том

числе и в свое время пострадавшие за неортодоксальность, что, впрочем, не так уж удивительно: ведь очень часто до смешного несущественными, талмудистскими были объекты теоретических схваток тридцатых и сороковых годов. А подчас был придуманным и сам предмет спора — нужный лишь как повод для расправы с людьми, ставшими неугодными по каким-то другим причинам. Кроме того, как уже отмечалось, в центре внимания исследователей стояли совершенно другие проблемы, и Арзуманяну пришлось столкнуться с тем, что привлеченных в институт людей не всегда легко было развернуть лицом к новым реальностям и новым приоритетам.

Но в институте очень быстро сложилась сравнительно немногочисленная группа ученых, пользовавшихся личным доверием Арзуманяна, которым была дана относительно большая свобода. Мало того, их в какой-то мере поощряли на неортодоксальность. Эти люди работали для руководства, и работали довольно успешно. Произвела, в частности, впечатление посланная наверх записка о появлении на Западе специального научного направления, сравнивающего результаты развития экономики капиталистических и социалистических государств (вскоре это направление исследований, хотя и не всегда полностью объективных, появилось и в СССР). То же самое можно сказать о записках, посвященных западноевропейской экономической интеграции и говоривших о ней как о реальности, — до этого наши специалисты заодно с журналистами громили ее как реакционную выдумку, пропаганду, чьи-то происки. Был поднят и ряд других тем. Эти записки нередко вызывали недовольство консерваторов, которые пытались перекрыть или хотя бы поставить жесткий контроль за новым каналом информации руководства.

В связи с одной из записок, в которой критиковались формы нашей помощи развивающимся странам (ее написал Г.Е.Скоров), произошел характерный эпизод. Арзуманян разослал записку «тиражом» 50 экземпляров, так сказать, «в заинтересованные инстанции», включая ГКЭС, в

основном занимавшийся помощью «третьему миру». Руководство этой организации пожаловалось М.А.Суслову, тот вызвал Арзуманяна и, как последний сообщил на закрытом заседании партбюро института (мне это рассказал один из ветеранов ИМЭМО), заявил ему примерно следующее: «Арзуманян, мы с тобой старые члены партии, ты помнишь и знаешь, как действовала оппозиция — писали платформы и рассылали их по собственному усмотрению. Так дело не пойдет. Ты, если пишешь записку, присылай ее нам сюда в одном экземпляре, а мы уже будем решать, кому ее направлять».

У Арзуманяна хватило решительности (и «плавучести» — с учетом его родства с Микояном и незаурядной способности завязывать нужные связи, притом весьма высокие) проигнорировать это указание — готовить и рассылать по своему собственному усмотрению записки он продолжал[1].

У ИМЭМО и Арзуманяна был еще один весьма важный канал воздействия на политическую мысль и политику — подготовка партийных документов и речей руководящих деятелей. К этой работе Анушаван Агафонович привлекался систематически (а потом и некоторые сотрудники его института). Сам он, будучи человеком умным, острым, открытым для новых идей, хотя достаточно осторожным, писал медленно и не очень хорошо — вообще его талант был, скорее, в организации науки, собирании и выращивании ученых, чем в личном творчестве. А поэтому в таких рабо-

[1] Характерно, что в последние годы жизни Л.И.Брежнева (может быть, по инициативе того же М.А.Суслова) было официально запрещено направлять записки и иные материалы представителям руководства и работникам аппарата ЦК — все должно было направляться в адрес «ЦК КПСС», то есть в Общий отдел, который курировал К.У.Черненко. И уже там анонимные чиновники решали судьбу присланного материала — многое шло «в корзину», другое — в пару отделов ЦК, и лишь в отдельных случаях плод трудов ученых прорывался к руководству. Естественно, что это быстро ощутили научные коллективы, и у ученых был отобран даже и моральный стимул к работе, и, что хуже всего, — стимул не только писать записки, но и думать: зачем трудиться, если твои мысли никому не нужны?

тах постоянно участвовала писавшая для него, нередко «за него» группа ведущих работников института, пользовавшихся его доверием. В разгоравшихся в ходе работ дискуссиях (мне в них не раз приходилось участвовать в 1962—1964 годах) нередко рождались интересные идеи: одни входили в текст, другие Арзуманян, как мы полагали, тоже находил возможность передать руководству.

А все это вместе взятое пусть было еще очень далеко от нового политического мышления, тем более — нового мышления в современном смысле этого слова, но все-таки помогало размораживать общественную и политическую мысль. Как тем, что отвергались догмы (о стагнации экономики капитализма, об абсолютном обнищании рабочего класса на Западе и др.), так и тем, что утверждались, пускались в политический оборот новые представления (например, о реальности западноевропейской интеграции, многообразии путей развития стран «третьего мира» и т.д.). Понемногу рождались и новая методология научных исследований, и более объективные подходы к статистике и буржуазным экономическим теориям. Именно тогда был выдвинут тезис о двойной функции этих теорий — идеологической и критической, и под его прикрытием, пусть не без труда, была выпущена очень важная для развития нашей экономической науки книга известного американского ученого Самуэльсона «Экономика» с большой вступительной статьей Арзуманяна...

Конечно, были в работе института и серьезные просчеты. Арзуманян и, насколько я знаю, часть его сотрудников тоже поддались эйфории второй половины пятидесятых годов и не только не попытались вернуть руководство на землю, но поддерживали его иллюзии насчет того, что СССР быстро догонит и перегонит США в экономике, а затем построит коммунизм, — те иллюзии, которые вошли потом в Программу КПСС и стали со временем объектом острой критики и даже, к сожалению, едких насмешек. Я считаю, что в этой эйфории наряду с известным опьянением (не хочу употреблять скомпрометированное слово

«головокружение») от первых успехов новой политики — они действительно были — сказались и тяжкие пережитки сталинских времен: с одной стороны, очень низкий уровень не только экономических знаний о себе и о капитализме, слабейшее понимание своего общества и масштабов реальных проблем, а с другой — боязнь спорить с начальством и даже огорчать его, почти неодолимое желание ему поддакнуть, сделать и сказать что-то приятное. Эти недостатки, увы, не были чужды не только Арзуманяну и его коллегам — в более ярко выраженных формах им отдавали дань люди куда более влиятельные, занимавшие более высокое положение.

Но это не меняет главного: недостатки более чем компенсировались тем вкладом, который внесли институт и его первый руководитель в пробуждение от долгой спячки, от догматического оцепенения общественной мысли, некоторых важных отраслей общественной науки. В этом плане очень важным было то, что ИМЭМО стал как бы «инкубатором» нового поколения экономистов-международников и (хотя в меньшей мере) специалистов по внешней политике. Люди, прошедшие через школу института, заняли со временем важные места в нашей науке, а отчасти и в политике. Мало того, ИМЭМО стал как бы корнем, от которого со временем пошла в рост целая группа институтов Академии наук — Международного рабочего движения, Африки, Латинской Америки, США и Канады, Европы.

Все это в целом означало крупный шаг вперед на одном из важных участков развития нашей общественно-политической мысли. Если, конечно, подходить с меркой не сегодняшнего дня, а учитывать реальности исторического и политического процесса. И здесь я бы хотел еще раз привести весьма, по-моему, тонкое наблюдение Я.А.Певзнера. «Оглядываясь на прошлое с нынешних позиций, — пишет он, — можно сказать так: в последние годы совершен большой прогресс в сферах теории, идеологии и политики (внешней и внутренней), но пока нет серьезного прогресса в экономике. В те годы (вторая половина пятидесятых —

начало шестидесятых годов) все было «наоборот» — был достигнут значительный прогресс в экономике (особенно в сельском хозяйстве и жилищном строительстве), но во внешней политике была лихорадка и опасная болтанка (от Кэмп-Дэвида[1] до Берлинского и Карибского кризисов). А что касается идеологии и теории, то здесь сохранялось господство сталинского наследия...»

Дело действительно обстояло так, и тем важнее были существование и деятельность немногих тогда «оазисов» творческой мысли, к числу которых принадлежал и ИМЭМО, созданный А.А.Арзуманяном.

Журнал «Проблемы мира и социализма» и его шеф-редактор А.М.Румянцев

Мне трудно оценить, какую роль сыграл этот журнал в сплочении и налаживании взаимопонимания в мировом коммунистическом движении. Думаю, положительную, поскольку журнал способствовал торможению негативных процессов, помогая повышению теоретического и политического уровня коммунистов, особенно в более слабых партиях, не имевших большого собственного теоретического потенциала. Журнал, пусть не всегда последовательно, приучал коммунистов к идеологической терпимости — к искусству, долгое время бывшему для них далеким и даже презираемым или запретным, вообще пропагандировал идеи XX съезда КПСС. Большего он, наверное, в тогдашних условиях сделать и не мог — слишком сложной, даже тяжелой была обстановка в коммунистическом движении (журнал был создан в 1958 году), начиная с «большого раскола» — разрыва отношений между КПСС и Коммунистической партией Китая.

И если я говорю о журнале однозначно как об «оазисе» творческой мысли, то имею в виду прежде всего его роль

---

[1] Имеется в виду успешная поездка Н.С.Хрущева в США в 1959 году, породившая надежды (к сожалению, не сбывшиеся) на то, что удастся быстро покончить с «холодной войной».

для нашей страны и нашей партии. Оценивая ее, нельзя подходить к журналу с теми же критериями, по каким оценивается учебник или исследовательский институт. Журнал, во всяком случае, в тот период, который я лучше знаю (я работал в нем с 1960 по конец 1962 года), не вырабатывал новых теоретических концепций и политических идей, хотя в нем печаталось немало интересных статей, где можно было найти и то, и другое. Но весь стиль публиковавшихся в нем материалов — как политический, так и литературный — был несколько иным, отличным от существовавшего тогда в теоретических и политических журналах нашей и большей части других коммунистических партий. Его активно читали в Советском Союзе. И он в целом помогал формированию новых подходов к проблемам мирового коммунистического движения (исторически они для нас были очень важны), международной политики и даже марксистско-ленинского учения. Все это само по себе уже было полезным.

Но, мне кажется, не менее важным вкладом в раскрепощение и последующее развитие общественно-политической мысли в нашей стране было то, что журнал стал еще одной школой подготовки кадров, на долю которых выпала впоследствии неблагодарная, но весьма важная миссия — тормозить откат, попятное движение теории, идеологии и политики в последние годы руководства Н.С.Хрущева и особенно в период застоя. И участвовать в создании своего рода интеллектуального моста между XX съездом КПСС и перестройкой, моста через провалы застоя и одновременно баррикады, затруднявшей контратаки сталинизма и реакции. Более того, многим из тех, кто работал тогда в журнале, идейно и политически формировался в его коллективе, выпали честь и счастье внести известный вклад в подготовку и становление теоретических основ перестройки, нового политического мышления.

Почему это удалось? Первая причина — общая политическая и духовная обстановка, созданная XX съездом КПСС; журнал тоже был его детищем. А вторая — лич-

ность первого шеф-редактора Алексея Матвеевича Румянцева. Он не побоялся привлечь в журнал способных, творческих людей и был готов за них бороться, преодолевая сопротивление консерваторов, которые совсем иначе представляли себе состав советской части журнала — а именно как продолжение тогдашнего партийного аппарата. И постарались внедрить немало его представителей в редакцию.

А.М.Румянцеву удалось собрать в журнале (я говорю о тех, кто работал в первые годы, у меня на глазах; поскольку редакция журнала находилась в Праге, работа в нем была временной загранкомандировкой, что обусловливало постоянную сменяемость сотрудников) поразительно много интересных, как выяснилось потом, перспективных людей. Среди них хотел бы назвать А.С.Черняева, Г.Х.Шахназарова, И.Т.Фролова (судьба распорядилась так, что все они после почти тридцати лет политической и теоретической работы стали помощниками М.С.Горбачева), К.Н.Брутенца (ставшего потом первым заместителем заведующего Международным отделом ЦК КПСС), завоевавшего заслуженную известность ученого и публициста Ю.Ф.Карякина, В.В.Загладина, известного журналиста и дипломата Г.И.Герасимова, упоминавшегося уже специалиста по проблемам партии и партийного строительства Б.М.Лейбзона, Ю.А.Жилина, видных ученых и политических публицистов Е.А.Амбарцумова, Э.А.Араб-оглы, А.С.Куценкова и др. Само взаимное общение этих людей, помноженное на общение с работавшими в журнале представителями зарубежных компартий (среди них были очень интересные люди), давало каждому многое — была создана творческая среда, которая как ничто другое помогает развитию способностей, заложенных в людях.

Конечно, для создания такой среды, обеспечения условий для товарищеских, раскованных отношений мало было собрать интересных и способных людей. Необходимо было еще обеспечить интеллектуальную свободу (конечно, в разумных, возможных в то еще нелегкое время пределах), снять ставший за долгие годы второй натурой

почти каждого из нас страх за свои слова, мысли и настроения. И А.М.Румянцев (не без помощи всех нас — молодых тогда сотрудников журнала) смог создать такую обстановку, такую атмосферу.

В прошлом этот человек занимал ответственные посты в науке и партийном аппарате. Известность он приобрел во время экономической дискуссии, проходившей в последние годы жизни Сталина. Работы Румянцева обратили на себя внимание вождя, и Алексей Матвеевич был назначен на только что созданный руководящий пост председателя Идеологической комиссии ЦК КПСС, потом стал главным редактором журнала «Коммунист», а оттуда был назначен в Прагу. Я не берусь оценивать его труды по политэкономии. Но я знаю очень немного обществоведов старшего поколения, сумевших так всерьез воспринять идеи XX съезда КПСС, стать борцами за эти идеи, борцами, нередко проявлявшими немалую отвагу. Забегая вперед, скажу, что после октябрьского (1964 года) Пленума ЦК КПСС Румянцев возглавил «Правду» и проявил себя там вполне однозначно. Именно поэтому его вскоре перевели в Академию наук СССР — он стал ее вице-президентом, но потом был вытеснен консерваторами с этого поста, а также с поста директора созданного им Института социологии.

В журнале Румянцев проявил себя с очень хорошей стороны, и одной из главных его заслуг была уже отмеченная способность создать творческую, «вольную» атмосферу. Я не знаю, понимал ли он полностью ее значение для интеллектуального роста и политического развития работавших с ним людей. Но важен результат. И независимо от всего он был еще и просто хорошим, порядочным, честным человеком, и для него стремление создать вокруг себя такую обстановку, такой «оазис» свободной мысли было, как мне кажется, органичным. Хотя далось оно, разумеется, не вдруг и не сразу.

В советской части коллектива, притом на ответственных постах, оказались также (и не могли в то время не оказаться) люди, типичные для аппарата ЦК сталинских вре-

мен. И они пытались создать там совершенно иную, привычную и удобную для них атмосферу. Особую роль играл в этом плане секретарь парторганизации нашей части журнала, ранее заместитель заведующего одним из отделов ЦК КПСС И.Т.Виноградов. Связанное, по сути, с отношением к курсу XX съезда взаимное политическое недоверие между ним и небольшой группой его сторонников (их сила была в больших аппаратных связях дома, в Москве), с одной стороны, и основной частью советского редакционного коллектива, с другой, нарастало, пока не разразился открытый конфликт. Его кульминацией было партийное перевыборное собрание, на котором Виноградова подвергли резкой критике и, как говорится, «с треском» прокатили на выборах в партком. Румянцев не встал на его сторону, а в душе поддерживал его критиков, что и решило исход конфликта. Думаю, наверное, с Москвой у него в этой связи были неприятные разговоры.

Но журнал от такого урегулирования внутреннего кризиса, несомненно, выиграл. И в смысле политической ориентации, и в смысле обстановки в коллективе.

На идеологическую и политическую ситуацию в стране, повторяю, журнал едва ли мог оказать заметное влияние, хотя был полезным подспорьем для тех, кто интересовался международными делами. Но довольно значительной группе относительно молодых работников журнал помог сформироваться как людям с интернационалистскими, более широкими и открытыми взглядами на мир, на другие страны и на международные отношения, на марксистскую теорию и на политику. Ведь все мы работали в постоянном контакте с зарубежными коммунистами, участвовали в обсуждении и редактировании написанных ими статей, учились разбираться не только в своих, но и в их проблемах, учились понимать других, а главное — понимать, что у тебя нет монополии на истину, что есть и другие точки зрения, с которыми не обязательно соглашаться, но которые нельзя не учитывать. Это была уникальная в своем роде школа, и очень важно, что она существовала, — ведь

многие из работавших в журнале вскоре были назначены на ответственные партийные посты либо занялись теоретической работой.

Группа консультантов Отдела ЦК КПСС. Ю.В.Андропов: первые впечатления

Я уже говорил, что не только при Сталине, но и при Хрущеве руководство не испытывало большой потребности в теории или, во всяком случае, не догадывалось, что такая потребность у партии и страны есть.

Чтобы эта ситуация изменилась, нужны были особые обстоятельства. Как очень часто бывает, ими оказались трудности. На этот раз — трудности в мировом коммунистическом движении и резкое обострение отношений с Китайской Народной Республикой и Коммунистической партией Китая. Столкнувшись с этими факторами, когда стало очевидным, что прежние методы неприменимы, что попытки командовать не только не эффективны, но и приносят вред, советское руководство поняло: необходима куда более тщательная отработка позиций и аргументов в начавшейся дискуссии. И, естественно, более тщательная подготовка соответствующих документов и материалов для выступлений.

Удовлетворить эти потребности старый аппарат не мог, он был приспособлен для совершенно иных времен, порядков и функций. Это и заставило открыть в самом начале шестидесятых годов в Международном отделе (его возглавлял Б.Н.Пономарев) и Отделе по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран ЦК КПСС во главе с Ю.В.Андроповым (сокращенно его называли Отдел ЦК) совершенно новые для аппарата ЦК КПСС должности консультантов. Из них в каждом из отделов сформировали так называемые подотделы, переименованные в 1965 году в группы консультантов (по аппаратной иерархии консультант был приравнен к заведующему сектором, а заведующий группой консультантов — к заме-

стителю заведующего отделом; это были по всем понятиям весьма высокие посты). Новыми здесь были не только названия и функции (по сути, исследовательские), но и то, что впервые за многие годы в аппарат ЦК пригласили значительную группу представителей интеллигенции (потом институт консультантов был организован и в Идеологическом, и в других отделах ЦК КПСС). Но поначалу консультанты выглядели в аппарате — даже внешне — настоящими белыми воронами. А поскольку потребность была большой и острой и оба заведующих отделами хотели взять людей поярче, среди них оказалось и немало «вольнодумцев», совсем уж непривычных, даже чуждых тогдашнему партийному аппарату.

Я был приглашен консультантом в отдел Ю.В.Андропова в мае 1964 года и проработал там до конца 1967-го. Могу сказать, что собранная Андроповым группа консультантов была одним из самых выдающихся «оазисов» творческой мысли того времени (то есть с момента ее создания в 1961 году и до 1967 года, когда Андропова перевели из ЦК в КГБ, что радикально ограничило возможности и роль группы консультантов Отдела ЦК, даже изменило ее реальный статус).

С Ю.В.Андроповым меня познакомил еще в 1958 году О.В.Куусинен, хорошо знавший его по работе в Карелии. Потом мы неоднократно встречались во время выполнения различных поручений творческого характера. Меня для этого не раз вызывали и из Праги, а по возвращении в Москву я больше времени проводил на этих заданиях, чем на основной работе в ИМЭМО. Так что к моменту прихода в Отдел я хорошо знал и Андропова, и его консультантов.

Это был очень сильный и очень творческий коллектив. Помимо Ф.М.Бурлацкого, который тогда возглавлял подотдел, в него входили: А.Е.Бовин, получивший впоследствии широкую известность как публицист и журналист; уже упоминавшийся Г.Х.Шахназаров, успешно работавший не только в науке и политике, но и в литературе; экономист О.Т.Богомолов, через некоторое время возглавивший Ин-

ститут экономики мировой социалистической системы АН СССР, ставший академиком и затем избранный народным депутатом СССР; политолог и публицист Н.В.Шишлин, Р.П.Федоров, упоминавшийся Г.И.Герасимов, другие квалифицированные специалисты (Ф.Ф.Петренко, В.А.Александров, Н.Л.Коликов).

Многие из названных имен говорят сейчас сами за себя. Тогда эти люди не были столь маститыми и известными, но зато были молодыми, смелыми, а также, конечно, честолюбивыми (не считаю это недостатком) — и вместе с тем способными, могли, забыв обо всем, самозабвенно работать (если понимали, что это важно) и при всех спорах оставаться в главных вопросах единомышленниками. Все они без колебаний приняли XX съезд КПСС и стояли на этой платформе.

Очень существенным при этом было то, что такую группу собрал вокруг себя секретарь ЦК КПСС. Он действительно испытывал в ней потребность, постоянно и много работал с консультантами. Работал, а не только давал поручения. В сложных ситуациях, а их было много, да и вообще почти всегда на завершающем этапе работы все «задействованные» в ней собирались у Андропова в кабинете, снимали пиджаки, он брал ручку — и начиналось коллективное творчество, часто очень интересное для участников и, как правило, плодотворное для дела. По ходу работы разгорались дискуссии, они нередко перебрасывались на другие, посторонние, но тоже всегда важные темы. Словом, если говорить академическим языком, работа превращалась в увлекательный теоретический и политический семинар. Очень интересный для нас, консультантов, и, я уверен, для Андропова, иначе он от такого метода работы просто отказался бы. И не только интересный, но и полезный.

Что получали в ходе такой работы мы? Во-первых, понимание живой политики, политики в процессе ее формирования. Ибо, как правило, задания относились не к абстрактной теории, а к политике. При этом очень интересно

было приобщиться к ней через такого посредника, как Ю.В.Андропов, — не только умного, но и обладающего незаурядным даром политика, мыслящего, нацеленного на практические результаты — как непосредственные, так и перспективные. Ну, а во-вторых, Андропов был неординарным человеком, с которым было интересно работать. Он не имел систематического формального образования (техникум по речному судоходству!), но очень много читал, знал, в смысле эрудиции был, конечно, выше своих коллег по руководству, в большинстве своем если и не закончивших вузы, то хотя бы получивших высшее партийное образование. Кроме того, он был талантлив. И не только в политике. Например, Юрий Владимирович легко и, на мой непросвещенный взгляд, хорошо писал стихи, был музыкален (неплохо пел, играл на фортепьяно и гитаре, о чем, впрочем, мы знали лишь понаслышке).

В то же время, я думаю, Андропов тоже немало черпал из своих бесед, дискуссий и споров, из всей работы с консультантами. Тем более что в те годы круг общения высокопоставленных партийных работников был очень узким и, как правило, малоинтересным. Он ограничивался в основном такими же высокопоставленными партийными работниками да парой личных друзей. (У меня, честно говоря, сложилось впечатление, что со времен Сталина не общаться с людьми «не своего круга» стало неписаной нормой поведения наверху, и она, по-моему, намного пережила своего создателя.) Потому здесь Юрий Владимирович мог в какой-то мере удовлетворить естественную потребность в нормальном человеческом общении.

В ходе такого общения он пополнял свои знания — не только академические, хотя и в этом смысле у части консультантов был значительный багаж, но и о книжных новинках (у нас и за рубежом), культурных событиях и о многом другом. И наконец — это, наверное, самое важное, — такая повседневная работа и связанное с ней общение открывали для Андропова важный дополнительный канал информации о повседневной жизни и служили

источником неортодоксальных оценок и мнений, то есть как раз той информации, которой нашим руководителям больше всего и недоставало.

Он все это в полной мере получал, тем более что с самого начала установил (и время от времени повторял) правило: «В этой комнате разговор начистоту, абсолютно открытый, никто своих мнений не скрывает. Другое дело — когда выходишь за дверь, тогда уж веди себя по общепринятым правилам!»

И мы этому принципу следовали, за пределами службы старались не говорить лишнего. А если что-то от Андропова и скрывали, в чем-то с ним лукавили, то совсем чуть-чуть и то больше по тактическим соображениям. Мало того, я и, как полагаю, мои коллеги считали даже своим долгом говорить с Андроповым именно на «трудные» темы, рассматривая это как один из немногих доступных нам каналов доведения той или иной информации или соображений до руководства. Что касается Юрия Владимировича, то он говорил нам многое, но, конечно, не все. Да мы и не могли этого от него ожидать. Он слушал терпеливо даже то, что не могло ему нравиться, — в то время я не помню случая, чтобы он прервал какой-то существенный разговор просто потому, что он ему неприятен. Другое дело — он часто не комментировал услышанное, никак на него не реагировал, молчал. А иногда для порядка и отстаивал ортодоксальную линию, сам подчас не очень веря в ее правильность (хотя было немало вопросов, по которым он действительно держался ортодоксальной точки зрения, впрочем, случалось, эту точку зрения менял). Мы такую реакцию понимали, хорошо представляли себе, что «положение обязывает».

Все это трогающие какие-то душевные струны у всех нас, участвовавших в этой работе, воспоминания. Действительно было интересно. А кроме того, в таком рабочем общении Ю.В.Андропов часто показывал себя с самой лучшей стороны, а были у него стороны и не такие привлекательные. (К личности и роли Ю.В.Андропова, его поло-

жительным качествам и слабостям я еще буду возвращаться.) Но это, так сказать, лирика. Более существенно другое: что дали эта работа, усилия группы консультантов и самого Андропова полезного для развития политической мысли и для политики?

Начну с вопросов, которыми мы непосредственно занимались, — отношений с социалистическими странами. В свете событий 1989 года, конечно, трудно говорить о пользе того, что делалось в первой половине шестидесятых. Но, думаю, все же некоторых, еще более серьезных, трудностей тогда избежать удалось. В частности, лично Андропов и группа консультантов содействовали размыванию старых представлений о формах и принципах наших отношений со странами Восточной и Центральной Европы. Я имею в виду представления о том, что нашей стране в социалистическом содружестве были отведены особые права, включая право командовать и уж как минимум учить, наставлять других, заставлять во всем следовать нашему примеру, ибо все, что она, наша страна, делала, только и могло быть «единственно правильным». Эти представления оставались частью политической психологии многих работников даже после XX съезда, в середине шестидесятых годов, прежде всего в аппарате ЦК КПСС (включая отдел, которым руководил Ю.В.Андропов). Мы старались противопоставить этой разновидности административно-командного мышления достойную альтернативу: уважительное отношение к другим социалистическим странам и их опыту, терпимость к отклонениям от наших образцов, от того, что существует у нас, понимание необходимости строить отношения на основе учета взаимных политических и экономических интересов. Хотя каждый шаг вперед давался здесь ценой большого труда, думаю, кое-что в эти годы сделать все же удалось (правда, в сравнении не столько с тем, что должно было быть, сколько с тем, что было раньше).

Удалось поставить (хотя, к сожалению, далеко еще не решить) вопрос о необходимости отказа от столь привыч-

ных нам автаркических настроений и традиций в экономике, о важности экономической интеграции.

Еще одно дело, в которое Отдел ЦК КПСС в те годы смог, как мне кажется, внести известный вклад, — это утверждение более реалистических и более широких взглядов на внешнюю политику, на отношения с Западом. И закрепление, и обоснование нового подхода к мирному сосуществованию — не как к тактике и тем более пропаганде, не как к временной передышке, а как к реальной возможности и необходимости, которую отнюдь не отменяют противоречия между социализмом и капитализмом.

Далее — это я считаю особенно важным, — на закате «эры Хрущева», омраченном серьезными подвижками назад, уступками сталинизму, так же как в период колебаний политической линии, начавшихся после октябрьского (1964 года) Пленума ЦК КПСС, мы, как и другие сторонники курса XX съезда, старались использовать все возможности, чтобы этот курс сохранить. И если уж нельзя было остановить, то хотя бы затормозить начавшийся откат.

Конечно, возможности наши были ограничены. Но они существовали. Политическая борьба тогда вступила в этап, так сказать, жесткой позиционной войны, когда даже от упоминания в документах и речах руководителей каких-то «ключевых» слов и политических понятий (скажем, «культ личности», «XX съезд», «общенародное государство», «партия всего народа», «мирное сосуществование» и т.д.) зависел исход множества схваток, происходивших в разных слоях общества. Схваток, которые влияли на политические решения, не говоря уж о судьбе статей в печати, кинофильмов, пьес, а то и людей, развитии тех или иных направлений исследований о психологическом и политическом климате в стране. Поэтому работа над заданиями руководства, составлявшая основную часть деятельности группы консультантов, обретала заметный практико-политический смысл. Мы питали надежду, что выработанные совместно идеи и аргументы Ю.В.Андропов сможет довести до руководства. И наконец, именно у группы консуль-

тантов Отдела ЦК, а в какой-то мере и Международного отдела имелась в этом плане еще одна, временами весьма эффективная возможность влиять на ход некоторых внутренних дискуссий, открывшаяся в связи с резко обострившейся полемикой с маоистским руководством КПК.

Об этом несколько подробнее я скажу ниже. Завершая же тему об очагах, «оазисах», где развивалась в те непростые годы общественная мысль, хотел бы еще раз повторить, что упомянул лишь те, в которых работал, с которыми был непосредственно связан. Существовали, несомненно, и другие. Но о них, я надеюсь, напишут те, кто их лучше знает.

Оценивая роль этих «оазисов», не буду, конечно, утверждать, что под их благотворным воздействием ожила, превратилась в благоухающий цветущий сад наша общественно-политическая мысль, обращенная Сталиным в пустыню. Так, к сожалению, не произошло и не могло произойти. Наоборот, обстановка вскоре начала ухудшаться, и творческая мысль подверглась новым ограничениям, а то и гонениям. Но тем не менее эту роль нельзя и недооценивать. Развившаяся в этих «оазисах» мысль все же смогла улучшить, оживить, осовременить интеллектуальную атмосферу в нашем обществе и, главное, успела бросить семена, которые взошли много лет спустя, чтобы сыграть заметную, может быть, даже существенную, роль в годы перестройки.

ИНСТИТУТ США И КАНАДЫ АН СССР, ИЛИ КАК МЫ «ОТКРЫВАЛИ» АМЕРИКУ

В предыдущей главе я охватил довольно значительный и очень важный в моей жизни отрезок: детство (включая пребывание с родителями за рубежом), войну, студенческие годы и почти двадцать лет своего становления как работника — журналиста, политического советника руководства. Собственно, эти годы в значительной мере сформировали меня и как специалиста, и как личность.

Поскольку глава была в основном биографической, ее логическим продолжением является глава об Институте США, которому я отдал тридцать лет своей жизни. Его становление было самым большим делом, какое мне довелось осуществить, и оно в значительной мере сформировало меня и как ученого, и как политика.

Решение о создании института (сначала — только США, Канада добавилась в 1975 году) было принято в мае 1967 года. А в декабре я стал директором института, которого еще не было. Не было ничего: ни людей, ни помещения, ни стола, ни стула. Две недели я и был «институтом». Потом начали приходить люди, постепенно складывался коллектив, мы получили помещение (пусть временное и в немыслимо запущенном состоянии), понемногу обставлялись, обживались, трудились (здесь я настаивал, чтобы в полную силу, представляя себе, что безделье любой коллектив разлагает).

Это была первая моя работа такого рода, и опыт соответственно был нулевой. Но определенные идеи, представление о том, что надо попытаться сделать, у меня, конечно, были. Я долгое время, будучи журналистом, а потом сотрудником аппарата ЦК КПСС, систематически «потреб-

лял» продукцию наших общественных наук, особенно ту, что была близка к внешней политике, международным отношениям, мировой экономике, знал и сильные, и слабые стороны этой продукции. Тем более что мог сравнивать, с конца сороковых годов систематически читая как текущую периодику, так и серьезную политическую литературу на английском и немецком языках. А готовясь стать директором (у меня с полгода было на размышления), прочел, что мог, о зарубежных исследовательских центрах, занимающихся политикой. К тому же в начале шестидесятых годов в течение двух лет работал в ИМЭМО. Помогло в формулировании задач и выработке концепции института также то, что несколько лет я работал в аппарате ЦК КПСС, знал элементарные правила как процесса выработки политики, так и аппаратной работы. А также был лично знаком — лучше или хуже — со многими ответственными деятелями и руководителями. Последнее тоже оказалось достаточно важным. Не раз, занимаясь институтом, вспоминал прочитанное в молодости — в мемуарах одного английского дипломата (к сожалению, фамилию автора забыл, а название книги было «Lying in State», что в переводе означает что-то вроде «Прощаясь с миром») — сравнение бюрократических методов принятия решения с любовью слонов. Все реально имеющие значение действия, писал он, должны совершаться на самом высоком уровне, каждое даже небольшое достижение сопровождается оглушающим трубным гласом, а результаты, если они и будут, появляются на свет полтора года спустя (кажется, полтора, полагаюсь на память, мне просто не удалось точнее выяснить продолжительность беременности у слонов).

Ради дела, честно скажу, я не стеснялся беспокоить самые высокие инстанции, особенно поначалу. Естественно, что мне, тогда человеку не старому (директором я стал, когда мне было сорок четыре года), хотелось сделать что-то хорошее, новое, нужное. Мне не стыдно признаваться в честолюбивых мечтах — тот, кто начинает новое дело без них, наверное, не имеет шансов на успех.

Но я не собираюсь говорить о трудностях и перипетиях своей работы как директора — они были большими. Я иногда думал, что второй раз в жизни создать институт не смог бы. Но это — мое, личное. А сейчас речь о другом — о том, каким стал институт, что он сделал и делает.

Замысел при организации института (инициатива принадлежала МИД СССР и Академии наук; я даже не знал о том, что они обратились к руководству с таким предложением) состоял в том, чтобы создать центр, занимающийся фундаментальными исследованиями, который бы не ограничивался публикациями академических книг и статей, а доводил результаты этих исследований до практических выводов и рекомендаций, прежде всего в сфере советско-американских отношений. Предполагалось, что исследования будут вестись на междисциплинарной основе — экономистами, политологами, историками, социологами, специалистами по военным проблемам и т.д. Думаю, в какой-то мере сама идея создания института была подсказана публикациями (подчас рекламными) о работе американских «Рэнд корпорейшн», Гудзоновского института, тогда еще возглавлявшегося знаменитым Германом Каном, и других подобных исследовательских центров.

Первая аналитическая записка была подготовлена институтом в апреле 1968 года — в период драматичных политических потрясений в Америке, которые президент Р.Никсон охарактеризовал как самый острый кризис со времен Гражданской войны. Это был год президентских выборов, и наша задача состояла в том, чтобы исследовать чрезвычайно сложную ситуацию, сложившуюся в США, и попытаться сделать прогноз насчет ее последствий для советско-американских отношений.

Перечитывая из любопытства эту записку много лет спустя, вместе с удовлетворением по поводу того, что ее главные выводы и прогноз оправдались, я удивлялся и смелости, известной отчаянности, проявленным мною и моими коллегами. Ибо мы высказывали довольно решительные суждения в самом начале исследовательской деятельности, буквально через пару месяцев после того, как сели

за свои рабочие столы. Но это было реализацией того, что каждый принес в институт, его наблюдений и суждений.

Главный вывод записки состоял в том, что независимо от того, кто победит на выборах, в США назревают предпосылки для перемен во внешней политике, которые могут объективно отвечать интересам СССР.

«Впервые сложилась ситуация, — писали мы в этом документе, посланном руководству, — при которой правительство США, проводя свою «глобальную» политику, столкнулось с серьезным противодействием не только на международной арене, но и в своей собственной стране. Впервые над Соединенными Штатами нависла опасность крупных внутренних потрясений, причем в значительной мере вследствие обострения проблем (рост налогов, инфляция, бедственное положение меньшинств, кризис городов), требующих для своего решения значительного усиления внимания правительства и концентрации ресурсов на внутренних делах». А это, как считали мы, будет стимулировать конструктивные начала во внешней политике США.

Мы сделали также вывод о том, что СССР может оказать некоторое воздействие на эти процессы. Особенно большое значение могла бы иметь в сложившейся обстановке активизация нашей внешней политики, в том числе путем выдвижения широкой конструктивной программы борьбы против угрозы войны, за укрепление мира.

Тогда, в начале 1968 года, такие выводы и рекомендации были не совсем обычными. Представляя их в ЦК КПСС и МИД СССР, мы хорошо понимали, что они могут вызвать недовольство и раздражение, ибо тенденция к прекращению «холодной войны» пробивала себе дорогу с трудом. Инерция сталинистского мышления, тем более после попыток его новой реставрации вслед за смещением Хрущева, была еще очень сильной. В оценках американской политики, перспектив наших отношений с Америкой преобладали формулы непримиримого противоборства — «либо мы, либо они», хотя они и сопровождались, как правило, риторическими призывами к мирному сосуществованию.

Мы с первых шагов пытались также избегать идеологических стереотипов, мешавших правильно оценить собственные национальные интересы, в частности, постоянно напоминали, что сдерживание гонки вооружений несет больше выгод Советскому Союзу, чем США, ибо бремя военных расходов для нас более чувствительно.

С началом серьезных переговоров по ограничению стратегических вооружений быстро выявилась проблема, которой было суждено преследовать советских специалистов вплоть до сегодняшнего дня, — наша одержимость секретностью во всем и особенно в вопросах военной политики. В двадцатые годы вопросы эти дебатировались у нас открыто, и это не только не помешало, но, напротив, помогло молодой Советской республике создать надежный оборонительный щит и установить принципиально новые, здоровые отношения между обществом и армией. В тридцатые годы такая демократичная модель была разрушена, и в этом состояла одна из причин катастрофы 1941 года. А в годы «холодной войны» секретность, воспринимавшаяся обществом как естественный и единственно верный подход к вопросам обороны, обернулась для нас огромными излишними расходами и опасными кризисными ситуациями.

С начала семидесятых годов институт неоднократно поднимал эту тему перед руководством. Но только к середине восьмидесятых начало формироваться понимание необходимости иного подхода к обеспечению безопасности страны, что выразилось в концепции безопасности для всех, а затем и в конкретных шагах к увеличению открытости, расширению мер доверия в вопросах обороны.

В 1969 году резко обострились советско-китайские отношения, что заставило нас заняться более пристальным анализом американо-китайских отношений. Один из первых выводов, который мы сделали в начале 1970 года, состоял в том, что отношения в «треугольнике» СССР—США—КНР уже существуют как единый комплекс. Это не позволяет ставить вопрос: отношения или с США, или с

КНР. Наш вывод был таким: необходимо вести курс на установление отвечающих интересам СССР отношений одновременно с обеими странами в той мере, в какой это позволяет политика и той, и другой в каждый данный момент.

Неразумно реагировать нервозно и чрезмерно остро на каждое движение в контактах США и КНР, писали мы осенью 1970 года. В августе 1971-го, когда было объявлено о предстоящем визите в Пекин президента Никсона, мы вновь вернулись к проблеме отношений КНР—США, доказывая, что против определенной степени их нормализации нам бороться трудно, рискованно и неразумно: любые такие попытки только вызвали бы нежелательную реакцию в мире.

Я не хочу злоупотреблять вниманием читателя, пересказывая десятки информационных и аналитических записок, ежегодно направлявшихся институтом в те организации, где формировалась советская внешняя политика. Те примеры, которые я привел, по-моему, достаточно ясно показывают, что мы в меру сил старались помочь становлению более просвещенной политики, не были конформистами.

В период болезни Брежнева и усиливавшегося интеллектуального упадка руководства внешней политикой для института настали трудные времена. Я понимал, что попытки подсказать верные шаги руководству становятся все менее продуктивными. Но вместе с тем боялся в этом признаться себе самому и тем более обнажить также неприглядные реалии перед коллективом. Это просто убило бы творческий дух людей. «Невостребованность» науки очень тяжка для ученых. Потому я старался не складывать оружие даже и в трудные времена, для себя оправдывая это как «работу впрок», на будущее — в него все же надежды не теряли. А в коллективе пытался поддерживать уверенность в том, что работа наша остается нужной для политики.

Вели мы и исследования региональных проблем, особенно европейских, ближневосточных, а потом все больше — дальневосточных, тихоокеанских, инициатором и энтузиастом которых был В.П.Лукин. Завязали контакты с

исследовательскими центрами в этих регионах, подготовили в институте группу квалифицированных специалистов. С известным удовлетворением могу, в частности, сказать, что институт был среди первых научных коллективов в стране, обративших внимание советского руководства на то, что система приоритетов меняется, Тихоокеанский регион становится для нас крайне важным.

Первые неофициальные записки по этому поводу, содержавшие также политические рекомендации, были направлены в начале восьмидесятых годов еще Брежневу, затем — Андропову, затем — Черненко. Помню, летом 1984 года меня вместе с В.В.Загладиным пригласил А.М.Александров (он оставался в должности помощника Генерального секретаря до осени 1985 года), разложил перед собой наши записки, в том числе оставшиеся в наследство от предшественников К.У.Черненко, а также направленные последнему, и сказал: «Давайте думать, что делать». И мы решили: «Продолжать стараться». Александров взялся, используя редкие часы, а потом и минуты улучшения здоровья тогдашнего Генерального секретаря, пробивать какие-то вопросы через него, где можно, пытаться влиять на МИД от его имени и попросил нас использовать и наши собственные возможности. Но они были очень скромны у всех нас, включая самого Александрова.

Если говорить о моих возможностях что-то сделать для практической политики, я мог лишь направлять записки (или их копии) М.С.Горбачеву, фактически ставшему тогда вторым секретарем. Горбачев уже в ту пору проявлял большой интерес к внешней политике. И старался сделать, что мог, хотя в той ситуации и его возможности были ограниченными.

После марта 1985 года положение радикально изменилось. И здесь пригодились подготовленные в прошлом заделы, в том числе и созданные в институте.

Но это позже. А в годы глухого застоя у думающих людей душевные силы уходили на то, чтобы относиться к работе творчески, продолжать работать и надеяться.

У нас же, находившихся на рубеже соприкосновений и контактов с США, в целом с Западом, была и еще одна задача, если угодно, функция — возможно более достойно вести оборонительные бои. Поправение Запада, наступление консерватизма в сочетании с нарастающими трудностями в нашей внешней политике и внутренних делах ставили наше государство в очень нелегкое положение, в том числе идеологически. Этот фронт наши государственные организации нам охотно предоставляли, особенно если мы — ученые, отдельные публицисты и журналисты — были готовы работать на свой страх и риск.

Наряду с политикой и идеологией у института были и другие важные направления работы.

В начале семидесятых годов становились все более очевидными симптомы застойных тенденций в нашем хозяйственном развитии. Импульс, который дала экономике реформа 1965 года, быстро исчерпал себя из-за непоследовательности ее инициаторов, глухого сопротивления бюрократии. Все возвращалось на круги своя, притом в новой обстановке, когда в мире развертывалась научно-техническая революция. Становилось ясно, что страна не просто сдает позиции в каких-то областях — реальной стала угроза общего отставания.

Уже в сентябре 1968 года институт направил в ЦК КПСС и Совет Министров СССР первую информационно-аналитическую записку «О влиянии научно-технической революции на внешнеполитическую стратегию США». По сути, несмотря на намеренно суженный в заголовке аспект проблемы, мы хотели сделать ее «сигналом тревоги», насторожить руководство в связи с явно обозначившимся отставанием страны. Записка была разослана всему руководству, обсуждалась, сыграла определенную роль в пробуждении внимания к этому вопросу, хотя, к сожалению, не имела должных практических последствий. Я уже писал о закончившихся ничем замыслах провести специальный Пленум ЦК КПСС по научно-техническому прогрессу.

То же самое относится к записке о передаче научно-технических открытий и достижений в военной области в

гражданские отрасли хозяйства, направленной руководству в апреле 1969 года. Была даже создана специальная комиссия, принималось какое-то решение, но более весомых практических результатов не последовало.

С начала восьмидесятых годов институт (насколько я знаю, первым среди подразделений АН СССР) стал привлекать внимание политического руководства к проблеме растущего экономического отставания советского Дальнего Востока и увеличивающегося значения для нас Азиатско-Тихоокеанского региона, который вышел на новый, качественно более высокий уровень развития и взаимных связей. Были внесены предложения, охватывавшие экономическую, политическую, научно-техническую области. Они были призваны, с одной стороны, ускорить развитие наших восточных регионов, а с другой — активно включиться в формирующееся «тихоокеанское сообщество».

В руководящие органы направлялось много информационных записок и по другим экономическим проблемам: о положении дел в отдельных отраслях и важных государственных программах, об американских оценках состояния и перспектив советской экономики, об актуальных вопросах внешнеэкономических связей.

Большое внимание, естественно, уделялось опыту США в сельском хозяйстве и производстве продовольствия. В 1973 году для изучения этого опыта был создан специальный сектор, преобразованный в 1977 году в отдел. Институт буквально бомбил вышестоящие инстанции записками о проблеме белка, развитии бройлерной промышленности, создании новых отраслей пищевой промышленности, улучшении хранения и перевозок зерна и овощей, новых тенденциях в развитии технической базы сельского хозяйства и др. Дважды — при Брежневе, а затем при Андропове — на Политбюро рассматривались наши записки о сокращении закупок зерна в США. К сожалению, оба раза под давлением нашего «зернового лобби» они были отклонены.

Институт одним из первых в стране занялся разработкой

принципов совместных с западными фирмами производств. В 1976 году были подготовлены предложения о совместном производстве автомобильных свечей с американской компанией «Бендикс», разработана на этом примере концепция и типовая модель новой формы экономического сотрудничества. Предложение дважды рассматривалось на комиссии Совета Министров СССР, которая оба раза выносила по этому вопросу положительные решения. Увы, как это было и со многими другими хорошими идеями в те годы, практического воплощения это предложение так и не нашло.

Еще одним важным направлением прикладных экономических исследований были изучение американского и вообще зарубежного опыта управления, попытки приспособить его к нашей практике. На невысоком уровне (предприятие, объединение) это нередко удавалось, работа приносила практическую пользу. На более высоких уровнях (мы, например, подготовили проект управления программой развития Нечерноземной зоны РСФСР, даже успешно доложили его в Совете Министров Федерации, но принят он не был) ничего не получалось. В первую очередь — из-за серьезных пороков самой административно-командной системы, оставлявшей очень мало места для рационализации управления.

Как у нас относились к деятельности института? Если говорить о руководстве, то внимательно, особенно в первые несколько лет, когда политика наша еще находилась в каком-то поиске. Записки читались, рассылались, нередко принимались к сведению, получали мы немало заданий. Кое-что приносило практическую пользу, кое-что — нет, в основном по общим причинам — в связи с ситуацией, складывавшейся в стране. Но что я достоверно знаю: ущерба наши рекомендации не нанесли, дурных тенденций в политике не рождали и не поощряли. Упоминаю это, чтобы ответить некоторым критикам, многозначительно заявляющим, что, мол, в период застоя я давал руководству какие-то плохие рекомендации и должен за них ответить. Ни от

чего не отказываюсь, за каждый совет готов отвечать. Это, конечно, не значит, что все, что делали институт и я лично, было абсолютно правильно, что мы не допускали ошибок. Нет, как и другие, мы ошибались, переживали подъемы и спады.

С интересом относилась к работе института и общественность. Сужу об этом по хорошему тиражу институтского журнала, тому, что большая часть изданных нами книг не залеживалась на полках, а также по обилию приглашений выступить с лекциями, получаемых сотрудниками института. Конечно, отклики на нашу работу бывали не только позитивные. Не раз случались неприятности, в которых иногда виновны были мы, а чаще — сверхбдительные цензоры и идеологи. Ну а кроме того, работа института была достаточно определенной идейно и политически, чтобы вызывать недоверие и нападки консерваторов. Один раз под меня и под институт «закладывали» основательную мину Демичев и Кириленко (в 1973 году), правда, безуспешно. Но это было тогда в порядке вещей, и, в общем, мне жаловаться нечего, другим выпадали более серьезные испытания.

Думаю, что институт вызывал неприязнь и подозрительность у наших консерваторов не только содержанием своих работ, но и самой атмосферой, сложившейся в его коллективе. Очень многие из нас, если не все, жили надеждой, что период консерватизма и застоя будет не слишком долгим и процессы прогрессивных перемен вновь наберут силу. Это определяло настроения сотрудников: как и все развитые люди, они стремились к интеллектуальной и духовной свободе, а поскольку известная степень такой свободы была необходимым условием эффективной работы института, то он служил для них своего рода убежищем. Большинство ходили на работу с удовольствием, трудились увлеченно, творчески.

Немалую роль в создании такого климата сыграло то, что долгое время средний возраст наших сотрудников не превышал тридцати лет. Молодежи института были предо-

ставлены широкие права и возможности, и она вела себя очень активно — особенно, как это ни парадоксально на первый взгляд, во второй половине семидесятых — начале восьмидесятых годов.

Этой не совсем обычной для тех лет атмосферой объяснялось и то, что к нам с удовольствием приходили в гости «звезды» московской творческой интеллигенции. Нас, в свою очередь, тянуло к людям, которые выделялись на фоне официального конформизма и лицемерия не только своим талантом, но и упрямым стремлением говорить правду, искать ответы на жгучие вопросы, жить по совести. Хочется думать, что им бывало приятно в наших стенах потому, что здесь их понимали. А нам эти встречи давали новые импульсы к творческой работе.

Конечно же, не прошли создание и работа института не замеченными и в США. Первое интервью у меня было взято журналом деловых кругов США «Бизнес уик» в январе 1968 года и напечатано примерно месяц спустя. Оно почему-то вызвало страхи и недовольство курирующих институт работников Отдела науки ЦК КПСС. Вот тогда я и решил руководствоваться собственным представлением об интересах страны, не ориентироваться на мнение аппаратных чиновников. А вскоре влиянию института начали, явно преувеличивая, приписывать замеченные американцами изменения в тоне советской печати, когда она пишет о США. Так, журнал «Тайм» связывал с работой «новых наблюдателей за Америкой» тот факт, что советские газеты теперь считают нужным отличать «трезвомыслящих империалистов» и «реалистически мыслящих империалистов» от более распространенной и злобной их категории[1].

Потом появились специальные публикации, в том числе книги, посвященные работе советских американистов и исследователей внешней политики. Приведу выдержки из исследования Библиотеки конгресса США «Советская дипломатия и поведение на переговорах 1979—1988 гг.: новые

---

[1] Time. 1969. 7 Febr. P. 23.

испытания для американской дипломатии». В нем, в частности, подчеркивалось, что ИСКАН наряду с другими исследовательскими центрами сыграл важную роль в процессе «интеллектуализации» внешней политики Советского Союза и, «несмотря на признаваемые недостатки», был «главной силой» в трансформации «советского восприятия американской политической системы и особенно конгресса». И другая: «Те, кто внимательно следит за деятельностью Института США, считают, что эту организацию отличают профессионализм и способность влиять на внешнеполитический аппарат, другие же подчеркивают пропагандистскую роль института»[1].

А вот как в журнале «Тайм литерари саплемент» А.Браун суммирует основные выводы книги Нейла Малколма «Советские исследователи политики и американская политика», опубликованной в 1984 году: «Хотя отношения между сверхдержавами за последние 20 лет имели свои отливы и приливы, знание американской политики в СССР постоянно повышалось... Если советские руководители и наиболее образованная часть населения стали знать американскую политику и общество лучше, то этим они в значительной мере обязаны работе советских американистов, чья печатная продукция выросла по объему и качеству со времени основания Института США в 1967 году... Хотя эта работа неодинакова по качеству и неоднородна по выдвигаемым оценкам и толкованию, она дает советским руководителям и просвещенной стране более широкую информацию об американской политике и обществе, чем та информация о Советском Союзе, которой располагают американские руководители и образованные слои населения... Работа советских американистов, с одной стороны, представляет собой неотъемлемую часть гораздо более информированной интеллектуальной среды, чем та, которая существовала лет 40 назад, а с другой стороны — сама в значительной мере спо-

---

[1] Soviet Diplomacy and Negotiating Behavior: 1979—1988. New Tests For U. S. Diplomacy. GPO, 1988. P. 563—564.

собствует ее формированию». Отмечалось также, что новым в подходах элиты и особенно американистов является «отрадный акцент на здравом смысле в большей мере, чем на идеологии, принятие рационализма в качестве ориентира в политике».

Уже в 1976 году ЦРУ выпустило книгу «Биографический доклад: Советский Институт Соединенных Штатов Америки и Канады». Книга написана в подчеркнуто объективных тонах, приводит точный фактический материал о создании Института и первых годах его деятельности, а также краткие биографические справки на всех сотрудников. В предисловии отмечается, что Институт не имеет официального правительственного статуса, но информирует политическое руководство об американской политике и позициях США, а также в случае нужды выступает в роли советника. При этом Институт обеспечивает советское руководство более глубоким знанием о США и дает ему более полную картину советско-американских отношений. Институт стал также каналом контактов и встреч между специалистами в области внешней политики.

Да и не только между ними. Среди гостей Института, выступавших с лекциями, участвовавших в семинарах и обстоятельных беседах, были десятки американских сенаторов и конгрессменов, политических и общественных деятелей, видных представителей делового мира. Назову лишь несколько имен: бывший президент США Р.Никсон и бывший вице-президент У.Мондейл, бывший премьер-министр Великобритании Г.Вильсон и премьер-министр Канады П.Трюдо; такие политики, занимавшие ключевые посты в правительстве США, как С.Вэнс, Р.Макнамара, Г.Киссинджер, Б.Скаукрофт, Ч.Браун, З.Бжезинский, П.Питерсон, сенаторы Э.Кеннеди, Г.Бейкер, Г.Харт, А.Крэнстон, Ч.Мэтайес, Дж.Дэнфорт, Дж.Тауэр; видные ученые Дж.Гэлбрейт, С.Липсет, П.Кеннеди, Р.Такер, М.Шульман, Э.Хьюитт, А.Вулф, У.Мэйнс, С.Биалер, Р.Легволд, С.Хантингтон, а из мира бизнеса — Ч.Торнтон, Т.Тернер, А.Хаммер, Р.Эш, М.Блументал, Ф.Рогатин, Д.Андреас и многие,

многие другие. Это, мне кажется, и польза, и одновременно известное признание.

Конечно, в Америке к институту разные круги тоже относились по-разному: институт не раз становился мишенью для атак крайне правых. Особенно массированная кампания, имевшая целью дискредитировать его и подорвать то «вредное», по их мнению, влияние, которое оказывал институт на общественное мнение в США и других западных странах, была развернута в начале восьмидесятых годов.

Перечислю лишь наиболее заметные из статей, специально написанных для дискредитации института: доклад правоконсервативного исследовательского центра «Фонд наследия» «Истинное лицо московского Института США» (1982); статья Дж.Риза «Московские друзья в Институте политических исследований» в журнале «Американ опинион» (1983); статья Дж.Шектера «Американский связной Андропова» в журнале «Эсквайр» (1983); статья известного консервативного обозревателя У.Бакли «Ожидая Георгия» в журнале «Нэшнл ревю» (1983); пасквиль Дж.Бреннана «Короткий визит к Андропову» в «Американ опинион» (1983) и др., — не говоря уж о такого же рода «внимании», уделенном нам в определенного типа книгах вроде труда Дж.Бэрона «КГБ сегодня. Невидимая рука» (1983), выдержки из которого тут же были напечатаны в массовом журнале «Ридерс дайджест» (1982), воспоминания завербованного ЦРУ агента Шевченко и др.

Наряду с обычными в таких случаях клеветническими темами (институт — инструмент КГБ, а Арбатов — «один из руководителей советской разведки») в этой кампании обращали на себя внимание и некоторые новые моменты, в частности, попытки подорвать научную репутацию института и его сотрудников, изобразить их как «функционеров», пытающихся сбить с толку, запутать американцев. В связи с этим резко критиковались американские средства массовой информации за то, что они так охотно предоставляют нам трибуну, рекламируют нас как «ведущих экспертов

Кремля по американским делам». Обвинялись мы (что лестно, хотя, увы, не наша заслуга) и в том, что «создали» антивоенное движение в США, Канаде и Западной Европе, посеяли на американской почве идею замораживания ядерных арсеналов (хотя на деле она пришла к нам из США) и т.д. И все это были не только слова.

Сотрудникам института и мне лично американские власти в начале восьмидесятых годов начали чинить всевозможные препятствия, главным образом, чтобы помешать выступлениям в средствах массовой информации США. В 1982 году, например, мне, чтобы сорвать участие в престижной телепередаче, сократили разрешенное визой время пребывания в США; в 1983 году дали визу с условием, что я не буду иметь никаких контактов со средствами массовой информации, и т.д. Начались и трения в отношениях с посольством США в Москве.

Естественно, ни я, ни мои коллеги не были всему этому рады, но мы восприняли кампанию клеветы и такие действия как своеобразный комплимент, как признание того, что мы все же начали понимать Америку и научились с американцами убедительно говорить.

Сейчас эта полоса отношений американских властей к институту уже позади. И наши контакты с американцами нормализовались. А репутация института среди американских коллег осталась достаточно высокой.

Не хотел бы, чтобы сказанное было понято как самоуспокоенность и довольство собою. Нет, и я, и мои коллеги в годы перестройки занялись серьезным переосмыслением своей работы, выявлением недостатков, с тем чтобы поднять исследования до того высокого уровня, которого потребовали новые условия, когда к науке начали прислушиваться, стали учитывать результаты научного анализа в политике. Наука должна была внести свой вклад в становление и развитие нового политического мышления, а оно, в свою очередь, резко повысило критерии оценки политических исследований, политической науки, а также ее ответственность. Перестройка подняла планку очень высоко.

ВЕТРЫ ИЗ КИТАЯ

Выше уже говорилось о влиянии на наши внутренние политические процессы, порожденные XX съездом КПСС, событий в Венгрии и Польше (в свою очередь, испытывавших большое воздействие того, что происходило в Советском Союзе). И далее я скажу еще о том значении, которое оказали на наши внутренние дела события 1968 года в Чехословакии.

Но и о том, и о другом, в общем, уже писали, а тем, кто был свидетелем указанных событий, многое давно стало очевидным и без пространных объяснений.

Куда меньше внимания привлекало воздействие на наши дела «китайского фактора», хотя временами оно было значительным и отнюдь не всегда однозначным.

Когда, например, реагируя на XX съезд КПСС, Мао Цзэдун провозгласил лозунг «Пусть расцветают сто цветов!», имея в виду, как многим из нас тогда казалось, плюрализм, свободу выражения и отстаивания мнений в идеологии, науке, культуре, это встретило горячую поддержку не только творческой интеллигенции, но и всех сторонников XX съезда в нашей партии и стране. Но зато сталинисты взяли реванш, когда, дав расцвести «ста цветам», тогдашнее китайское руководство начало их безжалостно выкашивать и все обернулось вроде бы самой заурядной провокацией. Хотя «сто цветов», другие события в Китае во второй половине пятидесятых годов еще не играли столь большой роли, не затрагивали непосредственно центральные направления, саму платформу нашей политики.

В начале шестидесятых годов положение изменилось. Ссора с Китаем, конфликт с ним стали реальностью. Мало

того, началась острая (временами ожесточенная) политическая и идеологическая борьба между КПСС и КПК, быстро распространившаяся и на всю толщу межгосударственных отношений. В целом этот конфликт, развернувшаяся борьба стали одним из крупнейших международных событий в шестидесятых—семидесятых годах и, видимо, заслуживают особого исследования — как с точки зрения причин (и, наверное, меры вины каждой из сторон), так и самой истории отношений двух крупнейших социалистических держав в тот сложный период, влияния этих отношений на мировую обстановку. Меня в данном случае интересует лишь один важный их аспект — воздействие этого конфликта на внутреннюю политику и идеологическую обстановку в нашей стране.

Оно определялось прежде всего той теоретической и политической платформой, которую выдвинули после начала конфликта Мао Цзэдун и его окружение. Это была платформа воинственно сталинистская, апологетическая в отношении самого Сталина, восхвалявшая, изображавшая исторической закономерностью самые вредные, самые отталкивающие стороны его политики: фетишизацию силы, в том числе военной, физического насилия в революции, строительстве социализма и внешней политике, оголтелое сектантство и нетерпимость в отношении всех инакомыслящих, крайний догматизм в теории, примитивизацию и вульгаризацию марксизма (ей отдал в полной мере дань и сам председатель Мао — вспомним «культурную революцию», цитатник изречений «великого кормчего»). А также упорная защита тезиса о неизбежности войны, усугубляемая чудовищными рассуждениями о том, что, если война и разразится и погибнет несколько сот миллионов людей, «победившие народы крайне быстрыми темпами создадут на развалинах погибшего империализма в тысячу раз более прекрасную цивилизацию, чем при капиталистическом строе, построят свое подлинно прекрасное будущее» (цитирую по сборнику «Да здравствует ленинизм», изданному в 1962 году ЦК КПК).

И наконец, доведенный до абсурда культ личности лидера, культ Мао Цзэдуна.

Что в данном случае было особенно важно — это платформа не только для себя (хотя можно представить, что главные мотивы у Мао Цзэдуна были внутренние — желание укрепить личную диктатуру, отвлечь народ, упрочить свою власть и т.д.). Эти взгляды навязывались и Советскому Союзу. От нас требовали отказа от курса XX съезда, публичного «покаяния» и возврата на «путь истинный». То есть речь шла о вмешательстве в наши внутренние дела — как и внутренние дела других социалистических стран, других партий, — дела, имевшие для их жизни и политики принципиальное значение. Добавим — и это тоже очень существенно, — что китайское руководство именно в момент крайнего накала политических и идеологических страстей подняло вопрос о территориальных претензиях к СССР. И тогда же хунвейбинами была начата осада советского посольства. Словом, конфликт развертывался столь стремительно, что создал даже впечатление определенной угрозы прямого военного столкновения. Хотя, забегая вперед, должен сказать, что из всего известного мне могу сделать твердый вывод: мы никогда не планировали нападения на КНР. Почти с такой же уверенностью могу предположить, что и Китай не намеревался напасть на нас.

Но, как бы то ни было, нам пришлось тогда столкнуться с сочетанием реальных политических угроз, непонимания того, что происходит в КНР, и порожденных всем этим страхов и эмоций. Все это вместе взятое вывело проблему отношений с Китаем на первый план, притом не только в расчетах политиков, но и в сознании общественности.

Естественно, в этих условиях (а они сформировались в 1962—1964 годах) «китайский фактор» воздействовал на обстановку в нашей стране в том плане, что подрывал позиции активизировавшихся сталинистов и укреплял позиции сторонников XX съезда. Само развитие конфликта с КНР как бы подталкивало вперед Н.С.Хрущева, с конца 1962 года слишком часто оглядывавшегося назад — осо-

бенно в идеологии. А силам, стоявшим на стороне перемен, на стороне XX съезда, начавшаяся дискуссия с китайским руководством давала прямую возможность, обсуждая прозвучавшие из Пекина обвинения в наш адрес, открыто высказаться по многим вопросам теории и политики. Эта возможность была тем более важна, что другой почти не представлялось, ибо к тому времени наши «малые» и «большие» руководители почти единодушно такие высказывания начинали прикрывать, поощряя противоположную, весьма консервативную линию.

Такая ситуация была естественным следствием начинавшегося наступления против курса на десталинизацию и обновление общества. А точнее — контрнаступления, начатого вскоре после XXII съезда КПСС, видимо, серьезно напугавшего консерваторов и сталинистов. И этот испуг был естественным.

Съезд, какими бы ни были причины, сделавшие одной из его центральных тем критику культа личности Сталина, его преступлений, вызвал заметную активизацию идеологической жизни в стране, дискуссий об истории, об актуальных вопросах теории и политики. Это проявилось в литературе и искусстве (в частности, была наконец после долгой борьбы опубликована повесть А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича», что стало не только литературным, но и политическим событием), а также в науке, в теории. Именно в этот период был, например, представлен в одно из издательств труд Роя Медведева «Перед судом истории»[1]. Словом, в обществе вновь начинала развертываться — даже на новом, более высоком уровне — дискуссия по политическим вопросам, остававшимся для нас главными, — о Сталине и сталинизме.

Это не могло не напугать консерваторов. А их на руководящих постах оставалось очень много. И вот тогда, в конце ноября 1962 года, ими была затеяна самая настоящая

---

[1] Экземпляр рукописи, кстати, вскоре попал и к нам в консультантскую группу. Мы попытались помочь ее публикации, но, увы, безуспешно.

провокация. Использована была художественная выставка, открывавшаяся в Манеже. Авторами провокации (помимо тогдашних руководителей Союза художников) были Д.А.Поликарпов, руководивший культурой в Идеологическом отделе ЦК, и, судя по всему, заведовавший этим отделом тогдашний секретарь ЦК КПСС по идеологии Л.Ф.Ильичев.

Суть случившегося известна, о том, что произошло, писали в последнее время художники, ставшие прямыми жертвами провокации. В смысле фактов я ничего добавить к этому не могу. Напомню лишь, что буквально накануне открытия выставки, в основном вполне ортодоксальной, отвечавшей официальным вкусам и установкам, у группы художников, имевших репутацию «левых», «авангардистов» и даже, не к ночи будь сказано, «абстракционистов», хитростью, посулами, уговорами выпросили их произведения. Из них срочно была собрана единая экспозиция на втором этаже Манежа. Те, кто затевал провокацию, знали вкусы, темперамент и грубость Хрущева. Надеялись на взрыв.

И не ошиблись. Взрыв, в точном соответствии с расчетом, произошел. Он оказался оглушающе громким, даже непонятно громким. Ну разве это был серьезный повод для «всесоюзного гнева» по уши погрязшего в делах реальных — а не придуманных проблемах — лидера великой державы? Но, как бы то ни было, история эта обозначила новый водораздел в развитии идеологической и политической обстановки в стране. Начался очень заметный поворот вправо. Должен, правда, сказать, что у меня и сегодня вызывает сомнение, были ли «левые», «авангардистские» картины и скульптуры подлинной причиной того, что Хрущев так сильно (и так надолго — на много месяцев) вышел из себя. Мне кажется, что Никита Сергеевич, хотя и был разозлен выставкой, свое возмущение, свои бурные эмоции во многом симулировал. Ибо он, вполне возможно, уже был сам обеспокоен тем, что после XXII съезда слишком «забрал влево», и искал повода, чтобы круто повернуть вправо, — это вообще было, по-моему, его излюбленной

манерой: вести политику, как парусник против ветра, круто меняя галс то влево, то вправо.

Случалось такое и во внешней политике. В 1960 году, накануне парижской встречи в верхах, я, не имея большого доступа к внешней политике, но все же зная, что думают те, кто к ней близок, недоумевал: с чем приедет Никита Сергеевич в Париж, как реализует надежды, которые сам пробудил за несколько месяцев до этого во время своей поездки в США? И когда в начале мая Хрущев разразился потоком гневных речей по поводу американского самолета-шпиона У-2 и задержанного нами пилота Ф.Пауэрса, я был уверен, что взрыв негодования — хотя сам случай давал полные основания для нашей острой реакции — был все же во многом наигранным, что Хрущев просто ухватился за этот повод, чтобы уклониться от серьезного разговора, поскольку ничего реального к этой грандиозной встрече в верхах не «наработал».

Но возвратимся к теме разговора. Трудно сказать, что в действительности было на душе у Хрущева. Но идеологическая обстановка в стране после этой злополучной выставки круто изменилась. То там, то здесь вспыхивали проработочные кампании, складывалась ситуация, похожая на конец 1956 — начало 1957 годов, если не хуже. И дело отнюдь не ограничивалось изобразительным искусством или литературой. Столь привычное «закручивание гаек» пошло по очень широкому фронту культуры и идеологии. Люди с тревогой ждали намеченного на лето 1963 года специального Пленума ЦК КПСС по идеологическим вопросам. Докладчиком был загодя утвержден все тот же Л.Ф.Ильичев. Он в этот период развил бешеную активность — по мнению многих сведущих людей, рассчитывал стать на Пленуме членом или как минимум кандидатом в члены Президиума ЦК, обойдя, таким образом, своих соперников (среди них называли прежде всего Ю.В.Андропова и Б.Н.Пономарева). Задача Пленума, уже на подходах к которому усилиями аппарата были оттеснены на обочину общественного внимания проблемы, поднятые XX и даже

недавним XXII съездами КПСС, совершенно очевидно, могла быть одна — серьезный идеологический зажим.

И как раз в эти месяцы — даже предпленумовские недели — большую позитивную роль сыграл «китайский фактор». Именно он помог во многом обезвредить этот замысел идеологического «дворцового переворота», вновь вывести идеологическую жизнь страны (и вновь, к сожалению, ненадолго) на путь, намеченный XX и XXII съездами КПСС.

События в советско-китайских отношениях развивались в середине 1963 года очень бурно. Не исключаю, что в какой-то мере их подстегивали те или иные наши действия, а также какие-то международные дела. Но, скорее, я думаю, причина была в развитии внутренней ситуации в самом Китае, в логике и потребностях развернувшейся там внутренней борьбы.

В момент, когда усиленно насаждался культ личности Мао Цзэдуна, а Китай исподволь продвигался к «культурной революции», маоистское руководство не могло не обрушиться на XX и XXII съезды КПСС, не броситься на защиту Сталина, сталинистских порядков, самого «института» культа личности.

Ну а кроме того, развернутая Мао Цзэдуном кампания против значительной части работников партии, государства, экономики, науки и культуры, так или иначе связанных с Советским Союзом, учившихся или бывавших у нас, сотрудничавших с нашими работниками, естественно, генерировала антисоветизм, острую враждебность к нашей стране и нашей партии.

Как бы то ни было, 14 июня 1963 года, буквально накануне открытия в Москве Пленума ЦК по идеологическим вопросам (он был намечен на 18—21 июня), в Китае было опубликовано письмо в адрес ЦК КПСС, атаковавшее по всему фронту советскую политику, руководство нашей партии и страны и, конечно же, XX и XXII съезды КПСС. Это было воспринято советским руководством как открытый вызов, свидетельство полной непримиримости тог-

дашних лидеров КНР, тем более что происходило все в канун давно ожидавшихся переговоров представителей двух партий — КПСС и КПК, которые должны были состояться (и состоялись) в начале следующего месяца в Москве.

Участники Пленума были ознакомлены с китайским письмом. И в центре внимания Пленума, естественно, оказались вопросы, главные в советско-китайской дискуссии, а не абстракционисты, не грехи литераторов, а значит, и не посвященные этим темам разделы идеологической речи Л.Ф.Ильичева (хотя ему, конечно, пришлось на ходу переориентироваться, учесть изменившуюся обстановку). «Большая интрига» наших идеологов села на мель.

Стержнем идеологической жизни вновь стали действительно важные проблемы внутренней жизни и международных отношений. Такие, как борьба против ядерной угрозы, за утверждение принципов мирного сосуществования и разоружение (это был актуальный, требующий обоснования вопрос, так как Хрущев пошел на односторонние меры по сокращению вооруженных сил, чтобы высвободить средства, необходимые для решения особенно острых внутренних проблем) и, конечно, преодоление последствий культа личности Сталина, укрепление законности, развитие демократии, повышение благосостояния советских людей.

Когда эти проблемы стали объектом не только внутренних обсуждений, но и большой международной дискуссии, втянувшей в свою орбиту все социалистические страны, международное коммунистическое движение (это произошло как раз в 1962—1963 годах), очевидной стала необходимость более тщательной теоретической проработки затрагиваемых в дискуссии проблем. Тем более что поначалу Н.С.Хрущев был к этому настроен довольно легкомысленно, позволял себе неряшливые высказывания, чем не преминули воспользоваться оппоненты.

А это значило, что настал, так сказать, «звездный час» теоретических работников аппарата ЦК КПСС, и в первую очередь обоих его международных отделов, их консультан-

тов. Я тогда еще работал в ИМЭМО, хотя большую часть времени выполнял задания Центрального Комитета (и имел уже к тому времени официальное предложение перейти в ЦК на консультантскую должность). Так получилось, что я был официально назначен советником нашей делегации на переговорах представителей КПСС и КПК.

Очень хорошо помню сами переговоры. Проходили они 5—20 июля 1963 года в совсем новом тогда Доме приемов на Воробьевском шоссе — большом, роскошном, хотя и не очень приспособленном для такой работы здании. Сразу же определился весьма своеобразный ритм переговоров. Это были даже, скорее, не переговоры, а тягучий, длившийся две недели, последовательный обмен односторонними декларациями, во-первых, вразнос критикующими другую сторону, а во-вторых, отстаивающими свою правоту и марксистскую ортодоксальность.

Проходил он так. Выступал советский представитель и зачитывал свое заявление (другие члены делегации, насколько я помню, изредка дополняли его своими, заранее согласованными, сообщениями). После этого заседание закрывалось. Как мы понимали, китайские товарищи шли в свое посольство и отправляли шифротелеграммой текст нашего заявления (наверное, со своими комментариями и предложениями) в Пекин. После чего ждали оттуда ответа — у нас сложилось тогда впечатление — в виде готового текста ответного выступления[1]. На следующий день они его зачитывали, и заседание снова прерывалось, а у членов и советников нашей делегации начиналась работа, зани-

---

[1] Среди советников нашей делегации родилась шутка: китайцы ждут из Пекина «новой порции цитат». Посмеиваясь над таким стилем работы, мы испытывали определенное чувство превосходства, рожденное недавно относительной (очень относительной) свободой мысли. Но мы были к китайским товарищам несправедливы, забывали, о чем кому-кому, а нам надо было помнить: в каких жестких, опасных условиях жили и работали тогда — при махровом культе личности, тоталитарной диктатуре — наши китайские коллеги. Почти все они вскоре — в годы «культурной революции» — оказались жертвами проработок, унижений и репрессий.

мавшая, как правило, всю ночь: мы готовили следующее заявление, которое глава нашей делегации М.А.Суслов зачитывал на следующий день.

Но в разгар этих странных переговоров группа советников нашей делегации была брошена на другое срочное задание — подготовку «Открытого письма Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза», адресованного, как разъяснялось в подзаголовке, всем партийным организациям, всем коммунистам Советского Союза, а фактически, конечно, всему миру. Этот документ (весьма пространный — он занял несколько полос в «Правде», а в изданной вскоре брошюре — более 60 страниц) был написан в рекордные сроки: мы, готовившие его первоначальный текст, работали в здании ЦК, не выходя из помещения часов около тридцати (день, ночь и часть следующего дня), и страницу за страницей передавали секретарям ЦК на редактуру (ее «швы» в некоторых местах текста бросаются в глаза). 14 июля «Открытое письмо» вместе с китайским «Открытым письмом» нам от 14 июня было опубликовано[1].

Должен сказать, что переговоры представителей двух партий, а затем «Открытое письмо» давали очень серьезную возможность развить аргументацию, глубже обосновать линию XX съезда. И участники этой работы, включая некоторых секретарей ЦК (в первую очередь Ю.В.Андро-

---

[1] О причинах такой поспешности («Письмо» было опубликовано в разгар переговоров, дав китайской стороне повод 20 июля их прервать) можно только догадываться. Думаю, одной из них была горячность, импульсивность, нетерпимость Н.С.Хрущева, а другой — его и, наверное, ряда его коллег обеспокоенность, что китайское руководство делало все возможное для распространения своего письма в Советском Союзе, среди советских граждан, не говоря уж о других странах и партиях. Дело в том, что среди слабостей Хрущева был, по-моему, страх быть уличенным в отступлении от марксизма-ленинизма. Скорее всего, поэтому он поначалу решил вообще не публиковать в нашей печати китайское «Открытое письмо». Хотя официальная версия, естественно, другая — мы, мол, не публиковали «Открытое письмо» КПК, так как опасались, что это может испортить обстановку накануне встречи представителей обеих партий (но в разгар встречи все-таки опубликовали!).

пова), консультантов и советников, сделали все, чтобы ее использовать. Думаю, все мы понимали ответственность момента, учитывали, как важно было закрепить начавшееся в связи с письмом КПК от 14 июня контрнаступление (пусть скромное, но все же контрнаступление!) против очередной неосталинистской волны, поднявшейся с конца 1962 года.

Я недавно перечитал «Открытое письмо ЦК КПСС», попытался проанализировать его уже с позиций наших сегодняшних взглядов и представлений. И должен сказать, что товарищам, участвовавшим в подготовке документа, в целом не приходится стыдиться за эту работу. Конечно, все-таки было невозможно напрочь выскочить за рамки существовавших тогда взглядов, и документ содержал немало устаревших, наивных, упрощенных представлений о мире и международных делах, о путях революционной и освободительной борьбы рабочего класса и угнетенных народов. И во многих местах видны следы спешки, в которой писался и редактировался документ. Впрочем, я думаю, что, если бы было больше времени на редактирование, он вполне мог не выиграть, а проиграть — за счет «выглаживания», устранения более ярких мест и новых идей, замены их привычными шаблонными формулами, стереотипами и политическими банальностями, настоящими виртуозами которых были некоторые из главных редакторов документа — М.А.Суслов, Л.Ф.Ильичев, П.Ф.Сатюков и др.

Мне кажется, что в «Открытом письме», конечно, неровном по своему теоретическому и политическому уровню и публицистической яркости, все же удалось пойти в ряде ключевых вопросов заметно дальше, чем в прежних документах. И, в частности, более глубоко и убедительно обосновать линию XX съезда нашей партии, ее поворот от произвола, от фетишизации государства, власти, силы к человеку и человечному обществу, к созданию нормальных условий жизни, освобождению от страха, унижений, нужды. То есть линию, которую после 1956 года с таким трудом, такими муками начали утверждать, чтобы от нее

отойти и потом снова вернуться к ней, развить ее уже на этапе перестройки...

Приведу несколько выдержек. Они, по-моему, говорят сами за себя (разумеется, понимать их следует как выражение убеждений, намерений, как предложение определенных целей политики; пусть читателя не удивляет форма изложения — в силу принятых тогда «правил игры», чтобы высказаться за одну линию и против другой, авторам приходилось выдавать желаемое за действительное и умалчивать о недостатках или нарушении тех решений и обязательств, которые давала партия).

Первой приведу выдержку из раздела, в котором отстаиваются, защищаются решения XX съезда. Притом с позиций, с которых до этого никогда или почти никогда с людьми не говорили.

«Навсегда ушла в прошлое, — говорилось в «Открытом письме», — атмосфера страха, подозрительности, неуверенности, отравлявшая жизнь народа в период культа личности. Невозможно отрицать тот факт, что советский человек стал жить лучше, пользоваться благами социализма. Спросите у рабочего, получившего новую квартиру (а таких миллионы!), у пенсионера, обеспеченного в старости, у колхозника, обретшего достаток, спросите у тысяч и тысяч людей, которые незаслуженно пострадали от репрессий в период культа личности и которым возвращены свобода и доброе имя, — и вы узнаете, что означает на деле для советского человека победа ленинского курса XX съезда КПСС.

Спросите у людей, отцы и матери которых стали жертвами репрессий в период культа личности, что для них значит получить признание, что их отцы, матери и братья были честными людьми и что сами они являются не отщепенцами в нашем обществе, а достойными, полноправными сынами и дочерьми советской Родины»[1].

---

[1] Открытое письмо Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза. М., 1963. С. 34—35.

Сегодня, конечно, все это звучит банально. Но до этого в партийных документах так с народом не говорили. И не только по форме (она тоже была необычной, заменив традиционные штампы и выспреннюю декламацию). В прежних документах старательно обходились, прятались за философскими рассуждениями подлая суть, бесчеловечность сталинизма, страдания, на которые он обрекал миллионы людей.

Можно, правда, обвинить авторов в том, что желаемое они здесь выдают за сущее. Но, во-первых, такими были «правила игры». А во-вторых, речь действительно шла о некоторых разительных переменах, происшедших после Сталина (об этом сейчас как-то подзабыли). До хрущевской пенсионной реформы, например, потолок обычной (не персональной) пенсии был 23 рубля, а стал — 120. Жилье при Сталине почти не строилось, если не считать единичных домов для начальства и «знатных» граждан, а тут миллионы людей — притом рядовых людей, а не одних ответственных работников — начали получать квартиры. Заметно повысились, стали хоть как-то соотноситься с прожиточным минимумом выплаты колхозникам, до этого работавшим за «палочки» в книге учета трудодней. Не говоря уж о реабилитации невинно осужденных, о резком сокращении (к сожалению, не полном прекращении) арестов по политическим мотивам.

Наиболее существенный шаг вперед «Открытое письмо» делало, однако, в других вопросах. Прежде всего — в обосновании курса борьбы за мир и предотвращение ядерной войны как главной задачи коммунистов. Китайские товарищи атаковали эту установку, утверждая, что это отказ от марксизма-ленинизма, нацеливающего коммунистов на решение совсем иной главной задачи — на уничтожение империализма. И, кроме того, они считали это утопией, поскольку войн нельзя избежать, пока сохраняется империализм.

В «Открытом письме» КПСС эти доводы отвергались с меньшим числом оговорок, чем обычно делалось раньше,

откровенно говорилось о радикальных изменениях, которые вносит в представления о войне современное оружие массового уничтожения. И давалась уничтожающая отповедь сектантскому изуверству в подходе маоистов к вопросу о мировой термоядерной войне, их рассуждениям о том, что в случае войны, пусть она обойдется в сотни миллионов жертв, погибнет империализм, а победившие народы «крайне быстрыми темпами» пойдут в счастливое будущее.

«Хочется, — говорилось в «Открытом письме», — спросить у китайских товарищей, которые предлагают строить прекрасное будущее на развалинах погибшего в термоядерной войне старого мира, советовались ли они по этому вопросу с рабочим классом тех стран, где господствует империализм?.. Рабочий класс, трудящиеся спросят таких «революционеров»: «Какое вы имеете право за нас решать вопросы нашего существования и нашей классовой борьбы? Мы тоже за социализм, но хотим завоевать его в классовой борьбе, а не посредством развязывания мировой термоядерной войны».

Это была полемика не только с тогдашними китайскими руководителями, но и с нашими отечественными консерваторами и сталинистами. «Открытое письмо», по сути, вплотную подошло к выводу о том, что в ядерной войне не может быть победителей, оно снимало табу (вновь введенное спустя пару лет) на правду о последствиях ядерной войны. Правду, которая не только в Китае, но и у нас долгие годы зажималась как проявление «буржуазного пацифизма», как нечто подрывающее готовность и волю армии и народа вести непримиримую борьбу с империализмом, не поддаваться угрозам, не уступать шантажу ядерной войной.

Делались в документе и подходы к выводу о том, что интересы выживания человечества, интересы развития общества выше чьих бы то ни было классовых интересов. В «Открытом письме», в частности, говорилось, что в борьбе за предотвращение войны возможно объединение

самых разных классов, самых разных классовых интересов, поскольку «атомная бомба не придерживается классового принципа — она уничтожает всех, кто попадает в сферу ее разрушительного действия»[1]. Наконец, много решительней, чем раньше, был поставлен вопрос о разоружении, обоснованы и его необходимость, и его реальность, достижимость.

Конечно, читая этот документ сегодня, обращаешь внимание также и на то, как много еще было у нас «родимых пятен» сталинистского прошлого, заблуждений, веры в догмы, примитивных представлений, унаследованных от долгого периода засилья догматизма и сектантства в политическом мышлении. Отсюда прорывающиеся то здесь, то там неуверенность в выдвинутых нами же идеях, сомнения в их соответствии Ветхому и Новому заветам Священного писания, в которое при Сталине превратили творческую теорию марксизма. И потому то здесь, то там видны оговорки, напоминающие привычный, машинальный поклон в сторону «красного угла», где должны бы висеть иконы[2]. А если говорить о полемике с Мао Цзэдуном, с тогдашним руководством Китая, то и едва прикрытый страх: как бы не уступить оппонентам первенство в «революционности», в непримиримости к империализму, в заверениях о своей готовности все отдать ради поддержки революционной и освободительной борьбы народов...

Я думаю, то и другое взаимно связано. Именно потому, что мы еще отнюдь не отмылись от сталинизма, делали самые первые, очень робкие шаги по пути нового политиче-

---

[1] Открытое письмо Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза. С. 18.

[2] В качестве типичного примера приведу сентенцию, силком втиснутую кем-то из редакторов в раздел о борьбе с ядерной угрозой, такую чуждую логике, как будто списанную у оппонентов в шедшем тогда споре и наспех переведенную на русский: «Разумеется, является бесспорным, что, если империалистические безумцы все же развяжут войну, народы сметут и похоронят капитализм» (с. 21). И это после того, как очень доходчиво доказывали, что при таком повороте дел и хоронить других будет некому...

ского мышления, маоистской пропаганде было не так уж трудно по некоторым вопросам нас запугать, заставить занять оборонительную, непоследовательную или просто неверную позицию. И в связи с этим не такой уж непонятной была первая реакция нашего руководства на «Письмо» КПК от 14 июня — не публиковать его. А потому не таким беспочвенным был и гнев Н.С.Хрущева по поводу того, что китайское руководство пытается возможно шире пропагандировать свое письмо среди советских людей, наших коммунистов. Так что «китайский фактор» имел в тот момент и другую сторону — в чем-то он тормозил развитие нашей общественной мысли и политики.

В этом пришлось наглядно убедиться год с небольшим спустя, после смещения Хрущева, когда выяснилось, что, несмотря на многократные единодушные голосования и громогласные заявления о полной поддержке партийных документов и резолюций, всей тогдашней линии партии, не столь уж малое число руководящих деятелей партии, правительства и вооруженных сил, а также партийно-правительственного аппарата и, увы, общественности стоят не так уж далеко от позиций Мао Цзэдуна, И даже готовы отказаться от некоторых важных установок курса XX съезда. Но это произошло позже.

А пока — в середине 1963 — начале 1964 года — идеологическая ситуация в стране несколько улучшилась. В значительной мере именно под воздействием полемики с руководством КПК. Снова на страницах печати получили право гражданства темы, которые недавно были почти под запретом: критика культа личности, сталинских репрессий, обоснование необходимости развития демократии, активной борьбы за мир, договоренности с Западом. Тем же летом 1963 года был подписан с американцами первый разоруженческий договор — о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой.

Из крупных внутренних идеологических и политических событий, шедших в развитие этой линии, можно на-

звать февральский (1964 года) Пленум ЦК КПСС, в повестке дня которого полемика с КПК заняла особое место. Пространный, «правильный», но малоинтересный, даже скучный доклад по этому вопросу (назван он был «О борьбе КПСС за сплоченность международного коммунистического движения») сделал М.А.Суслов. Среди выступлений в прениях наиболее интересной была речь О.В.Куусинена — последняя в его жизни (он умер три месяца спустя). Она уже упоминалась. Новизна этой речи определялась прежде всего тем, что в ней ставился вопрос о возможности — при отсутствии демократии — перерождения революционной власти, провозгласившей социалистические цели и верность коммунистическим идеалам, в «диктатуру личности». То есть полный разрыв с этими целями и идеалами. Поначалу выступление Куусинена не решились даже печатать (опубликовано оно было в «Правде» в день его похорон — 19 мая 1964 года). И понятно почему: слишком уж явные напрашивались параллели, слишком далеко идущие могли быть сделаны из этого положения выводы. В частности, о том, в каком обществе мы все-таки живем, какое наследство нам осталось от Сталина. И от чего надо отказываться, избавляться, если мы действительно хотим развиваться по социалистическому пути.

Куусинен в последние месяцы своей жизни, по сложившемуся у меня представлению, много думал об этих проблемах. Вскоре после февральского Пленума ЦК я получил через его помощника Н.И.Иванова задание — продумать план работы над третьим изданием учебника «Основы марксизма-ленинизма». Несколько дней спустя я говорил с Отто Вильгельмовичем по телефону (это, как оказалось, был наш последний разговор). Я ему рассказал, какие, по моему мнению, главы и параграфы нуждаются в особенно серьезной доработке, каким проблемам важно уделить особое внимание. Отто Вильгельмович выслушал, помолчал, а потом высказался в том духе, что он имеет в виду гораздо более серьезную доработку книги (я потом понял, что «схалтурил», очень поверхностно подошел к заданию, мо-

жет быть, потому, что мысли в этот момент были заняты докторской диссертацией). И он назвал главные направления доработки: государство, политическая власть после революции, общие закономерности и национальные особенности периода перехода от капитализма к социализму, диктатура и демократия (раньше мы избегали противопоставлять эти понятия), политические, экономические и идеологические задачи периода строительства коммунистического общества (то есть текущие наши задачи — ведь в новой Программе КПСС было объявлено, что мы сейчас строим, а к 1980 году должны в основном построить коммунизм). И наконец, весь комплекс проблем войны и мира, мирного сосуществования, разоружения, а также классовых союзов в борьбе за мир и демократические преобразования.

Словом, план доработки имел в виду весьма серьезное продвижение вперед по многим направлениям теории и политической мысли. Оценивая эти замыслы Куусинена задним числом, я думаю, что смелости ему придало именно то, что политическая борьба с тогдашним руководством КПК открывала у нас в стране новые возможности развития идей XX съезда КПСС.

Вскоре «китайский фактор» начал играть в нашей жизни совсем иную роль. И не потому, что изменились ветры, дувшие из-за Великой китайской стены. Тогда, после смещения Хрущева, произошло другое. Во-первых, постепенно мы сами начали отодвигать на задний план многие из идей XX съезда, а то и отказываться от них. И поэтому даже самые острые выпады руководства Китая против проводившейся политики перестали задевать новое политическое руководство, могли скорее рассматриваться как критика Хрущева (с которой многие у нас в душе были к тому же согласны). Во-вторых, конфликт с КНР быстро перерастал из спора о путях развития социализма, о правильном понимании марксизма в чисто межгосударственное столкновение, в конфронтацию двух держав с их державными интересами и амбициями, приводившими к вспышкам крайней враждебности, перераставшей, как известно, в во-

оруженные стычки и кровопролития. И в-третьих, китайским товарищам, ввергнутым в хаос «культурной революцией», поглощенным внутренними неурядицами и борьбой в руководстве, вскоре стало не до теоретических споров о путях строительства социализма.

Словом, к концу шестидесятых — началу семидесятых годов Китай нас все больше заботил не под углом зрения наших внутренних дел, а в плане нашей внешней политики. Особенно когда начались военные столкновения на границах, у КНР появился весомый ядерный потенциал, а потом вдобавок ко всему началась нормализация ее отношений с Соединенными Штатами.

Успешные реформы в Китае в самом конце семидесятых и в восьмидесятых годах вновь сделали эту страну, то, что в ней происходит, определенным фактором в наших внутренних делах, тем более что и нас все больше интересовала проблема реформ. И первыми, кто заговорил в СССР о необходимости радикального улучшения советско-китайских отношений, были те самые люди, которые занимали наиболее последовательную и твердую антимаоистскую позицию в ходе дискуссии начала шестидесятых годов. Снова рождалось представление об общности проблем и решаемых задач, по-новому поставившее вопрос о взаимном влиянии и взаимной зависимости. И по этой же причине среди искренних сторонников перестройки очень эмоциональную реакцию вызвали майско-июньские события 1989 года в Пекине на площади Тяньаньмэнь, подавление студенческих выступлений за демократические политические реформы.

«ДВОРЦОВЫЙ ПЕРЕВОРОТ» 1964 ГОДА. «БОРЬБА ЗА ДУШУ» Л.И.БРЕЖНЕВА

Смещение Н.С.Хрущева в октябре 1964 года я считаю «дворцовым переворотом» чистейшей воды. Пленум ЦК КПСС, созванный после того, как вызванного из отпуска Хрущева на Президиуме ЦК заставили подать в отставку, был призван лишь утвердить решение и придать ему видимость хотя бы элементарного приличия и подобие законности. При этом ситуация была очень странной, о чем я не раз потом думал. В партии и стране практически не ощущалось недовольства этой незаконной акцией, по сути, демонстрацией произвола. Наоборот, почти повсеместно она была встречена с одобрением, а то и с радостью. Правда, у многих людей вызывало беспокойство будущее страны: на место Хрущева пришли невыразительные, не пользовавшиеся поддержкой и даже известностью фигуры.

Эта ситуация кажется парадоксальной. То, что сделал Н.С.Хрущев за время своего руководства партией и страной для всех слоев общества, для советских людей, по логике вещей должно было обеспечить ему значительную популярность. Но оказалось, что ее не было. Собственно, в тот момент случившееся едва ли могло кого-то даже удивить — слишком очевидно было резко нарастающее падение авторитета Хрущева, даже уважения к нему в самых разных кругах общества.

Утрату популярности едва ли можно объяснить внутренними и внешнеполитическими неудачами последней пары лет, хотя они были: это и повышение цен на мясо и молоко, и неумеренное внедрение по всей стране кукурузы, и кровопролитие в Новочеркасске, и Карибский кризис. Мне кажется, главная причина состояла в том, что к

этому времени у очень многих людей созрело ощущение: Хрущев и его политика себя исчерпывают, он ушел от одного берега (привычной сталинской политики) и никак не может пристать к другому, в своих потугах добиться быстрых успехов становится посмешищем. Иными словами, он потерял доверие и популярность из-за того, что вел половинчатую политику, погряз в решениях, которые по сути решениями и не были. (У.Черчилль, кажется, сравнил эту политику с попыткой перескочить пропасть в два прыжка.) И потому он ничьей поддержки практически не имел, почти у всех начал вызывать раздражение.

Уже тогда многим было ясно, что Хрущев разоблачал, критиковал и старался преодолеть Сталина, а не сталинщину (эта задача осталась не только нерешенной, но, по сути, и не поставленной вплоть до перестройки). И, может быть, он был искренне уверен, что все дело к этому и сводится? Свидетельство тому дают и его воспоминания. Характерная деталь: он рассказывает, как уговаривал А.Новотного: «Поднимите занавес, разоблачите злоупотребления, если они у вас были. А они были, я знаю, что они были... Если этого не сделаете вы, то это сделают другие, и вы окажетесь в очень незавидном положении. Новотный не послушался меня, и все знают, к чему это привело и его самого, и Чехословакию». И далее следует очень показательный комментарий: «Если бы мы не разоблачили Сталина, то у нас, возможно, были бы более острые события, чем в Чехословакии»[1]. Нет оснований сомневаться в самой необходимости такого разоблачения. Но это — лишь первый шаг на пути обновления общества. Между тем у Хрущева и слова не найти о необходимости серьезных перемен, реформ в экономике, политике, духовной жизни общества.

В этом и состоит, может быть, главное заблуждение Хрущева, от которого он не избавился до конца жизни. Судя по всему, он действительно верил, что выполнил за-

---

[1] Огонек. 1989. № 28. С. 31.

дачу, выполнил свою миссию, разоблачив Сталина, хотя почти ничего не сделал для устранения глубоких деформаций, которым подверглись все стороны жизни общества — экономика, культура, идеология, вся политическая надстройка. Не думаю, что Хрущев этого совсем не замечал, допускаю, что правы те, кто считает попыткой подорвать всесилие бюрократии ту реформу партии, которую он предпринял в последние годы пребывания у власти. Но даже и в мемуарах, продиктованных позднее, о необходимости коренных реформ всей политической надстройки Хрущев не говорит. Или откровенно лукавит. В мемуарах он, например, вроде бы всерьез говорит о том, что «всегда может быть поставлен вопрос на съезде или на пленуме Центрального Комитета о замене одного лица другим», а без этого «я не знаю, во что превращается партия». Заявляя так, Никита Сергеевич явно не учел, что может вызвать ироническую усмешку. Эти слова вроде бы всерьез произносит он — человек, «заматеревший» в интригах, которые плелись в коридорах сталинского «двора», одолевший в значительной мере при их помощи своих соперников, а потом сам ставший жертвой таких же интриг. Неужто он полагал, что его в соответствии со своим Уставом сможет заменить на посту первого секретаря ЦК КПСС сама партия?

Хрущев, по-моему, совершенно сознательно, не по неведению, а потому, что видел в этом, возглавив партию, и свой прямой интерес, а может быть, и честно не представляя себе возможность чего-то другого, не хотел уходить от прежней политической системы. Управлять партией и страной было, наверное, гораздо проще, удобнее, сохраняя в неприкосновенности многие из механизмов, унаследованных от Сталина, в свое время созданных им как раз для обеспечения «диктатуры личности» (Никита Сергеевич использует это куусиненское понятие в воспоминаниях — видимо, оно запало в душу, — явно не понимая при этом всего, что за ним стоит). Включая и восхваление своей собственной личности — конечно, не такой зловещий и кровавый культ, как при Сталине, но все же достаточно вредный,

подрывавший идеи XX съезда, культик, который вызывал насмешки и недоумение еще и потому, что терпел и взращивал его именно человек, разоблачивший культ личности Сталина. Причины этой непоследовательности Хрущева, мне кажется, нельзя сводить к его чисто человеческим слабостям (тщеславию, например) и прагматическим расчетам (борьбе за власть), хотя было и то, и другое.

Главное в том, что сам он был продуктом своей эпохи, продуктом сталинизма. Конечно, разоблачение преступлений Сталина, послужившее стартовым толчком глубоких политических процессов обновления, — это великая заслуга Хрущева. Но на большее в преодолении наследия сталинщины он, скорее всего, просто не был способен, других задач не понимал и не видел и потому перешел в политике к «бегу на месте». Конечно, едва ли тогда это ясно понимали даже политические аналитики, а тем более широкая общественность. Но в общественном сознании, наверное, созрела общая идея о бесперспективности политики Хрущева, о том, что он как минимум больше не нужен. И это определяло настроения, в том числе среди рабочих и крестьян, которым, нередко грубо переигрывая, так старался понравиться Хрущев.

Такие настроения в народе, конечно, облегчили «дворцовый переворот» и даже в какой-то мере вдохновили его организаторов. Но этими людьми двигали, по моему глубокому убеждению, отнюдь не большие идеи — главными мотивами были самая банальная борьба за власть или страх потерять свое кресло, что бы ни говорили сегодня участники того сговора (в частности, охотно выступавший в последние годы в печати В.Е.Семичастный — в момент октябрьского Пленума 1964 года председатель КГБ).

По поводу того, как организовывалось смещение Н.С.Хрущева, я не располагаю никакими документальными данными (впрочем, те, кто смещал Хрущева, едва ли оставили по этому поводу много документов). Но некоторые детали хорошо помню, и они для меня достаточно убедительны — начиная с чисто внешних наблюдений.

Я тогда уже работал в аппарате ЦК КПСС и видел, как около здания, у постов на входах, наконец, в коридорах в те дни и какое-то время после них все выхаживали или просто стояли, стреляя во все стороны глазами, незнакомые молодые люди в штатском. Опытные работники аппарата были особенно осторожны, разговаривая в служебных помещениях, даже дома, а тем более по телефону, — если кто-то с ними затевал серьезный разговор, тут же переводили его на футбол или погоду, иногда, если в комнате были все «свои», делая красноречивый жест в сторону потолка или телефона.

То один, то другой фрагмент происходившего выявлялись позднее — чаще из услышанного, а в последнее время и из написанного (я имею, в частности, в виду воспоминания С.Н.Хрущева и П.Я.Родионова). И из этих фрагментов складывалась картина заговора, «дворцового переворота».

Уже не раз писали о том, что в канун переворота организаторы заговора лихорадочно искали поддержку среди членов ЦК, и в первую очередь среди республиканских и областных партийных руководителей. Мне к этому добавить нечего — уже после октябрьского Пленума я тоже слышал рассказы об этой подготовительной работе, как и о том, что Л.И.Брежнев отчаянно трусил, иногда чуть не до истерики.

Позже я познакомился с Брежневым, не раз работал в коллективах, готовивших его выступления и отдельные партийные документы. И еще расскажу о своих впечатлениях об этом человеке. Но в одном убежден: он сам едва ли мог быть мозгом и волей заговора. Допускаю, правда, что речь шла о затее групповой, коллективной и Брежнев вполне мог быть одним из трех-четырех главных организаторов. Но из всего, что я знаю и понимаю (сразу оговорюсь, что знаю и понимаю не все), следует: очень активную роль играл не Брежнев, а более волевой, более напористый Н.В.Подгорный. Не мог «не участвовать» М.А.Суслов. И очень видной фигурой в организации самого переворота

был прежде всего А.Н.Шелепин — человек крайне честолюбивый, волевой, с юности обученный искусству аппаратных интриг и — главное — имевший уже свою команду, настоящее «теневое правительство» (включая и «теневое Политбюро»). Ему было легче, чем другим, только что приехавшим из провинции, сколотить такую команду. Занялся он этим делом, видимо, давно, еще в бытность первым секретарем ЦК ВЛКСМ.

И все время после этого Шелепин не только сохранял прочные связи с множеством бывших комсомольских работников, занявших потом ответственные должности, но и способствовал их выдвижению и продвижению, в том числе в последние перед октябрьским Пленумом годы и месяцы, когда он курировал в качестве члена Политбюро и одного из секретарей ЦК КПСС подбор и расстановку кадров. А в качестве бывшего председателя КГБ он позаботился о том, чтобы и там иметь своих людей на руководящих постах, включая своего преемника В.Е.Семичастного. Не знаю, был ли Шелепин мозгом заговора (допускаю, что вместе с Подгорным был), но, уж во всяком случае, был его руками, его мускулами. Этими «мускулами» Александр Николаевич Шелепин (он получил в аппарате прозвище «железный Шурик») мог стать, поскольку располагал полной поддержкой Семичастного и ряда других людей, возглавлявших КГБ, а также МВД (во главе него тоже стоял близкий к Шелепину человек — бывший ответственный комсомольский работник Тикунов). К «комсомольской группе» принадлежал также Н.Миронов — заведующий Отделом административных органов ЦК КПСС, курировавшим армию, КГБ, МВД, суд и прокуратуру.

Потом мне рассказывали, что к группе Шелепина был близок также посвященный в планы смещения Хрущева маршал С.С.Бирюзов — тогдашний начальник Генерального штаба. (Бирюзов и Миронов буквально через несколько дней после октябрьского Пленума погибли в авиационной катастрофе на территории Югославии, куда были приглашены на торжества по случаю двадцатилетия освобож-

дения Белграда.) Словом, особая забота была проявлена именно о том, чтобы загодя прибрать к рукам контроль за всеми «внепарламентскими» и «внепартийными» рычагами силы и власти.

Не могу судить, насколько активно С.С.Бирюзов и тогдашний министр обороны Р.Я.Малиновский поддерживали заговорщиков (хотя много позже узнал, через кого Брежнев попытался установить первый контакт с Бирюзовым). В общем, после смерти Сталина военные, как правило, участвовали в такого рода внутренних делах. Особенно было это заметно в момент ареста Берии. Не говоря уже о группе генералов, которые непосредственно осуществляли арест, в Москву были введены воинские части, занявшие казармы подразделений КГБ и разоружившие их. Примерно то же самое происходило и в дни июньского (1954 года) Пленума ЦК, когда Хрущеву непосредственно помогал маршал Г.К.Жуков. Потом Хрущев отплатил ему черной неблагодарностью, подвергнув на очередном Пленуме ЦК, притом заочно (Жуков был в командировке за рубежом), жестокой критике, обвинив маршала в «бонапартизме» и политических амбициях. Таким образом, Хрущев лишь повторил Сталина. Оба они опасались столь влиятельного соперника, за которым вдобавок ко всему стояла вооруженная сила.

Здесь, однако, одно с другим тесно связано. Если военные хотят или соглашаются участвовать во внутриполитической борьбе, а политическое руководство хочет или соглашается на них в этой борьбе опираться, те и другие должны считаться с последствиями: военные — с тем, что их будут опасаться и пытаться обезвредить, а политики — с тем, что придется опасаться военных и принимать соответствующие, не всегда приятные меры. И главное — обществу всегда приходится опасаться нежелательного поворота событий.

Именно поэтому нельзя развивать демократию, сохраняя прежнее положение вещей, не поставив Вооруженные Силы под контроль политической (в том числе представи-

тельной) власти. И на каком-то этапе, естественно, встает вопрос о деполитизации армии. С этим нам пришлось столкнуться много позже — уже в годы перестройки.

Возвращаясь к октябрю 1964 года, хотел бы сказать о версии, вытекающей из воспоминаний ряда людей, опубликованных совсем недавно. Они сообщают, что Н.С.Хрущеву перед отъездом в отпуск сообщили о заговоре, но он ничего не смог сделать. Допускаю, что так могло быть, хотя, если сведения были хоть в малейшей мере достоверными, трудно себе представить, что такой активный человек, прошедший через огонь и воду множества боев за власть, не принял бы никаких мер и просто уехал в отпуск. Но в другом я почти уверен: накануне заседания Президиума ЦК ему объяснили, кто участвует в этой акции и кто ее поддерживает, чтобы он не пытался сопротивляться. И Хрущев, хорошо понимая, что именно решает дело в условиях во многом унаследованного от Сталина механизма власти, действительно сразу же подал заявление с просьбой об отставке. Только так я могу объяснить столь несвойственную ему пассивность, отказ от борьбы, даже от попытки что-то внятное сказать на Пленуме ЦК. Хотя не исключаю: что-то в нем к тому времени надломилось, он просто устал, состарился, изнемог под огромным бременем руководства страной, отягощенной множеством проблем, найти пути решения которых не сумел.

Другая характерная деталь ситуации, подтверждающая версию заговора: накануне событий были довольно ловко убраны из Москвы (в том числе отправлены в загранкомандировки — а это требовало официального решения Секретариата ЦК КПСС) люди, входившие в узкий круг приближенных Н.С.Хрущева. И прежде всего члены так называемой пресс-группы, возглавлявшие средства массовой информации (редактор «Правды» П.Ф.Сатюков, председатель Гостелерадио М.А.Харламов и др.). Я не думаю, чтобы они оказали сопротивление готовившейся акции, но ее организаторы, видимо, хорошо помнили совет В.И.Ленина революционерам: прежде всего захватить почту, теле-

граф, телефон. И модернизировали его, поставив на первое место средства массовой информации.

Действительно, поздно вечером в канун главных событий на Гостелерадио прибыл с полномочиями нового председателя работавший до этого в Отделе ЦК одним из заместителей Ю.В.Андропова Н.Месяцев. Очевидцы его появления на Гостелерадио потом рассказывали забавную историю, проливающую свет на психологическую атмосферу, в которой готовилось и совершалось смещение Хрущева. Приехав в Комитет по радиовещанию и телевидению, Месяцев задал единственный вопрос: «Где кнопка?» Собравшиеся руководители комитета не сразу поняли, что новый председатель имеет в виду кнопку, которая отключала эфир, то есть могла «вырубить» все радио- и телепередачи. Месяцев что-то о ней слышал и поэтому задал вопрос. Он, правда, не имел никакого журналистского опыта, работал долгое время в милиции, но зато был другом-приятелем и доверенным лицом «железного Шурика». А руководителем ТАСС был назначен тоже бывший комсомольский работник, в свое время редактор «Комсомольской правды» Д.Горюнов.

Эти и другие фрагменты событий ясно показывают, о чем в действительности шла речь. Говорю об этом не в осуждение кого-либо — я не готов однозначно оценивать сам факт смещения Н.С.Хрущева. Чтобы более или менее четко представить себе, как бы развивались события, если бы Хрущев еще несколько лет оставался у руководства партией и страной, надо много лучше, чем я, знать тогдашнее реальное положение дел, прежде всего внутри страны. И я не хочу морализировать: сам Хрущев не раз прибегал к старым, не демократическим, возникшим в недрах сталинщины «правилам игры». А кроме того, не уверен, что существовали другие способы смены руководителя. (Хрущев, в принципе понимая значение сменяемости, ввел ограничение для избираемых партийных руководителей — два срока, что в те времена ограничило бы продолжительность работы в качестве секретаря ЦК КПСС восемью го-

дами. Но тут же не удержался от оговорки о возможности «в исключительных случаях» продления этого срока, начисто убив этим само ограничение.)

Мотивы, которые заставили меня обратиться к теме заговора, иные. Первый. Хочу обратить внимание на то, что мы имели уже после смерти Сталина один «дворцовый переворот» и многие несовершенства политического механизма, делающие возможным такие перевороты, пока еще сохраняются. В рамках осуществляемой политической реформы положение надо непременно изменить; разумеется, при этом должны быть предусмотрены и конституционные формы смены руководителей. И второй. Смещение Хрущева не было вызвано принципиальными причинами. Организаторы заговора не были объединены какими-то общими целями большой политики, единой политической платформой. Руководствовались они, скорее, корыстными соображениями, прежде всего стремлением получить или сохранить власть.

Все это, конечно, не значит, что смещение Н.С.Хрущева не попытались оправдать интересами социализма, интересами государства, партии и народа. Наоборот, именно об этом говорилось на заседании Президиума и последовавшем за ним Пленуме ЦК КПСС. И при этом отнюдь не исключается, что те или иные инициаторы этой акции сами верили, что делают важное для страны и народа дело, — человеческие разум и совесть очень часто в таких случаях ищут и находят весьма удобную нравственную позицию, отождествляя свой интерес со всеобщим. В случае с Хрущевым, учитывая обстоятельства, о которых шла речь выше, это было к тому же не так уж трудно.

Сменили лидера. Но какая идеология и какая политика должны были сопутствовать этой смене, какие теперь утвердятся политические идеи? Эти вопросы остались без ответов. Ибо, как отмечалось, к власти пришли люди, не имевшие единой, сколько-нибудь определенной идейно-политической программы.

Не все, в том числе не все информированные, разбира-

ющиеся в обстановке люди сразу это поняли. Помню, в первое же утро после октябрьского Пленума Ю.В.Андропов собрал (почему-то в кабинете своего первого заместителя Л.Н.Толкунова, вскоре назначенного главным редактором «Известий») руководящий состав Отдела, включая нескольких консультантов, чтобы как-то сориентировать их в ситуации. Рассказав о Пленуме, он заключил выступление следующими словами, запавшими мне в память: «Хрущева сняли не за критику культа личности Сталина и политику мирного сосуществования, а потому, что он был непоследователен в этой критике и в этой политике».

Увы, вскоре начало выясняться, что Андропов глубоко заблуждался (я просто не могу представить себе причин, по которым, зная истинное положение дел, он бы сознательно нас дезинформировал). Первый сигнал на этот счет мы получили буквально две недели спустя. Близилось 7 ноября с традиционным докладом, с которым было поручено выступить вновь избранному Первому секретарю Л.И.Брежневу. Ю.В.Андропову и его группе консультантов дали задание подготовить проект одного из разделов доклада. Причем, против обыкновения, не внешнеполитического, а внутреннего. Мы восприняли это как знак доверия к своему шефу (не исключено, что со стороны самого Брежнева это действительно было если не знаком доверия, то проверкой) и с энтузиазмом принялись за работу. Не помню деталей, но был написан вполне прогрессивный проект. Он был передан П.Н.Демичеву, которому с группой близких к нему товарищей поручили свести все куски воедино, в одном стиле отредактировать и отдать оратору.

«Конечный продукт», когда мы его увидели, поставил нас в тупик — все наиболее содержательные, яркие, несшие прогрессивную политическую нагрузку эпизоды исчезли. Как жиринки в сиротском бульоне, в тексте плавали обрывки написанных нами абзацев и фраз, к тому же изрядно подпорченные литературно (умением портить текст Демичев, носивший тогда кличку «химик», поскольку Хрущев сделал его секретарем, отвечающим за химизацию

сельского хозяйства, был хорошо известен, но свои политические взгляды до поры до времени тщательно утаивал).

Конечно, это нас разочаровало. Но еще не могло быть доказательством того, что надежды на лучшее не имеют под собой почвы. Тем более что поначалу поступали и сигналы противоположного характера. Например, нескольким консультантам было поручено написать редакционную статью в «Правду» в связи с днем Конституции (он отмечался тогда 5 декабря, в день «сталинской Конституции»). Мы заказ выполнили, сделав упор на критику культа личности Сталина, осуждение репрессий и на необходимость развития демократии. И статья вышла в первозданном виде. Но уже несколько недель спустя у нас не оставалось сомнений в том, что Андропов в своих первоначальных оценках жестоко ошибся (с другой стороны, для меня это было первым доказательством того, что участия, во всяком случае активного участия, в заговоре против Хрущева он не принимал).

Но сначала, чтобы не сбиваться с хронологии, расскажу о том, что произошло 7 ноября. На этот раз после весьма длительного перерыва на праздник приехала очень представительная китайская делегация. Возглавлял ее Чжоу Эньлай. Все понимали, что это зондаж, попытка выяснить, «чем дышит» новое советское руководство. Но, с другой стороны, Чжоу Эньлай имел репутацию наиболее умеренного среди китайских руководителей, и его визит в Москву мог восприниматься либо как шанс для разумного решения проблемы советско-китайских отношений, либо как изощренный ход, призванный поставить нас в трудное положение перед советской и зарубежной общественностью. Поэтому отношение к визиту было двойственное, во всяком случае, у нас, консультантов Отдела ЦК. Уже начавшее рождаться беспокойство насчет того, не отступят ли наши новые руководители от важных принципов политики, все же соседствовало с надеждой, что удастся покончить со все более накалявшейся враждой между двумя странами.

В день праздника я дежурил по Отделу, то есть сидел у себя в кабинете у телефонов. Ближе к вечеру — звонок из приемной Андропова, его секретарь передает приглашение зайти. Спускаюсь с четвертого на третий этаж, захожу в кабинет к Юрию Владимировичу. Он сидит за письменным столом, озабоченный, ушел в себя, смотрит невидящим взглядом в окно. Здороваюсь, поздравляю его с праздником. Он отвечает — и тут же начинает возбужденно рассказывать.

Только что закончился традиционный праздничный прием в Кремле. Р.Я.Малиновский (тогдашний министр обороны) выпил лишнего и произнес задиристый антиамериканский тост, чем обидел посла США, который даже покинул прием. «Это, — сказал Андропов, — первая плохая новость. Во всех столицах бдительно следят за каждым словом из Москвы, пытаются оценить политику нового руководства. И тут такое...» Но дальше в лес — больше дров. К Малиновскому подходит Чжоу Эньлай с другими членами китайской делегации и поздравляет его с «прекрасным антиимпериалистическим тостом». «Я, — продолжает Юрий Владимирович, — стою рядом и просто не знаю, куда деться: всю сцену наблюдает не только руководство, но и дипломатический корпус. И тут Малиновский — он совсем закусил удила — говорит Чжоу Эньлаю: «Давайте выпьем за советско-китайскую дружбу; вот мы своего Никиту выгнали, вы сделайте то же самое с Мао Цзэдуном, и дела у нас пойдут наилучшим образом». Чжоу Эньлай побледнел — наверное, подумал о доносах, которые на него настрочат спутники, что-то зло сказал, отвернулся и ушел с приема. Ну что ты об этом скажешь?»

Представив себе эту картину, я сказал Андропову: «Может быть, это не так уж плохо, стоит ли расстраиваться?» Тот помолчал, подумал, а потом рассмеялся. На этом разговор закончился.

Переговоры не дали результатов. Уже потом в разговоре с глазу на глаз Ю.В.Андропов вернулся к тому, о чем говорил 7 ноября, и сказал, что «последний гвоздь забил

А.И.Микоян», заявивший китайцам, что мы не отойдем ни от одной своей прежней политической позиции. И как бы мимоходом, но дав понять, что на дальнейшие вопросы не ответит, заметил: «Не всем нашим товарищам это заявление Микояна понравилось».

Эти разговоры меня несколько подготовили к тому, что произошло в январе 1965 года. На носу было заседание Политического консультативного комитета Организации Варшавского договора. На Президиуме ЦК обсуждался проект директив нашей делегации, подписанный Андроповым и Громыко (готовили его основу консультанты совместно с группой работников Министерства иностранных дел). И вот на заседании Президиума ЦК состоялся первый после октябрьского Пленума большой конкретный разговор о внешней политике.

Андропов пришел с заседания очень расстроенный. Он, должен сказать, вообще очень расстраивался, даже терялся, когда его критиковало начальство. Я относил это за счет глубоко сидящего во многих представителях его поколения синдрома страха перед вышестоящими — очень типичного порождения периода культа личности. Как мы узнали потом, некоторые члены Президиума — Андропов был тогда «просто» секретарем ЦК — обрушились на представленный проект, резко критиковали его за недостаток «классовой позиции», «классовости», ставили авторам в вину чрезмерную «уступчивость в отношении империализма», пренебрежение мерами для улучшения отношений, сплочения со своими «естественными» союзниками, «собратьями по классу» (как мы поняли, имелись в виду прежде всего китайцы). От присутствовавших на совещании узнали, что особенно активны были А.Н.Шелепин и, к моему удивлению, А.Н.Косыгин. Брежнев больше отмалчивался, присматривался, выжидал. А когда Косыгин начал на него наседать, требуя, чтобы тот поехал в Китай, потерял терпение и буркнул: «Если считаешь это до зарезу нужным, поезжай сам».

Главным реальным результатом начавшейся дискуссии в

верхах стало свертывание наших предложений и инициатив, направленных на улучшение отношений с США и странами Западной Европы. А побочным — на несколько месяцев — нечто вроде опалы для Андропова. Он сильно переживал, потом болел, а летом слег с инфарктом. Андропов продолжительное время лежал в ЦКБ и оттуда руководил Отделом по телефону через помощников. Там же, в больнице, он отметил свое пятидесятилетие. Мы, трое консультантов, сочинили ему шутливое поздравление в стихах. И через несколько дней получили стихотворный же ответ.

Наша переписка в стихах продолжалась еще некоторое время. Чтобы не отвлекаться слишком далеко от основной темы, не буду приводить ее.

Но еще до этого все-таки состоялась, наверное, в какой-то мере спровоцированная январской дискуссией на Президиуме ЦК поездка А.Н.Косыгина (его сопровождал и Юрий Владимирович) во Вьетнам и в Китай. Точнее, полетела делегация вначале во Вьетнам. И получилось так, что американцы именно во время пребывания нового главы советского правительства во Вьетнаме начали бомбардировки северной части страны, что, естественно, привело к заметному росту взаимного недоверия и напряженности.

А на обратном пути Косыгин остановился в Пекине, имел встречи с Мао Цзэдуном и другими руководителями КНР. И уехал, как говорится, несолоно хлебавши. Безрезультатность поездки (скорее, даже наоборот — после нее отношения еще больше обострились) никого не могла радовать. Но один плюс во всем этом все же был: неудача хотя бы помогла разделаться с иллюзиями, будто с Китаем можно легко наладить отношения и при этом обойтись без капитуляции в главных вопросах внешней и внутренней политики страны. Позже вооруженные столкновения на острове Даманском и в ряде других мест бросили нас еще в одну крайность — страх войны с КНР, из которого мы выходили слишком долго и отчасти по этой причине с серьезным опозданием взялись за нормализацию своих отношений с этой страной.

Но главные события, естественно, развертывались после октябрьского Пленума во внутренних делах.

Здесь довольно быстро стали обозначаться перемены — в руководстве кристаллизовались новые точки зрения. У организаторов смещения Н.С.Хрущева, не было сколько-нибудь внятной идейно-политической платформы. Потому к ее формулированию приступили уже после самого события. Не было, однако, не только платформы, но и единства, и потому процесс этот проходил в борьбе — подчас довольно острой, хотя и шедшей в основном за кулисами. Выявившиеся вскоре противоречия и различия тоже отражали как столкновение разных философий, идейных позиций, так и перипетии борьбы за власть, немедленно после октябрьского Пленума разгоревшейся в рядах победителей.

Как тогда воспринималась мною и моими коллегами (делаю эту оговорку, поскольку не уверен в полноте информации, которой я располагаю) расстановка политических сил?

Л.И.Брежнев (я дальше не раз буду говорить о нем и о некоторых его качествах, опять же на основе лишь тех впечатлений и информации, которыми располагаю) рассматривался большинством людей в аппарате ЦК и вокруг ЦК как слабая, а многими — как временная фигура. Не исключаю, что именно поэтому на его кандидатуре в первые секретари ЦК и сошлись участники переворота. И тем, кто недооценил способность выдвинутого нового лидера, став у власти, эту власть сохранить, потом пришлось поплатиться. Хотя люди, лично хорошо знавшие Брежнева, такого исхода борьбы ожидали. Помню, в частности, что через пару недель после октябрьского Пленума Н.Н.Иноземцев рассказал мне о своем разговоре с А.А.Арзуманяном, который близко знал нового Первого секретаря по войне (он служил в политотделе армии, начальником которого был Брежнев). Так вот, Арзуманян в очень доверительной беседе так охарактеризовал Брежнева: «Этого человека учить борьбе за власть и как расставлять кадры, не придется».

Но кто были другие претенденты на пост лидера партии? Я назвал бы прежде всего А.Н.Шелепина. Человек этот был аппарату хорошо известен. До войны он учился в самом знаменитом тогда гуманитарном вузе — ИФЛИ (хотя, как рассказывали его однокашники, учился неважно, основную активность проявлял в общественной работе). Потом как-то краешком прошел войну, так что сам факт его пребывания на фронте одни подтверждали, другие отрицали. Но уж потом — и этого никто не оспаривал — очень успешно начал делать карьеру. Вначале в комсомоле, быстро поднявшись до Первого секретаря ЦК ВЛКСМ. Потом его сразу сделали председателем КГБ (при Хрущеве, в момент, когда комитет занимался не столько репрессиями, сколько реабилитацией невинных жертв, хотя, конечно, далеко не одним этим). А затем стал секретарем ЦК КПСС и членом Политбюро — видимо, Хрущев ему очень доверял и поручил самые важные, тонкие дела, в частности, партийные кадры.

Лично я Шелепина практически не знал (несколько мимолетных встреч и обмен ничего не значащими фразами не в счет). Но, думаю, представление у меня о нем довольно полное — многое было видно по делам, по повадке, а еще больше рассказали люди, хорошо с ним знакомые. Это был типичный продукт аппарата (и, несомненно, из сильных, может быть, самых сильных представителей этого сословия), как рыба в воде чувствовавший себя в обстановке аппаратных интриг. И — человек неглупый, хитрый, волевой и очень честолюбивый.

У него было редкое — и для борьбы за власть очень важное — умение собирать вокруг себя верных, деятельных, лично преданных ему людей. Они к моменту октябрьского Пленума и вскоре после него, как уже упоминалось, были расставлены во множестве стратегических мест: в КГБ и МВД, в самых важных отделах ЦК, в сфере идеологии, в частности — в средствах массовой информации. Он имел также прочную опору на периферии. Большую ставку Шелепин делал на то, чтобы привлечь на свою сторону

более молодую часть партийного и государственного аппарата — естественно, по комсомольской работе он многих знал.

Что касается политических взглядов, то Шелепин выступал прежде всего «за порядок». Хотя при Хрущеве он несколько раз произносил антисталинские речи, это ни в коей мере не помешало ему и его сторонникам начать после октябрьского Пленума активное наступление на линию XX съезда. Как во внутренней, так и во внешней политике Шелепин и его люди громче всех ратовали за возрождение «классового подхода», «классовости», отвергали линию на улучшение отношений с капиталистическими странами и, во всяком случае в тот период, пытались разыграть «китайскую карту». Все это сочеталось, как тогда говорили, с великодержавными настроениями, шовинизмом (хотя здесь главным «запевалой» считали Д.С.Полянского).

Поначалу близкие Шелепину люди даже не скрывали, что считают Брежнева временной фигурой и его очень скоро заменит «железный Шурик». Своим поведением, некоторыми делами и заявлениями подтверждал такое впечатление и он сам, может быть, это было его самой грубой тактической ошибкой: Шелепин сразу же насторожил чувствительного к таким вещам, тонко понимающего их Брежнева. Это также сплотило вокруг Брежнева всех, кто боялся появления нового диктатора и восстановления сталинизма.

Понимая, что Шелепин представляет для него опасного противника, Брежнев начал контригру — в своей манере, тихо, за кулисами, при помощи ловких аппаратных маневров. Как конкретно это делалось, не знаю. Но уже к осени 1965 года Шелепин, видимо, получил сильный политический нокдаун. И даже, «смирив гордыню», начал делать все, чтобы изобразить себя верным Первому секретарю человеком (в частности, совершил «хождение в Каноссу», изменив маршрут какой-то из своих поездок и присоединившись в Иркутске к свите Брежнева, возвращавшегося из Монголии).

Шелепин потерпел поражение, окончательно лишился шансов на власть в 1967 году, когда на посту председателя КГБ Семичастного сменил Андропов. Перед этим были смещены со своих постов многие близкие к нему люди, затем и он сам был передвинут с кадров на легкую промышленность, а позднее стал главой профсоюзов.

Еще одним возможным соперником Брежнева тогда считался А.Н.Косыгин. Человек этот был, несомненно, более интеллигентный и образованный, опытный хозяйственник, в какой-то мере открытый для некоторых новых экономических идей. Но в политических вопросах, увы, консерватор — начиная с его отношения к Сталину.

Косыгин, в этом у меня сомнений нет, конечно же, не был сторонником репрессий, деспотизма, беззаконий. Например, во время первой моей продолжительной личной беседы с ним на прогулке в Кисловодске в декабре 1968 года (он отдыхал не на спецдаче, а в санатории и общался с другими отдыхающими), когда я завел речь о том, как пострадал от сталинских кровопусканий корпус командиров производства, он эту тему охотно поддержал, начал тепло вспоминать своих безвинно пострадавших коллег. Но как политический деятель Алексей Николаевич все же был продуктом авторитарной политической системы. И верил в нее, возможно, просто потому, что не представлял себе никакой другой. А кроме того, у него было, насколько я знаю, даже какое-то лично теплое отношение к Сталину, преданность ему. В конце концов, именно тот заметил и выдвинул его, и Косыгин лично от «великого вождя» не видел ничего плохого.

Рассказывают, что определенную роль играли и чисто сентиментальные воспоминания. Как-то вскоре после войны Сталин, всегда проводивший отпуск на Кавказе, первый раз в жизни поддался уговорам и поехал отдыхать в Крым, в Ливадийский дворец. Но там ему не понравилось, и через несколько дней он решил перебраться на Кавказ. Поскольку самолетов Сталин панически боялся, а поездом, «в обход», ехать было далеко, переезд устроили морем —

на военном крейсере. В печати это было изображено как посещение товарищем Сталиным нашего славного Черноморского флота. И при этом Сталин пригласил с собой на борт крейсера, а затем на Кавказ также отдыхавшего тогда в Крыму Косыгина с супругой. Это оставило, как говорили, у приглашенных гостей неизгладимое впечатление, тем более что Сталин, когда хотел, мог быть любезным, даже обаятельным хозяином...

На победу в соперничестве с Брежневым Косыгин, конечно, едва ли мог претендовать — за ним не было силы партийного аппарата, тех возможностей, которые тогда открывала должность Первого секретаря. Да и по складу своему он, скорее всего, не был «первым человеком», даже в те предельно бедные сильными руководителями годы. Я его в данном случае не сравниваю в интеллектуальном или деловом плане с Брежневым — тут Косыгин его превосходил; но, не будь Брежнева, Первым секретарем ЦК стал бы, скорее всего, кто-то третий, а не Косыгин. Так мне, во всяком случае, кажется.

Словом, затяжного соперничества здесь не получилось. Хотя, по моим наблюдениям, родилось изрядное взаимное недоброжелательство, подогреваемое окружавшими их интриганами и карьеристами, и это нанесло серьезный ущерб экономической реформе 1965 года. Косыгин остался хозяйственным, а не политическим руководителем. Но его взгляды тоже оказывали в первые годы, а тем более первые месяцы после октябрьского Пленума немалое влияние на ход дел. В экономике в целом весьма позитивное, во всяком случае, на первых порах. В политике, к сожалению, нет. Взгляды Косыгина объективно находили поддержку сталинистов, что содействовало вновь начавшимся теоретическим блужданиям. Если же говорить о внешней политике, то, не будучи «леваком», в принципе выступая в поддержку нормальных отношений с Западом, в первое время он, как уже упоминалось, помог (может быть, того не желая) «сбить дыхание» политике мирного сосуществования.

Не знаю, претендовал ли на первую роль Н.В.Подгорный, но он был еще темнее и консервативнее Брежнева. М.А.Суслов просто не добивался места первого человека в партии и стране[1]. Ему привычнее и удобнее была роль «серого кардинала», закулисного вершителя судеб.

Я не буду говорить о других членах Президиума ЦК — едва ли Д.С.Полянский, А.П.Кириленко или К.Т.Мазуров могли тогда претендовать на эту роль. А кроме того, просто не знаю в деталях, достаточно достоверно их тогдашней позиции. Но в целом настроения их были отнюдь не прогрессивными. Если привести эти настроения к единому знаменателю, я бы определил их как консерватизм, помноженный на изрядное невежество и некомпетентность. На этом общем фоне, в целом не сильно отличавшемся от того, что был во времена Хрущева (представим себе хрущевское руководство без него самого, Микояна, а до мая 1964 года — без Куусинена), Л.И.Брежнев тогда выглядел отнюдь не самым плохим. Оглядываясь назад, я думаю, в этом — в очевидной слабости, в несостоятельных, непривлекательных, а то и пугающих политических взглядах и позициях возможных конкурентов в борьбе за власть — как раз и заключался источник силы Брежнева. Его конкуренты были либо еще слабее, либо еще хуже. И это само по себе — настоящий приговор существовавшей в стране на протяжении десятилетий политической системе.

На фоне столь слабых соперников, в таком окружении приобретали вес те не столь уж многочисленные достоинства, которыми Брежнев действительно либо согласно сложившемуся мнению обладал. Одно из них видели в том, что это не злой, не жестокий человек. И если сравнивать со Сталиным — а в некоторых ситуациях и с Хрущевым, —

---

[1] Мне рассказывали, как Н.С.Хрущев в один прекрасный день предложил М.А.Суслову стать Председателем Президиума Верховного Совета СССР (в то время пост сугубо церемониальный). И тот пришел в полное смятение, говорил с членами Политбюро, убеждая их, что не может взять на себя такую ответственность (ее, личной ответственности, он, видимо, больше всего и боялся).

так оно и было. Ссылка в послы или персональная пенсия — это не расстрел, не тюрьма и пытки, даже не исключение из партии и публичная проработка. Другой вопрос, что в этом вполне свою роль могло играть и общее «смягчение нравов», а не только личные качества.

Правда и то, что это был человек в обращении простой, демократичный. Во всяком случае, в первые годы власти, когда он еще не разучился слушать людей, говорить спасибо за помощь, даже публично признавать, что многих вещей не знает. Не вызывает сомнений и то, что он обладал здравым смыслом, не был склонен к крайностям, скороспелым решениям, хотя потом это превратилось в свою противоположность — в нерешительность и бездеятельность.

Перед некоторыми нашими политиками, выросшими в недрах аппарата, у него было и то преимущество, что он все же имел не только аппаратный опыт. Что ни говори — фронт, потом участие в восстановлении разрушенного войной Запорожья, целина, работа в Молдавии и Казахстане, в качестве второго секретаря ЦК руководство оборонной промышленностью, вообще связь как с промышленностью, так и с сельским хозяйством, Верховный Совет. Хотя почти везде, как тогда водилось, руководство директивно-командное, во многом формальное, сводившееся к передаче указаний сверху вниз, и типичное для партийных кадров тех времен «давай-давай». Самостоятельность, инициатива были не только необязательны, но и нежелательны, для карьеры опасны.

Но вполне очевидными были с самого начала и многие недостатки Л.И.Брежнева. Он имел заслуженную репутацию человека малообразованного и недалекого (хотя в этом плане Брежнев, опять же, был не хуже, а может, лучше многих других представителей руководства, таких, как Кириленко, Подгорный, Полянский). Те, кто изображает его глупцом, не правы. Он был по-своему очень неглуп. И я имею в виду не только хитрость, аппаратную ловкость, без которых он бы просто пропал, не выжил в тогдашней

системе политических координат. Нет, речь именно о том, что Брежнев мог проявлять политическую сообразительность, ум и даже политическую умелость. Например, сразу после октябрьского Пленума ЦК он избрал, как мне кажется, очень правильную, выгодную, выигрышную линию поведения.

Во-первых, он, так сказать, «работал» на контрасте с Н.С.Хрущевым. Того в последние годы на все лады превозносили. Брежнева по первости — нет. Тот был очень «видимым», все время мелькал в печати, в кино, на телеэкране. Этот (опять же по первости) — нет. Поначалу Брежнев не строил из себя «великого человека». Своим помощникам говорил: «Пишите проще, не делайте из меня теоретика, иначе ведь все равно никто не поверит, что это мое, — будут смеяться». И сложные, затейливые места — вычеркивал (бывало, даже просил вычеркнуть цитаты из классиков, поясняя: «Ну кто же поверит, что Леня Брежнев читал Маркса?»).

В отличие от Хрущева, он не высказывал по каждому вопросу свои мнения — первые годы выжидал, прислушивался и присматривался, словом, вел себя осмотрительно, даже с известной скромностью и достоинством (во все это трудно поверить, вспоминая «позднего» Брежнева). А уж если с чем-то выступал, то по возможности наверняка. Это относится, в частности, к майскому (1965 года) Пленуму ЦК КПСС, на котором он предложил важные, выношенные им самим изменения экономической политики в сельском хозяйстве, на некоторое время обеспечившие заметный его подъем.

Конечно, при всем том едва ли у кого-то были сомнения, что человек этот, даже в пору его, так сказать, «расцвета», когда он еще был здоров и относительно молод, не испорчен абсолютной властью, все же не обладал качествами настоящего руководителя, тем более руководителя великой державы, да еще в столь сложный момент. Да еще державы, пережившей сталинщину и нуждавшейся в обновлении. Несоответствие это непрерывно возрастало. Но,

во-первых, наши люди были очень терпеливы. А во-вторых, лучшей альтернативы тогда просто не было или, во всяком случае, ее никто не видел...

Я не согласен с упрощенной, имеющей хождение в быту периодизацией нашей послереволюционной истории, когда ее определяют по тем главным бедам, с которыми ассоциировались отдельные руководители: культ личности Сталина, потом период волюнтаризма (Хрущев), потом застоя (Брежнев). Не было этих «потом». Одним из самых тягостных последствий культа личности Сталина, а если называть вещи своими именами — его безжалостной тирании, диктатуры, произвола, было как раз то, что он поставил под угрозу будущее страны, обрек ее, помимо прочего, на целые поколения слабого руководства. Когда представляешь себе, что только случай спас нас от Берии или Молотова, Шелепина или Подгорного, приходишь к выводу — я повторюсь, — что нам еще, может быть, везло.

И здесь — ответ на вопрос, который, наверное, каждый из нас себе не раз задавал: почему и Хрущева, и особенно Брежнева не остановили, когда они совершали ошибки, почему, в конце концов, их вовремя, не путем заговора, а «цивилизованно», как полагается в современном порядочном государстве, не сменили? Причина, конечно, не одна. Но наряду с крайним несовершенством или же отсутствием демократических институтов я бы еще раз указал на то, что руководство в основном состояло из слабых, подчас очень слабых людей. Механизмы культа личности вели к такой ситуации неодолимо. И естественно, что в таких условиях негодному или исчерпавшему себя лидеру часто просто не было приемлемых альтернатив — даже еще до того, как успела сложиться новая, более или менее авторитарная власть, опрокинуть которую можно либо силой, либо при помощи «дворцовых» интриг.

С глубоким сожалением приходится признать, что мы будем, как и любая другая страна, прошедшая в своей недавней истории через подобные трагедии, обречены на такое положение вещей, пока не создадим новые политиче-

ские механизмы, новый политический режим. Механизмы и режим, которые, во-первых, обеспечат приток в руководство сильных людей (не только благодаря «его величеству» случаю, как это произошло с М.С.Горбачевым да, пожалуй, в какой-то мере и с Ю.В.Андроповым). А кроме того — и это не менее важно, — развитие демократических институтов откроет возможность поправлять и даже предотвращать неправильные решения, а в случае необходимости — их менять. Или даже менять самих лидеров. Историческое значение начатой в нашей стране политической реформы как раз в этом и состоит — она должна создать такие механизмы, режим, институты. Успех реформы не только позволит решить важные текущие задачи. Он, по существу, будет означать рубеж в политической истории нашей страны, когда мы действительно не только оставим позади тиранию Сталина, но и распрощаемся с ее тягостными последствиями.

Но это мысли задним числом. А тогда... Тогда я и, по-моему, подавляющее большинство сторонников курса XX съезда беспокоились, разочаровывались, а потом обретали новую надежду, маялись в неуверенности, но все же верили. Верили в том числе и в то, что Брежнев — это более предпочтительная кандидатура, коль скоро сместили Хрущева. И думали, что его поэтому надо поддерживать, ему надо помогать. (Хотя для работников моего ранга вопрос о поддержке стоял больше в плане внутренних ощущений и чувств — реальные пути воздействия на события были более ограничены.) Тем более что очень скоро выяснилось, что партию толкают вправо конкуренты, соперники Брежнева. Как, впрочем, и некоторые его приближенные (его ближайшее окружение, шлейф тянувшихся за ним людей из Днепропетровска — в Молдавию, из Молдавии — в Казахстан, из Казахстана — в Москву был одной из самых пагубных слабостей этого деятеля). Вправо толкали политику и консервативные функционеры, не соперничавшие с Брежневым, но занимавшие видные посты в руководстве (Кириленко, Суслов, Шелест, Полянский,

Демичев и др.). Развертывалась настоящая борьба, так сказать, «за душу» самого Брежнева, которого многие хотели сделать проводником и главным исполнителем правоконсервативного курса. Курса на реабилитацию Сталина и сталинщины, на возврат к старым догмам внутренней и внешней политики.

Выбор позиции, ставший неизбежным в условиях этой борьбы, я и мои товарищи из числа консультантов, конечно, сделали сами. Но его нам облегчил Андропов, быстро определившийся, поддержавший Брежнева (не думаю, что только в силу ставшей почти второй натурой каждого партийного работника привычки поддерживать руководство). Мало того, он сам, лично включился (конечно, осторожно — по тогдашним правилам аппаратной игры) в борьбу за формирование политических позиций нового лидера. Эта борьба шла тогда в работе над каждым документом, каждой речью, многими политическими статьями (если они рассылались в ЦК и таким образом попадали на обсуждение секретарям ЦК и некоторым работникам аппарата).

Ключевым, так сказать, исходным вопросом в сложившейся ситуации было все-таки, во что верит, а во что — нет, чего хочет, что думает сам Брежнев. Вначале он был очень осторожен, не хотел себя связывать какими-то заявлениями и обещаниями ни по одному серьезному вопросу внутренней и внешней политики. И если бы меня спросили, какой была его изначальная политическая позиция, я бы затруднился дать ответ. Возможно, ее по многим вопросам вообще не было, и Брежнев, пока не стал Генеральным секретарем, даже не задумывался всерьез о большой политике — присоединялся к тому, что говорили сначала Сталин, а потом Хрущев, — вот и все. Во всяком случае, по большей части волновавших всех актуальных вопросов политики он до поры до времени предпочитал однозначно не высказываться, молчать и слушать (хотя я не исключаю, что своим близким друзьям, особо доверенным людям что-то и говорил).

А вот ему, Брежневу, в те первые месяцы и даже годы после октябрьского Пленума говорили многое. И разное. Когда я говорю об ожесточенной борьбе за его «душу», это вовсе не преувеличение.

Главным плацдармом, где она шла, были Политбюро и Секретариат ЦК КПСС, и там, несомненно, происходили сражения, отголоски которых докатывались и до нас, а потом нередко — до всей общественности. Не сомневаюсь, что многие члены руководства постоянно пытались «обрабатывать» Брежнева и в личных беседах. С учетом тогдашнего состава Политбюро и Секретариата можно сказать, что это было в основном давление вправо, к сталинизму.

Для меня и моих коллег более «прозрачным», открытым был, так сказать, рабочий уровень борьбы. Она и здесь после октябрьского Пленума шла остро. Всех участников этой борьбы я не знаю. Но среди тех, кто был особенно активным и находился на виду, хотел бы прежде всего назвать С.П.Трапезникова, подобранного Брежневым еще в Молдавии, где он, кажется, был преподавателем марксизма. Он стал помощником Брежнева, когда того перевели в Москву. Это был типичный представитель тех претенциозных неучей (он даже писал с огромным количеством грамматических ошибок, а что уж говорить о стиле и тем более о содержании!), даже мракобесов, которых, к сожалению, среди преподавателей марксизма при Сталине, да и после него оказалось великое множество — благо, задача перед ними стояла предельно простая: перетолковывать из года в год четвертую главу «Краткого курса» и последние выступления руководителей. Потом, используя служебное положение, этот человек защитил все требуемые диссертации и, наверное, не без помощи шефа устроился профессором в Высшую партийную школу. Когда Брежнев стал Генеральным секретарем, он выдвинул Трапезникова на пост заведующего Отделом науки ЦК КПСС. Там в полной мере проявились его и политические, и человеческие качества: реакционность, злобность, агрессивность, бесчестность и коварство.

Под стать ему был давно уже работавший с Брежневым его помощник В.А.Голиков, тоже мнивший себя «выдающимся марксистом». Такой же малограмотный, как и Трапезников, он считал себя специалистом по аграрному вопросу; но Голиков при случае выступал в печати и по любым другим проблемам — как «теоретик» культуры, идеологии, даже международных дел. И тоже — убежденный сталинист, отъявленный реакционер.

Они собрали вокруг себя группу единомышленников и объединенными усилиями, очень напористо, ловко используя естественную в момент смены руководства неопределенность и неуверенность, а также свою близость к Брежневу, бросились в наступление. Пытаясь радикально переменить идеологический и политический курс партии, они особое внимание постоянно уделяли обработке самого Брежнева, чтобы сделать его персональным покровителем и даже исполнителем этого замысла. Это была, так сказать, «пятая колонна» сталинистов в самом брежневском окружении (в нее входили также К.У.Черненко, Н.А.Тихонов, Н.А.Щелоков, но в идеологии они большой активности не проявляли).

Наступление шло по широкому фронту. Во внутренних делах добивались отмены решений XX и XXII съездов КПСС, касающихся культа личности Сталина, его полной реабилитации, а также отказа от выдвинутых после смерти Сталина новых идей — об общенародном государстве, о КПСС как партии всего народа и др. И, разумеется, реставрации старых, сталинистских взглядов в истории, экономике, других общественных науках. Во внешних делах целью сталинистов был отказ от всех появившихся в последние годы новых идей и представлений в вопросах войны и мира и международных отношений. Все это не только нашептывалось Брежневу, но и упрямо вписывалось в проекты его речей и партийных документов.

Развернувшаяся атака на курс XX съезда, надо сказать, встретила довольно серьезное сопротивление, несмотря на отсутствие признанных лидеров у демократических сил.

Видимо, сами идеи обновления, очищения идеалов социализма от крови и грязи уже завоевали серьезную поддержку в толще партии и общества, несмотря на непоследовательность Хрущева и его сподвижников. Этим в конечном счете можно объяснить, что так вот, с ходу, одним махом изменить политическую линию и политическую атмосферу в партии и стране не удалось. Против такого крутого поворота были и некоторые члены Президиума ЦК КПСС (включая, как ни странно, даже М.А.Суслова, который был вообще против крутых поворотов, за осторожность, а также секретарей ЦК Ю.В.Андропова и Б.Н.Пономарева). Ну а кроме того, в жесткую «позиционную войну», развернувшуюся в процессе рутинной работы над речами, документами, ответственными статьями, включалась большая группа людей из самого аппарата ЦК (в их числе определенная роль принадлежала консультантам обоих международных отделов, а также некоторым ответственным работникам Отдела пропаганды, включая прежде всего А.Н.Яковлева). А также — ученые, журналисты, эксперты. Они в меру сил старались отбить наскоки сталинистов.

Победой всех этих, не побоюсь затертого термина, здоровых сил можно, в частности, считать то, что на XXIII съезде, бесцветном, консервативном, не сделавшем ни одного шага вперед, вопреки требованиям сталинистов все же не произошло отмены решений XX и XXII съездов партии. Победой — сейчас это может казаться непонятным, даже смешным — стало и то, что время от времени как символ, как флаг, демонстрировавший, что «крепость» пока что не пала, в официальных документах и речах появлялись упоминания XX и XXII съездов партии («протащить» в эти документы прямую критику культа личности Сталина становилось все труднее). Сохранены были и «новации» во внешней политике, включая понятие мирного сосуществования, хотя и вокруг него какое-то время шла острая борьба. Мало того, летом 1966 года на заседании Политического консультативного комитета Организации Варшавского договора была одобрена идея переговоров по

созданию системы общеевропейской безопасности, то есть был начат путь, который привел через девять лет к хельсинкскому Заключительному акту, а затем — уже в наши дни — к другим новым политическим реальностям в Европе.

Но при существовавшем соотношении сил эта борьба не могла завершиться торжеством идей XX съезда. Кое-какие плацдармы были захвачены сталинистами. И речь шла не только о назначениях, но и о политической и идеологической линии. Начиная с вещей символических, но в нашем обществе, где все давно научились читать между строк, тем не менее весьма существенных. Например, имя Сталина перестало появляться в контексте критики его преступлений и ошибок, но зато все чаще начало упоминаться в хвалебном, положительном смысле. (Кажется, первым документом, где оно фигурировало в позитивном контексте, был доклад Л.И.Брежнева в связи с двадцатилетием победы над фашистской Германией в мае 1965 года.) Изменились содержание и стиль официозных статей. В них все реже рассматривались темы, упоминались идеи и понятия, вошедшие в обиход после XX съезда. Зато ключевыми словами становились «классовость», «партийность», «идейная чистота», «непримиримая борьба с ревизионизмом» и т.д. — весь столь привычный со сталинских времен идеологический набор.

Первая схватка, одним словом, закончилась как бы компромиссом. Что-то сохранила одна сторона, но что-то получила и другая.

То же самое можно сказать и о другом, более интимном аспекте сталинистского контрнаступления — о том, что я назвал «борьбой за душу» Брежнева.

У консерваторов, включая людей из бл зкого окружения Брежнева, были — при всем их примитивизме, невежестве, а в чем-то и тупости — важные источники силы. Один из них состоял в том, что они давно и хорошо знали Брежнева, знали и его слабости и могли на них довольно ловко играть. Поначалу, я думаю, весьма провинциальный,

почти не имевший дела со сколько-нибудь образованными, эрудированными людьми, Брежнев даже искренне верил, что его прежние приближенные — настоящие знатоки политики, экономики, марксизма, которые оберегут его от ошибок, ляпсусов, а то, глядишь, и подскажут стоящую мысль. И уж во всяком случае, помогут разобраться, соответствует ли то или иное заявление, предложение, формулировка марксистскому «священному писанию» или нет. Этот вопрос, видимо, особенно волновал Брежнева, когда он стал Генеральным секретарем. Тут уж делать что-то «немарксистское», считал он, совсем не подобает — на него смотрели вся партия, весь мир. А сам Леонид Ильич был в теории крайне слаб и хорошо это понимал.

Но этим людям все же не удалось добиться главного — монополии на «ухо Брежнева», положения «верховных жрецов» от марксизма, монополии на теоретическую, а тем более (ведь они и этого добивались) политическую экспертизу. Здесь, я думаю, решающую роль сыграла в высшей мере присущая Брежневу осторожность. Он хотя поначалу этим людям доверял, но не был в них полностью уверен, боялся оконфузиться. И потому вскоре начал искать также альтернативные мнения и точки зрения.

Мне кажется, очень важным в той ситуации было то, что Андропов быстро и однозначно встал на позицию поддержки Брежнева (кстати, был в отношении его безупречно лоялен, хотя и не мог не видеть его слабостей, а в последние годы — полной неспособности выполнять элементарные обязанности руководителя страны). Поэтому уже в первые месяцы после октябрьского Пленума у Андропова появилась возможность высказывать Брежневу свое мнение, и, хотя Юрий Владимирович был осторожен (мне лично часто казалось — чрезмерно осторожен), он мог играть по ряду вопросов роль противовеса негативным давлениям. Эту возможность, по моим наблюдениям и впечатлениям, он в каких-то ситуациях использовал.

Вскоре начали играть все возрастающую роль два помощника Брежнева — А.М.Александров-Агентов и

Г.Э.Цуканов. Александров — профессиональный дипломат, приглашен Брежневым из Министерства иностранных дел еще в пору, когда тот был Председателем Президиума Верховного Совета СССР. Александров, конечно же, в интеллектуальном плане, а также в плане политической и человеческой порядочности стоял на порядок выше Голикова и Трапезникова и как минимум мог нейтрализовать их наиболее оголтелые атаки на внешнеполитическом направлении. Во всяком случае, в вопросах, где сам занимал прогрессивную позицию (делаю эту оговорку потому, что в некоторых вопросах Александров, на мой взгляд, был достаточно консервативен).

Что касается Цуканова, то это был профессиональный инженер-металлург, в прошлом директор крупного металлургического завода в Днепродзержинске. Брежнев, став вторым секретарем ЦК КПСС, сорвал его с места — Леониду Ильичу нужен был помощник в делах, связанных с общим руководством оборонной промышленностью. Теперь, когда Брежнев стал Генеральным секретарем, у Цуканова появились более широкие функции и он начал помогать ему в экономических, а со временем — и в других делах. Поскольку Цуканов не считал себя в этих вопросах достаточно компетентным, он привлекал в качестве экспертов специалистов.

Не скажу, чтобы у Цуканова с самого начала были четкие идейно-политические позиции по проблемам, вокруг которых развертывалась особенно острая борьба: о Сталине и курсе XX съезда, о мирном сосуществовании и др. Но он быстро нашел верную ориентацию. Не в последнюю очередь потому, что хорошо знал людей из самого близкого окружения Брежнева и относился почти ко всем ним с глубокой антипатией. Это заставляло его искать помощи, привлекать к выполнению заданий людей, настроенных прогрессивно (нередко спрашивая совета и у Андропова, которому он очень доверял). Так, в число тех, кого привлекали к заданиям по поручению Брежнева либо в качестве рецензентов на поступающие от других помощников материалы,

попали Н.Н.Иноземцев, А.Е.Бовин, В.В.Загладин, автор этих воспоминаний, а также Г.Х.Шахназаров, С.А.Ситарян, Б.М.Сухаревский, А.А.Аграновский и некоторые другие.

Очень скоро усилиями упомянутых и, наверное, многих не упомянутых людей разнузданно-сталинскому влиянию на Брежнева все же был создан определенный противовес.

И тогда, и, естественно, потом я не раз задавал себе вопрос: что думал сам Брежнев, каковы его убеждения? Не мог же он сохранять свои представления в виде чистого листа, «табула раза», на котором другие могли бы писать, что им заблагорассудится. Ведь это был уже почти шестидесятилетний человек, который прошел, занимая весьма ответственные посты, почти через все главные политические события своего времени: на XIX съезде, при Сталине, он, напомню, был включен в расширенный состав Президиума ЦК и с этого времени был членом Центрального Комитета КПСС; а с 1959 года работал на ответственнейших постах в Москве: вторым секретарем ЦК, Председателем Президиума Верховного Совета СССР.

Возвращаясь к теме о «борьбе за душу» нового лидера в первые месяцы и годы после октябрьского Пленума ЦК, хотел бы сказать, что, став первым в стране человеком, Генеральным секретарем ЦК КПСС, он на глазах начал меняться (что, наверное, тоже неизбежно). Вообще разница в ответственности, в мироощущении и, конечно же, в подходе к делам между первым человеком в стране и остальными руководителями гораздо больше, чем, скажем, между членами Политбюро и аппаратными чиновниками не только высокого, но даже и среднего ранга. И положения не меняет замена единовластия, доведенного до предела условиями культа личности, коллективным руководством. Оставляю в стороне вопрос, было ли таковое у нас и вообще возможна и целесообразна ли эта форма управления или же она не более чем суррогат настоящей, действительно необходимой для стабильности и прогресса демократии, суррогат, к тому же освобождающий конкретного ли-

дера от личной ответственности, — своего рода политическая «круговая порука».

Причины этого различия, особого положения первого в государстве человека неоднозначны. Одна из них — власть, огромная власть и ее влияние на личность человека. А другая — ответственность. Когда дело доходит до окончательного решения, высший руководитель должен сказать «да» или «нет» — перекладывать ответственность просто не на кого. Именно на этой грани мнение превращается в политику, слова — в дела, затрагивающие интересы и судьбы множества людей, страны, а иногда и международного сообщества.

Мне кажется (это и личное впечатление: мы познакомились в начале 1965 года), что Л.И.Брежнев, став Первым секретарем ЦК КПСС, с немалым трудом привыкал к своей новой ответственности, осознавал, какое огромное бремя легло на его плечи. И хотя столь высокое положение (шутка сказать — «царь»!) ему, несомненно, очень нравилось, были и робость, и осторожность, и очевидный страх ошибиться, боязнь ответственности. Его, конечно, очень серьезно обременяли старый скудный интеллектуальный багаж, провинциальные взгляды на многие дела, узкий, даже мещанский, обывательский кругозор (потом все это сыграло очень дурную роль). Какое-то время, как мне казалось, он ощущал, что «не дотягивает». Самонадеянность, самоуверенность появились позже и не без помощи подхалимов, ставших со сталинских времен, пожалуй, самой большой угрозой для политического руководства страны, собственно, для руководства на любом уровне. А о поразивших его еще позже болезни, старости, даже маразме — разговор особый.

В первые два-три года после октябрьского Пленума представления и политические взгляды Брежнева претерпевали определенную позитивную эволюцию. Хотя он еще верил своим старым советникам, но начал понимать, что как Генеральный секретарь не может полагаться на них одних, должен радикально расширить круг получаемой ин-

формации, выслушивать мнения (самые различные) большего количества людей.

По этой причине он, видимо, и начал прислушиваться к Андропову — нетипичному и неординарному представителю круга партийных руководителей. И через Александрова и Цуканова, а иногда и сам лично привлекал к заданиям более широкий круг людей, тоже вещь для партийного аппарата тех лет нетипичная. В то время Брежнев действительно многим интересовался и охотно слушал (читать он не любил, письменный текст воспринимал хуже устного, потому и направляемые ему записки чаще всего просил читать вслух).

Здесь, правда, существовала любопытная закономерность: интересовался новый лидер, слушал и воспринимал то, что относилось к сферам, в которых он считал себя несведущим, и это свое невежество (опять же поначалу) готов был открыто признать: во внешней политике, в какой-то мере в вопросах культуры, даже в идеологии и марксистско-ленинской теории. Зато он был убежден, что прекрасно разбирается в сельском хозяйстве да и вообще в практической экономике, в военных вопросах. И очень хорошо понимает в людях, в кадрах, является знатоком партийной работы. По всем этим вопросам, как я заметил, говорить с ним, пытаться его переубедить было почти бессмысленно.

Как бы то ни было, общими, хотя и разрозненными усилиями значительного числа людей в те первые годы удалось серьезно ослабить влияние на нового Генерального секретаря наиболее воинственных сталинистов, включая как отдельных членов Политбюро, так и доморощенных теоретиков из его собственной свиты. Давалось это в упорной борьбе.

Одна из самых острых схваток, в которых я участвовал, разгорелась вокруг текста речи, которую он должен был произнести в ходе своей первой в новом качестве поездки в Грузию в начале ноября 1966 года (для вручения республике ордена, конечно). Первоначальный вариант речи был подготовлен под руководством Трапезникова и Голикова и

их грузинских друзей. Он представлял собой совершенно бессовестную попытку возвеличить Сталина, снова провозгласить его великим вождем. Получив текст, Брежнев, видимо, в чем-то все же усомнился и передал его Цуканову на «экспертизу». Цуканов, хотя и не разбирался в идеологических тонкостях, хорошо понял, какой скандал может вызвать такая речь. Но хотел вооружиться достаточно основательными аргументами для разговора с Брежневым и попросил меня дать развернутые замечания. Я это сделал. В тот же день он сказал, что назавтра в 9 утра меня приглашает Брежнев.

Я, чтобы не нарушать лояльности в отношении непосредственного начальника — Ю.В.Андропова, сообщил ему об этом (и заодно рассказал коротко о содержании проекта речи, спросил совета). Он мне сказал: «Что же, раз в эту историю попал, действуй так, как считаешь нужным». Неудовольствия, равно как призыва к осторожности, к тому, чтобы уклоняться от столкновения, я не уловил. Собственно, на такой ответ и рассчитывал.

Потом допоздна сидел и готовился. Подумав, решил, что наиболее эффективным способом отвергнуть проект речи будут не призывы к политической порядочности (можно ли, разоблачив Сталина как преступника, теперь его восхвалять?) и не абстрактные рассуждения о вреде культа личности и его несоответствии марксизму, а предельно предметные аргументы о пагубных практических последствиях такого выступления нового лидера для него самого, для партии и страны.

Первый аргумент сводился к тому, что выступление вызовет серьезные осложнения в ряде социалистических стран (я работал в Отделе, который занимался ими, и начать с этого было естественным). В двух из этих стран, решил я напомнить Брежневу, лидерами стали люди, в свое время посаженные Сталиным в тюрьму и чудом оставшиеся в живых, — Кадар в Венгрии и Гомулка в Польше. В третьей — Болгарии — сразу после XX съезда прежний руководитель был снят Пленумом ЦК за злоупотребления

властью. Что же, там снова менять лидеров? Ведь этого местные сталинисты непременно захотят. Неужто Брежневу сейчас, в этот и без того непростой момент, нужны такие осложнения?

Второй аргумент — реакция компартий Запада. Они с трудом, а кое-где с немалыми издержками переварили XX съезд. Что ж им теперь делать: встать в оппозицию к нам либо заново совершать «поворот кругом», подтверждая обвинение в том, что своей позиции они не имеют и рабски следуют всем поворотам и кульбитам политики Москвы?

И третий аргумент — внутренний. Я не поленился заново прочесть стенограмму XXII съезда и выписал из нее самые яркие высказывания против Сталина деятелей, еще состоявших при Брежневе в числе членов и кандидатов в члены Политбюро, секретарей ЦК (в том числе Шелепина, Суслова, Подгорного, Мжаванадзе и др.). Как же они, совсем недавно клеймившие Сталина, требовавшие вынести его прах из Мавзолея и поставить памятник его жертвам, после такой речи нового генсека будут выглядеть в глазах партии, широкой советской и зарубежной общественности? Как будут смотреть в глаза людям? Или т. Брежнев специально хочет их дискредитировать, чтобы потом с ними расстаться? И наконец, не зададут ли и ему самому вопроса: где он был раньше? Ведь т. Брежнев участвовал во всех съездах партии, начиная с XIX, и с того же съезда был членом ЦК КПСС.

С таким планом я пришел к Брежневу и его полностью осуществил. Единственной неожиданностью было то, что, когда мы с Цукановым зашли в кабинет, поздоровались и сели, Брежнев предложил: «А не позвать ли нам еще Андропова?» И тут же его вызвал. Так что всю «домашнюю заготовку» я выкладывал уже обоим: и Брежневу, и Андропову.

Я ощущал, что аргументы произвели впечатление. Брежнев выглядел все более озабоченным, время от времени перебивал вопросом к Андропову: что думает тот? Андропов, по-моему, выбрал очень удачную тактику. Он каж-

дый раз с незначительными вариациями в деталях говорил примерно следующее: конечно, Георгий Аркадьевич горячится, в чем-то, может, и пережимает, преувеличивает, но в принципе такого рода издержки, наверно, неизбежны. И добавлял какие-то свои, подчас очень весомые соображения. Получалось, что Андропов вроде бы со мной несколько полемизировал, была борьба мнений, а первоначальный проект речи закапывался все глубже. Так же как его главная идея.

В конце концов нам троим Брежнев поручил спешно написать новый вариант речи. Не скажу, что он получился глубоким по мысли, богатым идеями. Но имя Сталина там упоминалось (большего я сделать просто не мог) только один раз — в списке организаторов революционной борьбы в Грузии, притом по алфавиту (значит, ближе к концу списка). Но одновременно в речи упоминался и XX съезд. По тем временам, особенно с учетом того, что эта речь произносилась в Грузии, где тогда были очень сильны настроения в пользу реабилитации Сталина, это было подтверждением незыблемости прежнего курса в отношении всей проблемы Сталина и сталинизма.

У меня сложилось впечатление, что потом, после этого эпизода Брежнев к вопросу о реабилитации Сталина, об отмене решений XX съезда относился много осторожнее. Скорее всего, когда после октябрьского Пленума начали набирать силу настроения в пользу реставрации сталинизма, он, не имея сильных личных убеждений ни «за», ни «против», не сразу начал задумываться о практических последствиях шагов, на которые его толкали. И толкали не только Трапезников с Голиковым, но и люди, занимавшие в партии более высокое положение.

Тогда — в 1965—1967 годах — мне казалось, что при всей противоречивости, неопределенности обстановки шансы на то, что политический курс выправится, возрастают. На чем основывался такой весьма, конечно, осторожный оптимизм?

Прежде всего, становилась все менее вероятной угроза

нового «дворцового переворота» и прихода к власти Шелепина. Брежнев своевременно уловил эту угрозу (и то, что Шелепин уже сыграл большую роль в ловком проведении одного «дворцового переворота» — смещении Хрущева, делало Брежнева, по-моему, особенно настороженным). С осени 1965 года Брежнев развернул контригру. И если уж он такую игру начинал, она, как правило, доводилась до конца. Так было и с Шелепиным[1]. Что-то произошло, как говорили, осенью 1965 года — что именно, люди моего положения не знали, но всем было продемонстрировано, что А.Н.Шелепин вовсе не второй человек в партии и стране и тем более не кандидат в лидеры, а, так сказать, «рядовой» член Политбюро. Вслед за тем из-под его начала вывели оргпартработу, кадры и поручили курировать торговлю, легкую и пищевую промышленность. Одновременно переводились на другую, не дававшую политического влияния работу близкие к Шелепину люди. Министр внутренних дел Тикунов был направлен на дипломатическую работу в Румынию, председатель Гостелерадио Месяцев — послом в Австралию, директор ТАСС Горюнов — в одну из африканских стран. Завершающим ударом по Шелепину стало — об этом я уже говорил — смещение в мае 1967 года Семичастного с должности председателя КГБ. Его преемником стал, как известно, Андропов, для которого, судя по его словам, это назначение было полной неожиданностью. Помню, на следующее утро после решения Политбюро он заехал в ЦК и собрал нас, консультантов,

---

[1] Сталин физически уничтожал своих противников и соперников. Хрущев разделывался с ними политически — выдвигал против них какие-то обвинения, правильные или нет — другой вопрос, громил их на пленумах, в закрытых письмах ЦК, организовывал соответствующую проработочную кампанию и т.д. Именно так он разделался с В.М.Молотовым, Г.М.Маленковым и другими представителями этой группы, маршалом Г.К.Жуковым; единственным исключением был арестованный и расстрелянный Берия, но это — особый случай. А Брежнев действовал по-аппаратному. Он вытеснил из руководства многих людей, не говоря уж о А.И.Микояне, судьба которого как человека, очень близкого к Хрущеву, была предрешена самим октябрьским Пленумом.

чтобы попрощаться. И, смеясь, рассказал, как сразу с заседания, где решился вопрос, Суслов и Пельше повезли его для представления руководству комитета в дом на Лубянке, который он раньше старался «обходить за три квартала», как он потом остался там один и, думая о том, что в прошлом происходило в этих стенах, поеживался, чувствуя себя с непривычки довольно неуютно.

Вскоре дело было завершено — Шелепина вывели из Политбюро.

Так эта угроза (как мне и многим другим тогда казалось — самая серьезная) была локализована, а потом снята, что само по себе внушало известный оптимизм.

Не удалось сталинистам добиться своего и на XXIII съезде партии. Не исчезала и надежда, что ситуацию удастся улучшить. Что очень важно, неплохо шли дела в экономике. Экономическая дискуссия, начатая еще при Хрущеве статьей в «Правде» харьковского профессора Либермана, была продолжена и привела осенью 1965 года к целой системе практических решений, получивших неофициальное название экономической реформы.

И наконец, как будто в довольно позитивном направлении проходило становление политических убеждений самого Брежнева, формирование его собственной политической платформы. Весьма благоприятным в этом плане казался 1967 год, когда шла воспринимавшаяся как очень важная работа над выступлением в связи с пятидесятилетием Октября. Разговоры людей моего положения с Брежневым по существу серьезных политических и идеологических проблем тогда были возможны только при подготовке каких-то его крупных выступлений, позднее и эта возможность начала исчезать.

Поручение готовить первый проект этого доклада уже в мае дали группе, в которую входили Н.Н.Иноземцев, В.В.Загладин, А.Е.Бовин и я. Мы его постарались сделать «по максимуму», подняв самые острые, на наш взгляд, проблемы, дав ответ на самые актуальные вопросы. Получился проект, правда, длинным — более ста страниц — и

сложным. Поскольку нас торопили, пришлось отправить Брежневу текст в таком черновом виде. (Я потом вспомнил одну из любимых поговорок Куусинена: «Начальству и дуракам неготовые тексты показывать нельзя».)

Этот вариант ему решительно не понравился — отчасти, думаю, потому, что был написан слишком серьезно и, на вкус оратора, скучновато, а где-то ему и непонятно. А отчасти — как мы сообразили потом, когда перенесенные из этого же варианта во второй куски получали одобрение и похвалу, — потому, что ему их кто-то просто скучно, занудно читал вслух. Ну и еще — эти подозрения потом подтвердились — потому, что кто-то сбивал его с толку, подсказывал совсем другие идеи и предложения — выдержать доклад в «высоком штиле», сделать его «гимном наших побед», нашего величия.

Как бы то ни было, нам передали его общую отрицательную оценку, некоторые замечания и предложения и просьбу побыстрей подготовить новый вариант. Вскоре мы узнали, что Брежнев настолько расстроился, что через П.Н.Демичева поручил писать доклад еще одной группе (ее возглавлял А.Н.Яковлев, в то время исполнявший обязанности заведующего Отделом пропаганды ЦК КПСС). В конце концов в тексте были каким-то образом объединены оба варианта — они оказались совместимыми.

Но самыми важными были работа с самим оратором, споры и дискуссии, которыми она сопровождалась. Работа эта шла потом, в течение нескольких недель в Завидове, участвовали в ней обе группы, некоторые помощники Брежнева, а на каких-то этапах — приглашенные им Андропов, Пономарев и Демичев. В этих дискуссиях, проходивших весьма откровенно, а подчас горячо, затрагивался самый широкий круг вопросов: Сталин и НЭП, раскулачивание и экономическая реформа, XX съезд и роль творческой интеллигенции, вопросы войны и мира, отношения с Западом и т.д. Притом видно было, что Брежнев внимательно слушает, иногда даже подбрасывает для обсуждения новые темы. Можно было тогда еще с ним спорить,

даже в присутствии других людей. Случалось, что он выходил из себя, допускал резкости, но через пару часов, в крайнем случае, на следующий день своим вниманием к недавнему оппоненту, вопросами к нему давал понять, что зла не таит и все остается как было. Словом, это еще было время, когда он пытался увидеть проблемы, которые ставила жизнь, и найти их решения.

Результаты длившихся много недель споров, в смысле «просвещения» Брежнева, казались обнадеживающими (сам доклад получился, к сожалению, не очень интересным, тем более что учет замечаний членов Политбюро, которым в конце работы был послан проект, «усреднил», снивелировал текст, заставил убрать наиболее яркие мысли и места). Это относится ко всему кругу волновавших нас тогда вопросов; отношение к линии XX съезда, позиция по международным делам, потребность в новых крупных экономических решениях, ибо реформа начала сталкиваться с трудностями. Не раз поднимался также вопрос о необходимости расширения свободы творчества ученых, писателей, художников. Брежнев тогда и по этому вопросу высказывался вполне конструктивно. Как-то заявил, что со стыдом вспоминает встречи Хрущева с интеллигенцией (особенно ему запомнились почему-то грубости, допущенные в отношении поэтессы М.Алигер). И пообещал после Октябрьских праздников обязательно встретиться с представителями интеллигенции, установить с ними доверительные отношения (этого он так и не сделал, хотя не раз, когда его удавалось убедить в необходимости вмешательства, вступался за отдельных театральных деятелей или писателей, отводя от них неприятности). По-моему, тогда же впервые для него возникла проблема с академиком А.Д.Сахаровым, кажется, в связи с его первым письмом. Брежнев сказал, что примет его (потом, увы, поручил это Суслову, а тот от встречи уклонился).

Что тоже нам казалось важным — Брежнев вроде бы теперь убедился не только в неправильности позиций, но и в теоретической несостоятельности и политической безгра-

мотности напиравших на него сталинистов из его окружения. Мало того, он сказал с глазу на глаз Пономареву и Андропову (они «по секрету» передали нам), что решил расстаться с одним из них, Голиковым, и дал указание подыскать ему другую работу (этого обещания Брежнев тоже не выполнил и работал с ним до самой своей смерти, несмотря на то что и потом в связи с Голиковым и его выходками у Брежнева возникало немало конфликтов).

Как бы то ни было, после подготовки этой юбилейной речи мы расходились по домам удовлетворенные, нам казалось, что удалось сделать что-то полезное. Вскоре, увы, выяснилось, что надежды не оправдались. В 1968 году произошел поворот вправо, во всяком случае, во внутренних делах. Не в смысле формальной реабилитации Сталина, осуждения XX съезда, словом, всего того, что поначалу, сразу после октябрьского Пленума добивались сталинисты. Произошло другое — ужесточение политики в области идеологии, культуры и общественных наук, заметное ухудшение психологической и политической атмосферы в стране.

Явственным рубежом этого поворота, если не одной из его важных причин (уж как минимум катализатором глубинных тенденций, толкавших вправо политическое развитие нашей страны), стали события в Чехословакии. Уже с января 1968 года наше руководство начало нервничать. Я это ощущал косвенно — по официальной информации и свидетельствам товарищей (сам я с декабря 1967 года ушел из аппарата ЦК, занялся созданием Института США и до осени следующего года контактов с Брежневым, другими руководителями практически не имел).

Из внутриполитических событий того времени запомнился состоявшийся в феврале или марте 1968 года пленум МГК КПСС, в котором принял участие Брежнев. На этом пленуме открыто был провозглашен курс на «закручивание гаек» в идеологии и культуре. К этому периоду, может быть, надо отнести и истоки феномена диссидентства. Появилось тогда и новое словечко — «подписант»: так назы-

вали тех, кто подписывал какие-то письма, обращения, петиции в защиту людей, подвергшихся гонениям, произведений, зажатых цензурой, и т.д. Людей, высказывавших «не те» взгляды (то есть диссидентов), равно как «подписантов», начали безжалостно увольнять с работы, наказывать в партийном порядке. Коснулось это и Академии наук СССР, тем более что тогдашний президент М.В.Келдыш на пленуме горкома произнес очень плохую речь и вообще явно струсил, может быть, и потому, что в числе «подписантов» оказалась его сестра. Ужесточалась цензура, многие ранее принятые к печати труды исключались из редакционных и издательских планов.

Сложившейся ситуацией постарались тут же воспользоваться сталинисты. Начался год их очень большой активности. Поправели или, может быть, просто стали более откровенными консервативные представители руководства — Суслов, Подгорный, Шелест, Гришин, Демичев и др. И, конечно, в открытую атаку перешел «штурмовой отряд» консервативных идеологов из аппарата ЦК КПСС и руководства общественными науками.

О самих событиях августа 1968 года я говорить не буду — ничего добавить к уже известному не могу, только помню, что больше всего меня одолевало ощущение жгучего стыда, стыда за политику своей страны, за то, что сделало ее руководство. Как я убедился, то же самое чувство разделяли многие представители партийной интеллигенции, включая тех, кого я раньше считал вполне ортодоксальными (например, редактор журнала «Мировая экономика и международные отношения» Я.С.Хавинсон, скончавшийся в 1989 году). Не забуду и другого. Через день-два после этого события я сгоряча, не стесняясь в выражениях, высказал все, что думал насчет нашей политики, Цуканову, а также В.А.Крючкову, который тоже работал в свое время в Отделе ЦК и был приглашен Андроповым на высокий пост в КГБ. Ни тот, ни другой, как оказалось, меня начальству «не продали». Впрочем, я подозреваю, что Брежнев, а тем более Андропов догадыва-

лись о том, как и я, и многие другие представители интеллигенции (в том числе оставшиеся на работе в ЦК) относимся к этой акции, в глубине души даже считали это естественным.

Но дело не в личных эмоциях и переживаниях, связанных с конкретным внешнеполитическим шагом правительства. Как и предвидели многие, этот шаг оказал очень серьезное негативное воздействие на обстановку в стране, на весь ход ее политического развития. Пожалуй, воздействие даже более негативное, нежели события 1956 года в Венгрии и Польше. Так, во всяком случае, мне казалось. Позже я пришел к выводу, что причины тогдашнего поворота вправо в нашем обществе были более серьезными, более глубокими. И что, может быть, с ним, с этим поворотом в нашем обществе, наоборот, было связано военное вмешательство в Чехословакии.

Я приводил выше высказывание Хрущева о том, что послушай А.Новотный его совета, разоблачи он своевременно преступления, которые совершали его предшественники по указанию Сталина, — и никаких неприятностей в 1968 году не было бы. И спорил с ним: одного разоблачения прошлых ошибок и преступлений недостаточно, если за ними не последуют далеко идущие реформы. Но с точки зрения самих событий в Чехословакии Хрущев, возможно, был прав. Критика прошлого могла сыграть роль отдушины, клапана, открыв который, можно было снизить политическое давление в обществе. Особенно если бы все случилось раньше, когда лидером в СССР еще был Хрущев и перемены в Чехословакии происходили на волне XX или XXII съездов КПСС.

Но не совсем по той или, во всяком случае, не по одной той причине, которую имел в виду Хрущев — что само разоблачение сняло бы проблемы. Важнее, мне кажется, то, что события совсем иначе воспринимались бы в Москве — с пониманием, может быть, даже сочувствием и уж отнюдь не как вызов, тем более не как возбудитель нежелательных внутренних проблем. Политические циклы в обеих стра-

нах более или менее совпали бы, и дело вполне могло бы обойтись без силовой конфронтации.

Но так не произошло. К началу 1968 года в Москве уже в какой-то мере начался отход от линии XX съезда. И существовали, действовали политические силы, которые хотели полного от нее отказа. Естественно, что перемены в Чехословакии ими, а под их влиянием — и довольно многими в Советском Союзе воспринимались с самого начала с подозрением и растущим недоверием.

Негативное, даже враждебное отношение нашего руководства к событиям в Чехословакии сформировалось, как представляется, не в июле и не в августе, даже не в мае, а, скорее всего, уже в январе 1968 года. Враждебность в силу сугубо внутренних причин, нежелания идти путем перемен вызывал сам курс реформ, на который вставала Чехословакия. Эта недоброжелательность наверняка была замечена в Праге. И, по-моему, серьезно радикализировала изначально, как мне кажется, умеренно-реформистское руководство партии и страны, толкала его к тем, кого потом назвали ревизионистами и контрреволюционерами. А это, в свою очередь, вызывало нарастающую подозрительность и недоверие в СССР и других странах Варшавского договора. Так по спирали, видимо, и раскручивалось развитие событий вплоть до драматической развязки.

Дело усугублялось еще одним обстоятельством, которое я прекрасно понимал, проработав более трех лет в Отделе ЦК. Это, так сказать, человеческий, личностный фактор в работе аппарата, роль людей, непосредственно занимавшихся в ЦК КПСС (как, впрочем, и в МИД СССР, и в других ведомствах) отношениями с теми или иными конкретными социалистическими странами. Они, эти люди, были разными. Но в это время еще сохранялся определенный их тип, сформировавшийся в сталинские времена, когда инструктор (или референт) ЦК КПСС, занимавшийся соответствующей страной, не только ощущал себя в ней «государевым наместником», но и нес в себе заряд неколебимой убежденности, что в политике ему как партийному

работнику (или дипломату и т.д.) из Москвы ведома истина в последней инстанции. И те, кто против его мнения возражает, — враги или как минимум ревизионисты.

Ю.В.Андропов понимал — и не раз об этом говорил, — что такие настроения, такой склад мысли работников политически вредны, даже опасны, затрудняют развитие нормальных отношений с союзными странами. Но почти никого из этих людей он, увы, не сменил. Так что в 1967 году многие из работников Отдела, занимавшиеся нашими отношениями с союзными государствами, мыслили теми же категориями, что и до 1953 года. А кроме того, среди партийных кадров соответствующей страны у них были, с одной стороны, друзья, те, кому они верили, а с другой — враги, те, кого они не любили. И страну они постепенно начинали воспринимать глазами своих друзей, доверенных лиц, любимчиков, из которых там складывалось нечто вроде «московской фракции».

Но поскольку у нас эти работники слыли «специалистами» по данной стране, по долгу службы докладывали о положении дел в ней руководству, им все же верили, их слушали. Это и обеспечивало как раз в критические моменты заметную, иногда крайнюю необъективность в информации и оценках.

По Чехословакии к 1967 году главными среди таких «специалистов» были заведующий соответствующим сектором Отдела ЦК С.И.Колесников и советник-посланник в нашем посольстве в Праге И.И.Удальцов (раньше он тоже работал в Отделе ЦК; человек, кстати, в отличие от Колесникова умный, даже образованный, но в то же время убежденный сторонник старых догм). Мне трудно оценить, какую они сыграли конкретно роль, но, думаю, она была немалой. Неверное, часто паническое впечатление руководства о событиях в Чехословакии способствовало быстрой эскалации напряженности в отношениях.

Как принималось роковое решение о вводе войск, я не знаю. По свидетельству людей, которым верю, Брежнев очень долго его оттягивал, колебался, просто боялся при-

менения военной силы. Что касается других советских руководителей, то об их позициях можно лишь догадываться. Наверное, сейчас появятся более достоверные сведения, исходящие от самих руководителей «пражской весны» — они могли составить себе весьма определенное мнение на основании впечатлений от шедших почти непрерывно в течение нескольких месяцев переговоров.

Впрочем, в 1979 году в США вышла книга эмигрировавшего из Чехословакии политолога И.Валенты «Советская интервенция в Чехословакии, 1968. Анатомия решения»[1], написанная на основе личных впечатлений, имеющихся документов и бесед с бывшими чехословацкими лидерами. Он подтверждает высказанное выше мнение о позиции Брежнева. Что касается Косыгина, то он, по заключению Валенты, был против военного вмешательства, но под давлением «интервенционистов» в конце концов дал согласие. По тактическим соображениям (на осень было намечено международное Совещание коммунистических и рабочих партий, и военное вмешательство в чехословацкие события могло его сорвать) почти до самого конца пытались найти политическое решение проблемы М.А.Суслов, а также Б.Н.Пономарев.

Среди тех, кто активно выступал за военное решение, автор называет П.Е.Шелеста, А.Я.Пельше, Н.В.Подгорного, П.М.Машерова и П.Н.Демичева. Позиция А.Н.Кириленко, А.Н.Шелепина, П.И.Воронова, К.Т.Мазурова, отмечает он, осталась ему неизвестной, так как эти люди не принимали участия в переговорах. Очень активную линию на военное вмешательство вели также В.Ульбрихт и В.Гомулка (Я.Кадар, наоборот, старался избежать интервенции).

На основании того, что я слышал, могу также сказать, что среди сторонников «решительных мер», к сожалению, был и Андропов, у которого после событий в Венгрии в

---

[1] Valenta I. Sovit Intervention in Czechoslovakia, 1968: Anatomy of a Decision. Baltimore, 1979.

1956 году сложился определенный синдром нетерпимости, может быть, связанный с убежденностью в том, что нерешительность, затяжки ведут к более серьезному кровопролитию. Был среди них, как я слышал, также Д.Ф.Устинов. Но самое тягостное — ведь ни один из членов руководства не возразил. Это я знаю точно.

Не раз потом я думал, почему так получилось. И пришел к выводу, что при решении политических вопросов в группе людей (коллективно) легче, проще занять «решительную» позицию и уж, конечно, проявить в отношении такой позиции конформизм. (Меня поразило, что то же самое происходило и в руководстве США в дни Карибского кризиса 1962 года.) А вот чтобы призвать к умеренности, терпению и терпимости, нужно большое политическое мужество. Потому в критических ситуациях особенно велика роль первого человека в стране, того, кто берет на себя ответственность. К сожалению, Брежнев предпочел в данном случае спрятаться за спины других.

Помимо дезинформированности, ложной картины происходящего большую роль в такого рода роковых решениях играют и другие факторы. Один из них — пережитки имперского мышления. Оно оправдывает, «освящает» такого рода действия в регионе, который ты относишь к своей «сфере жизненных интересов» (пусть называемой «социалистическим содружеством»). И укоренившиеся идеологические стереотипы, согласно которым любой отход от твоих собственных представлений о том, что подобает социализму, а что — нет, становится равнозначным предательству, преступлению. Думаю, Брежнев разделял эти стереотипы, дал себя убедить, что предаст дело социализма и, уж во всяком случае, подорвет свои позиции как лидера КПСС и СССР, если не вмешается в ход событий. Мне рассказывал наш тогдашний посол в Чехословакии С.В.Червоненко, что где-то в июле 1968 года, соглашаясь с необходимостью все же продолжать поиск политического решения, использовать любую возможность уйти от применения военной силы или хотя бы его оттянуть, Брежнев

сказал: если в Чехословакии победят «ревизионистские» тенденции, он будет вынужден уйти в отставку с поста Генерального секретаря ЦК КПСС («Ведь получится, что я потерял Чехословакию»).

События в Чехословакии крайне негативно повлияли на политическое развитие нашей страны. Но, в свою очередь, нетерпимость, доведшая до военного вмешательства, в значительной мере объяснялась тем, что происходило у нас дома, консервативным сдвигом, который развивался после октябрьского Пленума ЦК КПСС.

Мне кажется сегодня, что оптимизм, надежды, родившиеся у тех, кто работал с руководством в 1967 году, хотя и основывались на реальных впечатлениях, не учитывали тех настроений и политических тенденций, которые усиливались в стране.

Эти тенденции и обусловили сдвиг вправо.

Но это все же был сдвиг, а не полный поворот назад.

Речь, по существу, шла о новом, более капитулянтском в сравнении с тем, что сложился в 1966—1967 годах, компромиссе между линией XX и XXII съездов партии и тем, чего требовали перешедшие в контрнаступление консервативные силы. После августа 1968 года борьба между этими двумя направлениями политики не прекратилась. Так же как не прекратились попытки перетянуть на свою сторону тех или иных руководителей, и, конечно, в первую очередь Л.И.Брежнева. Ее исход еще не был предрешен, она шла в разных сферах политики. Хотя в 1968 году соотношение сил уже заметно изменилось в пользу консерваторов.

«ПОЛЗУЧАЯ РЕСТАЛИНИЗАЦИЯ» (1968—1974)

Я знаю немало конкретных людей, которые добивались ресталинизации, боролись за нее. Но эта политика едва ли осуществлялась на основе обсуждавшегося, продуманного решения руководства. Хотя по многим конкретным делам (что издавать, а что нет, какую дату как отмечать, о чем и как говорить в той или иной связи и т.д.) решения могли приниматься и принимались нередко на самом высоком уровне. Из них как раз и складывалась политика.

Существенно и другое. Сталинизм внедрялся в нашем обществе долго и самыми радикальными средствами — вплоть до массового террора. А потому он укоренился глубоко, много глубже, наверное, чем думал Хрущев, выступая на XX съезде. А также все те, кто сердцем, умом, душой принял линию этого съезда.

О чем идет речь? О том прежде всего, что на руководящих постах, то есть у рычагов власти, оставалось множество людей, придерживавшихся сталинистских воззрений, которым было трудно, если не невозможно, найти себе место в жизни в любой иной политической и социальной структуре. Они просто не могли делать ничего другого, кроме как проводить волю «верхов» вниз, исполнять, подавлять инициативу и тем более инакомыслие. И быстро увядали в условиях открытой дискуссии, открытой политической борьбы — это со всей очевидностью выявилось уже позже, в годы перестройки.

Не менее, если не более серьезной причиной была неготовность значительной части общества к переменам. Множество людей было воспитано, запрограммировано всем прошлым на совершенно определенные формы поведения

и реакции, не умело либо боялось проявлять инициативу, самостоятельно думать и действовать.

А потому ситуация сложилась своеобразная. Как только высшее руководство прекращало напор, усилия по десталинизации общества, общественное сознание и общественные институты почти автоматически, без дополнительных указаний сами возвращались на круги своя. Как встает кукла «ванька-встанька», стоит только отпустить руку, удерживающую ее в лежачем положении. Или как заваливается на сторону велосипед, если перестаешь крутить педали.

Это, мне кажется, были главные движущие механизмы начавшейся после октября 1964-го, а особенно с конца 1968 года ресталинизации (впрочем, в последние годы правления Хрущева мы тоже с нею сталкивались). Я этот процесс ресталинизации назвал ползучим именно потому, что она не вводилась декретом, особым решением, а постепенно, шаг за шагом обволакивала общественную жизнь, закреплялась на одном рубеже за другим. Этому сознательно помогли те, кто хотел вернуться к сталинизму. Их усилия шли в основном по двум направлениям.

Одно — административные меры против всех, кто занимал антисталинистские позиции, решался поднять голос против наступления консерваторов. Эти меры, как правило, не были крайними. То есть арестовывали и судили редко. Но общепринятой практикой стали увольнения с работы, строгие партийные наказания, в том числе исключение из партии, все более изощренное преследование диссидентов, включая публичную компрометацию и травлю людей, «психушки», а также высылку за рубеж и лишение советского гражданства.

Об этих недостойных страницах нашей недавней истории написано уже довольно много. И мне добавить к этому почти нечего. Какими были цели такой политики? Субъективно одной из них, наверное, была защита устоев того, что тогдашнее руководство считало истинным социализмом, социалистическим порядком. Я не думаю, что при

этом тон задавали люди столь циничные или даже просвещенные, чтобы понимать: и социализм, который они пытаются защищать, и их представления о нем деформированы, на деле они защищают авторитарные порядки, а конкретнее — свою власть и привилегии. Но объективно дело обстояло именно так. И поскольку представления сдвигались вправо, расширялось число идей и людей, которые становились объектами преследований. Политическая, духовная, нравственная атмосфера в обществе заметно ухудшалась.

Поставленных целей в значительной мере достичь удалось. Многие умолкли. В тон идейно-политической борьбе, которая продолжалась, рубеж «легальности», критерий того, что можно делать, не ставя себя вне системы, все более сужались, ставилось под запрет и то, что люди достоверно знали, о чем еще совсем недавно разрешалось говорить и говорили с высоких трибун.

Мне кажется, эти изменения в духовной жизни общества нанесли ему большой и долговременный ущерб, который породил дополнительные трудности и для перестройки. Когда на XX съезде партии в первый раз сказали правду о прошлом, о Сталине, о творившихся в стране беззакониях и преступлениях, когда первый раз попытались поднять честных коммунистов и беспартийных, все здоровые силы общества на борьбу за его обновление, очень многие восприняли это с огромным доверием, с энтузиазмом, как свое жизненное дело. Разочарования последующего периода, бессовестные попытки сделать вид, что ничего вроде бы не произошло, вернуть людей к вере в недавно развенчанных и поверженных идолов, снова грубо (и к тому же неумело, неубедительно, формально) переписать историю привели к серьезному оскудению запаса доверия к социалистическим идеалам, социальной энергии людей, их готовности отдать себя, свои силы служению большому делу.

Наоборот, все это усиливало скептицизм и даже цинизм (в том числе среди молодого поколения), и с этим в полной

мере пришлось столкнуться в период перестройки. За попытки ресталинизации, вновь допущенные беззакония, ложь, новый зажим едва только пробуждавшейся свободной мысли пришлось уплатить очень дорого — пока, может быть, мы даже еще не в состоянии полностью осознать эту цену.

Наступление реакции, сталинизма, естественно, наталкивалось на сопротивление. Были люди, которые не захотели молчать, идти на компромиссы, — наиболее известны среди них А.И.Солженицын и А.Д.Сахаров, но можно назвать и десятки других имен. Иные старались бороться, так сказать, внутри системы. Среди них тоже были люди, которых подвергали гонениям, наказаниям. Других эта чаша миновала, и потому мы только сейчас начинаем узнавать имена и дела некоторых из тех, кто проявил немалое гражданское мужество, пытаясь остановить наступление реакции, защитить преследуемых. Сошлюсь на один лишь пример — академика П.Л.Капицу, о некоторых сторонах благородной деятельности которого мы узнали лишь после опубликования его писем, в том числе Сталину, Хрущеву, Брежневу, Андропову. А на него ведь некоторые обижались за то, что он не подписывал коллективных писем. Капица предпочитал, когда считал нужным, писать сам, нес за все личную ответственность. Не все были столь смелы, как Капица, и не у всех было такое имя, как и авторитет, а потому и возможности. Но людей, которые каждый на своем месте и в меру своих сил (и, конечно, смелости) пытались сделать добро, в частности, остановить сползание к сталинизму, было немало.

В годы перестройки тем, кто участвовал раньше в политике, естественно, все чаще начали задавать вопрос: что ты делал до 1985 года? Несколько раз публично — на XIX партконференции тогдашним секретарем Коми обкома КПСС Мельниковым, на II съезде народных депутатов СССР начальником Горьковской железной дороги Матюхиным и затем в газете «Советская Россия» маршалом Ахромеевым — такой вопрос был поставлен и мне, притом с

обвинением, что я давал советы прошлым руководителям и потому, мол, не имею права выступать по вопросам политики сейчас. Я ответил на эти обвинения, исходившие от весьма консервативных, «застойных» людей, выразив готовность нести ответственность за каждый свой совет, но подчеркнув, что и тогда, и сейчас отстаивал одни и те же идеи и политику (могу для краткости назвать их просто линией XX съезда). И не хочу использовать страницы этой книги для дополнительных аргументов в споре со своими оппонентами.

Но один вопрос — его мне ставили в ходе избирательных кампаний — я бы все-таки хотел упомянуть. Он был задан в лоб: «И по публикациям, и по тому, что вы говорили, можно сказать, что вы не были сторонником сталинизма и реакции, даже выступали за прогрессивную политику. Но ведь другие — Солженицын, Сахаров, генерал Григоренко и т.д. — вели намного более решительную, мужественную борьбу. Почему вы не были в их рядах?»

Отвечая, я сказал, что, во-первых, в годы застоя против тогдашней политики и из числа так называемых диссидентов выступали разные по своим взглядам люди. Даже уважая их право на свое мнение, я, марксист, член партии, далеко не со всеми из них могу согласиться. И, во-вторых, если иметь в виду то, что таких, как я, со многими из этих людей (особенно с А.Д.Сахаровым) объединяло, я бы не стал противопоставлять усилия тех, кто бросил открытый вызов системе и порвал с ней, тем, кто старался изменить ее изнутри.

И не только потому, что здесь при сходстве некоторых основных политических позиций тоже могли сказываться различия во взглядах. Мне кажется, что с точки зрения реального воздействия на политику важно было сочетание усилий ее критиков, вышедших или вытолкнутых из системы, с усилиями тех, кто пытался воздействовать на нее, оставаясь внутри.

Я при этом отдаю должное мужеству, бесстрашию тех, кто, как академик Сахаров, занимал бескомпромиссную

позицию, за это шел на риск и страдания. Это герои, это даже мученики. И без того, что они сделали, процесс обновления в нашей стране едва ли мог бы развиваться столь быстро и глубоко. Но если бы не было многих сотен и тысяч тех, кто в повседневной работе и повседневных, очень будничных схватках не пытался остановить натиск реакции, сталинистского консерватизма, отстоять и продвинуть идеи демократии, мирного сосуществования и экономической реформы, едва ли возможен был бы процесс обновления как эволюционный процесс.

А я чем дальше, тем больше верю именно в эволюции. Радикальные перевороты, революции, начинаясь с «праведного насилия», как правило, перерастали в насилие ради насилия, потом становились легкой добычей диктаторов и тиранов. Конечно, и такие люди, как Сахаров, выступали за ненасильственные перемены. Но чтобы их обеспечить в качестве органичной части этого процесса, нужны были усилия также и изнутри системы.

Сказанное не значит, что я не вижу ошибок и недостатков в том, что делал и о чем писал. Ошибки, конечно же, были. Оглядываясь назад, я не могу не признать, в частности, того, что, видя опасность пути, по которому шла страна, недооценивал ее глубину. Так же как недооценивал масштабов необходимых перемен. Не то чтобы это как-то сказалось на реальной политике — понимай я все правильно, положение дел едва ли изменилось бы. Но не признать этого не могу — не хотел бы оставить впечатление, что задним числом пытаюсь выглядеть умнее, прозорливее, принципиальнее, чем был на самом деле.

Из этой ошибки вытекали и другие, в частности, недостаточная настойчивость в борьбе против неверных решений, излишняя готовность промолчать, потерпеть и недостаточная решительность в отстаивании своих взглядов. Свою роль, конечно, играл и конформизм, которым было, пусть в меньшей мере, чем старшие мои товарищи, заражено и мое поколение. Может быть, этот конформизм и подсказывал, подсовывал спасительные иллюзии, что ты

делаешь что-то важное, эффективное, помогал жить в мире со своей совестью, уходя в «малые» дела (в частности, помощь несправедливо обиженным или оказывавшимся под ударом людям, «просвещение» начальства и т.д.).

Но, с другой стороны, что действительно эффективное могли сделать люди моего положения? И так ли уж несущественны в своей сумме эти «малые» дела? Особенно если к этому добавить постоянную творческую работу — как личную, так и связанную с созданием и развитием Института США и Канады АН СССР. Эта работа — разумеется, не только моя, но многих десятков, а может быть, и сотен людей — и готовила в недрах застойных времен идейное и политическое пробуждение, новое мышление.

В конце концов, не извне, а изнутри общества после очень тяжелого периода его истории пришли и М.С.Горбачев, и его соратники, начавшие перестройку. Но ее готовили и в ней участвовали и многие другие.

Говорю об этом не для того, чтобы хоть в малейшей степени приписать себе гражданский подвиг и мужество тех, кто бросил открытый вызов злу, боролся с ним, как на войне. Но общественное развитие все же сложнее войны и требует сочетания разных форм воздействия и усилий. Главное, надо было эффективно противостоять реставрации сталинизма в период его контрнаступления и готовить последующее обновление общества.

Важно также иметь в виду, что наступление сталинизма, начавшееся во второй половине шестидесятых годов, велось не только против людей, но и против идей, против исторической правды и новых представлений о социализме, о мире, о политике. Возможности такого наступления у консервативных сил имелись немалые.

В их руках оказались практически все ключевые посты в идеологии. Идеологический отдел, созданный при Хрущеве, был разбит на три. Один — Отдел науки — попал в руки С.П.Трапезникова и сразу стал главным оплотом сталинистской вандеи. Второй — Отдел культуры — возгла-

вил В.Ф.Шауро, бывший секретарь ЦК Белоруссии по идеологии, человек, по-моему, готовый проводить любую политику, которую предпишут сверху, не очень активный сам, но предоставлявший полную свободу некоторым своим «жаждавшим крови» сотрудникам. Поскольку еще раньше в творческих союзах и ряде редакций были созданы прочные оплоты сталинизма, этим людям не составляло большого труда не только остановить движение вперед, но по широкому фронту открыть дорогу махрово-консервативным, сталинистским взглядам, в то же время зажимая все, что им противоречило.

С третьим отделом, отпочковавшимся от «империи Ильичева» — Отделом пропаганды, — дело обстояло сложнее. После снятия В.И.Степакова (видимо, за близость к Шелепину) он был без заведующего и до начала 1972 года оставался под фактическим руководством А.Н.Яковлева. И, собственно, только Яковлев и несколько, совсем немного, его единомышленников в Отделе пропаганды пытались что-то сделать, чтобы поставить преграду на пути поднявшейся консервативной волны. За это А.Н.Яковлев вскоре поплатился. Предлогом стала его интересная, актуальная до сих пор, получившая тогда широкий отклик у общественности статья в «Литературной газете» об интернационализме.

Это было, по сути, первое серьезное публичное выступление в защиту интернационализма, против национализма и активизировавшегося великорусского шовинизма. По существу, это было сильное выступление в защиту идей XX съезда КПСС, что заметили не только противники, но и сторонники сталинизма. Голиков тут же написал донос, который рассматривался на Политбюро. При мне и нескольких других товарищах Брежнев выговаривал Яковлеву за статью. И прилюдно же сказал, что на первый раз его «прощает», расчувствовался от собственного великодушия и даже его обнял. Но через пару дней вышло решение о назначении Яковлева послом в Канаду, где он пробыл до середины 1983 года. После этого Отдел пропаганды тоже «зашагал в ногу».

Мой 20 век





Мне двенадцать лет. Я учусь в пятом классе немецкой школы в Гамбурге

В 1930—1935 годах семья наша жила в Германии.
С отцом Аркадием Михайловичем и мамой Анной Васильевной

Мы с отцом после его освобождения. Я как раз приехал в Москву получать новые реактивные минометы. 1943



Портрет моего отца, вылепленный из хлебного мякиша его сокамерником в ульяновской тюрьме





В 1951 году моя жена Светлана подарила мне сына. Мы назвали его Алексеем



XX съезд — поворотная веха в нашей истории. Н.С.Хрущев проявил завидное мужество, развенчав Сталина. После этого съезда у многих из нас открылись глаза



О.В.Куусинен — его называли «совестью партии» — оказал на меня огромное влияние



Академик АН СССР А.М.Румянцев, возглавлявший в 1960-е годы журнал «Проблемы мира и социализма»



Л.И.Брежнев умел быть обаятельным. Во время визита в США в 1973 году. Справа от Брежнева — президент США Р.Никсон, слева — я



Между заседаниями в Завидово



Первые сотрудники Института США (я — третий слева). 23 февраля 1968 года мы вселились в здание Института и сфотографировались перед ним — на память

Ю.В.Андропов — личность яркая, крупная, самобытная. Работать с ним было интересно, хотя и нелегко: он не давал поблажек ни себе, ни другим





Здание ЦК КПСС на Старой площади, где я работал в группе консультантов

ЕЩЕ В 1960-е ГОДЫ АНДРОПОВ СУМЕЛ ПРИВЛЕЧЬ В СВОЮ КОМАНДУ ТАЛАНТЛИВЫХ ПОЛИТИКОВ И УЧЕНЫХ

Ф.М.Бурлацкий



А.Е.Бовин



С Н.Н.Иноземцевым (справа)



СО МНОГИМИ АМЕРИКАНСКИМИ ПОЛИТИКАМИ Я ПОЗНАКОМИЛСЯ И ПОДРУЖИЛСЯ В НАЧАЛЕ 1970-х ГОДОВ



На ступенях Капитолия с Джорджем Бушем (старшим)— тогда еще председателем Национального комитета Республиканской партии США

С сенатором Эдвардом Кеннеди во время его визита в Москву



АМЕРИКАНСКИЕ ЖЕНЩИНЫ ТОЖЕ ПРИВЛЕКАЛИ МОЕ ВНИМАНИЕ



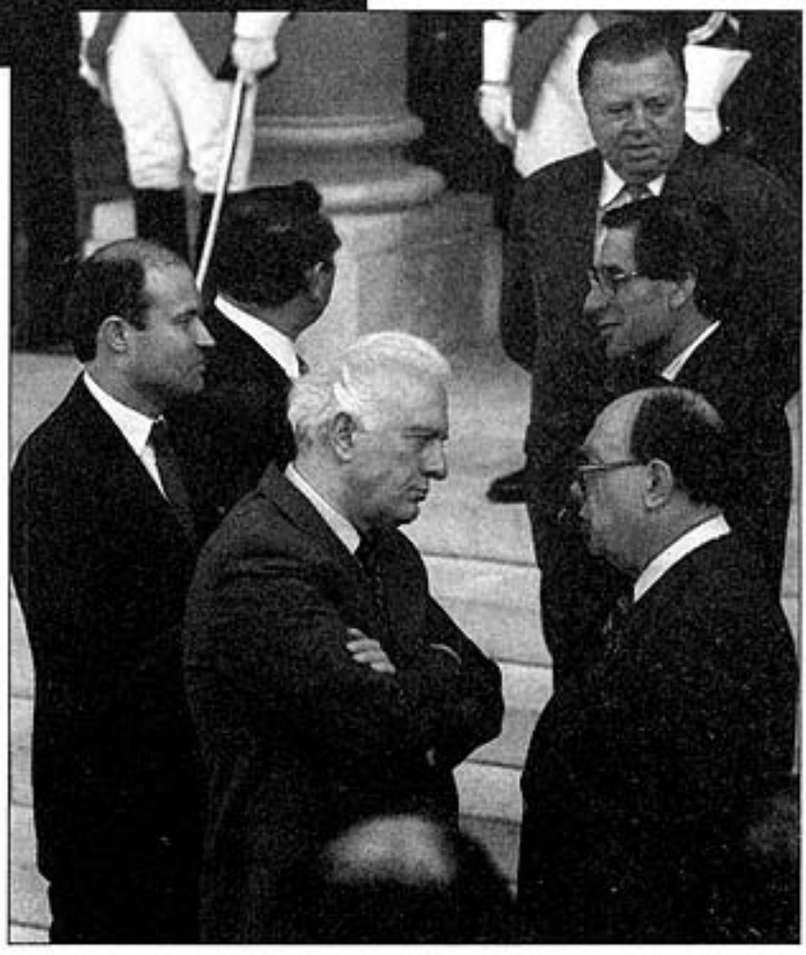
С Нэнси Рейган на торжественном приеме американского президента в Москве. Слева — «первая леди» СССР Р.М.Горбачева



Джейн Фонда политикой не занимается, но — очаровательна. И моя жена (она слева) со мной согласна



М.С.Горбачев и Р.Рейган на встрече в Рейкьявике, где были заложены основы новой международной политики



А.Н.Яковлев (справа) и Э.А.Шеварднадзе — «радикалы» эпохи перестройки



Считанные дни остаются до того момента, когда последний советский воин покинет Афганистан



Берлинскую стену разламывают на сувениры. Средства, полученные от их продажи, будут направлены в больницы и поликлиники Берлина



Встречался я и с королем Испании Хуаном Карлосом...



...и с Папой Римским Иоанном Павлом II

С нынешним Госсекретарем США К.Пауэллом
мы знакомы еще с той поры, когда он был генералом

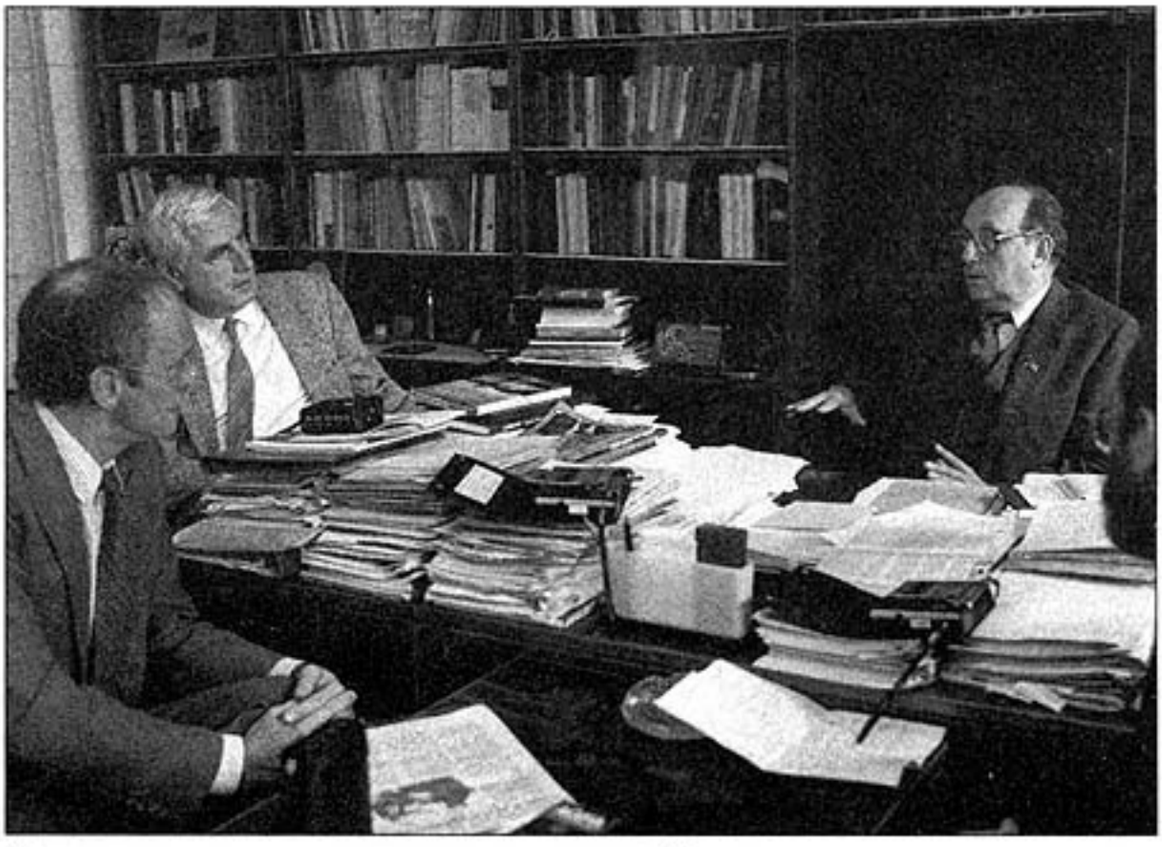




На заседании Консультативно-координационного комитета при Президенте России. Слева от Б.Н.Ельцина — академик П.Н.Бунич. Москва, Кремль, 1992

Во время своего последнего визита в Россию Г.Киссинджер побывал в Институте США и Канады. Он мудрый человек и тонкий политик





Интервью редакторам немецкого журнала «Шпигель» доктору Д.Вильду и Ф.Майеру

Редкие минуты отдыха. С женой Светланой Павловной и генералом М.А.Мильштейном на озере Тутциг в Баварии. 1990



Мой сын Алексей Арбатов, ныне известный политик, заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне, с женой Надеждой





Внучку Екатерину (она работает продюсером на телевидении) я не просто люблю — обожаю



Ситуация на идеологическом фронте осложнялась тем, что в качестве секретаря ЦК КПСС все три отдела курировал П.Н.Демичев — человек, лишенный талантов, по верхам чего-то нахватавшийся, а по сути — малообразованный. И притом готовый взяться за любое дело, хотя толком не умел справиться ни с одним. На моей памяти он возглавлял МГК КПСС, был секретарем ЦК, отвечающим за химизацию народного хозяйства, а затем за идеологию, и, наконец, стал министром культуры. Андропов мне рассказывал, что после смерти маршала Малиновского Шелепин пытался продвинуть Демичева на пост министра обороны, мотивируя это тем, что тот, мол, имеет военный опыт (он кончал Военную академию химической защиты, а потом был некоторое время политработником в армии — здесь, видимо, и сходятся все линии карьеры: главного химика страны, ее главного идеолога и главного попечителя искусств, претендовавшего или, во всяком случае, прочившегося еще и на роль главного военачальника).

Работу Демичева на посту секретаря, ведавшего идеологией (насколько я мог догадаться, его переместили оттуда на пост министра культуры опять не столько из-за неспособности, сколько из-за близости к Шелепину), я в целом оценивать не хочу. Но не помню случая, когда бы Демичев сделал хоть что-нибудь хорошее — кого-то защитил, когда-то выступил за правду и т.д. А за кулисами — выпячивать эту сторону своей деятельности он не любил — много раз, если не постоянно, покровительствовал плохим людям, поддерживал скверные дела.

Сменил Демичева на посту секретаря ЦК КПСС по идеологии М.В.Зимянин, чему поначалу все были рады. Репутация у него была неплохая, в том числе по недавним делам, в частности, схваткам с Трапезниковым и Голиковым в период подготовки XXIII съезда партии. Но на посту секретаря ЦК с ним что-то произошло. Может быть, он не выдержал испытания властью. А может быть, это было возрастное. Но, во всяком случае, Зимянин стал совсем другим, превратился в покровителя реакционеров, а в некоторых

неблаговидных делах (в частности, в попытке разгромить в 1982 году ИМЭМО АН СССР) активно участвовал сам.

Сколько я помню, всегда самую негативную роль в идеологических делах играл МГК КПСС, возглавлявшийся вначале Егорычевым, а потом Гришиным.

Ну и, наконец, где-то в облаках, у самой вершины власти восседал «серый кардинал» М.А.Суслов, «верховный жрец» идеологии, изредка выступавший публично. За кулисами он постоянно играл консервативную роль. Она особенно однозначна в литературе — его отношение к А.Т.Твардовскому, А.И.Солженицыну и В.С.Гроссману общеизвестно, — а также в истории и других общественных науках. В политике роль Суслова была, по-моему, не столь однозначной. Во всяком случае, когда речь шла не о поиске новых путей, а о споре с теми, кто толкал страну к авантюристическому, правоэкстремистскому курсу. Здесь природная осторожность Суслова, боязнь осложнений не раз делали его влияние конструктивным. Да и в идеологии, когда активизировались правые экстремисты, он иногда удерживал от крайностей. Хотя прогрессивных импульсов от этого человека, конечно, не исходило, а консервативное влияние он оказывал постоянно.

В общем, даже пожаловаться было почти некому. В критических случаях ученые и деятели культуры обращались к Андропову (у него все же сохранялась неплохая репутация) или напрямую к Брежневу. Бывало, что они помогали (пару раз, в частности, таким образом было предотвращено снятие Ю.П.Любимова, руководившего Театром на Таганке).

Эта общая ситуация в руководстве идеологической жизнью страны находила адекватное отражение во всей духовной сфере: в общественной науке, идеологии и культуре. Я хотел бы более подробно остановиться на общественных науках, что наиболее близко мне.

Среди них первой жертвой поворота вправо стала история. Прежде всего — новейшая история нашей страны, а конкретно — период, когда у власти стоял Сталин. В этой

области сталинистам, по существу, удалось реализовать тот замысел, который вначале планировался для всей политики, идеологии и культуры, — отбросить идеи XX и XXII съездов, вернуться к апологии Сталина и сталинизма. Конечно, в регулярно переиздававшихся и в семидесятые годы курсах истории КПСС под редакцией Б.Н.Пономарева сохранялось несколько лаконичных абзацев или фраз о XX съезде (без упоминания речи Хрущева да и самого имени Хрущева), о решении ЦК КПСС о культе личности и примыкавших к этому темах. Но вся концепция от этого не менялась. Впрочем, даже эти лапидарные замечания избежали ножниц бдительной цензуры, возможно, лишь потому, что главным редактором книги был все же секретарь ЦК КПСС.

Не говорю уж о том, что публиковавшиеся на протяжении рассматриваемого периода исторические исследования не продвинулись с конца шестидесятых годов ни на шаг вперед. Об этом не приходилось и мечтать. Была предпринята массированная попытка отбросить историческую науку, историческую мысль назад, сделать вид, будто XX съезда КПСС вообще не было. Именно для этого развернули кампанию проработки многих честных историков. С должности директора Института истории СССР АН СССР был снят П.В.Волобуев, занимавший в науке принципиальную позицию. Особенно злобным преследованиям подвергся историк А.М.Некрич, известный своими трудами по истории Второй мировой войны. Его в конце концов заставили эмигрировать (этот прием был эффективен — эмигрировавший человек практически становился как бы изменником, компрометировались не только лично он, но и его позиция, его труды, даже те, кто его поддерживал). Из партии был исключен Рой Медведев. Пострадали многие другие.

В науке, литературе, даже искусстве снова началась «оптовая» фальсификация истории. Особые усилия были предприняты для фальсификации истории Второй мировой войны и роли в ней Сталина. Думаю, потому, что апо-

логеты Сталина хорошо понимали: война эта остается в душе народа самой эмоционально заряженной страницей истории и потому правда, сказанная о ней на XX съезде, особенно эффективно разрушает миф о «великом вожде». И наоборот, приписав Сталину решающую роль в победе, было проще всего его реабилитировать, восстановить уважение к нему широких слоев народа.

Не могу не сказать, что в недостойных попытках вновь заняться фальсификацией истории войны сталинисты от идеологии (команды исходили от Суслова, активную роль играли Трапезников и его единомышленники) нашли усердных союзников в лице значительной группы наших военных руководителей. В том числе людей действительно заслуженных, известных, щедро одаренных славой, наградами и званиями.

Я не возьмусь вскрывать глубинные причины этого явления, тем более что прямого отношения к теме книги это не имеет. Замечу лишь, что мне оно казалось диким — уж кто, как не военные, особенно высшее руководство Вооруженных Сил, натерпелись в свое время от Сталина! От генерал-лейтенанта А.Н.Тодорского, с которым мне довелось в 1959—1961 годах поработать над социологическим исследованием о его родном Весьегонске[1], в декабре 1959 года впервые услышал не раз приводившуюся впоследствии трагическую статистику о высшем командном составе, подвергшемся по воле Сталина физическому уничтожению или аресту накануне войны[2].

К сожалению, из личных бесед я уяснил, что многих ге-

---

[1] См. Тодорский А., Арбатов Г. Большое в малом. Коммунист. 1960. № 4, 5.

[2] В вышедшем в начале шестидесятых годов шеститомном издании «История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 гг.» написано: «С мая 1937 по сентябрь 1938 года подверглись репрессиям около половины командиров полков, почти все командиры бригад и дивизий, все командиры корпусов и командующие войсками военных округов, члены военных советов и начальники политических управлений округов, большинство руководящих политработников корпусов, дивизий и бригад, около трети комиссаров полков, многие преподаватели

нералов, занимавших ответственные посты в Вооруженных Силах в шестидесятых—семидесятых годах, трагическая судьба их предшественников мало волновала. Почему? Мне кажется, что если говорить о честных, порядочных людях, которых, конечно, и среди тогдашних военачальников было большинство, то действовала прежде всего воинская дисциплина. Сразу после XX, XXII съездов они настроились на антисталинский лад (что видно и по некоторым мемуарам). Ну а потом последовала другая команда, и ее тоже надо было быстро выполнять. Но были среди генералов и другие. Те, в частности, кто как раз и сделал быструю карьеру потому, что Сталин физически устранил военачальников, превосходивших их не только по должности, званию, но и по опыту, знаниям, уму. После великого кровопускания, учиненного им, резко снизились требования к командному составу, за искусного полководца мог сойти даже заурядный «троечник», а то и «двоечник» (когда началась война, мы в этом на горьком опыте убедились).

Других, мне кажется, волновало то, что, если начнут по-настоящему разбираться с историей войны, разрушать нагроможденные мифы (их в избытке производит каждая война), это может всерьез задеть их боевую репутацию. Куда выгодней было следовать девизу «Победителей не судят!», сводить историю войны к воспеванию великого подвига: внешне, на словах — вроде бы народа и армии, на деле — прежде всего уцелевших, пребывавших к этому моменту в чести генералов. Некоторым из них, наверное, хотелось сохранять и умножать мифы и на них удоб-

---

высших и средних военных учебных заведений» (т. 6, с. 124). В вышедшем в семидесятых годах двенадцатитомном издании «История Второй мировой войны 1939—1945 гг.» старательно избегали даже самого слова «репрессия», заменяя его другим — «обвинения». Так, во втором томе написано, что в «1937—1938 гг. вследствие необоснованных обвинений из армии было уволено (sic! — *Г.А.*) значительное количество командиров и политработников» (т. 2, с. 206). А далее указывалось, что жалобы уволенных якобы были рассмотрены и ошибки в значительной степени исправлены.

но, как на мягких перинах, почивать, не опасаясь, что их действия, их решения в период войны начнут разбирать историки.

Были, наконец, и такие, я думаю, кому сталинизм импонировал как воплощение, высшее достижение того, что им представлялось армейским порядком, только распространенным на все общество. То есть именно воплощением административно-командной системы в свойственной ей милитаризации общества.

Но, какими бы ни были причины, литературные труды военачальников, их мемуары, вышедшие в свет с конца шестидесятых и до середины восьмидесятых годов (их много, из них можно составить целую библиотеку), выросли в большую проблему — историческую, политическую, даже нравственную. На титульном листе многих таких книг — славные имена, от таких людей не отмахнуться. Так же как и от их книг. А между тем в большинстве из них содержатся не только непростительные умолчания, но и грубейшие искажения истины, касавшиеся существа многих важных событий того периода.

По идее, мемуары — это документ. Пусть требующий критического отношения, перепроверки, сверки с другими документами того времени, тем более что есть и естественная в силу человеческих слабостей особенность жанра: никто не читал и никто, по-моему, пока не писал действительно самокритичных мемуаров. Но здесь перед нами целая серия книг, содержащих заведомые фальсификации, нередко сфабрикованные за номинальных авторов другими, книг, написанных подставными людьми.

Мне кажется, все же придется разобраться, как и кем это делалось. Не вызывает сомнений, что большую роль наряду с отделами пропаганды и науки ЦК (среди прочих наук последний курировал и историческую) здесь играли Главное политическое управление Советской Армии, Воениздат и другие издательства, а также Институт военной истории. Но нужно и, наверное, можно раскрыть технологию

этого массового, поставленного на поток производства фальшивок, полуправды и умолчаний.

Сказанное не означает, что среди макулатуры, изданной в те годы, нет отдельных честных, ценных по фактическому материалу, выводам, обобщениям и размышлениям трудов. А также волнующих человеческих документов. Имеется в виду другое — недостатки опубликованной в годы застоя псевдоистории войны, отчасти написанной, а в значительной мере приписанной известным военачальникам, участникам и очевидцам событий. Вот в ней надо серьезно разобраться[1].

Не могу не рассказать об одном эпизоде. В 1969 году в издательстве Агентства печати «Новости» вышли мемуары маршала Г.К.Жукова. Это была тогда настоящая сенсация — за книгой все гонялись, помню, с каким трудом, через руководство АПН, доставал десяток экземпляров для ведущих научных сотрудников института. И в дни ажиотажа вокруг книги совершенно случайно в фойе кинотеатра встретил тогдашнего директора издательства АПН В.Г.Комолова, который как раз был главным редактором мемуаров маршала Жукова. Я Комолова немножко знал, мы разговорились, и, естественно, в центре беседы оказались мемуары.

Мой собеседник — человек говорливый — пожаловался, что просто изнемог от работы, переписывая наиболее важные разделы книги. Жуков, мол, стар, не понимает политики; хорошо хоть в конце концов принял все поправки, сокращения и дополнения. Мемуары же надо было, сказал Комолов, привести в соответствие с линией. Я спросил: «А у тебя не дрогнула рука? Ведь это история, мемуары. Мемуары одного из важных действующих лиц величайшей драмы, которую пережила страна. А ты, пользуясь его бо-

---

[1] Не могу не сказать в этой связи о том, что в последние годы у нас начали появляться правдивые книги о войне, в том числе принадлежащие перу известных военных авторов. К ним относится, например, книга Д.А.Волкогонова «Триумф и трагедия: политический портрет И.В.Сталина».

лезнью, а может быть, и слабостями, просто берешь и пишешь, что хочется, от его имени». Собеседник, увы, просто не понял, о чем я говорю, принялся объяснять, что он все согласовал в ЦК, называя имена средней руки чино́вников из Отдела науки и сектора издательства Отдела пропаганды. Как стало известно сейчас из воспоминаний другого редактора мемуаров — А.Д.Миркиной (Огонек. 1988. № 17), среди выброшенных из текста оказалась и глава о репрессиях 1937 года в отношении высшего комсостава Красной Армии.

Если так обходились с мемуарами Жукова, то что уж говорить о других, менее именитых и менее строптивых людях. Впрочем, дело было отнюдь не только в самих авторах и не в меру усердных редакторах. К сожалению, немалое число военачальников пели хвалу Сталину с превеликим удовольствием, от всей души, легко и охотно фальсифицировали историю.

Особого упоминания среди них заслуживает С.М.Штеменко. У него, правда, действительно были основания воспевать Сталина — он был одним из его любимчиков в годы войны, благодаря чему быстро вырос (по свидетельству К.М.Симонова, он, ко всему прочему, пользовался еще и репутацией человека, близкого к Берии). Мемуары Штеменко, опубликованные в 1981 году, как бы задали тон.

В этих мемуарах Сталин предстает как человек, наделенный «высокими качествами военного деятеля», как полководец, который «вложил неоценимый вклад в дело победы советского народа в Великой Отечественной войне», автор замыслов чуть не всех выдающихся сражений и операций. И в то же время обходятся молчанием все беды, которые свалились на народ, на советские Вооруженные Силы по вине Сталина. Даже против культа личности Сталин, оказывается, боролся, вот только недостаточно решительно.

В апологетическом в отношении Сталина духе были выдержаны и мемуары А.И.Еременко, П.А.Ротмистрова, И.С.Конева, А.Е.Голованова, И.Х.Баграмяна, А.М.Васи-

левского, авиаконструктора А.С.Яковлева и многих других (повторяю, ко многим из названных людей я питаю глубокое почтение, полагаю, что их именами в ряде случаев просто злоупотребили). Искажения истории в этих работах не сводились только к возвеличиванию роли Сталина, попыткам доказать его «гениальные способности» и в военной области. Пожалуй, более существенным было другое — нежелание или отказ от попыток разобраться в причинах наших неудач, определить, во что же нам из-за них обошлась Победа.

Не хочу, чтобы подумали, будто я призываю игнорировать все вышедшие с конца шестидесятых годов военные мемуары. Они различны; даже в книгах, возвеличивающих Сталина, наверное, есть достоверные факты и наблюдения. Но с учетом того места, которое Отечественная война заняла в нашей истории, думаю, все-таки какую-то ясность в это мемуарное «хозяйство» надо внести. Возможно, стоило бы поручить авторитетным, знающим людям (сейчас этим мог бы заняться Институт военной истории) разобраться в мемуарах и дать им объективную оценку, а также изучить механизм всей этой акции по фасильфикации истории. Думаю, что это нельзя откладывать на далекое будущее, надо делать по свежим следам.

КОРОТКАЯ ЖИЗНЬ РАЗРЯДКИ

В сфере внешней политики с конца шестидесятых и до середины семидесятых годов нам удалось добиться значительных успехов. А потом — с середины семидесятых и до начала перестройки — эти успехи растерять, потерпеть ряд жестоких неудач.

И то, и другое имело свои причины не только в международных отношениях, но и во внутренних делах, в том числе в позициях и взглядах руководства. Вместе с тем как эти успехи, так и неудачи поучительны, уроки их не должны быть забыты. Потому я решил посвятить этим проблемам отдельную главу.

При этом хотелось бы уйти от истории самой нашей внешней политики этих лет, описания происходивших событий. Главным мне представляется другое — глубинные мотивы, внутренние пружины нашей политики, ее движущие силы и ее ограничители. В какой-то мере мне придется под этим углом зрения затронуть и политику США.

В принципе поворот во внешней политике осуществить, наверное, легче, чем в экономике и политике внутренней. Уже потому хотя бы, что в выработке и даже осуществлении внешней политики участвует меньше людей и руководителю страны легче «повернуть» их на другой курс. Но у нас внешняя политика с первых дней после Октябрьской революции оказалась столь тесно связанной со всем мировоззрением, идеологией, даже отношением к внутренним делам, что выработка внешнеполитического курса всегда оставалась важной составной частью формулирования общей политической платформы.

Так было в послереволюционный период, когда в руко-

водстве страны, в партии боролись разные точки зрения на исходные посылки политики. Сторонники одной из них видели в российской революции первый акт мировой революции, считали правомерной революционную войну и готовность пожертвовать ради торжества социализма и коммунизма во всем мире даже собственными революционными завоеваниями. А сторонники другой ставили главной целью преобразования в собственной стране, предлагали капитализму мирное соревнование, видели преобладающую форму выполнения своего интернационального долга в силе примера социализма.

Это были два полюса политического мышления того времени. Но, наверное, не было советского деятеля, в сознании которого одна точка зрения не соседствовала бы каким-то образом с другой. И по мере накопления исторического опыта не отвергалась первая. Так шаг за шагом, трудным путем, спотыкаясь, делая ошибки, мы продвигались ко второй. Ибо в реальной жизни обе позиции росли из тех же корней, почти никогда не существовали в чистом виде, взаимно переплетались.

В силу сложного международного положения, в котором со дня своего рождения оказалась и почти все время пребывала Советская власть, а также по соображениям политической тактики этот вопрос никогда не подвергался у нас достаточно откровенному и всестороннему рассмотрению. Сегодня, по-моему, для этого есть не только необходимость, но и возможность. Хотел бы высказать в связи с этим некоторые соображения, отнюдь не претендуя, что решу задачу во всей ее полноте.

Прежде всего не был таким прямым и простым, как часто изображалось в популярных изданиях и статьях, путь марксистской мысли от убежденности, что революция победит одновременно (или почти одновременно) во всех развитых капиталистических странах, к идее о возможности победы революции, а затем построения социализма в одной стране. Ленин первоначально (23 августа 1915 года в статье «О лозунге Соединенных Штатов Европы») вы-

сказал лишь предположение, что в условиях империализма становится возможной победа социалистической революции в одной стране.

В первые годы после Октября события как будто бы не подтверждали этого предположения: не говоря уж о революциях и установлении власти Советов в Финляндии и Прибалтике, ранее входивших в состав Российской империи, Советская власть была на какое-то время установлена в Венгрии, крупные революционные выступления произошли в Германии, подъем революционного движения охватил ряд других стран — как к западу, так и к востоку от наших границ. Ширилось движение солидарности с Советской республикой. Интернациональный характер — так тогда это выглядело — приняла не только революция, но и контрреволюция. Разве не доказывали этого интервенция Антанты против Советской России, подавление германскими войсками революций в Финляндии и ряде других стран, их участие, так же как участие Англии, Франции и Японии, в удушении Советской власти на Украине, в Закавказье и на Дальнем Востоке, наконец, поддержка капиталистическим Западом белых войск, сил контрреволюции во время Гражданской войны? Все это, вполне возможно, поддерживало идущую от традиционного марксизма убежденность в том, что пролетарская революция будет мировой («Пролетарии всех стран, соединяйтесь!») и революция в России — это ее органическая первая часть. Первая часть если и не мировой, то хотя бы общеевропейской революции.

В этом случае споры Ленина с «левыми» коммунистами, сторонниками Троцкого, даже просто коллегами по руководству сразу после революции, в период переговоров о Брестском мире, как и после них, споры, о которых у нас так много писалось и в исторической, и в художественной литературе, скорее касались оценки конкретных ситуаций. Здесь Ленин, в отличие от многих других тогдашних лидеров, проявил себя как реалист, всегда или почти всегда более точно оценивавший ситуацию и, в частности, не пре-

увеличивавший приближения революции в других странах. Ему была чужда точка зрения тех, часто очень честных революционеров, которые в определенные моменты, охваченные пылким энтузиазмом, предпочитали переговорам и соглашению с классовым врагом героическую гибель революции, так как она, мол, зажжет революционный огонь в других странах.

Но в то, что началась если не мировая, то, во всяком случае, европейская революция, мне кажется, долгое время верил и сам Ленин. Может быть, с этим, так же как с доминировавшей над всеми другими интересами необходимостью победить в Гражданской войне, связан тот факт, что в первые годы после революции не очень много внимания уделялось путям построения социализма, задачам переходного периода, в частности, экономическим. Кроме, разумеется, самых насущных, самых неотложных. Ленин не раз говорил, что нам легче было начать революцию, но другим странам будет легче ее продолжать. Возможно, он и имел в виду, что более развитым странам, странам более зрелого капитализма, когда там свершится революция, будет принадлежать роль первопроходцев, пионеров в выработке путей перехода от капитализма к социализму, предполагая, что революция в других странах, на худой конец, хотя бы в одной из них — в Германии, произойдет скоро и тогда удастся выработать обоснованные планы экономических, социальных, а также и политических преобразований. Судя по общему тону высказываний Ленина и ряда его соратников, такие надежды просуществовали довольно долго — вплоть до 1921—1922 годов.

Достаточно яркое тому свидетельство — настроения руководства партии, армии, революционных масс в период войны с Польшей, последнего большого сражения Гражданской войны. Когда страна была вдохновлена первыми победами, очень многие в партии, включая часть ее лидеров, видимо, действительно верили, что стоит нашим красноармейцам появиться в других странах, как их пролетариат и его союзники поднимутся и совершат победоносную

социалистическую революцию. Получилось иначе. До Германии войска Тухачевского не дошли. А их появление в Польше сплотило поляков самой разной классовой принадлежности, и они нанесли Красной Армии жестокое поражение. В результате граница прошла не по «линии Керзона», а много восточнее. Нам пришлось отдать Польше часть украинских и белорусских земель. Наша же партия получила предметный урок и на ту тему, что социализм не приносят в другие страны на штыках, а также что национальное сплочение против внешней угрозы может оказаться сильнее классовой солидарности[1].

Так что иллюзии, что коммунизм можно ввести декретом и вооруженной силой, что на путях «военного коммунизма» можно достичь «земли обетованной» — нового общества всеобщего достатка, изобилия и всеобщей справедливости, рассеялись, были похоронены грозным ходом событий практически одновременно с иллюзией, что скоро, очень скоро в деле революции и построения коммунизма к нам примкнет все человечество, или Европа, или хотя бы Германия.

Вот тогда, после исчезновения таких иллюзий, вопрос о возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране встал со всей остротой уже в сугубо практической плоскости как во внутренних, так и в своих внешнеполитических измерениях. Ответ на указанный вопрос В.И.Ленин, его единомышленники дали новой экономической политикой и курсом на «мирное сожительство» и развитие торговли с капиталистическими странами. То и другое поначалу объяснялоєь и, наверное,

---

[1] Здесь я должен повиниться. Комментируя как-то на страницах журнала «Огонек» (1988, № 11) статью известного американского ученого и общественного деятеля Карла Сагана (к сожалению, не так давно умершего), я отделался остротой, отмахнулся от его доводов насчет того, что польский поход Тухачевского был попыткой экспорта революции. Отчасти сработал привычный защитный рефлекс, а отчасти то, что мы, в том числе и я, в течение долгих лет приучались и в конце концов привыкли отодвигать от себя «неудобные» факты. Я, например, внимательно изучил эти страницы нашей истории лишь совсем недавно.

понималось как временное отступление, как временная передышка.

Хотя, судя по самым последним работам Ленина, он уже начал понимать, что новое, названное «временным» состояние наступило всерьез и надолго и им надо соответственно — как очень долговременным — заниматься. К сожалению, Ленину самому судьба отмерила для этого крайне короткий срок.

А потом, когда наступил длительный период руководства Сталина, преследовавшего свои цели, имевшего свои представления о социализме и о международных отношениях, эти былые, как оказалось, отнюдь не до конца преодоленные ни руководством, ни массой коммунистов «революционаристские», «левые» убеждения и настроения постоянно давали о себе знать. И, как представляется, были умело использованы Сталиным, немало ему помогли — как в борьбе за власть, так и в утверждении его политики.

О чем идет речь?

Во-первых, о характерных для таких настроений ожиданиях, что вот-вот наконец «оно» свершится — революция вспыхнет в других странах, станет мировой. И тогда наступит счастливый миг полного избавления и благополучия. Такие ожидания, естественно, отвлекали от внутренних дел, повседневных, будничных, от неудач, непорядков и бед.

Во-вторых, о складывавшейся обстановке как бы «чрезвычайного положения»; что касается повседневных дел, из которых и состоит жизнь, было «не до этого», и прежде всего не до людей с их нескончаемыми заботами и проблемами, — ведь где-то там, в ожесточенной борьбе с врагами, решается несравненно более важная, поистине глобальная, вселенская проблема мирового коммунизма, осчастливливания всего людского рода. Синдром «чрезвычайного положения» утверждался тем легче, что врагов у молодой Советской республики действительно хватало. И легко было не заметить или не придать значения тому, что она неловкой политикой, залихватской пропагандой

еще и сама помогала умножать число этих врагов и усиливать их непримиримость, изо дня в день напоминая о своей недавней одержимости идеей мировой революции, о том, что время, когда Красная Армия шла на запад с лозунгами «Даешь Варшаву!», «Даешь Берлин!», может еще вернуться. Об этом же напоминал и непрерывно работавший в Москве Коминтерн, наводя на мысль, что если не войной, то своим содействием обострению внутренних конфликтов в других странах большевики все же хотят добиться власти во всем мире. Не говоря уж о том, что, оставаясь в плену надежд на скорую мировую революцию, мы утверждались в своем сектантстве, а сектантская политика нашей партии и Коминтерна углубляла раскол рабочего движения, объективно помогала победе правых сил, а со временем — и фашизма. Но для утверждения личной диктатуры, для расправы с политическими соперниками и вообще неугодными, для установления тоталитарного режима ничто не могло быть столь полезным, как политическая и психологическая обстановка «чрезвычайного положения». Тем более что в ней нормальные проблемы и задачи экономического строительства и социальных преобразований в собственной стране оттеснялись на второй план делами, так или иначе связанными с мировой революцией.

В-третьих, о том, что НЭП поначалу все-таки определялся как «временное отступление» (от чего отступление? И что в таком случае наступление — уже провалившийся «военный коммунизм»?) и это облегчало Сталину задачу быстро свернуть эту политику и начать создание административно-командной системы. Ее стали отождествлять (и до сих пор многие отождествляют) с самой сутью социализма, хотя она куда ближе к военно-феодальной и феодально-бюрократической системам хозяйствования. Да и сама утверждавшаяся в сталинские времена модель социализма оказалась моделью для «чрезвычайного положения», неплохо работавшей в условиях подготовки к войне, войны и послевоенного восстановления, но начинавшей безнадежно буксовать в сколь-нибудь нормальных условиях.

В-четвертых, о том, что настроения, о которых говорилось выше, предполагали черно-белое видение мира, его разделение на себя и своих, с одной стороны, и непримиримых врагов и их союзников — с другой. Такой взгляд на мир держался в сознании очень цепко. Уже после войны из него родилась концепция о расколе мира на две противоположные социально-экономические системы и непримиримой борьбе между ними как главной оси развития международной жизни. Этой концепции суждена была долгая жизнь — вплоть до начала восьмидесяитых годов. Черно-белое видение мира, жизни тоже оказалось очень полезным стереотипом для установления и поддержания личной диктатуры, насаждения репрессивных порядков.

И, в-пятых, о том, что рождаемый надеждами на скорую победу добра во всем мире, опиравшийся на революционно-мессианскую убежденность «левацко-утопический» тип мышления, притом предполагавший поклонение самым высоким, самым благородным и человечным идеалам (сравнимым разве что с идеалами Великой французской революции), обязательно гипертрофирует роль насилия, вооруженной силы как во внутренних, так и во внешних делах. Тем более в условиях, когда существовала убежденность в неизбежности войны. Опять же — большая польза для деспота, для диктатора.

Нельзя, конечно, не понимать, что все эти представления и мироощущения изначально помимо определенных теоретических положений, перешедших из прошлого, либо не оправдавшихся впоследствии оценок происходивших событий имели и другие корни — властные эмоциональные потребности людей, переживших невиданную ломку общественных устоев, связанные с ней лишения и жертвы; нельзя не видеть большой, выходящий за рамки их личных, а подчас и их национальных судеб смысл. Революции поэтому очень часто связаны с мессианством — так было не только с нашей, но и с Великой французской революцией, и даже с американской революцией, утвердившей у многих американцев представления о США как

об обретенном царстве божьем, «сияющем граде на холме», а потом и теорию «явного предначертания», — все это в каком-то виде до сих пор живет в сознании многих американцев, а подчас и в политике США.

Но при этом мессианство, рожденное Октябрем, не было националистическим, поднимавшим одну нацию над другими. Нет, оно было сугубо интернационалистским, проникнутым готовностью отдать, принести в жертву все, чтобы только открыть путь к свободе и счастью изнемогающему под игом капитала человечеству.

Эти мессианские настроения, вера в высокий смысл происходящего, рождавшаяся отсюда готовность к самопожертвованию, несомненно, помогали выносить неимоверные лишения, пережить самые тяжкие испытания. Мало того, они способствовали завоеванию Советским Союзом высокого авторитета у левых сил, левой интеллигенции Запада, хотя, к сожалению, присущее нам тогда сектантство не позволило этому в должной мере реализоваться. И в то же время усиливало враждебность правящих кругов и недоверие обывателя западных стран. Здесь плюсы и минусы, так сказать, уравновешивались. Но был еще один большой, поистине роковой минус, который компенсировать нельзя было ничем: такие настроения облегчали Сталину манипуляцию советскими людьми, делали их беззащитной, легкой добычей коварного, безжалостного и своекорыстного лидера. Даже интернационализм, как оказалось, можно было поставить на службу национализму, великодержавным устремлениям. Очень наглядное проявление — ставшее привычным понятие «воины-интернационалисты» в применении к нашим солдатам и офицерам, честно, нередко доблестно служившим в Афганистане, но только в войне бессмысленной, заслужившей всеобщее осуждение и отнюдь не бывшей проявлением интернационализма.

Во внешней политике Сталина эта великодержавность получила достаточно яркое воплощение, начиная как минимум с протоколов к советско-германскому договору от

23 августа 1939 года. До каких глубин падения он при этом был готов дойти, свидетельствует дальнейшее развитие отношениий Сталина с Гитлером. Во время визита Молотова в Германию Советскому Союзу предложили присоединиться к «антикоминтерновскому пакту», правда, спешно переименованному его участниками (Германия, Италия, Япония) в «пакт трех». И вскоре в Берлин было направлено согласие — при условии, что Гитлер не будет возражать против нашей экспансии на юг, к Черноморским проливам и к теплому Аравийскому морю и Персидскому заливу. Вот во что выродилось наивное, по своей природе бескорыстное мессианство, рожденное романтическим периодом революции.

Великодержавные настроения и амбиции пережили Сталина, я имею в виду прежде всего настроения, политическое мышление руководства. Но в какой-то мере они проникли сверху вниз, отравили сознание части общественности. На преемниках Сталина тяжелыми гирями висели эти пережитки прошлого в их собственном сознании и в мышлении части советских людей, мешая вырваться из конструкций сложившейся после войны (разумеется, не без нашего участия) системы международных отношений, не позволяя эффективно бороться с «холодной войной», гонкой вооружений и политикой силовых конфронтаций, даже когда для этого начали возникать благоприятные условия.

Перестройку международных отношений надо было начинать с перестройки мышления, прежде всего своего собственного.

Н.С.Хрущев, скорее всего, так и не смог увидеть эту задачу во всей ее глубине и подлинных масштабах, но быстро понял, что надо отказаться хотя бы от нескольких догм, мешавших политике. Во-первых, от догмы о неизбежности войны. Во-вторых, от утверждения, что социалистическая революция обязательно должна быть насильственной. И, в-третьих, надо было еще и еще раз отмежеваться от теории «экспорта революции», от самой идеи «революцион-

ной войны» (я не упоминаю здесь догм, относившихся к внутренней политике).

Все это было сделано на XX съезде и после него, в том числе в ходе полемики с Мао Цзэдуном. Я в данном случае отвлекаюсь от «качества» проделанной работы — делали, как тогда умели. Но независимо от того, выстраивалось ли все в стройную, основанную на марксизме-ленинизме концепцию или нет, советские люди получали какой-то однозначный, более или менее внятный ответ на жгучие вопросы политики. А поскольку самым приоритетным устремлением народа, столь тяжко пострадавшего в прошлую войну, естественно, был мир, он склонен был воспринять этот ответ позитивно. Западу же дали ясно понять: новое руководство приняло и новую политическую платформу, воспользовавшись правом не брать на себя ответственность за взгляды своих предшественников.

Но бес «левизны» оказался очень живучим, ловким и изобретательным. Его гнали в дверь, а он возвращался через окно, через форточку, даже через печную трубу или, того хуже, — сквозь замочную скважину. За свою долготрудную историю мы (я говорю в первую очередь о своем поколении) стали в своем большинстве людьми, которым безумно трудно было отказаться от старых догм и представлений, даже когда они уже не отвечали реальности. Выявилось, в частности, что очень многие, включая и самих руководителей, сделав несколько смелых шагов вперед в политике и теории, заболели болезнью, которую я бы назвал синдромом «революционной неполноценности».

Она выразилась в том, что почти сразу же мы начали поиски возможностей как-то «компенсировать» в своем революционном «богословии» (по возможности, конечно, без больших издержек) те шаги навстречу реальности, которые были сделаны в теории и политике. Я имею, в частности, в виду отказ от идей неизбежности войны и вооруженного, насильственного пути революции как единственно возможного, упор на мирное сосуществование государств с различным общественным строем, первые реальные по-

пытки добиться сокращения вооружений и т.д. Пытаясь оправдать в собственных глазах эти свои шаги, мы произвели на свет ряд теоретических и политических идей и концепций, которые, как надеялись, позволят нам, с одной стороны, встать на реалистический путь в политике, а с другой — все же сохранить идеологическую девственность, доказать марксистскую и революционную правоверность.

На деле, как потом выяснилось, эти уступки старым догмам, политические и идеологические оговорки, идущие не столько от приверженности марксизму, сколько от малограмотности, теоретического и политического примитивизма, могли сделать лишь одно — обременить мертвым грузом нашего сталинского прошлого все попытки выработать новую политику.

Начали, например, доказывать, что, хотя нет фатальной неизбежности войны, угроза ее сохраняется, пока существует империализм, а если он войну все же развяжет, то она окончится его полным поражением и соответственно всеобщим торжеством социализма. Не понимая, видимо, как это подрывает эффективность смелых новых шагов в политике, подрывает доверие к нам мировой общественности.

Или на долгое время сделали чуть ли не главной темой пропаганды бесконечное повторение того, что мирное сосуществование не означает отмены идеологической борьбы на мировой арене. Должен признаться, мне трудно было понять, почему мы так на этом настаивали, себя в этом столь усердно уговаривали. Запад свою внешнеполитическую пропаганду и не думал прекращать и вел ее более эффективно, чем мы. Скорее всего, здесь дело было именно в том, чтобы проявить хотя бы на словах свою непримиримость к капитализму, ну а заодно косвенно обосновать сохранение ситуации борьбы с действительными и воображаемыми идейными противниками на внутреннем идеологическом фронте.

И особый упор делался на то, что, выступая за мирное

сосуществование, мы ни в коем случае не отказываемся от всемерной поддержки освободительной (и прежде всего национально-освободительной) борьбы во всех ее формах, включая насильственные. Это постоянно подчеркивалось в важных политических документах тех лет, включая, например, уже упоминавшееся «Открытое письмо ЦК КПСС» по вопросам разногласий с китайским руководством. Там приводилось, в частности, следующее высказывание Н.С.Хрущева: «Освободительные войны будут, пока существует империализм, пока существует колониализм. Это революционные войны. Такие войны не только допустимы, но и неизбежны, так как колонизаторы добровольно не предоставляют народам независимости. Поэтому народы только борьбой, в том числе вооруженной борьбой, могут завоевать свою свободу и независимость». И далее в «Открытом письме» говорилось: «Советский Союз оказывает самую широкую поддержку национально-освободительному движению. Все знают о той реальной помощи, которую оказала наша страна народам Вьетнама, Египта, Ирака, Алжира, Йемена, кубинскому народу и другим народам» (действительно, список этот можно было бы продолжить, включив в него Индонезию, а потом Анголу и Сомали, Эфиопию, Ливию, Афганистан и другие страны).

Конечно, мы — и как социалистическая держава, и просто как член мирового сообщества — не могли и не можем изолироваться от того, что происходит в мире, равнодушно взирать на бесчинства, грубое попрание независимости и прав других народов, других стран. Ясно и другое: когда утверждалась эта точка зрения, в полном разгаре был распад колониальных империй и то и дело вспыхивали действительно национально-освободительные войны, войны за независимость, против колонизаторов, по характеру своему схожие, кстати сказать, с той войной за независимость, из которой в конце XVIII века родились Соединенные Штаты Америки (и восставшим колонистам тогда, напомним, помогала наряду с Францией и Россия). Естественно,

что к такого рода войнам проявляется особое отношение, притом не только с нашей стороны.

Но в тогдашней постановке вопроса о помощи освободительным движениям был, уверен, и еще один элемент — элемент «компенсации» за некоторые догмы, от которых мы отошли, но отошли, не будучи на все сто процентов уверены, что не пошли тем самым на известное вероотступничество. А это как раз и рождало комплекс «революционной неполноценности», о котором я упоминал выше (тем более что на эту больную мозоль постоянно наступали китайцы, разнося нас в пух и прах за «предательство» революционного и освободительного движения).

Даже само словопользование говорит о связи этого нашего тогдашнего тезиса с ранней «марксистской» (ставлю в кавычки потому, что на деле речь шла о другом, о том, что было коминтерновско-сталинистской) «теологией». Уберите слово «освободительные» — и вы получите классические догматы веры периода, предшествовавшего хрущевскому, насчет того, что «войны будут, пока существует империализм», что они «не только допустимы, но и неизбежны».

Говоря о «компенсации», об ощущении необходимости дать какое-то возмещение, чтобы не только оправдаться перед «верующими» в старые догмы в своей и других странах, но и успокоить собственную совесть в связи с комплексом «революционной неполноценности», я вовсе не имею в виду, что произносившиеся тогда слова и сопутствующие им дела были одной лишь маскировкой, словесным прикрытием других намерений, что в них не верило само наше руководство. Нет, скорее всего, верило, верило, хоть частично, тем более что для этого были упоминавшиеся объективные причины, в частности, происходивший в драматических формах распад колониальных империй. А кроме того, и идеи, и слова тогдашнего руководства отнюдь не были свободны от «пережитков прошлого» в сознании — прежде всего от сталинизма — и находились в лучшем случае где-то на полпути к постижению новых реальностей.

Но, как бы то ни было, такие «пережитки» препятствовали выработке последовательного нового политического курса, вносили в него сбои, противоречия и, что немаловажно, помогали нашим противникам сеять сомнения в намерениях Советского Союза. Тем более что эти пережитки в мышлении, к сожалению, не так уж редко подкреплялись тогдашней политической практикой. Помощь, правда, как вскоре выяснилось, оказывалась не всякой освободительной борьбе, а той, которая нам больше импонировала — в политическом, либо социальном, либо даже стратегическом плане. И особенно сложной стала ситуация тогда и там, когда и где распад колониальных империй завершился и речь шла не о национально-освободительной борьбе в чистом виде, а о поддержке одной из сторон в межгосударственных или внутренних конфликтах, которыми изобиловали регионы, откуда ушли колонизаторы. Ибо после себя они оставили нагромождение проблем, связанных с последствиями колониализма, войны и политического произвола, трайбализмом, неурегулированными территориальными и политическими проблемами, внутриполитическими, религиозными и иными конфликтами.

При этом нередко альтруистические соображения, рожденные сочувствием к народам, борющимся за свободу, или их прогрессивным силам, приходили в столкновение с заботами о собственной безопасности, о державных интересах, о сохранении или укреплении каких-то позиций, которые могли приобрести важное стратегическое значение в случае большого конфликта — между НАТО и ОВД, между США и Советским Союзом. И что было, пожалуй, самым опасным: начав с помощи освободительным движениям, мы то тут, то там позволяли американцам вовлечь себя в соперничество в «третьем мире» и за «третий мир». И тем самым помогали интернационализации неизбежных там «локальных», региональных кризисов, превращению их в часть «холодной войны», «большого» конфликта между Западом и Востоком. Все это, естественно, не шло на пользу ни международным отношениям, ни Советскому

Союзу. И, конечно же, не отвечало подлинным интересам стран «третьего мира». Во всем этом нам особенно наглядно пришлось убедиться уже позже — во второй половине семидесятых — начале восьмидесятых годов.

За уступки старым догмам, за половинчатость в таких делах пришлось заплатить известную цену уже при Хрущеве. Но его компромиссы не удовлетворили догматиков, сталинистов, беса «левизны», сидевшего во многих наших людях, включая и руководителей. Поэтому после октябрьского Пленума, как уже отмечалось, развернулась атака и против принятых XX съездом внешнеполитических установок. В частности, против сложившихся тогда концепций мирного сосуществования, возможности избежать войны, наладить мирное взаимовыгодное сотрудничество между социалистическими и капиталистическими государствами. Все это попытались объявить отходом от классовых позиций и марксизма-ленинизма, ревизионизмом, уступками пацифизму и прочими для уха помнящего историю своей партии и страны коммуниста очень неприятными вещами.

Правда, кавалерийская атака не удалась. Но эти нападки заставили работников внешней политики, в том числе весьма высокопоставленных, перейти на какое-то время от наступления к обороне. Ну а кроме того, у этих лиц заметно усилился комплекс «революционной неполноценности», за что позднее пришлось дорого платить. В такой ситуации очень важна была личная позиция Генерального секретаря ЦК КПСС.

Л.И.Брежнев был очень слаб в теории вообще, а тем более в теории внешней политики, международных отношений. Но он, особенно в первый период своего руководства страной, очень хорошо, по-житейски понимал, что для народа самый высший приоритет — это сохранение мира. Да и сам он, «понюхав пороха», искренно считал своим долгом, главной задачей обеспечение мира И ясно видел, что заметное продвижение на пути к этой цели — надежный способ обеспечить популярность своей политике и себе

персонально. И я убежден, что был в этом искренним как человек, участвовавший в войне.

В общем, довольно скоро — уже в 1967—1968 годах — его позиция в основном сформировалась — он хотел добиваться улучшения международной обстановки. Предполагалось, насколько я мог судить, что выявление возможностей для этого начнется с контактов на высшем уровне с США. На осень 1968 года был намечен визит президента Л.Джонсона в СССР. Но события в Чехословакии заставили американцев его отменить. В целом негативное воздействие событий в Чехословакии на наши внешнеполитические дела было гораздо менее сильным, чем на внутренние, — возможно, одна из причин состояла в том, что в разгаре была американская война во Вьетнаме. А это не только деформировало в глазах общественности на Западе роль нравственных критериев в политике, но и не позволяло американскому президенту занять позу моралиста, как это бывало в других случаях.

Но контакты с США все же продолжались, хотя встречу в верхах отложили. А параллельно готовился большой прорыв в наших отношениях с ФРГ. Главным инициатором была германская сторона — архитекторы «новой восточной политики» канцлер Вилли Брандт и его советник Эгон Бар (я считаю его одним из самых выдающихся политических умов нашего времени). С советской стороны инициатива была быстро поддержана и развита. Большую роль в этом сыграли Ю.В.Андропов, тогдашний наш посол в Бонне В.М.Фалин (он работал напрямую с руководством страны, подчас минуя МИД), помощник Брежнева М.А.Александров. А.А.Громыко поначалу не был активным сторонником этой идеи, мне кажется, потому, что считал более приоритетным направлением нашей политики американское, ну а кроме того, привык видеть в ФРГ «мальчика для битья», где он мог бы показать свои истинно «классовые», «антиимпериалистические» убеждения, «уравновешивая» тем самым позитивные шаги в

отношениях с США[1]. Но потом включился и МИД. Так называемые Московские договоры были подписаны 3 сентября 1971 года. Одновременно был решен и сложный вопрос о Западном Берлине, по которому тоже было подписано соглашение четырех держав (СССР, США, Франции и Великобритании).

Были активизированы и другие направления политики — с Францией, Канадой, рядом других стран. В 1969 году, несколько позже, чем первоначально планировалось, стартовали советско-американские переговоры об ограничении стратегических вооружений.

Казалось бы, дела пошли, открылись серьезные возможности — надо спешить их развить. Но набраться смелости, гибкости, широты мысли, чтобы по-новому понять ситуацию и концептуально сформулировать адекватную ей политику, оставалось делом крайне трудным. Сужу по многим разговорам на эту тему с Л.И.Брежневым, А.А.Громыко и Ю.В.Андроповым, который, правда, во многих вопросах (Германия была, скорее, исключением) «упирался», проявлял большую осторожность. Сегодня мне кажется, что он это делал, скорее, из тактических соображений, остерегаясь дополнительных конфронтаций с коллегами по Политбюро.

Я вижу здесь как минимум две причины этих трудностей.

Одна — в основном идеологическая, отчасти выражавшаяся в искренней неуверенности Брежнева и ряда других членов Политбюро, будет ли новая политика соответствовать высоким принципам, марксизму в общепринятых для тех времен и этих людей формах. Отчасти действовал и страх, что недостаточно «классово выдержанная» позиция сплотит какие-то силы в партии или создаст для них удоб-

---

[1] Дело доходило, видимо, до довольно острых схваток Л.И.Брежнева и Ю.В.Андропова с А.А.Громыко. Помню, во время первого визита Э.Бара в СССР мне передали даже просьбу Брежнева — занять западногерманского гостя, чтобы высвободить день, необходимый, как выразился Андропов, для того, чтобы «утрамбовать» Громыко. Тогда я и познакомился с Баром, с которым меня связывают многолетние дружеские отношения, особенно закрепившиеся в период совместной работы в «Комиссии Пальме».

ный предлог для выступления против руководства (в памяти еще были свежи октябрьский Пленум 1964 года и развернувшиеся после него дискуссии).

И другая — это наша слабая готовность (а в каких-то вопросах — просто полное отсутствие таковой) к серьезному разговору, а затем и серьезным делам в области ограничения и сокращения вооружений. Ибо к тому времени в международных отношениях без этого уже был невозможен настоящий прорыв.

Собственно, удивительного в том, что мы к этим разговорам и делам были слабо подготовлены, ничего не было. Перед Министерством обороны и оборонной промышленностью никто раньше не ставил таких задач, их заботой было догонять американцев в вооружениях, а не обдумывать возможные варианты их ограничения. К тому же работники Министерства обороны и военно-промышленного комплекса (точно так же, честно говоря, как большинство работников Министерства иностранных дел и специалистов из числа научных работников) были интеллектуально не подготовлены к диалогу с американцами и к серьезным, выходящим за рамки общих политических деклараций переговорам. Не подготовлены настолько, что вначале не могли даже как следует усвоить американские концепции и терминологию, относящиеся к стратегическим и разоруженческим вопросам. Это я хорошо помню по своим беседам с членами нашей делегации перед началом переговоров по ограничению стратегических вооружений. Не говоря уж об отсутствии готовности и способности овладеть инициативой, внести свои обоснованные, могущие привлечь интерес другой стороны, а также мировой общественности предложения. А тем более выдвинуть новые идеи.

Да и откуда этому было взяться? Военное и военно-промышленные ведомства были государством в государстве. Все здесь было (в значительной мере и остается) окруженным глубокой тайной. Сфера этих ведомств была совершенно неприкасаема — Л.И.Брежнев, видимо, немалым

был обязан поддержке военных, а кроме того, сам себе больше всего нравился как генерал, «герой войны». Оказывало влияние и то, что в течение ряда лет он был главным партийным куратором оборонной промышленности и привык генералам и генеральным конструкторам практически ни в чем не отказывать. Мало того — всячески их ублажал.

Нужны были какие-то особые обстоятельства, чтобы эти преграды преодолеть. И набраться духу не для того, чтобы потихоньку, не выходя за рамки привычного в традиционной дипломатии, несколько улучшить отношения с той или другой страной, а замахнуться на сами основы «холодной войны», попытаться заменить ее другой, менее опасной международной системой.

Для таких перемен причины появились уже давно — неприемлемость угрозы ядерной войны, а также тяжесть бремени военных расходов. Это в полной мере ощущал уже Н.С.Хрущев, а с американской стороны — Д.Эйзенхауэр и затем Дж.Кеннеди, сделавшие несколько первых, пусть очень скромных шагов в этом направлении.

Но появились и более конкретные причины для перемен. Одной из них стали улучшившиеся отношения с ФРГ, а конкретнее — уже подписанные, но еще не ратифицированные договоры. Это был большой успех нашей политики, но он висел буквально на волоске из-за ожесточенной борьбы вокруг ратификации, разгоревшейся в Бонне. Советское руководство не могло не понимать, что исход этой борьбы во многом зависит от позиции США, а позиция США — от состояния советско-американских отношений, во многом определявшихся перспективами переговоров по ограничению вооружений.

Вторым важным «особым» обстоятельством был «китайский фактор». Отношения наши с КНР в конце шестидесятых — начале семидесятых годов обострились. Причем речь сейчас шла уже не о теоретических разногласиях и дискуссиях, а о конфликтной ситуации, растущей напряженности в отношениях между двумя огромными государствами. Китай создал ядерное оружие, имел ракеты (пусть

не очень совершенные). Советский Союз увеличивал численность войск на границе. Китайцы, заявляя об угрозе нападения с севера, зарывались в землю — строили убежища, траншеи, подземные ходы, целые подземные поселения. Мы, в свою очередь, воспринимали это как подготовку к войне и были всерьез обеспокоены возможностью ее возникновения.

Естественно, что в этих условиях как кошмар нависала угроза «войны на два фронта», то есть американо (натовско)-китайского сговора или как минимум помощи Запада Китаю в модернизации и наращивании его военного потенциала. Мы были серьезно встревожены и тем, и другим. И это открывало возможность весьма крупной политической игры для США (равно как, конечно, и для китайцев, хотя им в тот момент, видимо, было труднее вести гибкую, умную политику). И в конце концов эта игра началась.

Но прежде чем перейти к американо-китайским отношениям, я хотел бы суммировать те подвижки в позициях, которые в начале семидесятых годов произошли у нас. Они были весьма значительны, достаточны для того, чтобы вдохнуть активность даже в довольно консервативных лидеров нашей страны, в том числе заставив их оказать более сильное, чем раньше, давление на военно-промышленный комплекс.

Но, конечно же, дело было не только в нас. Не меньшие по масштабам сдвиги должны были произойти и в Вашингтоне. И они произошли. Прежде всего из-за вьетнамской авантюры, вызвавшей в стране серьезный подъем антиимперских, антимилитаристских настроений. Против войны начали выступать и деловые круги — они пришли к выводу, что содержание империи начинает стоить больше, нежели она приносит доходов. И, конечно, были озабочены обострением внутренних проблем — выяснилось, что и США не могут обеспечивать одновременно «и пушки, и масло». Все более серьезными становились и противоречия между США и их основными союзниками. Словом,

ситуация для нормализации советско-американских отношений и переговоров об ограничении вооружений складывалась довольно благоприятная и в Вашингтоне.

Анализ этих перемен, естественно, был в центре внимания Института США. Мы о них постоянно докладывали руководству, хотя не раз это вызывало недовольство наших консервативно настроенных деятелей как в ЦК и МИД СССР, так особенно среди военных.

В этой обстановке и приобрел новую актуальность вопрос об американо-китайских отношениях. Здесь в начале семидесятых годов наметились серьезные перемены. Они, конечно, имели большое значение для Советского Союза.

Г.Киссинджер, как известно, считает использование «китайской карты» одной из своих самых больших удач и заслуг. И ему действительно нельзя отказать в том, что установление контактов с Пекином и предварительные переговоры были проведены искусно, с присущей этому несомненно выдающемуся политику эффективностью.

Но лавры «первооткрывателя» ему, пожалуй, не присудишь. Сама идея нормализации американо-китайских отношений давно уже лежала на поверхности, буквально напрашивалась в повестку дня дипломатии США. И это тоже надо видеть, не умаляя умелости Киссинджера, его удивительной способности быстро понять, как надо говорить с тем или иным собеседником. Главными все-таки оставались политические реалии. К концу шестидесятых — началу семидесятых просто не существовало разумных причин для сохранения острой враждебности, напряженности в отношениях США, Запада в целом с Китаем. Наоборот, в такой нормализации для обеих сторон было много очевидных выгод.

Вот почему этот вопрос широко обсуждали тогда на Западе. Единственное, что было неясно американцам, — как отнесется к идее нормализации отношений китайское руководство. Но это было легко выяснить. И, честно говоря, я до конца не понимал и не понимаю, почему США так долго медлили с первыми контактами.

Единственное объяснение, которое я могу найти, заключается в том, что от своих глубоких комплексов «неполноценности» страдали не только мы, но и американцы. Так, у них в пятидесятых—шестидесятых годах почти что в качестве второй натуры выработался страх проявить недостаточную непримиримость к коммунистам. В частности, к Советскому Союзу и в те годы даже особенно к Китаю. На вопрос, почему долгое время США так непримиримо относились именно к КНР, хотя традиционно Америка демонстрировала значительный потенциал интереса и даже подчеркнутой доброжелательности к этой стране, я исчерпывающим образом ответить не берусь. Но некоторые компоненты такой непримиримости, мне кажется, очевидны.

Один из них — элементарный страх перед своими правыми, унаследованный от периода маккартизма, когда подверглись особенно злобным гонениям, были политически и морально просто уничтожены многие специалисты по Китаю, занимавшиеся им дипломаты. С тех пор и надолго любая попытка замирения, нормализации отношений с Китаем стала рассматриваться правыми чуть ли не как государственная измена.

Другой — психологическое и политическое наследие корейской войны.

Третий — беспокойство США по поводу весьма активной роли Китая в освободительных и гражданских войнах, шедших в Юго-Восточной Азии, Тихоокеанском и ряде других регионов «третьего мира».

И наконец — те сложные объективные проблемы, которые существовали в американо-китайских отношениях, в частности, проблема Тайваня. Американцы очень боялись создать впечатление, что «предают» своего истинного союзника, опасаясь, что это деморализует других «друзей Америки».

Все эти обстоятельства оттягивали созревшее и даже неизбежное — нормализацию отношений США с Китаем.

Так что же произошло в начале семидесятых годов, когда США все-таки решились на этот шаг?

Одна из причин, по которым Никсон и Киссинджер решились сделать то, на что не хватало духу у их предшественников, — это прочная и вполне заслуженная репутация консерваторов, которой пользовалась администрация (Никсону, напомним, активная поддержка маккартистов помогла сделать первый рывок в его политической карьере). Такая репутация давала иммунитет от критики справа. А это в условиях США очень важно, так же как у нас долгое время было очень важным иметь защиту или иммунитет от критики коммунистических, марксистских ортодоксов.

Не могу не привести в связи с этим мысль известного американского экономиста профессора Дж.Гэлбрейта. В американской политике, говорит он, долгое время доминировали два страха: один — страх перед коммунизмом, свойственный преимущественно консерваторам, и второй — страх показаться слишком мягким к коммунизму, особенно одолевающий либералов. Никсон и Киссинджер были слишком опытными и информированными политиками, чтобы всерьез поддаться первому страху, и имели достаточно безупречную репутацию консерваторов и антикоммунистов, чтобы им грозил второй. Это, кстати, помогло тогдашней администрации смелее своих предшественников действовать в отношениях не только с Китаем, но, несколько позже, и с Советским Союзом.

Другой причиной активизации китайской политики США были трудности, с которыми столкнулась администрация Никсона. Как это часто случается, новые решительные политические шаги делаются не от хорошей жизни — на них идут вынужденно, тогда, когда некуда деться. Как раз такая ситуация сложилась в США в 1970—1971 годах. Главной внешнеполитической проблемой была в те годы, как уже говорилось, война во Вьетнаме — так же, впрочем, как и внутриполитической: эта война стала одним из главных факторов социально-политической дестабилизации и даже напряженности, роста массового недовольства.

Р.Никсон обещал найти быстрый путь решения вьет-

намской проблемы. Но на деле он ее только осложнил — особенно решением начать бомбардировки Камбоджи, тем, что пошел на переворот, а потом и военное вторжение в эту страну. Все это серьезно осложнило военную ситуацию в самом Вьетнаме и вызвало новый подъем антивоенного движения в самих США. Упорные попытки Никсона и Киссинджера добиться мира своими силами (прежде всего при помощи военного нажима в сочетании с «вьетнамизацией» войны, то есть сокращением числа американских войск и американского участия), но обязательно на более или менее почетных условиях, «сохранив лицо»[1], не давали результатов. И я думаю, что уже к концу 1970 года им это стало ясно. Но не за горами были президентские выборы (1972 года), и надо было прийти к ним с какими-то видимыми результатами, с политическими успехами.

Естественно, в этих условиях они не могли не думать о своих отношениях с СССР и КНР, улучшение которых было бы приемлемым заменителем почетного мира во Вьетнаме да и облегчило бы его достижение. Почему же было решено при этом начать с Китая? Думаю, прежде всего потому, что президент и особенно его главный советник по внешней политике пришли к выводу: «противник номер один» — это уже не КНР, а СССР, и сочли целесообразным ускорить сближение с Пекином, дабы усилить давление на Москву. Другими словами, в соответствии с кон-

---

[1] Г.Киссинджер несколько раньше, еще до прихода в администрацию, объяснил мне, что́ считалось бы окончить эту войну, «сохранив лицо», по-хорошему для США. В декабре 1967 года по поручению администрации Л.Джонсона, а конкретно — министра обороны Р.Макнамары Киссинджер впервые приехал в Москву. Приехал специально, чтобы прозондировать возможность получить поддержку Москвы в урегулировании на таких условиях: прекращение огня, мир, США уводят войска, но Ханой берет на себя обязательства действовать в Южном Вьетнаме лишь политическим путем, постепенно, во всяком случае, в течение ближайшей пары лет; что произойдет потом, Вашингтон не интересует. За неимением других, более высоких контактов Киссинджер изложил эти идеи (от имени Макнамары) мне. Я пообещал ему передать их руководству (что тут же и сделал, но большого впечатления это ни на кого не произвело).

цепцией Киссинджера надо было прежде всего «уравновесить» советскую силу, бросив на другую чашу весов дополнительную «гирю».

Наверняка здесь роль играла и другая идея — использовать остроту советско-китайских отношений, чтобы, нормализуя отношения с КНР, ослабить советские позиции для «торга» (то есть для переговоров), прежде чем начинать с нами серьезный диалог. К тому же нормализация отношений с Китаем (а если удалось бы — потом и с Советским Союзом) стала бы крупным успехом, с которым можно было рассчитывать на победу на выборах 1972 года. Тем более что это в глазах общественности помогло бы облегчить и решение проблемы Вьетнама.

Возможно, нашлась и еще одна причина: с КНР нормализации было добиться проще, поскольку здесь не требовалось соглашений об ограничении ядерных вооружений — соглашений, к которым ни США, ни тем более СССР не были полностью готовы, и приходилось ожидать сложных и длительных переговоров.

Вскоре выявилось, что с точки зрения внутренней политики расчет Никсона и Киссинджера был точным. Сразу после встречи в верхах в Пекине Китай, все китайское — от кухни до искусства — стало в Америке повальной модой. И, несомненно, этот шаг повысил популярность администрации. Тем более что и правые (исключая кучку совсем оголтелых) не могли возражать — ведь, улучшая отношения с КНР, США укрепляли свои позиции в конфронтации с Советским Союзом.

Сложнее вопрос о том, насколько успешной оказалась попытка США разыграть «китайскую карту» для их отношений с Советским Союзом. Я бы остерегся однозначного ответа. Конечно, напряженные отношения между СССР и Китаем, потенциальная возможность американо-китайского сговора против Советского Союза (я лично всегда считал ее маловероятной, а если мы не сделаем грубых ошибок — просто невероятной) естественным образом подталкивали нас к улучшению отношений с Западом. Особенно

наших «твердолобых», которых иными доводами было трудно пронять (знаю это по своим впечатлениям от многих бесед на эту тему с советским руководством).

Но при всем этом трудности в отношениях с Китаем и опасения насчет американо-китайского сговора были не единственным и, по моему убеждению, даже не главным мотивом тех сдвигов в нашей политике, которые позволили встать на путь улучшения отношений с Западом, в частности, с Америкой. Очень большую роль — о чем мы много говорили, но американцы как-то не воспринимали этого всерьез — играло искреннее стремление отвести угрозу войны.

В нашей стране в свете ее исторического опыта и «генетической памяти» народа сохранение мира как цель политики было отнюдь не пропагандистским рассуждением, не популистской данью настроениям масс, а вполне серьезным политическим мотивом, в том числе для высшего руководства. При том что руководители наши, в частности, отдавая дань старинной (и все меньше отвечающей вызову новых реальностей) политике, именно ради сохранения мира щедро финансировали военные программы даже за счет самых неотложных социальных нужд («Оборона — дело святое», — я не раз слышал, как Л.И.Брежнев повторял эти слова). И в то же время руководство все лучше понимало, что «холодная война» и гонка вооружений могут рано или поздно привести к катастрофе. Вполне серьезным было также желание уменьшить бремя гонки вооружений, хотя я убежден, что и тогда, и позже руководство не отдавало себе полного отчета в том, насколько непосильно военное бремя, которое мы на себя взвалили, даже не знало, сколь оно велико.

Реальной была также наша заинтересованность в радикальном улучшении политической обстановки в Европе (это было стимулом и для улучшения советско-американских отношений — в общем, мы понимали, что без нормализации отношений с США эта цель окажется недостижимой). Ну а в дополнение ко всему присутствовало еще и

желание использовать те блага, которые могло бы дать развитие экономических и торговых отношений, а также научно-технических связей.

Все это были непреходящие, весьма важные интересы. И они пробивали себе дорогу через толщу идеологических стереотипов и через настроения, рожденные имперскими амбициями. Притом независимо даже от наших отношений с КНР. В конце концов, первая попытка наладить дела с США, как и со странами Западной Европы, была предпринята Н.С.Хрущевым, когда у нас еще были нормальные отношения с Китаем. Более того, эта попытка стала одной из причин или как минимум одним из поводов для ссоры между СССР и КНР.

Сказав все это, не могу не подтвердить, что «китайский фактор» тоже играл определенную роль. И мы не сумели эффективно противодействовать американским попыткам разыграть «китайскую карту». А могли бы. Я убежден, что, если бы не наши колебания, нерешительность и медлительность, нам удалось бы уже тогда эффективнее воздействовать на ход развития международных событий, включая и отношения в «треугольнике» США—СССР—КНР.

Если бы я поставил на этом точку, я бы сказал правду, ибо именно так понимала проблему, так относились к ней более уравновешенная и проницательная часть руководства и более квалифицированная часть внешнеполитических экспертов. Но это была бы не вся правда.

Летом 1971 года было объявлено, что Г.Киссинджер побывал в Пекине и достиг договоренности о проведении в 1972 году американо-китайской встречи в верхах, и многих в Советском Союзе это повергло по меньшей мере в растерянность, если не в шок. Речь идет не только о широкой публике, но и о людях, близких к политике, включая наших отдельных лидеров. Хорошо помню это по разговорам, в том числе с ответственными функционерами. А разговоры такие у меня тогда шли непрерывной чередой — пожалуй, до этого я еще не видел проявлений такого всеобщего интереса к Институту США и его оценкам.

У меня эта почти истерическая реакция вызывала резкий внутренний протест, не говоря уж о том, что просто не укладывалось в голове: почему для столь многих людей этот шаг в политике США был полнейшей неожиданностью? Ведь на этот счет уже были ясные сигналы — например, история с «пинг-понговой дипломатией», когда заурядная китайская спортивная команда была принята в США на необычно высоком уровне. А кроме того, наша печать сама без конца писала о возможности «сговора китайского руководства с мировым империализмом», обвиняла в таких планах и китайскую сторону, и Запад.

Значит, мы не верили тому, о чем писали? Или, наоборот, снова стали жертвами собственной пропаганды, сами поверив тому, что писали о зловещих замыслах и планах, которые могут стоять за этим «сговором», и об опаснейших последствиях, которые он может иметь? Не говоря уж о том, что в какой-то мере, может быть, сами этими паническими рассуждениями подсказывали американцам, где нас побольнее можно ударить.

Но потом я начал приходить к выводу, что была и другая причина оторопи, которая взяла многих наших товарищей: они наконец задумались о том, можно ли вечно позволять связывать себе руки догмами, отворачиваться из-за идеологических (я бы даже сказал — теологических) предрассудков от реальностей, уходить от назревших политических решений. В этом смысле американцы, разыгрывая «китайскую карту», сами, возможно, не желая того, помогли нам — встряхнули политическую мысль да и многих политиков (показав, кстати сказать, насколько они непрофессиональны).

Но сами настроения растерянности и необоснованных страхов меня тогда очень обеспокоили — они могли нанести ущерб нашей политике, нашим интересам. И я тогда предпринял не совсем обычный шаг, напросившись написать в «Правду» статью о предстоящей американо-китайской встрече.

Я позвонил А.П.Кириленко (он в этот момент «оставал-

ся на хозяйстве», поскольку Брежнев и Суслов были в отпуске) и поднял вопрос о необходимости как-то реагировать на широкую кампанию, поднятую западной печатью в связи с намеченной встречей. Такой «сигнал» был вполне в моей компетенции как директора Института США. «Вот ты и напиши, — услышал я в ответ то, на что рассчитывал (Кириленко сам был очень растерян и явно не знал, как реагировать на происшедшее). — А «Правде» я дам указание». И он его дал, что облегчило мне последующие споры с редакторами и избавило от ненужных согласований.

Статью я написал, что называется, «на одном дыхании» — за день и ночь, и 11 августа 1971 года она была опубликована. Главным адресатом была, конечно, советская общественность, которой я хотел разъяснить, что ничего страшного, тем более трагического не произошло и нет оснований опасаться угрозы антисоветского союза, тем более военного союза между США и КНР. И произошло, собственно говоря, то, чего давно надо было ожидать, ибо острая вражда в отношениях между этими странами уже давно стала анахронизмом. В статье делался также вывод, что наша окончательная оценка мотивов этой инициативы США будет зависеть от общего политического контекста, в котором станет проходить нормализация американо-китайских отношений. Если ей будут сопутствовать аналогичные сдвиги в отношениях с другими социалистическими странами (я имел в виду прежде всего СССР), усилия в деле ограничения гонки вооружений и урегулирования региональных конфликтов, то мы и поймем американскую инициативу соответствующим образом. Если нет, то это породит законные подозрения насчет мотивов США, насчет того, что, улучшая отношения с КНР, они хотят нанести ущерб третьим странам. Это уже было адресовано также и американцам. Они, надо сказать, восприняли статью как выражение если не официального мнения, то позиции, близкой к нему (что было правдой — статью действительно посылали перед опубликованием в МИД и ЦК КПСС).

Конечно, я не был столь наивен, чтобы считать, что

смогу в чем-то переубедить американцев, — нашу паническую реакцию на известие о встрече в Пекине они не могли не заметить. Но у меня и у института были к тому времени достаточно широкие и доверительные контакты с американцами (в том числе на высоких уровнях), чтобы ясно представлять себе, как именно оценивают сложившуюся ситуацию в Вашингтоне. Это давало основания для убежденности, в частности, в том, что там хорошо понимают, насколько важна для США нормализация советско-американских отношений. Ибо от отношений с КНР зависели прежде всего американские региональные интересы, пусть даже важные. И, конечно, возможность давления на нас (в меру нашей собственной недалекости, склонности к паническим реакциям). А от отношений с Советским Союзом — глобальные интересы США, включая центральные проблемы национальной безопасности. Мне казалось важным (это тоже было одним из лейтмотивов статьи), чтобы американцы знали, что мы эту иерархию их интересов хорошо понимаем, видим и не позволим оказывать на себя чрезмерный прессинг начатой Вашингтоном политической игрой.

Статья получила необычно широкий отклик в «большой печати» США и других западных стран, приводилась там в пространственных выдержках или подробном изложении («Нью-Йорк Таймс», например, сделала и то, и другое). Анализируя причины такого интереса, а также характер своих бесед с американцами, проходивших в те недели, я утвердился в мнении, что советская реакция на улучшение отношений с КНР интересовала американцев прежде всего потому, что вся эта акция адресовалась в такой же мере СССР, как и Китаю. То есть была средством надавить на Советский Союз. И, как уже отмечалось, они могли найти немало подтверждений того, что многие в СССР восприняли американскую инициативу в отношении Китая очень нервно.

Замечу мимоходом, что для нас такие прямолинейные реакции, простодушие и в откликах печати, и в беседах с

иностранцами (в том числе беседах наших некоторых дипломатов) были традиционными. Стоит начальству выразить какую-то точку зрения, как на ее сторону дисциплинированно и единодушно встанут советская печать, дипломаты и прочие официальные лица. Этот иллюзорный расчет на единодушную поддержку мы распространили и на международные дела и наивно думали, что стоит только нам высказать свое мнение представителям других стран, как нас послушаются, нам поверят и все встанет на свои места. Не раз такое поведение стоило нашей стране немалых издержек. Яркие примеры дают наши политические и пропагандистские кампании против тех или иных новых видов американского оружия. Они, как правило, только убеждали Вашингтон, что мы этой системы оружия боимся и им надо за нее всеми силами держаться или, во всяком случае, очень дорого «продать». СОИ — наглядная, но не единственная тому иллюстрация. Самый убедительный аргумент в пользу этой системы из всех, слышанных мною, высказал Р.Рейган: не может быть уж так плохо оружие, против которого столь ожесточенно протестуют русские.

Что касается начавшегося американо-китайского сближения, то нашей политике оно в целом пошло даже на пользу — мы начали шевелиться, несколько быстрей двигаться на переговорах с США, и к моменту визита Никсона в Пекин уже была достигнута договоренность о том, что в мае 1972 года он приедет в Москву.

А весной 1972 года в СССР для предварительных бесед приезжал Г.Киссинджер. Тогда у наших лидеров, особенно у Брежнева, не было большого опыта общения с представителями Запада, в частности, с американцами. И Брежнев перед встречей с помощником президента, как и перед встречей в верхах, чувствовал себя не совсем уверенно, усердно к ней готовился. В этой связи немало заданий получал Институт США, а меня, как, наверное, и других специалистов, не раз вызывали для обстоятельных бесед и расспросов.

Но в канун встречи в верхах в Москве, как известно,

разразились события, поставившие ее на грань срыва. Я бы хотел о них рассказать как очевидец, а в какой-то мере и участник того, что происходило в Москве во второй декаде мая 1972 года.

9 мая, в День Победы, группа ветеранов полка, в котором я воевал, впервые решила организовать в Москве встречу тех, кто уцелел и еще был в состоянии приехать. С утра собрались в Музее Советской Армии, где хранилось знамя полка. А днем состоялся банкет в одном из ресторанов гостиницы «Россия». Встреча получилась сердечная и очень затяжная — ходили гулять, снова возвращались, и уже в номерах возобновлялось застолье (благо, на алкогольные излишества тогда смотрели сквозь пальцы).

Вернулся я домой в соответствующем настроении часов в десять вечера и узнал от жены, что с середины дня меня разыскивали из секретариатов высокого начальства (Ю.В.Андропова и Л.И.Брежнева). Я тут же позвонил, и мне сказали, что все уже разошлись, но надо прийти на следующий день в девять утра в ЦК к Брежневу.

Включив радио, я понял, с чем связан вызов. 8 мая США возобновили бомбежку Ханоя и осуществили минирование порта Хайфон, пострадали советские люди. И все это буквально накануне первой после 1959 года советско-американской встречи в верхах!

На следующее утро в ЦК состоялось совещание (вел его Л.И.Брежнев, участвовали Ю.В.Андропов, А.А.Громыко и, кажется, Б.Н.Пономарев, а также группа экспертов и консультантов). Хотя главные дискуссии уже состоялись накануне, разговор шел очень серьезный. В центре стоял вопрос: отменять или нет встречу в верхах? Было принято решение — не отменять. Но это было нелегкое решение. Многие видные работники, включая членов ЦК, требовали ее отмены, считая, что, согласившись, мы будем политически унижены, потеряем авторитет в мире и особенно в коммунистическом и освободительном движении, поощрим американский империализм на новые авантюры. Большинство ответственных товарищей молчали, как обычно,

выжидали, пока станет ясным мнение руководства. Уже потом в доверительном разговоре Андропов рассказывал, что на Брежнева оказывалось сильное давление, чтобы он «дал достойную отповедь» Никсону, отменил встречу. Те, кто мог, включая участвовавших в дискуссиях экспертов, делали все, чтобы противостоять этому давлению, не принимать американский вызов соревноваться в безрассудстве, проявить выдержку.

Как все это выглядит сейчас, с сегодняшних позиций, с учетом имеющихся сегодня информации и опыта?

Если говорить об американском решении возобновить бомбардировки Вьетнама, то и тогда, и особенно сейчас очевидно, что с военной точки зрения оно было бесполезной авантюрой, никак не изменившей в пользу США ход событий во Вьетнаме, проявлением скорее бессмысленной злобы, чем трезвого расчета. Не имея оснований рассчитывать даже на тактический успех, Никсон и Киссинджер шли на серьезный риск дипломатического фиаско, поскольку мы могли отказаться от встречи в верхах. И это в Вашингтоне хорошо понимали. Тогдашний помощник Киссинджера, специалист как раз по советским делам Уильям Хайленд в вышедшей в 1986 году книге «Глобальные соперники» пишет, что большинство в Вашингтоне, включая Никсона и Киссинджера, исходили из того, что Советский Союз может отменить встречу в верхах.

Единственная надежда, замечает Хайленд, возлагалась на то, что сработает киссинджеровская политика «увязки», и прежде всего «китайская карта». Но это был неверный расчет. В Москве страсти насчет «угрозы» американо-китайского сговора против СССР уже улеглись. И хотя в ходе дискуссий насчет того, отменять встречу или нет, «китайский фактор» упоминался, насколько я помню, всерьез о нем не говорили. Несравненно большую роль при принятии решения сыграли заботы о другом — о судьбе договоров с ФРГ, ратификация которых должна была состояться за несколько дней до запланированного приезда Никсона. Этот вопрос действительно обсуждался как один из очень

важных — в Москве хорошо понимали, что обострение отношений с США может помешать ратификации, которая и без того была под угрозой из-за активного противодействия западногерманских правых.

Но новая авантюра США во Вьетнаме вносила лишь дополнительную неопределенность, вызвав серьезную озабоченность американских союзников. Словом, США вели рискованную игру, могли выпустить ситуацию из-под контроля. Если речь шла о желании «поставить на место» Советский Союз, продемонстрировать отсутствие у него возможности дать отпор США, резко реагировать на их вызывающее поведение, то и здесь успех достигнут не был. Переговоры и после этого шли на равных, а общественность на Западе, и особенно в США, где росло возмущение вьетнамской авантюрой, рассматривало реакцию СССР на этот вызов не как демонстрацию слабости, а как демонстрацию политического здравого смысла.

Разумность, правильность тогдашнего нашего решения едва ли может вызывать сомнения. Вьетнамскому народу срыв встречи не помог бы, скорее наоборот — у американцев в этом случае руки были бы развязаны, и они, возможно, пошли бы на новые авантюры, обрекли вьетнамцев на дополнительные жертвы. А разрядка в отношениях между СССР и США отодвинулась бы, притом надолго. В сфере военного соперничества обе державы могли бы в результате срыва встречи втянуться в очень серьезные осложнения, в какой-то мере необратимые, особенно в связи с развитием противоракетной обороны. То же самое можно, наверное, сказать о некоторых региональных кризисах и конфликтах, в частности, ближневосточном. Вспыхнувшую там менее чем через полтора года войну с трудом удалось своевременно локализовать даже на высшей точке разрядки, когда было обеспечено максимально возможное взаимопонимание двух держав. Напомню, что США все-таки объявили тогда ядерную готовность. В обстановке же напряженности конфликт мог оказаться более опасным. И очень большими оказались бы издержки для Европы. Договоры с

ФРГ, возможно, не были бы ратифицированы. Весь процесс нормализации обстановки на континенте отодвинулся бы на неопределенное будущее.

Что касается довольно популярного у нас в те дни аргумента, что наш отказ от встречи в верхах, мол, подорвал бы всякие шансы Р.Никсона на президентских выборах 1972 года — его пускали в ход многие противники встречи, и мне, и другим экспертам по США пришлось немало потрудиться, опровергая их доводы, — то мне он и тогда, и сейчас представляется не только неверным с точки зрения конкретных реальностей внутриполитической обстановки в США, но и некорректным в принципе. Нельзя ставить свою политику в зависимость от внутренних событий в другой стране или жертвовать ради них своими интересами. Уже хотя бы потому, что эти события невозможно достоверно предвидеть и тем более контролировать. Как нельзя предвидеть и их последствия: кто мог поручиться, что, откажись мы от встречи в верхах в 1972 году, Никсон потерпел бы поражение, а если бы даже он его потерпел — стало бы это для нас благом?

Я тогда сделал уже упоминавшееся наблюдение: гораздо больше политического мужества требуется для умеренного решения, для уступок, чем для конфронтации и негативного «радикализма». Особенно в тех случаях, когда речь идет о решениях, затрагивающих отношения с политическим противником. Впоследствии жизнь, к сожалению, неоднократно это подтверждала.

Как бы то ни было, решив не отменять встречу в верхах, советское руководство сочло необходимым срочно созвать Пленум ЦК КПСС, чтобы вынести этот вопрос на его обсуждение. В этом опять сказался наш комплекс «революционной неполноценности». Приняв верное решение, Брежнев все-таки не был в нем полностью уверен и, главное, хотел, чтобы Пленум ЦК разделил с ним ответственность. Ответственность не только за это важное для того времени решение, но и за весь курс внешней политики, который оно начинало. Такими рассуждениями я не ставлю

под сомнение разумность решения о созыве Пленума по вопросам внешней политики. Оно было правильным, давно назревшим. И не из-за агрессивной акции США во Вьетнаме или предстоявшей встречи в верхах. Уж очень большой была необходимость внести ясность во многие принципиальные вопросы, определить новые международные реальности. В том числе и потому, что активизировавшиеся после октябрьского Пленума 1964 года сталинисты хотя не добились отмены решений XX съезда, его внешнеполитических идей, но смогли внести немалую сумятицу в умы, оставили в политическом мышлении общества и партии довольно густой шлейф догматизма. И если уж укреплялась решимость взять курс на разрядку, на серьезные внешнеполитические перемены, надо было как-то очистить идеологическую атмосферу хотя бы в кругах, занимающихся вопросами внешней политики. И делать это достаточно авторитетно — получив одобрение политической линии и соответствующих идей на Пленуме ЦК КПСС.

Этот Пленум имел, как мне кажется, большое значение для сделанного тогда политического поворота.

Хотя, замечу с сожалением, ущерб, нанесенный догматиками и сталинистами, полностью ликвидирован не был, речь, скорее, шла о защите тех скромных шагов вперед, которые были сделаны в последние годы (мы как бы вернулись на рубежи Кэмп-Дэвида и договора о частичном запрете ядерных испытаний, то есть в 1959 и 1963 годы). До дальнейшего продвижения вперед, осознания новых явлений мы тогда еще не доработались, непростительно упущенное ценное время в осмыслении новых реальностей международных отношений не наверстали.

Но все это стало очевидным позднее. Для того времени майский (1972 года) Пленум ЦК КПСС был серьезным успехом: он открыл путь для существенных продвижений нашей внешней политики вперед, к сожалению, оказавшихся не очень долговременными.

Пленум стал как бы символом преодоления мучивших нашу политику несколько лет подряд оглядок, возврата к

уверенности в принципах мирного сосуществования. Мы наконец набрались решимости вновь твердо сказать, что можем и будем разговаривать, договариваться, улучшать отношения с западными державами, невзирая на классовые различия и тем более не давая сбить себя с толку разговорами о «классовости».

Это был первый Пленум, в котором я участвовал уже не в качестве гостя, а как член Центральной ревизионной комиссии, избранной XXIV съездом КПСС. И я это заседание хорошо запомнил — несколько нервное, тревожное, но тем не менее проникнутое новыми надеждами. Пленум был несомненным шагом вперед — санкционировал не только встречу в верхах, но и политику разрядки.

И в то же время надо признать, что Пленум не пошел достаточно далеко вперед, чтобы использовать открывающиеся возможности, сбросить с внешней политики оковы старых догм. Чтобы свести концы с концами, перебросить мостик от старой, к тому же не всегда правильно понимаемой теории и идеологии к новой политике, нашли другой ход: новые объективные возможности политики мира и оздоровления международных отношений объяснили изменившимся соотношением сил между социализмом и капитализмом (подразумевалось также между СССР и США).

В каком-то смысле это было правильно, особенно если сравнивать ситуацию с той, что существовала в конце сороковых — начале пятидесятых годов. Должен признаться, я этот довод тоже нередко использовал — особенно в дискуссиях с нашими отечественными блюстителями идеологической девственности и чистоты. Хотя с самого начала у меня было одно сомнение — изменением соотношения сил мы в прошлом доказывали прямо противоположное: чем слабее классовый враг и чем слабее империализм, тем ожесточеннее они сопротивляются и тем решительней мы должны с ними бороться. А значит, тем острее становятся напряженность, угроза конфронтации. Таким образом, приводилась одна причина для двух разных, даже противоположных международных ситуаций и политических курсов.

Со временем я начал испытывать и другие, более основательные сомнения в аргументации насчет изменения в соотношении сил. Во-первых, потому, что такие наши доводы укрепляли в США позиции сторонников дальнейшего наращивания американского военного потенциала. Это стало особенно очевидным уже при Рейгане, когда консерваторы со ссылками на наши же документы и заявления все действительные и мнимые политические поражения США объясняли тем, что военное соотношение сил изменилось в пользу СССР. И во-вторых, как-то не гармонировало это «силовое» объяснение причин позитивных перемен с новыми реальностями эпохи, тем более что, как правило, оно понималось упрощенно, действительно сводилось к ситуации в военной сфере.

Дальше этих доводов о соотношении сил мы тогда все же не пошли. В том числе и по вопросам, которые должны были быть совершенно очевидными. Скажем, по вопросу о невозможности победы в ядерной войне да и о том, что в нашу эпоху войну уже нельзя считать продолжением политики другими средствами. («Красная звезда» сурово критиковала советских журналистов и ученых, оспаривавших эту формулу Клаузевица, вплоть до начала, если не середины восьмидесятых годов.) Фактически не до конца было понято и то, что период «биполярного мира» кончился и сейчас наряду с США и СССР появились другие, новые центры силы. И это, кстати, стало одной из причин излишней зацикленности нашей политики на американском направлении, известного пренебрежения другими. Наконец, излишний упор на изменившееся соотношение сил оставлял в тени важнейший вопрос о растущей роли, в том числе для безопасности, новых факторов силы — невоенных. Все это начало пониматься и признаваться много позже.

Вернусь, однако, к событиям мая 1972 года, к встрече в верхах. Хотя в изданных с тех пор в США мемуарах американская сторона выглядит куда как хорошо, на деле ситуация была совсем неоднозначной.

Я это помню очень живо по общению с приехавшими

американцами, многих из которых к тому времени уже довольно хорошо знал лично. В Москву они прибыли в изрядном смятении чувств, неуверенными, я бы даже сказал, в какой-то мере охваченными опасениями и страхами. В первый день пребывания в Москве после размещения в резиденции в Кремле Р.Никсон имел встречу с Л.И.Брежневым — с глазу на глаз, то есть беседа происходила только в присутствии переводчиков. На вечер был назначен официальный обед от имени советского руководства в Грановитой палате Кремля. Собравшиеся держались обособленно: с одной стороны — американцы, с другой — советские. Ждали лидеров. Ждали долго — Никсон и Брежнев явно «заговорились». Г.Киссинджер подошел и вполголоса озабоченно спросил: «Ну что, получится что-нибудь, какие у вас намерения?» Я ему сказал, что в той мере, в какой дело зависит от нас, все должно получиться.

На следующий день я узнал от журналистов о причинах этих беспокойств. Оказывается, среди американцев распространился слух, что Советский Союз согласился на встречу лишь для того, чтобы уязвить Никсона — здесь, в Москве, устроить ему унизительную проработку за Вьетнам и отправить восвояси несолоно хлебавши. На деле уже первый разговор удался, хотя вопрос о Вьетнаме советская сторона, естественно, подняла. А встреча в целом выросла в настоящий прорыв в советско-американских отношениях, ознаменовав собой начало периода разрядки, с которым все мы — и, я думаю, не без оснований — связывали большие надежды.

Я по естественным причинам — как американист, как директор Института США и Канады АН СССР — уделил здесь основное внимание советско-американским отношениям. Но не менее важные перемены произошли в конце шестидесятых — начале семидесятых годов на европейском направлении нашей политики. Я говорил уже в связи с этим о договорах с ФРГ и соглашении по Западному Берлину. Но улучшились наши отношения практически с каждой западноевропейской страной. Мне представляются

также очень важными развитие контактов с социал-демократическим партиями, радикальные изменения наших отношений с международным социал-демократическим движением, а также с Социнтерном. Весьма успешно шел и так называемый европейский процесс — переговоры о безопасности и сотрудничестве в Европе, завершившиеся в 1975 году подписанием известного договора в Хельсинки.

Почему разрядка оказалась недолговечной, через два-три года приостановилась в развитии, а в конце семидесятых годов сменилась новым обострением напряженности, второй «холодной войной» — тема, которая еще ждет своих исследователей как в СССР, так и в США. И важно, чтобы они опирались в своей работе на документы, многие из которых пока остаются недоступными. Но отдельные соображения я все же решился бы высказать.

Первое касается классического вопроса «кто виноват?». Наши комментаторы, равно как и специалисты, долгое время валили всю вину на американскую сторону. Потом многие из них повернули на сто восемьдесят градусов и стали обвинять во всем нас самих, политику периода застоя.

На деле ситуация была сложнее. И не в том только смысле, что вину за срыв разрядки делят в какой-то пропорции (какой именно — должны будут установить исследователи) обе стороны, хотя это, наверное, так. Самым существенным и важным для понимания прошлого (а возможно, и будущего) является, по-моему, другое. Поворот в отношениях, в политике, несомненно, давно уже назрел, и понимать это начали еще Н.С. Хрущев и Д.Эйзенхауэр в конце пятидесятых годов. Но обе страны к такому повороту не были интеллектуально и политически полностью готовы даже двадцать лет спустя, в семидесятых годах.

Конечно, нельзя исключать, что, если бы не исторические случайности — в частности, уход Р.Никсона с поста президента вследствие уотергейтского скандала и болезнь Л.И.Брежнева в конце 1974 года, — руководство обеих стран уже в процессе развития разрядки смогло бы политически и интеллектуально подтянуться и подтянуть поли-

тику своих стран к тому уровню, которого требовали новые реальности. Что, возможно, создало бы прочный фундамент для новой политики. Этого, повторяю, нельзя исключать. Но точно так же нельзя и доказать. История, к сожалению, не знает сослагательных наклонений, не терпит посылок, начинающихся с «если бы...». Лично я, например, воздержался бы здесь от категорических суждений.

Но хочу пояснить, что я имею в виду, говоря об отсутствии готовности обеих стран и их руководства к такому крутому повороту в своих отношениях.

Начну с США. Буду краток, потому что главная тема моих воспоминаний — все-таки развитие политики и политической мысли в Советском Союзе.

Прежде всего у меня вызывает очень серьезное сомнение, входил ли вообще в планы Р.Никсона и Г.Киссинджера столь глубокий поворот в отношениях с Советским Союзом, чтобы он мог повлечь за собой окончание «холодной войны». Мне кажется, не входил. Оба этих политика — по образу своего мышления, по идеологическим симпатиям и всему прошлому опыту — были типичными представителями политической школы «холодной войны», хотя и ставшими к этому времени на более реалистические, прагматические позиции. Возможно, поэтому ни тот, ни другой не смогли принять вызов, брошенный Америке уже в восьмидесятых годах новым политическим мышлением, новой политикой Советского Союза, — в общем, выступили как сторонники жесткого курса. А тогда, полагаю, им даже в голову не приходило, что можно поставить перед собой даже как отдаленные, конечные, такие цели, как прекращение «холодной войны» и гонки вооружений, отказ от «политики силы». Насколько я представляю, такие идеи были для них чем-то выходящим за рамки практической политики.

А я, наверно, представляю себе их мышление неплохо, так как не только систематически читал, изучал то, что они писали и говорили, но и не раз беседовал с руководящими деятелями администрации, многих из них в течение дли-

тельного времени знал лично, в частности, Киссинджера (а потом познакомился и с Никсоном). Когда эти люди были у власти, они, планируя политику в отношении СССР, думали, по моему глубокому убеждению, не о том, быть или не быть «холодной войне» и гонке вооружений. А о том, как решить насущные проблемы политики США. В первую очередь — как быстрей и с минимальными политическими издержками окончить войну во Вьетнаме. И, конечно, как набрать побольше очков к выборам. Ну и, разумеется, о том, как обеспечить наиболее безопасное для США соотношение различных видов американского и советского стратегического оружия. Последнее — по порядку, но не по значению, — как восстановить и укрепить подорванное войной во Вьетнаме, обострением внутренней ситуации и успехами экономических конкурентов положение Америки в мире.

Собственно, среди американских политиков того времени — вне зависимости от того, республиканцы они или демократы, консерваторы или либералы, — принципиальных противников «холодной войны», принципиальных сторонников прекращения гонки вооружений можно было пересчитать по пальцам. А вот тех, кто был противником даже довольно скромного улучшения отношений с СССР, достигнутого при Никсоне, насчитывалось много больше.

И я думаю, горький опыт вьетнамской войны только снял некоторые симптомы, загнал вглубь, но не излечил от имперской великодержавности, национализма и джингоизма многих представителей политической элиты США, как и часть американской общественности. Среди них продолжала жить ностальгия по тем временам, когда после Второй мировой войны США оказались в совершенно исключительном положении в мире и им уже казалось, что наступает «американский век». Может быть, горький опыт и унижение в связи с войной во Вьетнаме, наоборот, усилили эти подспудные чувства, заставлявшие мечтать о том, чтобы вернуть добрые старые времена, когда в экономике их не теснили Западная Европа и Япония, а в военной сфе-

ре не достиг паритета Советский Союз. Потому, наверное, и оказался так близок их помыслам и чаяниям призыв Р.Рейгана: «Пусть Америка встанет во весь рост».

Теперь о Советском Союзе. В целом разрядку, внешнеполитический курс шестидесятых—семидесятых годов, начало которого было ознаменовано соглашениями с ФРГ, а затем важными договоренностями с США по военным и политическим вопросам, в нашей стране оценили однозначно — как крупный успех. Успех, которому вплоть до самых последних лет едва ли были равные в нашей послевоенной истории. Но успех этот оказался неполным, а главное — непрочным. Важнейшие уроки этого периода как раз и вытекают из анализа того, что было нами тогда недоделано, что не позволило обеспечить необратимость разрядки, ограничивало ее слишком узкими рамками.

Должен честно признать, что главным недостатком своей деятельности как ученого и политика я считаю то, что слишком поздно начал думать об этих проблемах, слишком поздно занялся таким анализом. Однако если бы я и понял важность этой задачи своевременно, не уверен, что ко мне бы прислушались те, кто делает политику. Страна, ее руководство находились тогда на совершенно ином уровне понимания реальностей и готовности с ними считаться.

Я уже говорил о двух моментах, затруднявших нам борьбу против «холодной войны», за последовательный курс на ослабление международной напряженности, ограничение и сокращение вооружений.

Один — это идеологическая зашоренность, тот самый комплекс «революционной неполноценности», который глубоко сидел и в нашем сознании, и в нашей политике. Ощущение невыполненности интернационального долга в отношении других народов при этом самым причудливым образом осложнялось пережитками великодержавных притязаний и имперских амбиций. Эта комбинация всегда могла завести политику в трудные ситуации.

И другой — полный выход из-под политического контроля нашей военной политики и военного строительства.

Я имею в виду и количество вооружений и вооруженных сил, и программы создания новых вооружений, и военные доктрины. Не в том смысле, что армия перестала подчиняться политическому руководству. Нет, командовало оно. Но военное и военно-промышленное ведомства подсказывали ему решения. И поэтому военная политика, вырабатывавшаяся и осуществлявшаяся под покровом тайны, вне демократического контроля, переставала служить инструментом внешней политики, обретала самостоятельность, даже начинала объективно диктовать свою волю политикам и дипломатам. Естественно, разрядка не могла долго выдерживать такого положения вещей.

В эти расставленные самими себе ловушки мы угодили во второй половине семидесятых годов, притом в весьма неблагоприятной для страны обстановке. Уже в силу того, что сам ход развития международных дел вывел на новый уровень требования общественности к политике, поднял планку нравственности в международном поведении государств. В результате многое из того, что испокон веков практиковалось и даже считалось нормой, стало восприниматься как вызов мировому общественному мнению, начало провоцировать его острую реакцию. Это относится, в частности, к любым актам военного вмешательства в дела других государств, что достаточно ясно показало отношение общественности к агрессии США в Юго-Восточной Азии, во Вьетнаме. И еще острее эта реакция стала в отношении актов военного вмешательства, когда они совершаются в обстановке разрядки международной напряженности да еще державой, взявшей на себя серьезные обязательства и военного характера, и в области защиты прав человека, закрепленные, в частности, Заключительным актом, подписанным в 1975 году в Хельсинки.

ЗАСТОЙ В АПОГЕЕ (1975—1982)

Если предъявлять к развитию своего общества очень высокие требования, мы можем считать застойным периодом все годы между смещением Н.С.Хрущева и смертью Л.И.Брежнева. В течение этих лет — как-никак восемнадцати — не было у нашего общества больших взлетов, отложившихся в исторической памяти этапов общего подъема. Вместе с тем по таким меркам застойной была и немалая часть «славного десятилетия», когда во главе партии и государства стоял Хрущев. Да и некоторые другие периоды нашей истории.

Если же исходить из того, что после сталинской диктатуры мы были обречены на очень сложную, тяжкую полосу истории, когда общество должно было, преодолевая неимоверные трудности, освобождаться от рабства, то лучше применять более конкретные критерии, учитывая бремя исторического наследия и особенности общества, сформировавшиеся в годы сталинщины. Тогда эти восемнадцать лет, возможно, предстанут не такими однозначными, одинаково грязно-серыми. Вторая половина шестидесятых и начало семидесятых годов, когда стали проводиться в жизнь реформа в промышленности и некоторые важные решения на селе, были, в частности, периодом довольно успешного развития народного хозяйства. А с конца шестидесятых до середины семидесятых годов (пожалуй, даже несколько дольше) во многом благодаря нашей внешней политике удалось добиться заметной разрядки международной напряженности, что привело к ощутимой нормализации советско-американских отношений и позитивным сдвигам в Европе.

Конечно, и в эти годы развитие событий протекало неровно, в борьбе, а на некоторых направлениях — в частности, в идеологии, в духовной жизни общества — были сделаны шаги назад, в чем-то мы топтались на месте. Да и на международной арене происходили не только позитивные перемены, но и обострения конфликтов и кризисов. Тем не менее я считаю, что в самом периоде, последовавшем за октябрьским Пленумом 1964 года, следует различать два этапа. Первый был прямым продолжением предыдущего, «хрущевского», периода развития нашего общества. Когда оно в непрекращавшейся, временами обострявшейся борьбе, трудно, часто методом «проб и ошибок» искало выход из тупиков, в которые зашло в экономике, внешней политике и внутренних делах. И где-то этот поиск приносил успехи, как правило, к сожалению, оказывавшиеся временными — общей концепции обновления, освобождения от деформаций прошлого у нас не было, как не было и понимания масштабов и сложности этой задачи. А где-то поиск был вообще неудачным, и нам приходилось платить за это дорогую цену. Но движение не прекращалось, как не останавливался и поиск. А значит, это еще не было застоем в подлинном смысле этого слова.

Он по-настоящему взял верх в середине семидесятых годов. К этому времени, видимо, себя исчерпал тот потенциал движения вперед, который наше общество пронесло через тяжкие годы сталинщины. И заряд новой энергии, высвобожденный XX съездом КПСС и, к сожалению, усердно гасившийся в последующие годы. Пришедшее к власти в 1964 году руководство в сфере политики даже не пыталось искать пути к обновлению. А в экономике реформа прожила очень недолго и вскоре сменилась самым пышным за нашу историю расцветом привычных административно-командных, бюрократических стиля и методов хозяйствования.

Эти процессы упадка нашли свое поистине символическое выражение в личной участи руководителя. В декабре 1974 года Л.И.Брежнев заболел, и с тех пор в течение

восьми лет наша страна жила в ненормальных, едва ли имеющих прецеденты условиях — с угасавшим на глазах всего мира руководителем, уже неспособным удовлетворительным образом выполнять свои функции. И это в условиях, когда во всех своих основных чертах сохранилась структура политической власти, унаследованная от сталинских времен и предусматривавшая принятие решений по всем сколь-нибудь важным вопросам на самом высоком уровне — «человеком номер один». Существовавшие механизмы, традиции и реальная политическая обстановка практически исключали возможность «нормальной» замены лидера. Да и кем было его заменять, если, еще раз повторю, рассматриваться в качестве возможных преемников вплоть до мая 1982 года[1] могли лишь Суслов, Кириленко, Гришин и Черненко? Такая «безальтернативность» отнюдь не случайна. Механизмы, созданные еще в период культа личности, не только концентрировали власть в руках руководителя, но и последовательно и целеустремленно «выбивали» большую часть его возможных соперников уже на очень дальних подступах к власти.

Что касается самой болезни Брежнева, то многого я здесь сказать не могу — тогда это был большой государственный секрет. А потом как-то я не решался расспрашивать врачей, в частности, Е.И.Чазова, может быть, даже просто из уважения к врачебной тайне. Но вот то, что я знаю. В декабре 1974 года на военном аэродроме близ Владивостока, только успев проводить президента США Д.Форда, Л.И.Брежнев почувствовал себя плохо. Дело было настолько серьезным, что отменили посещение города, где уже вышли на улицы люди для торжественной

[1] Я привожу эту дату потому, что лишь на майском Пленуме Ю.В.Андропов вернулся в ЦК КПСС в качестве секретаря. А избрание лидером непосредственно с поста председателя КГБ было бы делом беспрецедентным и почти наверняка было бы остановлено в аппарате. К тому же и среди партийной общественности он до этого не рассматривался как претендент. Что касается М.С.Горбачева, то он тогда еще был просто малоизвестен и не имел необходимой поддержки ни в аппарате, ни среди общественности.

встречи. Больного усиленно лечили прямо в специальном поезде, которым он с американским гостем прибыл на военно-воздушную базу и должен был ехать во Владивосток. На следующий день Брежнев, несмотря на состояние здоровья, отправился в Монголию, где должен был выступать на съезде. А вернувшись оттуда, долго и тяжело болел. Настолько долго, что это дало почву первой волне слухов о его угасающем здоровье. С этого момента Брежнев прожил и, добавлю, «процарствовал», хотя далеко не всегда проуправлял, еще восемь лет.

Временами у него бывали некоторые улучшения, но он уже никогда не возвращался даже к своему относительно нормальному прежнему, рабочему состоянию. Болезнь неуклонно прогрессировала. Он быстро уставал, терял интерес к предмету разговора, все хуже говорил, отказывала память. К концу жизни даже самые элементарные вещи к беседам и протокольным мероприятиям Брежневу писали — без таких «шпаргалок» он уже просто не мог обойтись.

Сложилась ситуация, когда нормальное руководство страной — нормальное даже по самым либеральным критериям, учитывающим более чем скромные возможности Брежнева как руководителя, — уже было невозможным, а опасность серьезных ошибок в политике возросла.

И ошибки эти не заставили себя ждать.

От разрядки ко второй «холодной войне»

В середине семидесятых годов забуксовали переговоры по ограничению стратегических вооружений. Конечно, виновниками были не одни мы. Во время Владивостокской встречи в верхах в декабре 1974 года была достигнута договоренность об основных параметрах будущего соглашения. Но в 1975—1976 годах президент Д.Форд, возможно, в ожидании предстоявших выборов не проявлял последовательности, колебался, а его государственный секретарь Г.Киссинджер то громогласно заявлял, что Договор ОСВ-2

будет подписан до выборов, то напрочь умолкал, терял к переговорам интерес. Словом, внутриполитические игры и расчеты доминировали над внешней политикой.

А когда к власти пришел новый президент Дж.Картер, он и его окружение приняли скороспелое решение — «начать партию» в переговорах, что называется, с чистого листа, отбросив в сторону все прошлые договоренности. Немало осложнений возникало в результате американской политики и в региональных конфликтах. И все более серьезным раздражителем в советско-американских отношениях стали попытки части Конгресса США, некоторых деятелей в правительстве и средствах массовой информации использовать в целях политического давления проблему прав человека.

Все это, конечно, сыграло немалую роль. Но была у этого дела и другая сторона. Тоже существенная. Это — наша политика, наши политические просчеты.

Главные из них были связаны с теми общими слабостями, о которых я уже говорил: излишней заидеологизированностью внешней политики, а также чрезмерным упором на военный фактор в деле обеспечения безопасности, что вело к выходу из-под политического контроля военной политики и оборонных программ.

Сначала о первой. Речь идет о пережитках «революционаристской» идеологии, пережитках идеи экспорта революции, принявших форму определенной политической доктрины — о нашем долге оказывать освободительным движениям помощь вплоть до прямой военной, доктрины, довольно тесно сплетавшейся с имперскими притязаниями.

Эти заблуждения и подходы с середины семидесятых годов давали себя знать в нашей политике особенно сильно. Началом послужило, пожалуй, направление кубинских войск в Анголу на поддержку одной из сторон — партии МПЛА — в разгоревшейся там политической и вооруженной борьбе за власть. Насколько я знаю, инициатором в этом деле была Куба, но мы с самого начала оказались во-

влеченными. И не только тем, что политически поддерживали кубинцев, снабжали их вооружениями, но и прямо участвовали в переброске кубинских вооруженных сил в Анголу, а потом оказывали широкую помощь правительству МПЛА, в том числе оружием и военными советниками.

Конечно, ситуация в Анголе была непростая, вмешательство в дела этой страны осуществляли США (тайно, через ЦРУ), Китай и ряд других стран. Но это не может отменить того, что наша политика в этом вопросе была неверна, противоречила провозглашенным нами принципам внешней политики, могла иметь — и, к сожалению, имела — негативные политические последствия. В этом я не только убежден сейчас, но понимал это и об этом говорил тем представителям руководства, с кем имел возможность обсуждать проблему тогда.

Что меня особенно беспокоило в то время? То прежде всего, что своим совместным с кубинцами участием в этой акции мы вступили на опасный путь — начали непосредственно втягиваться в военные действия в странах «третьего мира», притом в такие, в которых участвуют регулярные иностранные вооруженные силы. В случае с Анголой это было к тому же (как бы для контраста) в условиях, когда конгресс США отказался давать ассигнования на дальнейшую поддержку проамериканских партий и фракций, боровшихся за власть. Я, кроме того, считал, что это не только очень плохо скажется на наших отношениях с США да и с Западом в целом, но и создаст нежелательный прецедент, что может стать крайне опасным при возникновении аналогичных событий в будущем.

Мы как бы делали «почин» такого рода международного поведения, которое, может быть, и уместно в разгар «холодной войны», но неприемлемо в период разрядки, нормализации международных отношений. Видел это не один я — хорошо помню, что во второй половине 1975 года это было одной из важных тем разговоров среди специалистов и экспертов.

Я лично несколько раз говорил об этом с Ю.В.Андроповым. Он внимательно слушал, не прерывал меня и со мною не спорил, впрочем, и согласия не выражал. Говорил, притом обстоятельно, также с А.А.Громыко. Это были разговоры с глазу на глаз. А вот с Л.И.Брежневым довелось поговорить, поспорить на эту тему в присутствии целой группы товарищей, часть которых живы и работают и сегодня. Произошло это то ли в ноябре, то ли в декабре 1975 года в Завидове, где собралась группа работников ЦК, МИД СССР, а также ученых, которых привлекли к подготовке документов к XXV съезду КПСС. В ходе обсуждения внешнеполитического раздела будущего доклада речь зашла о только начинавшихся событиях в Анголе. Я сказал Брежневу, что, по моему мнению, участие там кубинских войск и наша помощь в обеспечении этой операции могут обойтись очень дорого, ударив по основам разрядки.

Моим главным оппонентом сразу выступил А.М.Александров, тут же возразивший, что ему Ангола напоминает Испанию 1935 года и мы просто не можем остаться в стороне, не выполнив своего долга. Брежнев заинтересовался завязавшимся спором и сказал: «Представьте себе, что вы — члены Политбюро, спорьте, а я послушаю». Присутствовали при этом Ю.В.Андропов, Н.Н.Иноземцев, А.Е.Бовин, В.В.Загладин и некоторые другие, всех я не помню. В спор не вмешивались — порывался Бовин, но он только что пережил длительную «опалу», и потому мы с Иноземцевым сделали знак, что ему лучше помолчать.

Мои доводы сводились в основном к тому, что мы, конечно, вправе, даже связаны моральным долгом помогать национально-освободительному движению. Наверное, можно согласиться, что самым достойным представителем этого движения в Анголе является МПЛА. Но есть ведь разные формы помощи. Политическая поддержка не вызывает сомнения, возможна и экономическая помощь, нельзя исключать даже, скажем, помощи оружием. Но участие в военных действиях подразделений регулярных вооруженных сил иностранной державы радикальным образом ме-

няет ситуацию. Американцы только что ушли из Вьетнама, а тут мы и наши друзья в условиях разрядки пытаемся возродить самые дурные традиции иностранного военного вмешательства.

Александров возражал мне, в основном приводя идеологические доводы — о нашем интернациональном долге, о том, что мы в этой ситуации не можем от него уклоняться. В какой-то момент спора Брежнев, слушавший довольно внимательно, нас прервал и, обращаясь ко мне, сказал, что понял, что я имею в виду: участие регулярных вооруженных сил в военных действиях за рубежом будет идти в противоречие с Хельсинкским актом. Я, разумеется, живо поддержал это высказывание (хотя мне такой довод в голову не приходил). Но тут Александров привел совершенно неожиданный для меня аргумент: «А помните, Леонид Ильич, как вели себя американцы во время индо-пакистанского конфликта?» Брежнев очень эмоционально отреагировал, сказал о политике США что-то очень резкое. А потом, что с ним после болезни все чаще случалось, вдруг как-то сразу погас, «выключился» из беседы. И через минуту сказал: «Ну, вы спорьте, а я пойду к себе». На этом спор закончился. А у меня осталось впечатление, что упущена реальная возможность предотвратить серьезную ошибку.

Хотя США отреагировали на посылку кубинских войск в Анголу резко негативно из-за того, что еще свежим в памяти был Вьетнам, а сами они были поглощены внутренними делами — разбирались с последствиями уотергейтского скандала, вступали в полосу острой предвыборной борьбы, — эта реакция была, скорее, латентной, заложенной вглубь, не имевшей видимых прямых последствий. Ведь снижение уровня доверия не так легко сразу заметить. Что касается самой Анголы, то поначалу могло показаться, что цели достигнуты — к власти пришла МПЛА, у страны вроде бы появилось стабильное правительство, был открыт путь к самостоятельному развитию. Казалось также, что кубинские войска недолго там пробудут — едва

ли можно было тогда предположить, что им придется оставаться в стране, вести бои, нести потери еще на протяжении пятнадцати лет.

У меня уже тогда зародилось беспокойство, что успех и кажущаяся его легкость, отсутствие серьезных международных осложнений будут восприняты как единственный урок из этих событий, как подтверждение некоторых посылок, лежавших в основе акции в Анголе. К сожалению, эти опасения оправдались.

В свете такого, как казалось, убедительного опыта стало трудно воздерживаться от соблазнов, чрезмерных обязательств, втягивания в сложные внутренние дела других стран, столь сложные, что мы их подчас просто не понимали. А в конце концов и прямого военного вмешательства. После Анголы мы смело зашагали по этому казавшемуся уже накатанным пути, на деле же — по ступеням интервенционистской эскалации. Эти ступени — Эфиопия, Йемен, ряд африканских стран (ближневосточной проблемы не хочу касаться — она столь сложна, что должна рассматриваться специалистом), и в завершение — Афганистан.

Не вызывает сомнения, что каждая из этих ситуаций имела свою специфику. Но кое-что во всех них все же было общим, их роднило. Я думаю, это прежде всего — примитивно понимаемый интернациональный долг, стремление участвовать в антиимпериалистической борьбе. Я об этом вновь и вновь говорю, поскольку эти успокаивающие совесть и даже притупляющие бдительность, элементарную осторожность мотивы помогали игнорировать несомненные факты, включая и тот, что часто речь шла уже не о национально-освободительном движении, а о вмешательстве во внутренние дела в связи с борьбой различных политических сил за власть, даже в территориальные и племенные раздоры.

Ну, а к тому же высокие идейные побуждения помогали прикрыть — часто даже от самих себя — имперские притязания и амбиции. Очень разные, иногда связанные просто с удовлетворением, что вот, мол, и мы стали «сверхдер-

жавой», можем даже поспорить и с самой Америкой. А чаще с желанием несколько подправить свои стратегические позиции, усилить политическое влияние в том или ином регионе.

Приведу пример. В 1978 году я отдыхал в Болгарии. Как-то раздался телефонный звонок, и меня (и Н.Н.Иноземцева, который отдыхал в том же пансионате, но накануне улетел в Москву) пригласил к себе находившийся в это время также на отдыхе по соседству командующий Военно-Морским Флотом СССР адмирал С.Г.Горшков. Я принял приглашение — интересно было все же познакомиться ближе с человеком, ставшим всемирно известным из-за бурных темпов строительства нашего военного флота, раньше его видел только на пленумах ЦК и протокольных мероприятиях. На ужине я был единственным штатским среди советских и болгарских адмиралов и генералов. Разговор зашел о внешней политике, и тут Горшков произнес тост. В нем, начав с шутки, а потом вполне серьезно высказал претензии к нашей политике, поскольку-де она недостаточно учитывает интересы Военно-Морского Флота, ставшего могучим, большим, океанским и, естественно, имеющим новые потребности: стоянки, места для заправки, пополнения всем необходимым и т.д. Притом и вдали от родных берегов.

Я не смог смолчать и в ответном тосте, пожелав успехов флоту, возразил Горшкову: «Я считал до сих пор, что не внешняя политика должна служить Военно-Морскому Флоту, а наоборот, Военно-Морской Флот — внешней политике». Присутствовавшие замолчали, почувствовав неловкость. Горшков это живо ощутил, явно забеспокоился, видимо, поняв, что хватил через край, и (думаю, опасаясь, как бы я не рассказал об этом застолье в Москве) стал «бить отбой». Мол, он имел в виду другое — что Военно-Морской Флот будет служить нашей политике эффективнее, если будут созданы условия для его нормальной деятельности в океанах.

А я невольно подумал о Сомали. Неужто наше присут-

ствие там, публично объяснявшееся желанием оказать бескорыстную помощь освободившейся от колониализма очень бедной стране, действительно имело целью создание военно-морской базы или хотя бы стоянки для ВМФ в порту Бербера? Нас в этом все громче обвиняли американцы. И только революция в Эфиопии и попытки Сомали использовать последовавшие за ней бурные события в этой стране, чтобы отхватить ее кусок — провинцию Огаден, спутали карты. Мы горой встали за новый режим в Эфиопии и потому должны были уйти из Сомали, вернувшейся в сферу влияния Запада.

Вот в какие мы пустились игры...

Кульминацией всего был, конечно, Афганистан. Я не хочу упрощать обстановку — действительно революция 1978 года произошла без нашего участия: мы узнали о ней из сообщений западных информационных агентств. И действительно реальными были заботы о безопасности границ нашей страны в этой весьма уязвимой, удаленной от центра ее части. Как правдой было и то, что правительство Афганистана нас много раз просило о помощи, имея на это тем больше оснований, что помощь извне получали и его противники.

Но все это не оправдывает того, что мы сделали и за что пришлось платить очень дорогой ценой — ценой человеческих жизней, наших и афганских, ценой огромных экономических и еще больших политических издержек. Мне, многим моим коллегам это было совершенно ясно, как только мы ввели войска в Афганистан, что для меня лично, кстати, было полной неожиданностью — к тому дню я целый месяц лежал в больнице, приходил в себя после инфаркта. И узнал о вводе войск от А.Ф.Добрынина, лечившегося в той же больнице. Он услышал новость по радио рано утром и позвонил мне.

Уже много позже — осенью 1989 года — в качестве председателя подкомитета по политическим вопросам и переговорам Комитета по международным делам при Верховном Совете СССР мне довелось участвовать в подго-

товке доклада «О политической оценке решения о вводе советских войск в Афганистан». И узнать в этой связи некоторые детали о том, как принималось решение.

Подчеркиваю — некоторые, поскольку многое просто не документировалось, включая заседание, на котором было принято решение о вводе войск (заседание то ли Политбюро, то ли группы руководящих деятелей — это тоже оставалось неясным). Да и имевшиеся документы (в частности, оценки ситуации, дававшиеся соответствующими ведомствами накануне решения, и их предложения) предоставлялись крайне неохотно. Запомнились довольно откровенные устные сообщения руководству этого парламентского комитета тогдашнего советского посла в Афганистане Ф.М.Табеева и маршала С.Ф.Ахромеева (в 1979 году — первого заместителя начальника Генерального штаба).

Последний рассказал, что 13 декабря 1979 года, приехав с заседания, на котором было принято решение вводить войска (какое заседание, сказал маршал, он не знает), министр обороны вызвал троих человек (начальника Генерального штаба Н.В.Огаркова, С.Ф.Ахромеева и генерала В.И.Варенникова) и приказал им готовить на 21 декабря операцию.

Из рассказа Табеева, назначенного послом в Афганистан в октябре 1979 года, можно было понять, что вопрос о вводе войск был тогда уже практически предрешен. Ему предписали ничего в Москву не сообщать, никаких оценок не посылать, ничего не предлагать впредь до особого распоряжения.

Выводы I съезда народных депутатов известны — решение о вводе войск было осуждено, в качестве ответственных за него были названы помимо Брежнева Устинов, Громыко и Андропов. Хотел бы высказать в связи с этим некоторые соображения.

Что касается Брежнева, то его ответственность не вызывает сомнений, хотя не уверен, что он физически был в состоянии сколь-нибудь ясно понять обстановку в Афганистане и последствия принимаемого решения. Скорее, дал

себя уговорить, уступил, согласившись с предложением Устинова, Громыко и Андропова — «большой тройки», которая, после того как Брежнев заболел, решала (точнее — предрешала) все внешнеполитические дела.

Министерство обороны, его руководство было главным сторонником интервенции. Есть немало данных, подтверждающих такую позицию министерства, в частности, Д.Ф.Устинова. Я не хочу изображать его каким-то злоумышленником, но в данном случае мы имеем дело с довольно типичной ситуацией эскалации военной помощи. Начали с поставок оружия. За ним пошли военные специалисты и советники. Последние помогли превратить в серьезный конфликт события в Герате (настояв на применении оружия против населения) весной 1979 года. Тогда мы и получили первую просьбу о помощи войсками, а Устинов, как мне рассказывали, приказывал своим представителям в Кабуле «вооружать рабочий класс» (вот уровень понимания ситуации в этой стране одним из тогдашних лидеров). Ну а потом надо было уже защищать своих советников, свой военный престиж и то, что уже начало рассматриваться в качестве важного оборонительного интереса — «дружественную» армию в приграничной стране.

А.А.Громыко, мне кажется, не мог быть сознательным сторонником интервенции, но, по словам всех, его знавших, очень боялся Устинова, военных вообще, а кроме того, возможно, дал себя убедить, что операция будет короткой и успешной.

Более сложной была позиция Ю.В.Андропова. Он едва ли боялся Устинова и был даже с ним дружен. До осени он был решительным противником военного вмешательства. А потом свою позицию изменил. Почему? Думаю, потому прежде всего, что к власти в Афганистане, убив своего предшественника Тараки, пришел Амин, который вызывал отвращение как кровавый убийца и совершенно беспринципный политик. Ходили слухи (может быть, их намеренно распускали спецслужбы США), что в бытность студентом в США он был завербован ЦРУ. Это, а также понима-

ние полной бесперспективности внутренней политики Амина, отличавшейся крайней жестокостью и псевдосоциалистическим сектантством, видимо, и изменило позицию Андропова. И я думаю (это, правда, чистая догадка), определенную роль сыграла и вера Андропова в то, что получивший у нас убежище Бабрак Кармаль — один из более умеренных вождей афганской революции, изгнанный Тараки и Амином, — став с нашей помощью лидером, сможет добиться гражданского мира в Афганистане. Даже если бы верной была сама оценка Кармаля, Андропов совершил серьезную ошибку, не учтя того, что Кармаль мог стать руководителем, только опираясь на иностранные штыки — а это начисто исключало возможность внутреннего замирения. Но Андропов еще долго держался за свои иллюзии[1], а может быть, ощущая свою ответственность, во что бы то ни стало хотел доказать, что он прав.

Думая потом об этих событиях, я представлял себе, что из четырех человек, принявших решение, двое не предвидели его последствий (Брежнев — из-за болезни, Устинов — из-за крайней ограниченности). Но для Громыко и особенно Андропова это просто непростительно, даже если отвлечься от глубочайшей аморальности решения, думать лишь о голом интересе государства. Пожалуй, немалую роль сыграло как раз то, что дорожка была протоптана, начиная с Анголы, где и родилась иллюзия о больших возможностях использования в политике военной силы.

Подводя итог, скажу: своей политикой военных вмешательств и «полувмешательств» в дела целого ряда стран мы

---

[1] Помню, как, вернувшись в конце мая 1980 года из Италии с Дартмутской встречи с американцами, я и обозреватель «Правды» Юрий Жуков добились приема у Л.И.Брежнева. Мы ему рассказали о том, как наша акция рушит разрядку, помогает крайне правым на предстоящих выборах в США, и уговорили сделать хоть символический жест — отозвать десять процентов контингента своих войск. А на следующий день Юрий Владимирович устроил мне разнос за эту инициативу. Он, видимо, все еще надеялся на скорую победу.

во второй половине семидесятых годов помогли сложиться впечатлению о своей стране как об экспансионистской державе, сплотили против себя большое число государств и нанесли серьезный удар по разрядке. Фактически мы подыграли крайне правым в США.

Тем более что одновременно беспрецедентными темпами у нас развертывалось осуществление многих военных программ. Мы в эти годы с полной силой, азартно, мало думая как об экономических, так и политических последствиях такого поведения, бросились в омут гонки вооружений. Включились в нее так, что мне не раз приходило в голову: не руководствуемся ли мы старым сталинским лозунгом: «Догнать и перегнать»?

Почему так произошло, тем более в условиях разрядки, когда начинали приносить первые плоды переговоры об ограничении вооружений, да еще перед лицом растущих экономических трудностей? Я считаю, что логическому объяснению это не поддается.

У меня только один ответ на этот вопрос: возросшая бесконтрольность военно-промышленного комплекса, набравшего силу и влияние и ловко пользующегося покровительством Брежнева, его слабостями и тем, что он не очень хорошо понимал суть проблем.

Он по-особому относился к тем годам своей жизни, которые провел на военной службе, очень ими гордился, считал себя чуть ли не профессионалом, «военной косточкой». Не говоря уж о том, что придавал огромное значение всевозможной мишуре — я имею в виду и серьезно подорвавшую его репутацию страсть к воинским званиям и орденам, особенно военным.

Под стать Брежневу вел себя Устинов, особенно став министром обороны. Он как бы пытался доказать, что штатский министр сможет добиться для военного ведомства даже большего, чем профессиональный военный (до этого, работая в ЦК, Устинов в какой-то мере проверял оборонный комплекс, случалось, спорил с А.А.Гречко, в том числе по вопросам переговоров с США, — это я знаю

достоверно). Остальные члены Политбюро просто не решались вмешиваться в военные дела (включая Громыко и, насколько я знаю, Андропова).

Болезнь Брежнева здесь тоже сыграла определенную роль. До нее он в ряде случаев все-таки не только возражал, но и вступал в конфликт с военными. Так произошло, например, во время обсуждения Договора ОСВ-1. На Политбюро с возражениями против уже согласованного текста выступил тогдашний министр обороны Гречко, заявив, что он как отвечающий за безопасность страны не может дать согласия. Брежнев, будучи председателем Комитета обороны и Главнокомандующим, резонно считал, что за безопасность страны отвечает прежде всего он. И это заявление министра обороны задело его за живое, он настоял на положительном решении Политбюро, резко одернув Гречко. Потом — об этом Брежнев рассказывал в моем присутствии год-полтора спустя — Гречко приезжал извиняться и признал, что был не прав. На что Брежнев ему — так, во всяком случае, он рассказывал — заявил: «Ты меня обвинил в том, что я пренебрегаю интересами безопасности страны, на Политбюро в присутствии многих людей, а извиняешься теперь с глазу на глаз, приехав в Завидово».

Во время визита Д.Форда в СССР в конце 1974 года, когда обсуждались общие рамки Договора ОСВ-2, Брежнев тоже имел длинный, очень острый и громкий спор с военным руководством по телесвязи ВЧ. Об этом я знаю как от наших участников, так и от американцев, рассказывавших, что в решающий момент беседы советский лидер выставил всех из кабинета и чуть ли не час говорил по телефону, да так громко и эмоционально, что было слышно даже через стены и закрытые двери.

Но, в общем, это не меняет ситуации, военному ведомству дозволялось очень многое. Особенно во второй половине семидесятых — начале восьмидесятых годов. И оно этим пользовалось.

Пользовалось на разные лады, начиная с идеологии. В эти годы, по существу, у нас развернулась беспрецедент-

ная пропаганда милитаризма, предпринимались активные попытки милитаризации духовной жизни общества. Шла беззастенчивая спекуляция на священных для советских людей темах Великой Отечественной войны: мемуары, поток художественной литературы (часто ничего общего с художественностью не имевшей, это, скорее, были ремесленнические поделки), многосерийные художественные фильмы, телевизионные передачи, строительство громоздких, безумно дорогих памятников, введение в обиход всевозможных церемониалов (включая почетные караулы одетых в военную форму, вооруженных автоматами школьников у памятников и солдатских захоронений). Все это на годы захлестнуло духовную жизнь страны. И притом отнюдь не в условиях, когда это оправдывалось бы нависшей над ней военной угрозой, а, напротив, в период разрядки.

Это был явно негативный, но далеко не самый существенный, так сказать, психологический аспект происходившей деформации. Как для экономики, так и для международных отношений более важным было то, что делалось в сфере вооружений. Конечно, многое для нас до сих пор остается секретом. Но и из последних советских публикаций, частично раскрывших военный баланс, и из западных, прежде всего американских, данных явствует, что именно семидесятые годы, начавшиеся с разрядки и достижения нами паритета, были периодом самых интенсивных в послевоенной истории советских усилий по созданию и накоплению всех видов вооружений. Ядерных и обычных, сухопутных, военно-воздушных, морских и любых других. В результате по многим параметрам мы не только достигли абсурдно высоких потолков, к которым подтянули свои вооружения американцы, их военно-промышленный комплекс, но и превзошли их. Это относится к таким важным компонентам обычных вооруженных сил, как численный состав войск, танки, артиллерия, тактические ракеты, многие виды самолетов, подводные лодки и многие другие системы оружия. Что касается ядерных вооружений, то мы превзошли американцев по числу носите-

лей, мегатоннажу и забрасываемому весу стратегического оружия, а также по оружию средней дальности.

Эти лихорадочные усилия по наращиванию сверх всякой нужды количества оружия не только подорвали экономику страны, но и пагубно сказались на наших политических интересах.

Во-первых, они подорвали доверие к нам на Западе и, уж во всяком случае, позволили военно-промышленному комплексу США и стран НАТО развернуть эффективную кампанию, чтобы подорвать доверие общественности и к нам, и к разрядке как таковой. Это стало ясно к концу семидесятых годов, когда возникли большие (после Афганистана ставшие неодолимыми) трудности на пути ратификации Договора ОСВ-2 в сенате США. Мало того, эти наши действия серьезно подстегивали в США настроения в пользу нового рывка в гонке вооружений как ответа на усилия Советского Союза, которые, по оценкам Запада, «превосходили разумные пределы обороны».

И второе следствие: мы в этот период яснее, чем когда-либо раньше, показали американцам, НАТО, что будем гнаться за любой их новой военной программой, повторять ее, иногда даже отвечать на одну программу двумя или тремя. В Америке быстро поняли, что в условиях, когда СССР имеет в три-четыре раза меньший валовой национальный продукт, чем США и их союзники, это открывает надежный и, главное, совершенно безопасный для них путь к подрыву мощи Советского Союза, а в конце концов, может быть, и к нанесению ему полного поражения путем экономического истощения в безнадежном военном соперничестве. Именно при Рейгане, в первые годы его правления, были разработаны концепции «конкурентной стратегии», планы военного строительства, имевшие специальной целью «делать устаревшими прошлые советские капиталовложения в оборону», навязывать нам при помощи своих программ соперничество в самых невыгодных, дорогостоящих, изматывающих нас сферах.

А мы как бы смирились с тем, что будем вести игру по

американским правилам, ответили такой концепцией паритета, которая, по существу, лишала нас возможности самостоятельно определять свою военную политику. Она как бы отдавала ключи от наших оборонных программ американцам, гарантируя им, что мы пойдем по тому пути, который за нас определят они.

К этому следует добавить некоторые крупные политические просчеты, касавшиеся обороны в ключевых регионах.

Один из таких просчетов — это неверные, завышенные оценки угрозы со стороны Китая. Они заставили нас сконцентрировать на Дальнем Востоке очень большие силы, что, в свою очередь, создавало у Китая впечатление угрозы, исходящей от нас. И, естественно, заставляло его идти на ответные меры — наращивание ядерных и обычных вооружений, а также политическое и военное сотрудничество с Западом.

Другой просчет касался Европы. Мы ухитрились одновременно вести здесь две разные, даже взаимоисключающие политики. Одна — курс на разрядку, создание надежной системы безопасности и сотрудничества. И другая — политика лихорадочного наращивания вооружений, непомерных, превышающих все пределы разумного. Притом мы скрывали подлинные размеры своих военных сил не только от общественности, но и от партнеров на переговорах в Вене, не останавливались перед прямой неправдой. А это, естественно, подрывало доверие к нам еще больше.

В довершение всего во второй половине семидесятых годов мы начали размещение в Европе новых ракет средней дальности — знаменитых СС-20. Эта затея не только стоила нам многих миллиардов рублей, но и сплотила НАТО, позволила милитаристским кругам западных стран подстегнуть военные приготовления и, в свою очередь, начать размещение в Европе американских ракет средней дальности.

Сейчас, когда этот вопрос решен с помощью «двойного нуля», мы достаточно ясно показали, что считаем решение

о развертывании ракет СС-20 ошибкой. Хотел бы сказать, что немалое число наших специалистов да и дипломатов видели это уже в семидесятых годах, как только стало известно (для большинства — из западной печати), что началась установка новых ракет. К ним относился я. И я пытался высказать свои сомнения на весьма высоком уровне. Первый раз — в беседе с А.А.Громыко. Он меня внимательно и, как мне казалось, сочувственно выслушал, но промолчал. И, как я потом узнал, точно так же он молчал или поддакивал, когда эти вопросы решались руководством. Тогда многие говорили, что министр иностранных дел уходит от споров и столкновений с военными, так как побаивается Устинова, прежде всего потому, что уже думает о том, что может случиться после Брежнева, с которым он был в очень близких отношениях.

Вскоре представилась возможность поговорить также с Андроповым. Он, выслушав меня, выразил недоумение: «Чем ты возмущаешься? Мы заменяем старые ракеты новыми — это дело естественное». Я ответил, что идет замена «одноголовых» ракет «трехголовыми», к тому же другими по типу, что вызывает серьезную озабоченность на Западе, пусть в чем-то искусственно подогреваемую. Это, добавил я, просто не вяжется с разрядкой, Хельсинкским актом, переговорами о сокращении вооружений, в том числе в Европе, да и вообще с тем, что у нас развивается диалог. И, видя непреклонность собеседника, «капитулянтски» предложил: «Ну ладно, если уж нельзя обойтись без замены старых ракет, то, во всяком случае, не стоит, как раньше, все делать втихую, молчать. Надо как-то объяснить Западу, что мы делаем, в чем наша цель и какое примерно количество ракет будет размещено. Мы просто не можем, — убеждал я Андропова, — в условиях разрядки и переговоров вести себя по-старому, осуществлять новые крупные военные программы, ничего не говоря, ничего не объясняя ни Западу, ни мировой общественности». Вот здесь мой собеседник взорвался и резко возразил: «Ты что хочешь, чтобы мы объяснялись с НАТО о том, что хотим

делать, чуть ли не спрашивали у них разрешения? Этого нет и не будет». Разговор оставил у меня нехороший осадок, я не понимал вспышки Андропова и потом пришел к выводу: он разозлился именно потому, что не имел убедительных ответов и в то же время хорошо знал, насколько безнадежно ставить этот вопрос перед руководством. Не исключал тогда и сейчас не исключаю, что по каким-то тактическим соображениям он уже поддержал размещение этих ракет — может быть, тоже не желая портить отношения с Устиновым. Должен сказать, в тот период личные отношения между членами Политбюро играли большую, слишком большую роль, нередко во вред делу.

В общем, убежден, что ни Громыко, ни Андропову я на эту проблему глаза не открыл. Она обсуждалась у нас, о ней писала к тому времени западная печать, о ней говорили во время официальных контактов с Западом. Но сама мысль о сдержанности, об умеренности в военных делах была тогда нам, наверное, совершенно чужда. Возможно, даже из-за глубоко сидевшего в нас комплекса «неполноценности» — ведь в вооружениях нам после войны все время приходилось догонять США. У меня даже сложилось впечатление, что, как только у нас появлялась система оружия, вызывавшая на Западе большой шум, мы начинали ликовать: вот, мол, какие мы сильные и умные — смогли ущемить, напугать самих американцев и НАТО. В эти годы без видимой политической нужды мы взахлеб вооружались, как запойные.

Еще один фактор, способствовавший подрыву разрядки во второй половине семидесятых — начале восьмидесятых годов, — это болезнь Брежнева. Я считаю так не потому, что придерживаюсь высокого мнения о его дипломатических способностях — они были весьма скромны. Дело в другом: когда серьезно и долго болеет лидер страны, так серьезно, что раз за разом прокатывается волна слухов о его близящейся кончине и мир гадает о его возможных преемниках, очень большую власть забирает высший эшелон бюрократии, в том числе военной.

Мне кажется, будь Л.И.Брежнев в нормальном состоянии, он не дал бы себя убедить, что следует строить Красноярскую радиолокационную станцию. Тем более что Министерство обороны, вносившее вопрос, не скрывало: выбор места для станции на территории страны представляет собой прямое нарушение Договора ОСВ-1, которым Брежнев, кстати, очень гордился, считал — и по праву — большим достижением.

Думаю, в значительной мере за счет болезни Брежнева можно отнести и неудачу первых контактов с правительством Д.Картера. В частности, миссии тогдашнего государственного секретаря С.Вэнса в Москве в марте 1977 года.

Конечно, вина за это лежит также на американской стороне. Большой ущерб был, в частности, нанесен внезапным отказом Вашингтона от владивостокской договоренности, вызвавшими очень нервную реакцию в Москве демонстративными контактами президента США с видными диссидентами. Но это не снимает с нас ответственности за отсутствие гибкости, неумение не только быстро приспособиться к изменившейся ситуации, но даже по-хорошему расстаться, делать хорошую мину при плохой игре, не создавать впечатления провала. Это были первые переговоры с США на высоком уровне, в которых Брежнев не принимал непосредственного участия — их вели Громыко, Устинов и Андропов. И, по рассказу присутствовавших, Брежнев потом им в сердцах сказал: «Вот, первый раз поручил вам самим вести переговоры, а вы их провалили».

Произошло то, что должно было произойти. Правление «комитетом», группой людей дает возможность обсуждать проблемы. Но делает очень трудным принятие решений. Особенно если речь идет о переговорах с другой стороной. Они определяют неизбежность компромиссов. Значит, каждый должен делать уступки. Но на уступки — это всегда дело болезненное — будет скорее готов лидер, облеченный властью и несущий в то же время персональную ответственность за все дело в целом.

Словом, переговоры окончились неудачей. Потом, правда, ситуацию общими усилиями удалось исправить. Но было потеряно драгоценное время, может быть, как раз те шесть-семь месяцев, которых не хватило в 1979 году, чтобы ратифицировать договор, изменить международную обстановку и тем самым предотвратить развитие других неприятных политических тенденций и событий (включая, возможно, ввод войск в Афганистан).

События во многих сферах жизни происходили просто невероятные, невероятные по своей нелепости. Скажем, прямо-таки помешательство с гражданской обороной, огромные затраты на нее, непрерывные учения, введение в штаты почти каждого предприятия и учреждения соответствующего должностного лица. Как будто со дня на день ждали войны, думая, что она будет похожей на прошлую, а не современной, ядерной, для которой предусматриваемые меры выглядели смехотворными, чудовищно глупыми. Но это были опасные глупости. Они спровоцировали очередной приступ военного психоза в США. Я даже поначалу не мог поверить американским данным, до хрипоты спорил с американцами. А потом, увы, узнал, что многое из того, в чем нас обвиняли, было правдой.

В последние годы пребывания у руководства Л.И.Брежнева на решения военных, по существу, некому было и жаловаться. Отдельных руководителей Министерства обороны это совершенно испортило, разбаловало — они стали капризными, позволяли себе любую блажь. Маленький пример из работы в «Комиссии Пальме». Одной из интересных идей окончательного ее доклада, утвержденного в 1982 году, было предложение о создании коридора, свободного от ядерного оружия, в центре Европы, вдоль линии, разделявшей войска НАТО и ОВД. Военные — маршал Н.В.Огарков, а за ним Д.Ф.Устинов, к которому я пытался апеллировать, — ничего не объясняя, не пытаясь даже вникнуть в проблему, сказали категорически «нет». Я попробовал просить о помощи Андропова, но он на меня замахал руками: «Ты что, хочешь, чтобы я из-за тебя ссорился с Устиновым?»

А ведь идея соответствовала и интересам безопасности в Европе, и нашим интересам, а главное — нельзя же было нам, Советскому Союзу, брать на себя вину перед общественностью за ее срыв. Но кто в тот момент хотел слушать доводы, внимать здравому смыслу! Выкручивался я из положения собственными силами, придумав довольно невинную оговорку в сноске. Но даже ею, как я узнал потом, остались недовольны, и, если бы не изменившаяся вскоре ситуация, могли бы быть неприятности. Чтобы завершить эту тему, скажу, что вскоре мы идею этого коридора полностью поддержали и даже готовы были идти дальше — на вывод из этой полосы ряда других систем оружия.

В целом, несмотря на значительные трудности и осложнения, работа в «Комиссии Пальме» стала очень важным этапом в моей жизни, оказала большое влияние на мое понимание политики и международных отношений. Уже потому, что в течение нескольких лет мне пришлось постоянно общаться, спорить и находить взаимоприемлемые точки зрения с целым рядом крупных политиков, людей умных, неординарно мыслящих. Я имею в виду самого Улофа Пальме, Вилли Брандта, Гру Харлем Брундтланд, Эгона Бара, Дэвида Оуэна, а также не участвовавших в комиссии, но активно сотрудничавших с ней Раджива Ганди, Бруно Крайского, Пьера Трюдо, Беттино Кракси, сменившего Пальме на посту премьер-министра Швеции Ингвара Карлссона и ряд других.

Но главным было даже другое. Комиссия стала своеобразным исследовательским центром, где в обстановке вновь обострившихся, накалившихся международных отношений, на основе коллективного опыта, коллективными усилиями в открытой, честной, иногда жесткой дискуссии рождались новые идеи, мышление, соответствовавшие ядерной эпохе. В связи с этим я прежде всего назвал бы идею «безопасности для всех», или «взаимной безопасности» (два варианта перевода названия основного доклада комиссии). Суть ее в следующем: нельзя обеспечить свою

безопасность за счет или в ущерб безопасности других; безопасности можно достичь лишь вместе, на основе взаимности. Новый подход был продемонстрирован и в отношении ядерного оружия — комиссия поставила под вопрос его ценность в качестве инструмента сдерживания и фактора военной стабильности. А так называемое ядерное оружие поля боя было определено как дестабилизирующее (с этим и была связана идея свободного от этого оружия трехсоткилометрового коридора вдоль линии соприкосновения двух военных блоков).

Публикация у нас этого доклада в полном переводе, без купюр (хлопот это стоило тогда немалых) позволила сделать эти и некоторые другие идеи достоянием советской общественности, которая смогла знакомиться с содержавшимися в докладе западными оценками соотношения военных сил, показывавшими, что в ряде сфер мы обладаем большим преимуществом. Впечатление это произвело немалое.

К сожалению, работа «Комиссии Пальме», как и деятельность других международных неправительственных организаций, не смогла предотвратить усиление напряженности в мире. В условиях, когда в США и ряде других стран Запада произошел сдвиг вправо, усилились милитаристские тенденции, серьезные сбои в нашей внешней и военной политике не только не помешали, но и способствовали ухудшению международной обстановки в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов. Мы, по существу, оказались участниками «демонтирования» разрядки, объективно помогли ее противникам в США и других странах НАТО начать вторую «холодную войну». Негативные явления в нашей внешней, как, впрочем, и внутренней, политике в эти годы оказали известное воздействие на расстановку политических сил, на ход политической борьбы в США и ряде других западных стран, укрепляли позиции правых и крайне правых, а также милитаристских кругов. Мы помогали создавать все более пугающий обывателя «образ врага». «Ранний» Рейган, выступавший как нена-

вистник, враг «империи зла», которой был объявлен Советский Союз, пришел к власти — это надо признать — не без нашей помощи.

Словом, к 1982 году (положение не улучшилось и к 1985 году, к началу перестройки) наша внешняя политика пришла с весьма неутешительными результатами. Мы, по существу, вернулись к разбитому корыту. Снова бушевала «холодная война», гонка вооружений достигла невиданной интенсивности. Это было очень тяжким поражением и для США, и для нас, и для всего мирового сообщества.

Но тем не менее, мне кажется, разрядка семидесятых годов не была усилием, затраченным впустую, не была напрасной. Во-первых, она поставила перед политиками и общественностью очень важный вопрос: что, собственно, можно считать нормой в международных отношениях, в том числе в отношениях между СССР и США, — непримиримую враждебность, находящую выражение то ли в «горячей», то ли в «холодной войне»? Или же нормой могут стать цивилизованные отношения, не исключающие противоречий, разногласий, в какие-то моменты даже борьбы, но в то же время основанные на реалистическом понимании общих интересов, готовности не только друг с другом жить в мире и друг друга терпеть, но и сотрудничать на равноправной и взаимовыгодной основе? А во-вторых, разрядка как минимум пошатнула убежденность в фатальной неизбежности плохих отношений, «холодной войны» и военной конфронтации. Она родила не только надежду, но и веру в то, что поиск альтернативы не является бессмысленным, что такая альтернатива возможна. И даже в самые острые моменты новой полосы «холодной войны» она уже очень многими не воспринималась как возвращение к норме.

Это дало себя знать и на Западе. Прежде всего в бурном подъеме антивоенного, антиядерного движения, пришедшемся как раз на 1981—1982 годы. Резкое поправение в американской политике, распространившийся на Западе милитаристский угар, возросшая напряженность, ритори-

ка Рейгана и некоторых других западных лидеров смертельно напугали прежде всего их собственные народы. На эти годы приходится и самая крупная, почти миллионная демонстрация в защиту мира в Нью-Йорке, которая произвела на Рейгана столь глубокое впечатление, что впоследствии, когда уже начались позитивные сдвиги в советско-американских отношениях, некоторые американские консерваторы обвинили своего президента в том, что он позаимствовал свои лозунги, свою политику у антиядерного движения начала восьмидесятых годов.

Да и официальная внешняя политика все-таки не вернулась полностью к состоянию классической «холодной войны». В Европе сохранялись очень заметные последствия разрядки. Что очень важно, сохранилось одно из самых существенных достижений семидесятых годов — наш диалог и даже известное политическое сотрудничество с социал-демократами, особенно с социал-демократами Европы.

Я бы назвал еще один заметный и, как мне кажется, сыгравший потом немалую роль «след» от разрядки уже у нас, в Советском Союзе. Это начавшееся раньше, но не прекратившееся и в годы обострения (хотя не обошлось без трудностей) развитие советской политической мысли, тех ее сфер, которые относятся к внешней политике. Здесь, мне кажется, наиболее явственно прослеживается преемственность XX съезда и его идей с разрядкой, а затем и новым политическим мышлением.

Не могу не сделать короткого отступления. Память — предательская штука и, как правило, подсовывает приятные воспоминания, а не те, за какие испытываешь чувство стыда и в связи с чем утрачиваешь душевное равновесие. И я не могу не задать себе жестокий вопрос: неужто я все понимал и знал, давал лишь верные советы и никогда не кривил душой?

Нет, это было не так, и я обязан это признать. Были ошибки, были заблуждения, и хотя я в целом не испытываю стыда за то, что писал и что советовал, не могу этого

не признать. И хотел бы об этих ошибках и заблуждениях написать. Начну с чисто профессиональных.

Я с опозданием заметил нарастание угрозы сдвига вправо в США, хотя некоторые сотрудники Института меня своевременно о ней предупреждали. Думается, один (хотя, наверное, не единственный) из истоков ошибки состоял в том, что я не знал о некоторых сторонах нашей военной политики, долго не верил западным заявлениям насчет наращивания нашей военной мощи, недооценивал воздействие всего этого на политическую обстановку в США в том, в частности, плане, что это дает сильные козыри крайне правым. Недооценил я и другого — что сама неопределенность политического положения в нашей стране (растущие трудности в экономике, престарелое больное руководство, полная неясность в вопросе о политической преемственности и т.д.) не располагала западных партнеров к развитию отношений, сокращению вооружений и сотрудничеству.

Конечно, не всегда точны были и оценки перспектив внутреннего развития США, хотя здесь на стопроцентную точность не могут претендовать ни советские, ни даже американские исследователи. Думаю, и я лично, и Институт в целом в этом плане выглядят неплохо. Если, конечно, не предъявлять к тем временам сегодняшних политических и идеологических требований. На протяжении многих лет нас приучали (часто очень жестко) к определенному строю мысли: безусловная, безоговорочная защита своей политики и своих порядков, какими бы плохими они ни были. И к самому необъективному (называли его «классовым» или «партийным») отношению к другой стороне, особенно же к «американскому империализму». Я, между прочим, и сейчас считаю, что в политике США, в ряде их экономических и политических институтов, несомненно, существуют опасные империалистические и имперские тенденции, но даже и тогда избегал называть их политику империализмом, в чем легко убедиться и по моим трудам тех лет.

Нас приучали не только к определенному строю мысли, но и к определенному языку (немецкие коммунисты называли его в шутку «партийно-китайским»), для непосвященных ужасному, что особенно ощущалось, когда слышал переводы советских статей и политических документов на иностранный язык.

Ну и вдобавок мы, включая даже людей моего положения (депутат Верховного Совета СССР, член ЦК КПСС, человек, привлекавшийся к выполнению заданий руководства), об очень многих вещах, относящихся как к внутренним делам, так и к внешним, просто не знали (подозреваю, что и люди куда более высокого положения). Так, например, я не знал истинного состояния дел ни с военным бюджетом, ни с ядерными вооружениями, ни с соотношением сил в мире или в Европе. Ни на одно заседание высшего руководства, где обсуждались такого рода вопросы, ни меня, ни других специалистов-политологов не приглашали. В секрете держались и наши позиции на переговорах по разоружению, хотя нам поручали их защищать и на встречах с парламентариями, и в публичных выступлениях. Так что приходилось полагаться преимущественно на западную печать, к которой мы были приучены относиться с недоверием, но которая, увы, как потом мы убедились, часто оказывалась права.

Так что помимо ошибок и неспособности достаточно быстро вырваться за рамки стереотипов в представлениях и даже в языке была и элементарная неосведомленность, сбивающая с толку, делающая бессильным даже самого проницательного исследователя. И просто смешно, когда сейчас меня и многих моих коллег упрекают: почему вы раньше писали о том, что есть, скажем, в Европе равновесие, а сейчас возмущаетесь тем, что у СССР намного больше оружия, чем у Запада? Когда вы, мол, говорили правду? А я хотел бы ответить на это: «А когда нам говорили правду? И говорят ли ее сейчас?»

Хотя одно должен еще раз сказать со всей решительностью и категоричностью: вредных, способных нанести

ущерб стране советов я не давал и в самые тяжкие времена. И к настроениям начальства, внося предложения и рекомендации, не прислушивался, выводы под них не подгонял.

Упадок в стране

Не очень легко назвать высшие точки, моменты торжества прогресса в послесталинской истории нашего общества. Были периоды экономического подъема и успехов, к сожалению, недолгие, но с ними не всегда совпадали циклы политического и духовного подъема. И наоборот — на моменты политического подъема не всегда приходились синхронно пики в развитии экономики.

Но вот период заметного упадка во всех этих областях вместе назвать можно. Это была вторая половина семидесятых — начало восьмидесятых годов.

Начну с экономики. К началу этого периода уже исчерпала себя робкая экономическая реформа, стартовавшая десятью годами раньше. Несмотря на непоследовательность, она все же дала неплохие результаты. Но в том виде, в котором реформа была начата, она долго существовать не могла — ее надо было развивать, двигать дальше. Этого не произошло. Мало того, реформу усиленно компрометировали консерваторы, используя и такой нечистоплотный прием, как ревнивое отношение Брежнева к Косыгину (а последний ассоциировался с реформой).

Перелом к худшему в динамике развития экономики поддается даже точной датировке. Восьмая пятилетка была успешной. С девятой начался упадок. Рубеж — 1972 год.

Было ли это неожиданностью?

В общем, нет. Ни для специалистов, ни даже для части руководства. Дискуссии по проблемам экономики шли, как уже отмечалось, с начала шестидесятых годов. Из них родилась реформа. Несмотря на успех восьмой пятилетки, на XXIV съезде был поставлен целый ряд принципиальных вопросов экономического характера (в частности, о необ-

ходимости перехода к интенсивным факторам роста, повышения роли экономических рычагов, о неотложных задачах улучшения управления хозяйством и т.д.), а вскоре после съезда, как я уже говорил, началась подготовка Пленума о научно-технической революции, который, если бы его не испугались провести, может быть, сыграл заметную роль в развитии кашей экономики.

Этот Пленум, так же как и реформа 1965 года, был еще одной из предоставленных нам историей возможностей начать серьезные радикальные преобразования в относительно нормальной, даже благополучной ситуации, так сказать, «с позиции силы». Но они использованы не были. Я не берусь судить, было это неизбежным или нет, — может быть, и было, может быть, правы те, кто считает, что на действительно радикальные перемены нас могут вынудить лишь острый кризис, очень большие трудности. Но это, конечно, всегда и более болезненный, трудный, а в чем-то и опасный путь.

Как бы то ни было, радикальная экономическая реформа была оттянута на более поздний период, когда ее предстояло проводить уже с «позиции слабости», под высоким давлением нарастающих проблем. Что, естественно, оставляло меньше времени и для поиска стратегии, и для убеждения сомневающихся.

И здесь вполне уместен второй вопрос: почему были упущены эти возможности и ценное время, почему мы так непростительно затянули с наведением порядка в своем экономическом доме?

Главная причина (когда началась перестройка, это высветилось с особой ясностью) состояла в том, что к радикальным переменам не было готово руководство, как, впрочем, и значительная часть народа.

Если говорить о руководстве — я включаю сюда не только самый «верх», но весь эшелон центрального управления хозяйством, — то дело прежде всего в том, что административно-командная система породила и свой склад экономического и управленческого мышления, и свой тип

хозяйственного руководителя. И поскольку речь на деле шла (хотя тогда это мало кто ясно понимал) о необходимости отказаться от всей родившейся и развившейся из «военного коммунизма» модели экономики, построить новую модель, включавшую компоненты (рынок или отказ от отождествления всенародной общественной собственности с государственной, легализацию множественности форм собственности и т.д.), которые долгое время воспринимались как чуждые социализму, как сугубо капиталистические, это оказалось крайне сложным, даже болезненным процессом. У таких перемен нашлось много убежденных противников либо людей, просто не понимающих, как можно перечеркнуть многое из старого опыта и начать действовать по-новому. Даже очевидные недостатки, пороки старой модели не могли их переделать — во всяком случае, очень многих из них.

Что касается более широких кругов общественности, то здесь — и это тоже красноречиво подтвердил опыт перестройки — большую негативную роль играли идеологические предубеждения и барьеры. Общественное сознание, собственно, «отрыгнуло», вернуло реформаторам, точнее, тем, кто активно разглагольствовал о необходимости реформ, все то, чем его многие десятилетия кормила наша же пропаганда: примитивные, а подчас извращенные представления о социализме и капитализме, о собственности и социальной справедливости. И поэтому долгое время идеи, выдвигавшиеся более смелыми и решительными экономистами, просто не находили поддержки у общественности, часто ею не понимались, а кроме того, негативную роль играли уравнительские традиции и представления, выстраданная долголетними испытаниями готовность к более чем скромной жизни.

Но то и другое, так сказать, величины постоянные. Подобный настрой и наверху, и внизу родился давно. Но почему, могут спросить, в годы, когда начали выявляться недостатки, даже пороки существующих экономических механизмов, всей модели народного хозяйства, эти подхо-

ды, взгляды, настроения не начали своевременно меняться?

Мне кажется, во-первых, потому, что подлинной картины экономики не видели, не знали до конца не только общественность, но и руководство. Тоталитарные традиции, помешательство на пропаганде успехов, неуемное желание говорить начальству приятное жестоко мстили.

Конечно, руководству говорилось больше, чем широкой публике. Но даже при желании сказать ему правду это было трудно сделать. И не только потому, что искажение данных начиналось на самом низу — с приписок на рабочем месте, а тем более на предприятии или в совхозе и колхозе. Сама статистика, схема собираемых ею данных, отбор показателей, не говоря уж об анализе, были подстроены под тогдашнюю систему, всю тогдашнюю модель хозяйствования. Не хочу упрощать, сводить дело к тому, что статистика подстраивалась под главную потребность управляющих — рапортовать об успехах. Дело еще и в том, что она охватывала лишь количественные показатели, не учитывая в должной мере качества, потерь, издержек, не исключала двойного счета и т.д. Самое интересное, что в руководстве многие об этом знали или, во всяком случае, догадывались. Но настойчивости, чтобы докопаться до правды, не проявляли. Ощущали, что-то идет не так, происходят серьезные сбои, но все же были постоянно настроены на другую волну, жили в мире условных представлений и прочих условностей. Разве, например, сто процентов плана — не одна из них? Цифра эта ведь ни о чем не говорит, в том числе ни о том, мало это или много с точки зрения потребностей общества, так же как и ни о том, какой ценой эти сто процентов получили.

И потому ощущения драматизма, нараставшей остроты ситуации у руководства не было. Я и мои коллеги, много лет участвовавшие в подготовке ставших тогда традиционными пленумов ЦК по плану и бюджету на очередной год, видели это по документам, которые к нам поступали, а также по характеру дискуссий о плане на Политбюро.

Там редко поднимались самые важные, коренные вопросы хозяйствования. В основном речь шла о довольно мелких межведомственных претензиях и, главное, о платежном балансе, то есть о том, чтобы денежным доходам соответствовал план товарооборота. И если здесь что-то не сходилось на 8—10, даже на 5 миллиардов, то это было самой большой, поистине трагической проблемой для Н.К.Байбакова (тогдашнего председателя Госплана СССР, умного человека, хотя, скорее, инженера, нежели экономиста), А.Н.Косыгина, а затем Н.А.Тихонова, так же как и самого Л.И.Брежнева. Вот тогда из года в год и рождались предложения о чрезвычайных мерах, в том числе о повышении цен на какие-то виды товаров, чтобы «сбалансировать» план и бюджет. И мало кого волновало, что из года в год десятки, если не сотни миллиардов пускались на ветер, на «стройки века», замораживались из-за «долгостроя», тратились на выпуск ненужной продукции, не говорю уж о державшихся за семью замками (тоже во всем объеме неведомых даже начальству) военных расходах.

Другой причиной, по которой до поры до времени ни руководство, ни общественность не отдавали себе отчета в масштабах и близости надвигавшихся экономических бед, было то, что увеличивавшиеся в размерах дыры в народном хозяйстве затыкали за счет варварского расхищения огромных, но не беспредельных природных богатств страны, экономии на охране окружающей среды и социальных расходах.

Наиболее яркий пример — экспорт нефти (а потом и газа). Особенно после войны на Ближнем Востоке осенью 1973 года, образования Международного картеля экспортирующих нефть стран (ОПЕК) и резкого повышения цен на нефть.

После 1973 года многие развитые страны, включая и США, переживали трудности в связи с высокими ценами на нефть, а в отдельные моменты — с ее физической нехваткой, перебоями в снабжении. И само название картеля ОПЕК, ограничивавшего добычу нефти и вздувавшего

цены, стало на Западе чем-то вроде пугала. Но много лет спустя, вспоминая об этих событиях и анализируя их, я неизменно приходил к выводу: главной жертвой ОПЕК стал Советский Союз.

Тем более что период высоких цен на нефть совпал с освоением великого, скорее всего, неповторимого клада, подаренного нам природой и геологами, — тюменской нефти и газа. И тогда началось безудержное наращивание экспорта энергоносителей. В нем виделось спасение от всех бед. Так ли уж надо развивать свою науку и технику, если можно заказывать за рубежом целые заводы «под ключ»? Так ли уж надо радикально и быстро решать продовольственную проблему, если десятки миллионов тонн зерна, а вслед за ним и немалые количества мяса, масла, других продуктов так легко купить в Америке, Канаде, странах Западной Европы?

Так ли уж надо быстро вытаскивать из ужасающей отсталости свою строительную промышленность, если для сооружения или реконструкции важных объектов можно пригласить финских, югославских или шведских строителей? А наиболее дефицитные материалы и сантехнику импортировать из Западной Германии, обои и мебель — из других западных стран?

Хотел бы быть правильно понятым: я отнюдь не разделяю позиции тех, кто вообще, так сказать, принципиально против экспорта нефти или других ценных, невозобновимых природных ресурсов. Надо быть реалистами. Конечно, лучше экспортировать видеомагнитофоны, авиалайнеры, на худой конец, автомашины и приборы, а не нефть. Но если у тебя нет конкурентоспособных наукоемких товаров, даже продукции обрабатывающей промышленности — деваться некуда.

Но при этом, во-первых, нельзя дать убаюкать себя временным благополучием, надо помнить, что до бесконечности крупномасштабный экспорт природного сырья продолжаться не может. Рассматривать эту возможность заработать конвертируемую валюту следует как передышку, кото-

рую надо использовать для приведения в порядок своего народного хозяйства, включая устранение хронических дефицитов (например, зерна и продовольствия, равно как обычного, ординарного промышленного оборудования), которые покрываются при помощи импорта, а также развитие экспортных отраслей в своей собственной обрабатывающей промышленности. Но этого сделано не было. Мне кажется, точка зрения, что именно из-за свалившегося в наши руки нефтяного богатства мы заморозили попытки продвигать реформы в экономике, имеет под собой основания.

И, во-вторых, сам этот бесценный клад надо было осваивать без лихорадочной спешки, основательно все продумав. Чтобы миллиарды кубометров попутного газа — этого ценнейшего сырья — не сгорали в факелах, только отравляя атмосферу. Чтобы с толком осваивались регион, его инфраструктура, нормально жили люди, одновременно с ростом добычи нефти создавались мощности такой ее переработки, которая приносила бы максимальный экономический эффект. Чтобы нефте-, газо- и продуктопроводы строились основательно и безопасно и тоже с максимальным экономическим эффектом. Чтобы и самим вести политику, с таким успехом проводившуюся после 1973 года на Западе, — политику радикального энергосбережения. Мы в этом плане оказались, наверное, самой отсталой страной в мире. Страной, занимающей первое место в мире по добыче нефти, но из-за нехватки горючего ежегодно переживающей серьезные сбои в авиационных перевозках, испытывающей дефицит бензина для своего весьма скромного автомобильного парка и, ко всему прочему, теряющей из-за нехватки горючего для тракторов и грузовых машин значительную часть столь необходимого урожая зерна, что заставляет продавать за рубеж еще больше нефти, чтобы его импортировать. Только один факт, говорящий о скрытых здесь резервах. По подсчетам японской исследовательской организации «Тораи», если бы советская металлургия работала по той же технологии, что и япон-

ская (кстати, построенная в значительной мере по советским лицензиям и патентам), экономия энергии была бы примерно равна выработке всей атомной энергии Советского Союза. Об этом мы докладывали руководству, я в том числе, но Министерство металлургии умело «замотало» проблему. И не в годы застоя, а уже в 1988 году.

И я, и многие мои коллеги в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов не раз думали, что западносибирская нефть спасла экономику страны. А потом начали приходить к выводу, что одновременно это богатство серьезно подорвало нашу экономику: постоянно откладывались назревшие и перезревшие реформы. В свете этого горького урока, преподанного нам историей, задумывался и о другом: что в наше время, пожалуй, нет стран, которые бы вырвались вперед, разбогатели благодаря изобилию природных ресурсов. Есть редкие исключения вроде малочисленных по населению, но очень богатых нефтью и с толком распорядившихся этим богатством стран Персидского залива. Это исключение на фоне тоже богатых нефтью, но не добившихся таких успехов Мексики, Нигерии, Венесуэлы, многих других стран лишь подтверждает правило. И наоборот, ни Япония, ни Западная Германия, ни Южная Корея практически не имеют природных ресурсов, как и многие другие развитые или быстро развивающиеся страны. Но у нас как раз идеальное сочетание — богатые естественные ресурсы и большая наука, и культура, трудовые ресурсы, население, которое, я уверен, готово и сможет хорошо работать, если для этого будут созданы необходимые условия и запущен на полные обороты механизм материального и морального стимулирования, поощрения предприимчивости и конкуренции.

Но я отвлекся. Возвращаясь к тягостным временам нарастающего упадка в нашей экономике — как, впрочем, и в других сферах общественной жизни, хотел бы обратить внимание еще на одну их характерную черту. Это — беспрецедентный, что называется, махровый расцвет бюрократизма, ведомственности, аппаратного всевластия и про-

извола. Резко возросло количество министерств. И, наверное, в такой же мере снизилось «качество» министров и их аппарата. Все решения принимались на самом верху, но вместе с тем «верх» не мог по-настоящему принять ни одного решения — на каждое из них требовались согласования, исчислявшиеся десятками, а иногда и сотнями. А кроме того, претворение в жизнь любого решения руководства потом, когда его примут, опять отдавалось на произвол аппарата. Всегда было множество чиновников, которые могли любое дело испортить, и очень мало таких, которые бы могли и хотели помочь, и почти никого, кто нес бы за что-то настоящую ответственность. До невероятных размеров разросся бюрократический аппарат управления внизу — только в сельском хозяйстве его численность достигла трех миллионов человек (больше, чем число всех фермеров в США!). Словом, экономика развивалась не по экономическим законам социализма, как вещали на всех углах жрецы от политэкономии, а по «законам Паркинсона» — в соответствии с корыстными интересами ведомств и бюрократии.

Политика, государство, партия

Мне кажется, что в политике, во всей политической надстройке, как, впрочем, и в экономике, после Сталина все более очевидным становилось одно фундаментальное противоречие. Модель хозяйствования, политической власти, государственного управления, созданная в период чрезвычайных условий, при, так сказать, осадном, если не военном положении, вдруг оказалась перенесенной в более или менее нормальные условия. Когда не было войны и она была маловероятной, во всяком случае, в обозримом будущем, когда не надо было восстанавливать после войны страну, когда уже не существовало сплошь враждебного капиталистического окружения, когда не было даже вождя-бога, оруэлловского Старшего Брата, по воле, желанию, даже капризу которого приходилось все переворачивать вверх дном.

Вот тогда и выявилось, что в таких условиях сложившаяся система политического устройства, утвердившаяся его модель сколь-нибудь нормально работать не может. Мало того, сама она, как и множество ее ставших ненужными атрибутов, естественным ходом вещей подвергается деформации, подчас перерождаясь в политические уродства, совершенно непотребные с точки зрения не только принципов социализма, но и элементарного здравого смысла.

Все более очевидным становилось, что политические механизмы больше приспособлены для того, чтобы захватывать и удерживать власть — власть, чем бы это ни прикрывалось и ни оправдывалось, узкой группы людей, нежели для того, чтобы управлять на общую пользу делами государства, решать появляющиеся проблемы. Более очевидным становился и «дуализм» этих механизмов, их расчлененность на те органы, которые действительно имели власть (партийные организации, ведомства, карательный аппарат), и те, которые должны были создавать «демократический фасад» народовластия (Советы, профсоюзы, общественные организации).

Существовавшая политическая надстройка загоняла в очень узкие рамки политическое творчество. Для выявления и анализа меняющихся реальностей, интересов и мнений различных социальных слоев и групп, мобилизации интеллектуального потенциала общества, необходимого для своевременного решения возникающих проблем и успешного развития общества, эта политическая надстройка просто не была приспособлена. Тем более что доминирующим, подавляющим все остальные стремлением тех, кто определял политику, все больше становилась глухая оборона от перемен, сохранение любой ценой существовавшего статус-кво. Совершенно естественно, что именно в этом состоял «социальный заказ», задававшийся руководством государственным и партийным органам, науке и культуре, средствам массовой информации — особенно с середины семидесятых годов. Они должны были помочь не замечать обострявшихся трудностей и проблем, подме-

нять усложнявшуюся действительность иллюзиями стабильности, успехов, прогресса. Потому и исчезали последние островки гласности, зато росла сфера секретности (в нее после каждой неприятной для начальства дискуссии попадали все новые области — так после статей о Байкале случилось, например, с экологией, она просто стала секретной). Усиливалась активность цензуры. Тем более что роль цензоров брали на себя ради собственного спокойствия и во избежание неприятностей сами редакторы и редколлегии, творческие союзы, министерства и прочие администрации.

Большой мощный аппарат политической власти был поставлен на службу сохранения неподвижности, застоя. В результате в этот период выработался совершенно определенный политический стиль — крайне осторожный, замедленный, ориентированный не столько на решение проблем, сколько на то, чтобы не нарушить собственного равновесия. Социальных и национальных проблем, экологических угроз, упадка образования и здравоохранения, бедственного положения значительной части членов общества — всех этих проблем как бы не существовало, их заменяли элементарными пропагандистскими стереотипами вроде «новой социальной общности — советского народа».

Для органов государственной власти консервативная политика защиты статус-кво означала прежде всего сохранение и даже усугубление бессилия представительных органов сверху донизу, окончательное закрепление за ними чисто декоративных и церемониальных функций. Они мало чем влияли на реальную жизнь общества, но по-своему были все же важны. В «нормальный», а не «чрезвычайный» (военный, революционный) период жизни общества новое значение приобретает проблема легитимизации, легитимности, то есть члены общества, народ, интересуются, хотят знать, ждут ответа на вопрос, почему именно эти люди правят страной, решают их судьбы, кто их туда поставил, кто определяет путь, по которому они будут вести государственный корабль.

Из всех способов решения этой проблемы, известных истории (власть по праву наследования, власть от Бога, от идеи, от народа и т.д.), перед нами, пережившими опыт диктатуры класса, быстро ставшей диктатурой вождя, был открыт лишь один — власть тех, кого свободным волеизъявлением избрал народ. Сделать это по-настоящему, «взаправду» не были готовы ни наверху, ни внизу, да и самих механизмов для этого не существовало. Вот для этого и пригодились представительные органы и система голосования, созданные еще в годы культа личности в чисто декоративных целях.

Я был депутатом старого Верховного Совета СССР в течение трех созывов и знаю изнутри и его жизнь, и систему выборов. Впрочем, те, кто оставался «снаружи», тоже знают ее достаточно хорошо. Хочу рассказать лишь о некоторых ощущениях. Выдвижение (по сути — назначение) в Верховный Совет воспринималось как честь, признание твоих заслуг руководством (вроде ордена, почетного знания). Мне же, как и немногим другим, эта честь была оказана еще по одной причине. В годы разрядки наша страна начала развивать контакты и обмены по парламентской линии. И для них нужно было хоть какое-то количество людей, более или менее профессионально знающих вопросы международных отношений и внешней политики. Вот нескольких из них и выдвинули, включая меня. Так же, как я, начинали свою парламентскую карьеру Н.Н.Иноземцев, А.Н.Яковлев, Е.М.Примаков, а когда вышли на первый план проблемы сокращения вооружений — Е.П.Велихов и Р.З.Сагдеев.

Конечно, и в этом парламенте помимо встреч с иностранными делегациями оставалось какое-то поле деятельности, на котором депутат в зависимости от желания и готовности приложить силы мог себя проявить — пусть в «малых делах». Скажем, способствовать избирателям в решении местных проблем, помочь людям, несправедливо арестованным и осужденным, обиженным начальством, попавшим в беду. Я этому уделял большое внимание —

как-то, хоть в таких, как правило, дававшихся ценой больших усилий, делах ощущал, что выполняю свой гражданский долг. (Кстати, каждое успешное дело сразу приводило к увеличению числа обращений и просьб — среди обиженных существовала, видимо, своя система коммуникаций.) А также, конечно, был исправным лоббистом по социальным и экономическим вопросам своего избирательного округа — старался ускорить строительство школы или больницы, наведение моста, прокладку шоссейной или железной дороги.

К формированию же и обсуждению настоящей политики представительные органы, включая Верховный Совет, просто не допускались, а точнее — не приглашались. Иногда перед сессией тебе звонил кто-либо из аппарата и говорил: «Есть мнение, что вам стоит выступить». Также и перед заседанием Комиссии по иностранным делам, в которую я входил. И тут же присылали проект выступления (правда, следовать ему было необязательно). Для участников пленумов ЦК КПСС, кстати, процедура существовала сходная: перед Пленумом звонили, но только проекта речи не присылали, и уж если давали слово, ты был свободен говорить, что захочешь; но приходилось отдавать себе отчет о последствиях, если занесет «не туда», тем более что прецеденты погубленных карьер из-за непонравившегося выступления существовали.

Но декорум парламента, всеобщих выборов с тайным голосованием, представительных органов власти, так сказать, народовластия все же был налицо. Значит, соблюдались приличия, ну а главное — была все же легитимизация. И раньше или позже этот своеобразный парламент от имени избирателей, от имени народа делал своим «помазанником» настоящего лидера страны, того, кто был поставлен на этот высший пост партийной властью, — Генерального секретаря ЦК. Для этого Верховный Совет избирал руководителя партии либо Председателем Совета Министров (Сталин, Хрущев), либо Председателем Президиума Верховного Совета СССР, как это произошло с Брежневым, Андроповым, Черненко.

Жалкое существование представительных органов (у меня на глазах с середины семидесятых годов сессии Верховного Совета СССР становились все короче, а заседания комиссий собирались все реже) находилось в разительном контрасте с ускорившимся ростом и укреплением исполнительной власти. Непрерывно увеличивались число министерств и ведомств и их штаты. Это было видно невооруженным глазом по быстро растущему числу и размерам министерских зданий. Ими полностью заняли одну сторону Калининского проспекта.

Особенно быстро, масштабно, на широкую ногу расширялся комплекс зданий ЦК КПСС. Я еще, помню, в нем работал в то время, когда аппарат помещался в трех зданиях на Старой площади (одно выходило своим крылом на улицу Куйбышева). Потом он занял десятки зданий, освобожденных от других министерств и ведомств, перестроенных, возведенных во дворах, — словом, целый городок. И это лишь внешняя сторона очень существенного явления — невероятного роста в годы застоя партийного аппарата как в центре, так и на местах. Выросшего и по своей численности, и по своей роли.

Собственно, явление это не новое. Уже Сталин сделал партию из политического авангарда общества, которым она призвана быть согласно партийному Уставу, а потом Конституции, инструментом тотальной власти, проникающим во все регионы, на все уровни общественной жизни, на каждое предприятие, во все поры государства и общества. И тот факт, что Сталин для страховки, в том числе и от партии, создал еще и параллельную, почти столь же разветвленную структуру органов госбезопасности, дела не меняет. Партию, точнее — партийный аппарат, он рассматривал прежде всего как инструмент тотальной власти.

Но в семидесятых—восьмидесятых годах здесь произошли некоторые серьезные изменения. С одной стороны, власть, методы ее осуществления стали все же менее жестокими. Но, с другой, теперь она понималась уже не только как политическая власть, но и как инструмент не-

посредственного управления всем и вся, включая экономику, культуру, науку. Началась подмена партийными органами других, что неизбежно вело не только к дублированию, но и к снижению уровня квалификации в управлении, а также росту общей безответственности. Было принято нелепое решение о праве контроля со стороны парторганизаций за деятельностью администрации, по существу, шедшее вразрез не только с законом, но и с элементарным здравым смыслом.

Все это вместе взятое вело к еще большему снижению качества, уровня руководства. Ибо партийное руководство как раз отличалось тем, что как следует ни одной специальностью не владело. Старую, изначальную, с которой пришли в партийные «вожаки», люди давно забыли, от своей прошлой специальности отстали. А новая — она просто состояла в руководстве как таковом, чем угодно, но руководстве.

Система отбирала в основной массе (исключения, как всегда, были, но именно исключения) людей не очень способных, но послушных и честолюбивых, а потому малоразборчивых в средствах, не очень отягощенных абстрактными соображениями совести и морали. Представим себе конкретно, кто в эти годы шел на низовую (а начиналось с нее) работу в общественные организации, как правило, в комсомол. Едва ли самый лучший студент или молодой агроном, конструктор, журналист либо научный работник. Но именно там, внизу, он попадал на конвейер, который сам нес его все выше — от одной ступени к другой, вначале по лестнице комсомольской, а затем партийной иерархии.

А забраться можно было очень высоко. И до секретаря ЦК, и до министра, и до руководителя в науке и культуре. Не говоря уж об административных и правоохранительных органах.

Занявшись не своими делами, партия все меньше внимания уделяла собственным. Со временем даже партийные работники начинали в этом вопросе — что все-таки есть

чисто партийные дела? — все больше путаться. В повестке дня каждого заседания Секретариата или Политбюро ЦК насчитывалось несколько десятков вопросов — в основном мелких, хозяйственных или административных, внешнеполитических, военных, но не партийных. И в таком же количестве издавались длинные постановления, которые быстро забывались, редко проверялись и еще реже выполнялись. Один из главных пороков такого механизма управления — полная безответственность. Начиная с самого верха — кто, кроме двух-трех чиновников, знал хотя бы фамилию инициатора того или иного постановления? Тайной навсегда (даже для членов ЦК КПСС, допущенных к толстым томам протоколов Секретариата ЦК и Политбюро) оставалось, кто конкретно — и как — выступал «за» и «против». И ни разу никого за неверное решение не привлекли к ответственности.

В чем состоял смысл, где были движущие пружины неуемного роста управленческого аппарата, бюрократии в период, когда динамика развития экономики, других сфер общественной жизни начала затухать? Мне кажется — я об этом уже упоминал, — самое близкое к истине объяснение дает «закон Паркинсона», согласно которому в больших бюрократических структурах утрачивается связь с общественной целью, пользой, и они работают все больше на самих себя, на свой собственный рост и возвеличивание.

В период застоя это обнаружилось с особой очевидностью. Он, этот период, означал райскую эпоху, настоящий «золотой век» аппарата, бюрократии. Сталин ее время от времени «прореживал» путем безжалостных репрессий. Хрущев ее перетряхивал, часто сменяя людей на руководящих постах, проводя бесконечные реорганизации. Брежнев провозгласил лозунг «стабильности» и был ее воплощением, олицетворением, если понимать под стабильностью неподвижность, отсутствие перемен.

Ответственные посты стали в принципе пожизненными, а бюрократы — несменяемыми. Очень многие секретари обкомов, министры, ответственные работники

партийного и советского аппарата занимали свою должность по пятнадцать—двадцать лет. Изобреталась изощренная техника увода самых бездарных, безнадежных, полностью провалившихся работников от ответственности. Секретаря обкома, например, если были основания ждать неприятностей на очередных выборах в области, отзывали, скажем, на должность инспектора в Отдел оргпартработы ЦК КПСС, а через два-три года рекомендовали (фактически назначали) секретарем в другую область. Из министерства в министерство перебрасывали несостоятельного министра либо «под него» создавали какое-то новое министерство. А совсем провалившимся находили или создавали синекуру, часто направляли в какую-либо страну послом.

Ответственные работники, высший эшелон номенклатуры в годы застоя таким путем окончательно выделились в особую касту (как и работники республиканского, областного и районного масштабов в свои «малые» касты). Это было нечто вроде дворянства. Пожизненного, связанного с почетом, высоким по нашим стандартам жизненным уровнем и изрядным набором разнообразных привилегий (в снабжении, обеспечении жильем, лечении и отдыхе, даже похоронах). Это была настоящая каста, все больше отделявшаяся от общества: она изолированно жила, лечилась, отдыхала, в ней часто образовывались семейные, клановые узы — ведь дети вместе проводили время, знакомились, нередко женились. Мало того, именно в годы застоя был сделан и следующий логический шаг — попытались создать систему передачи власти или хотя бы привилегий по наследству. Через систему привилегированного образования, а затем и назначений и выдвижений по службе. Пример дали руководители: сын Брежнева стал заместителем министра внешней торговли, а муж дочки — первым заместителем министра внутренних дел. Да разве Брежнев был в этом одинок? Конечно, мы не дошли до того, что в совсем карикатурной форме потом было сделано кланом Чаушеску в Румынии. Но

то, что образовалась привилегированная каста, не вызывает сомнений.

Другой вопрос, что неверно связывать это, как и вообще неоправданные привилегии, с Брежневым и периодом, когда он стоял во главе страны. Началось это и приобрело широкий размах много раньше — еще при Сталине.

Конечно, аскетизм многих старых большевиков и партмаксимум — не миф, а реальность первых послереволюционных лет. Но фанатичный порыв революционеров-идеалистов — это не система. Сама бедность общества делала привилегии практически неизбежными. Особые пайки для ответственных работников появились очень рано (известно, что в связи с Кремлевкой и в оправдание ей рассказывали сентиментальную историю о случившемся на заседании Совнаркома голодном обмороке наркомпрода Цурюпы, после которого, как утверждают, по указанию Ленина была создана «столовая лечебного питания» — этим названием маскировался продовольственный «спецпаек», просуществовавший до 1988 года). А жилье им поначалу предоставлялось в Кремле и в так называемых домах Советов — в Москве их было несколько: на улицах Грановского, Коминтерна (нынешний Калининский проспект) и ряде других, не говоря уж о Доме правительства, описанном Ю.Трифоновым в повести «Дом на набережной». И было это жилье не слишком роскошным, но несравненно лучшим, чем у других. Тогда же появились дачи (с обслуживанием), для начальства поменьше — дачные поселки. И особые поликлиники, больницы, дома отдыха и санатории, а также, конечно, персональные автомашины.

Уже в тридцатые годы все это сложилось в цельную систему. Со своей иерархией: члены Политбюро, кандидаты, секретари ЦК, члены ЦК, наркомы, начальники главков и т.д. — каждая категория имела свой набор привилегий. Круг имевших их был до войны довольно узок, но сами привилегии были весьма значительными, особенно в сравнении с тем, как жил народ. А у самой верхушки — даже поражавшие воображение. Помню, один из моих одно-

классников регулярно бывал с родителями на даче у Яна Рудзутака, близкого друга его отца; от его рассказов о том, что там было, как кормили, как развлекались, я просто обалдевал.

Во время войны экономические и социальные различия да и абсолютный объем привилегий для тех, кто был наверху, разительным образом возросли. Особенно к ее концу, когда появились «трофеи» и наладилась американская помощь (немалая ее доля — знали это организаторы ленд-лиза или нет — шла на подкармливание начальства). А карточная система была доведена до крайней степени изощренности. Хочу это особо подчеркнуть, так как наши популисты рассуждают о карточках как чуть ли не о вершине социальной справедливости. Карточки были разных категорий. И не только иждивенческая, для служащих и рабочая, но и специальные, нескольких категорий, для начальства — так называемые литерные. В дополнение — система ордеров и талонов на разные товары. Ордера на водку, например, служили тогда наиболее устойчивой валютой. Но были ордера также на промтовары. Спекуляция получаемыми по ордерам водкой, отрезами, обувью и другой всячиной стала почти что частью нормального образа жизни семей ответственных работников. Все больше начала выделяться верхушка генералитета. Некоторые генералы зарвались настолько, что даже смотревший на это разложение сквозь пальцы Сталин их одернул, а нескольких велел арестовать. Это был настоящий «пир во время чумы», ибо народ бедствовал, жил, по существу, в нищете, недоедал. На первый взгляд, абсурдно, но факт — отмена карточек ухудшила материальное положение широкого круга номенклатуры, уменьшила ее привилегии.

Но вскоре привилегии вновь начали расти. В разных видах: почти бесплатного пользования дачами, персональных машин, бесплатных завтраков, бесплатных (или оплачиваемых чисто номинально) обедов, пребывания в выходные дни в домах отдыха, больших дотаций за путевки в дома отдыха и санатории, «лечебных денег» (выдаваемого

при уходе в отпуск лишнего месячного оклада). Но вершиной всего в сталинские времена стали так называемые пакеты, то есть приплата к заработной плате ответственных работников — она могла составлять от нескольких сот до многих тысяч рублей (тогдашними деньгами) в зависимости от должности. И выдавалась в конверте («пакете»), тайком, не облагалась налогом и даже не учитывалась при уплате партийных взносов. Министр, например, вместе с зарплатой получал тогда более 20 тысяч рублей, что соответствовало с учетом реформы 1960 года сумме, превосходящей две тысячи. Если учесть инфляцию и отсутствие налога, то это раза в два больше оклада, установленного в свое время для Президента СССР. Соответственно получали и чины поменьше. Ко всему этому добавлялись «безденежные» привилегии.

Это была, я убежден, сознательная политика Сталина, направленная на подкуп верхушки партийного и советского аппарата, втягивание ее в своего рода круговую поруку, линия на то, чтобы с помощью прямого подкупа и внедрения боязни вместе со служебным постом потерять привилегии обеспечить абсолютное послушание чиновничества и его активное служение культу личности.

Таких привилегий начальству разных рангов, какие существовали к моменту смерти Сталина, наша страна после революции не видела никогда. Другой вопрос, что о них меньше говорили да и меньше знали. Отчасти потому, что многие из них были настоящей тайной, за разглашение которой могли строго наказать (к числу таких тайн относились «пакеты»). Отчасти потому, что численность чиновников, пользовавшихся привилегиями, была все-таки заметно меньшей, чем позднее. Как и численность людей, пересекавших в обоих направлениях границу между теми, кто «имеет» и кто «не имеет» (привилегий). Разжалованных часто арестовывали. А если и нет — они молчали. Попасть же наверх было очень трудно. А те, кто там оказывался, вели, как правило, очень замкнутый образ жизни. И тоже помалкивали.

Потому первый поход против привилегий был начат Н.С.Хрущевым без всякого давления снизу, по его собственной инициативе. Когда я пришел в аппарат ЦК (в 1964 году), старые работники все еще не могли успокоиться, оправиться от шока, который вызвала ликвидация части привилегий (по аналогии с вошедшими для того поколения в политграмоту «10 сталинскими ударами» 1943—1944 годов их в аппарате назвали «10 хрущевскими ударами»). Лишили тогда ответственных работников многого: «пакетов», бесплатных завтраков, большой круг людей — бесплатных дач и персональных машин. Но немало и осталось. И, насколько я знаю, с тех пор к привилегиям, оставшимся от Сталина, ничего не добавляли.

Я, конечно, имею в виду официальную сторону дела, а не то, что получали в силу скрытых или явных злоупотреблений служебным положением (барские охоты, гостевые особняки, подарки и т.д.), а тем более коррупции. И, кроме того, конечно, при Хрущеве, а затем при Брежневе непрерывно росло число получателей разных благ, поскольку рос аппарат, пользовались этими привилегиями бесстыдно, даже нагло, нередко строя особняки, гостевые дома, «служебные» гостиницы, санатории и дома отдыха с невероятным расточительством, нелепой и притом безвкусной роскошью.

Однако пора от всегда соблазнительной для автора, но уже изрядно исхоженной темы о жизни «верхов» вернуться к менее занимательным, но не менее важным вещам. Я хотел бы поговорить о том, что тоже составляет важную часть политической надстройки, и прежде всего государства, — об аппарате. В первую голову о том аппарате, который сейчас, имея в виду его функцию в правовом государстве, называют правоохранительным.

Этот аппарат зарождался в годы революции и «военного коммунизма», Гражданской войны, острой внутренней борьбы, когда советское правительство откровенно, ни от кого этого не скрывая, действовало методами диктатуры, временами прибегая к тоже открыто провозглашавшемуся

«красному террору». Нормальное уголовное законодательство, нормальная юстиция, нормальная служба охраны правопорядка (милиция) начали создаваться в те же годы, когда экономика переходила на рельсы НЭПа и было осуществлено радикальное — от многих миллионов до 500 тысяч — сокращение армии. А перед внешней политикой была поставлена цель обеспечить мирную передышку (на большее тогда не рассчитывали) и взаимовыгодное сотрудничество с другими странами.

Но далеко в правоохранительной сфере тогда не пошли. А вскоре начался противоположный процесс — создание огромного аппарата политической полиции и внесудебных средств и методов наказания (хотя и суды, по существу, были послушным инструментом административной власти и произвола). Открытые политические процессы (потом оказавшиеся липовыми) конца двадцатых — начала тридцатых годов, зловещие 1937—1938 годы, раскулачивание, депортации целых народов и следовавшие одна за другой вплоть до смерти Сталина волны беззаконий и репрессий были составными частями этого процесса. Так же как использование карательных органов, судов, уголовных наказаний, тюрем и лагерей в качестве инструмента административно-командной экономики (труд заключенных, использование уголовного принуждения для обеспечения трудовой дисциплины — суровые уголовные наказания за «кражу» голодными крестьянами горстки колосков или ведерка картошки, за опоздание на работу более чем на 21 минуту, за выпуск некачественной продукции, за сверхнормативные запасы тех или иных видов сырья и материалов на предприятиях и т.д.).

После смерти Сталина и особенно после XX съезда КПСС машина политических репрессий была если не остановлена, то резко заторможена. Одновременно началась и известная либерализация карательной практики. Но машину саму — ее правовые, нормативные и практические компоненты — не разрушили. Пусть в небольшом числе и без большой огласки (иногда даже секретно) полити-

ческие репрессии, как и беззакония, акты произвола под видом наказаний за уголовные преступления у нас не прекращались — ни в годы, когда партией и государством руководил Хрущев, ни в годы, когда политическим лидером стал Брежнев. О радикальной правовой реформе, о создании правового государства заговорили лишь в годы перестройки (пока, в момент, когда пишутся эти строки, к сожалению, дальше разговоров дело не пошло)...

Но я не собираюсь, да и не считаю себя для этого достаточно компетентным, воспроизводить всю историю послереволюционной карательной политики и правоохранительной (понимаю, насколько не подходит здесь это слово) практики в нашей стране. Это, так сказать, введение нужно мне лишь для того, чтобы рассказать о том, что в этой области происходило в годы, заслуженно называемые нами периодом застоя.

Естественно, что консервативная политика — политика, нацеленная на предотвращение перемен, — требует более активного использования карательного аппарата, аппарата подавления. И это произошло. В какой-то мере в прямой форме — людей судили, только уже не по 70-й, а по статье 190-прим УК РСФСР за разные виды антисоветской деятельности, чаще всего пропаганду, клевету и т.д., давали сроки, отправляли в лагеря или в ссылку. Но, конечно, после XX и XXII съездов КПСС, после разоблачений сталинских преступлений и ГУЛАГа практиковать политические репрессии в широких масштабах руководство не хотело. Не хотел этого и Брежнев, помня о том, как воздала история за эти преступления Сталину. Тем более это относится к Андропову, который, возглавляя в эти годы КГБ, отнюдь не хотел быть поставленным потом на одну доску с Берией или Ежовым. И хотя со стороны отдельных членов Политбюро, как мне он не раз жаловался, напор такой был — «сажать надо!», «до каких пор можно терпеть!» и т.д., — все же тогдашнее руководство страной проявляло осторожность и на массовые репрессии себя толкнуть не дало.

Я потом думал, что дело здесь было даже не только в личных качествах тех или иных лидеров или соотношении сил в руководстве. Массовые репрессии становятся возможными, тем более вероятными или неизбежными, при определенном состоянии умов, определенных настроениях и эмоциональном настрое масс. Они кого-то или что-то должны яростно ненавидеть, а в кого-то и во что-то неистово верить. Ни того, ни другого, по-моему, в годы, когда страной руководил Брежнев, не было. Хотя искусственно такие кампании народного гнева и после смерти Сталина не раз пытались организовать — и против Б.Л.Пастернака, и против художников-модернистов, и против Солженицына, и против Сахарова. Но душа у них была, что называется, «вынута».

До массовых политических репрессий, таким образом, дело не дошло. Но репрессивная политика и ее аппарат получили новые импульсы развития. При этом массовые аресты время от времени производились — в наказание или для острастки. Но так, что широкая общественность не видела в этом ничего страшного, увы, часто даже считала естественным и нормальным.

Однако политика противостояния, сопротивления вызревающим и перезревающим переменам все же неумолимо требует достаточно эффективных, значит, распространяющихся на более широкий круг людей мер принуждения и запугивания. Как выяснилось, угрозы партийных взысканий и исключения из партии коммунистов и угрозы лишить работы, средств к существованию беспартийных было недостаточно. Нужно было что-то, находящееся между этими административными мерами и массовыми репрессиями сталинских времен. В выработке этих новых мер принуждения, надо сказать, была проявлена немалая изобретательность.

Народились диссиденты как социально-политическое явление, и появился весь набор средств, применяемых против них: социальная изоляция, искусная, организованная специалистами этих дел клевета, целеустремленные

попытки полностью скомпрометировать человека, «психушки», высылка за рубеж и лишение гражданства. Не говоря уж об арестах и осуждениях, тоже применявшихся, но, как отмечалось, все же в ограниченных масштабах.

Как конкретно использовался весь этот набор средств расправы и устрашения, я рассказывать не буду. И потому, что не очень много знаю. И потому, что эти неприглядные страницы нашей недавней истории сейчас все более полно описываются жертвами и очевидцами.

«Новые», изощренные репрессивные меры касались более широкого круга людей, чем угроза прямых судебных расправ. И в какой-то мере оказались на время эффективными, хотя, в конечном счете, стоили они нам достаточно дорого, особенно — это было очевидно всем — в смысле нашей международной репутации, отношения к Советскому Союзу, доверия к нему и его политике со стороны мировой общественности. Репрессии как традиционного, так и «усовершенствованного» типа способствовали нагнетанию негативных представлений о Советском Союзе, формированию «образа врага». Что всегда было важным, даже ключевым компонентом политики «холодной войны». Ее можно было начать и в течение десятилетий поддерживать в качестве станового хребта всей системы отношений только при одном условии — если верили в существование вызывающего страх, а по возможности и отвращение противника. Страх достаточно большой, чтобы люди готовы были платить баснословные деньги за гонку вооружений, идти на риск войны, даже поступаться самостоятельной политикой, своим суверенитетом. Это состояние страха точно передает выражение, получившее на Западе распространение на многих языках: «Лучше быть мертвым, чем красным».

Я, конечно, не списываю со счетов последствия враждебной нам пропаганды. Ее вклад в рост недоверия к нам, страха, даже ненависти был всегда велик, и мы, как правило, не очень умело отражали эти пропагандистские атаки. Но сводить к этому дело нельзя. Тем более что, не имея причин или хотя бы поводов, никакая пропаганда не может

быть эффективной. Мы такие причины и поводы создавали. В этом смысле внутренняя и внешняя политика действительно неразрывно связаны.

Кампания против диссидентов, конечно, непосредственно затрагивала очень небольшой круг людей. Но опосредованно она не только имела заметное негативное воздействие за рубежом, но и отравляла политическую атмосферу в стране, ухудшала и без того тягостное положение в культуре, в общественной мысли, в общем настрое интеллигенции, всех думающих людей. Они не могли воспринять это иначе как возрождение, пусть в смягченной форме и в более ограниченных масштабах, сталинистской практики политического сыска, запугивания и давления.

Для немногих, даже не ставших прямыми жертвами преследования, борьба с диссидентами означала серьезные личные травмы. Обычной практикой стало понуждение видных ученых и деятелей культуры подписывать письма с резкой критикой попавших в немилость деятелей науки, писателей и художников. Отказавшихся подписать ожидали неприятности — иногда это было равнозначно их первому шагу к опале. Согласившихся — презрение коллег и друзей. Многие ломались, теряли себя. Не хочу никого ни оправдывать, ни осуждать — каждый случай конкретен. Но вся эта практика еще больше отравляла общественную атмосферу, отношения между людьми.

Дело, однако, не в одних моральных мучениях и издержках. Хотя непосредственной мишенью антидиссидентской политики были сотни, может быть, тысячи людей, их выявление и преследование потребовали активизации всей деятельности органов, называемых «тайной полицией»: внедрения во многие ячейки общества дополнительной агентуры, собирания и поощрения доносов, перлюстрации переписки, подслушивания телефонных разговоров. Это не могло пройти незамеченным: подслушивания, подглядывания, доносов начинали опасаться все, включая весьма высокопоставленных людей, — обоснованно или нет, в данном случае не так уж важно. Для таких страхов, навер-

ное, были веские основания. Несколько довольно известных наших журналистов — как ходили слухи, — говоривших что-то «не то» (скорее всего, лично о Брежневе — это было самое опасное) и попавших, как это называли, «под технику», тут же были уволены с работы. То же самое, рассказывали, произошло с ответственными работниками КГБ. По доносу насчет «неортодоксальных» разговоров был отправлен на пенсию уважаемый всеми, кто его знал, ректор важного партийного высшего учебного заведения Ф.Д.Рыженко.

Но дело даже не в отдельных случаях — они лишь подтверждали то, что люди подозревали: обстановка усложняется, надо помалкивать, быть осторожным с окружающими. И здесь нельзя винить одни лишь органы безопасности. Научного сотрудника института, который я возглавлял, И.Кокарева уже приготовились исключать в райкоме из партии (по указанию МГК) за то, что в лекции об искусстве он с похвалой отозвался о Владимире Высоцком и написал для самодеятельного спектакля в школе, где учился его сын, немудрящую пьеску, где этот прекрасный артист, поэт и певец то ли упоминался, то ли цитировался. Потребовались усилия и несколько очень неприятных, жестких разговоров, чтобы сорвать эту расправу (и то удалось это, скорее всего, только потому, что в МГК опасались, как бы вопрос не был вынесен «на самый верх», а там окажется, что они снова не угадали).

Да, собственно, вели так себя и в высшем руководстве партии. Как-то в разгар переговоров о Соглашении по ОСВ-2 двое моих сотрудников дали американской газете интервью, где высказали предположение о возможном компромиссе, притом просто случайно (ведь они, специалисты, знали дело) практически угадали нашу новую, тогда еще резервную позицию. Это вызвало бурную реакцию на заседании Политбюро — мол, произошла «утечка» информации, образовали комиссию в составе Устинова, Андропова и секретаря ЦК КПСС Зимянина. И хотя никакой «утечки» не обнаружили, просто так, за «лишние» слова,

несмотря на все мои протесты, заставили этих людей с работы уволить (единственное, что мне удалось, — оттянуть это на год).

В те же годы корреспондент «Комсомольской правды» в США А.Пумпянский статьей, в которой упоминалось, что в США насчитывается 100 тысяч миллионеров, вызвал неистовый гнев М.В.Зимянина и был срочно отозван из страны и уволен с работы.

В годы застоя в нашу практику наряду с усилением политических гонений вошло и использование карательного аппарата для расправы просто с неугодными местному начальству (прежде всего секретарям обкомов, горкомов и т.д.) людьми. И с их личными противниками, и с их критиками, и просто с теми, кто бросал застою, существующему порядку вещей вызов самой своей деятельностью, желанием что-то изменить, найти неординарное решение проблем. Ибо успех такого человека мог быть понят как однозначно негативная оценка, приговор безделью, неверным решениям, плохой работе окружающих. И потому его пытались укоротить, подровнять по ранжиру или затоптать. Когда нет правового общества и государства, когда и следствие, и прокуратура, и суд послушны, начальство и его мнение перевешивают силу закона, это сделать несложно. Вот так появлялись дела председателей колхозов Худенко, Снимщикова, Стародубцева и Белоконя, директоров предприятий Чебанова из Черкасс, Чебаненко из Горького, выдающихся ученых и изобретателей, например, эстонца Хинта. Дела, конечно, фабриковались в основном уголовные, а не политические. И слепить их при нашем противоречивом законодательстве и послушных следствии и суде не составляло большого труда.

Распространение такой практики разлагало правоохранительные органы. Пора застоя была для них периодом глубокого кризиса. Снижался профессиональный уровень. Зато усиливалась коррупция.

В общем, упадку экономического базиса соответствовало и состояние политической и правовой надстройки. На

глазах происходил распад управления общественными делами. Со стыдом приходилось себе признаваться, что для мира мы являли собой картину интеллектуальной немощи как во внутренней, так и во внешней политике. Уровень руководителей неуклонно снижался. Ибо сложившиеся политические механизмы не обеспечивали настоящего естественного отбора. Действовал какой-то «естественный отбор наоборот», выдвигавший людей посредственных, слабых, часто бесчестных. Важные решения принимались в очень узком кругу малоквалифицированных людей, нередко на основе непроверенной, неверной и неполной информации. В дополнение ко всему руководители на глазах дряхлели.

Культура, идеология, общественная мысль

Все отмеченные выше процессы в полной мере дали себя знать в духовной жизни общества. В смысле не только политических, но и идеологических репрессий мы, конечно, знавали в своей многострадальной истории и худшие времена. Но была одна черта, делавшая эту полосу жизни — интеллектуальной жизни — особенно неприятной. Мы стали умнее, и люди уже не были настолько забиты, запуганы, чтобы не видеть, не понимать того, что происходит. И потому, хотя жизнь была безопаснее, чем при Сталине, а в чем-то и при Хрущеве, на душе бывало особенно тошно. Ну просто невыносимо трудно было поверить в то, в чем интеллигенцию, народ старались убедить — что И.Стаднюк или М.Алексеев выше Солженицына, а Трапезников или Федосеев умнее и честнее Сахарова. Ведь люди уже пережили стыд от того, что позволили вбивать в свои головы директивные поучения: якобы «Девушка и смерть» Горького «штука посильнее», чем «Фауст» Гете, а Лысенко — куда гениальнее и Вавилова, и Менделя, и Моргана. И еще одно — не было прежней веры, что руководство все понимает правильно, ну а если чего и не видит либо кто-то его обманул, то стоит открыть ему глаза, как все встанет на

свои места. И, наконец, у очень многих уже начала иссякать надежда, что все может все-таки встать на свои места.

Потому у интеллигенции преобладало плохое настроение в сочетании с цинизмом. Доля того и другого у каждого была индивидуальной — в зависимости от характера, личных обстоятельств (везло или нет), степени идеологической убежденности, а подчас и наивности. Но при этом оставалось немало людей, которые продолжали бороться — упорно, за каждую «пядь земли», пусть без большой надежды на победу, но чтобы не допустить поражения или хотя бы его оттянуть.

Однако были и такие, кто бороться перестал. Или сменил фронт, пришел к выводу, что драться надо не за улучшение системы, а против нее. Я не был согласен с ними. Но сегодня не хочу их осуждать. Тогда казалось, что первых от вторых отделяет глубокая пропасть. Уже в годы перестройки как будто начало выясняться, что и через эту пропасть нередко, хотя и не всегда, можно навести мосты.

Но это, так сказать, внутренний мир, переживания и ощущения современников. Что касается реальности, то многие ее стороны так хорошо известны, что я даже не решусь что-то добавить — о литературе и искусстве, в частности, о кинематографии, где многие были затоптаны или замолчаны, другие говорили не своим голосом, а третьи покинули страну.

В общественных науках застой означал не топтание на месте, а заметные подвижки вспять. Я говорил уже в связи с этим о положении в исторической науке и социологии. В начале восьмидесятых годов усилилось наступление консерваторов и в экономической науке.

Однако в обществоведении еще сохранились (в начале книги я писал — «начали появляться») «оазисы» творческой мысли. Но все большее их число оказывалось в осаде, например, институт Аганбегяна в Новосибирске. И определенные трудности переживал Институт мировой экономики и международных отношений АН СССР.

О последнем я хотел бы рассказать несколько подроб-

нее. Зубы на этот институт точили давно. И не только потому, что там работало немало творческих, прогрессивных ученых. Институт и его тогдашний директор академик Н.Н.Иноземцев были ближе, чем многие другие, к политике, к людям, которые ее формировали. А потому казались консерваторам особенно опасными.

Но по-настоящему крупные неприятности разразились «под занавес» застоя — в 1982 году.

В самом начале года приключилась первая неприятность — был арестован заместитель директора ИМЭМО по хозяйственной части. Одновременно в институте начала работать комиссия по проверке хозяйственной деятельности. Вроде бы дело хоть не совсем обычное, но чисто хозяйственное, а не политическое. Вскоре стало известно, что расследуется вопрос о судьбе старой мебели, оставленной при переезде из старого здания в новое. Поскольку закон (странный, надо сказать, закон) запрещал ее реализовывать, то есть продать, кому-то отдать и т.д., то ее по акту уничтожали. А вот теперь возникли сомнения, не присвоил ли ее кто-то из руководства института.

В общем, это выглядело бы как рутинное дело, если бы расследованием не занимался следователь по особо важным делам прокуратуры (то ли союзной, то ли республиканской). Но никакого «компромата» на руководство института добыть не удалось, дело прекратили, заместителя директора освободили, он вернулся к исполнению своих обязанностей.

Вскоре, однако, выяснилось, что это был только пролог. Весной органы КГБ арестовали двоих молодых научных сотрудников института — Фадина и Кудюкина. Они входили в группу, занимавшуюся, в частности, распространением листовок, в которых критиковалась наша официальная версия событий в Польше, сочувственно оценивалась деятельность «Солидарности» и т.д., словом, по тогдашним понятиям, были диссидентами. Их обвиняли также в несанкционированной встрече с секретарем одной из латиноамериканских компартий, в ходе которой они «с диссидент-

ских позиций» оценивали положение в СССР и политику советского руководства.

Арест диссидентов — сотрудников академических институтов не был в те годы таким уж из ряда вон выходящим событием. Обычно каких-либо тяжелых последствий для институтов и их руководителей такие случаи не влекли. Совершенно иной, беспрецедентный резонанс приобрело дело сотрудников ИМЭМО. Для проверки деятельности института была образована партийная комиссия во главе с членом Политбюро В.В.Гришиным. В комиссию входили секретарь ЦК Зимянин, ряд ответственных работников ЦК и МГК КПСС. Работа комиссии явно преследовала цель ошельмовать деятельность института и его директора. Она «изучала» все — личные дела сотрудников, научную продукцию института, беседовала с членами дирекции и парткома, руководителями подразделений. Всем им задавались вопросы, можно ли считать происшедшее случайным, как они оценивают идеологическую обстановку в институте.

В документе, подготовленном комиссией, а также на организованной ею встрече с активом института (документ только зачитали, в руки его никому не дали) были предъявлены обвинения в идеологическом провале, в засоренности кадров (в том числе за счет «сионистских элементов»), в том, что своими материалами институт дезориентировал руководство страны относительно процессов, происходящих в мире. На встрече с активом заведующий сектором экономических наук Отдела науки ЦК М.И.Волков заявил, что институт «хвалят враги» (имелся в виду уважительный отзыв об ИМЭМО в одном из органов американской прессы). В кулуарных беседах партийные работники (в частности, секретарь Севастопольского РК КПСС Пономарев) советовали руководителям парткома института признать все обвинения, «спасти таким образом свои шкуры».

Н.Н.Иноземцев тяжело переживал происходящее. У него резко ухудшилось здоровье; он все больше жил на сердечных лекарствах. Болезнь, плохое самочувствие, мне ка-

жется, повлияли и на его поведение — он был довольно пассивен, не пошел на решительную борьбу, хотя его хорошо знали и ему верили многие представители руководства, включая Брежнева. На заключительном заседании комиссии в ЦК КПСС (председателем ее был Гришин — читатель скоро увидит, почему я это снова подчеркиваю) Иноземцев, как рассказывали участники заседания, вообще не выступил, а выступивший секретарь парткома В.Н.Шенаев отверг многие из обвинений. На этом заседании Зимянин бросил реплику: «Дело обстоит еще хуже, чем мы думали. Вы так ничего и не поняли».

В общем, дело развертывалось по классическим старым канонам, что, надо сказать, поражало многих, включая и меня (я уговаривал Иноземцева идти к Брежневу, Андропову, даже Суслову, сам вопреки его желанию поговорил с Юрием Владимировичем). Летом обстановка вокруг института несколько разрядилась; может быть, какую-то роль сыграло возвращение в ЦК КПСС (в мае 1982 года) Андропова. Каких-либо оргвыводов в отношении дирекции и парткома сделано не было. Иноземцев был вскоре даже включен в состав делегации Верховного Совета СССР, приглашенной в Бразилию, потом в связи с болезнью руководителя делегации ему было поручено сделать отчет о ее работе на заседании Политбюро. Отчет прошел хорошо, и на этом, считал я тогда, вся эта история закончилась.

Но издержки для института были значительными. Был существенно подорван его политический авторитет. Резко ухудшилась обстановка в коллективе. Были наказаны руководители отделов, секторов и первичных парторганизаций тех подразделений, в которых работали арестованные сотрудники, — им вынесли на основе далеко идущих политических обвинений (опять «проигрывались» старые сценарии) партийные взыскания, а известный латиноамериканист К.Л.Майданик, возглавлявший группу, где работал Фадин, и участвовавший в организации встречи с секретарем зарубежной компартии, был исключен из партии на бюро Севастопольского РК КПСС (МГК КПСС, правда,

впоследствии не утвердил этого решения). Наряду с ними в жертву принесли и других сотрудников, в отношении них были организованы преследования вплоть до увольнения из института.

После скоропостижной кончины — в результате сердечного приступа — Н.Н.Иноземцева в августе 1982 года (я да и врачи, с которыми я говорил, видим между травлей института и смертью его директора прямую связь) была сделана еще одна попытка возобновить атаку на ИМЭМО. В МГК КПСС возник план роспуска парткома института и замены его секретаря, начала новой проработки руководства и коллектива. Этот план был близок к осуществлению.

Помню, во второй половине октября, в одно из воскресений, мне позвонил домой близкий друг, работавший в ИМЭМО, и сказал, что на следующий четверг по требованию горкома назначено партийное собрание, которое работники Отдела науки ЦК КПСС и МГК хотят превратить в шумный проработочный спектакль, настоящий разгром института. Я в это время работал за городом (домой приезжал лишь на выходной) в группе, которая готовила материалы к очередному Пленуму ЦК, посвященному плану и бюджету на следующий год, в той самой группе, в которую неизменно приглашали — до его смерти — и Н.Н.Иноземцева. Я в понедельник рассказал обо всем товарищам, и у нас с А.Е.Бовиным созрел план: попытаться во время намеченного на следующий день первого обсуждения материалов у Брежнева поговорить с ним обо всем этом деле — если, конечно, состояние здоровья Генерального секретаря будет таким, что с ним можно будет всерьез разговаривать.

Во вторник (числа точно не помню, но в память запало, что было это за два дня до партсобрания в ИМЭМО) встреча с Брежневым состоялась, самочувствие его было неплохим, и в конце деловой части разговора мы с Бовиным попросили уделить нам несколько минут, как мы сказали, «по личному вопросу». После этого участвовавшие во встрече Г.Э.Цуканов и Н.В.Шишлин вышли, и мы рассказали

Брежневу о неприятностях, которые обрушились на Иноземцева и, видимо, ускорили его смерть, и о том, что на послезавтра намечено партийное собрание, где постараются испачкать и память о нем, а также планируют учинить погром в институте.

Брежнев, для которого, судя по его реакции, это было новостью, спросил: «Кому звонить?» Мы, посовещавшись, сказали — лучше всего, наверное, Гришину, который был председателем партийной комиссии, расследовавшей это дело, тем более что и директива о проведении партсобрания исходила из МГК. Сделав нам знак, чтобы мы молчали, Брежнев нажал соответствующую кнопку «домофона» (так называли аппарат, соединявший его с двумя-тремя десятками руководящих деятелей; притом трубку брать не надо было, аппарат был оснащен как динамиком, так и микрофоном). Тут же раздался голос Гришина: «Здравствуйте, Леонид Ильич, слушаю вас».

Брежнев рассказал ему, что слышал (источник он не назвал) о том, что какое-то дело было затеяно вокруг ИМЭМО и Иноземцева, даже создана комиссия по расследованию во главе с ним, Гришиным. А теперь по указанию МГК планируется партсобрание в этом институте, где будут посмертно прорабатывать Иноземцева, разбираться с партийной организацией и коллективом. «Так в чем там дело?» — спросил он.

Последовавший ответ был, должен признаться, таким, какого мы с Бовиным, проигрывая заранее все возможные сценарии разговора, просто не ожидали. «Я не знаю, о чем вы говорите, Леонид Ильич, — сказал Гришин. — Я впервые вообще слышу о комиссии, которая якобы расследовала какие-то дела в институте Иноземцева. Ничего не знаю и о партсобрании».

Я чуть не взорвался от возмущения, переполненный эмоциями, открыл рот для реплики, но Брежнев приложил палец к губам. И сказал Гришину: «Ты, Виктор Васильевич, все проверь, если кто-то дал указание прорабатывать покойного Иноземцева, это отмени и потом мне до-

ложишь». И добавил несколько лестных фраз об Иноземцеве.

Когда он отключил «домофон», я не смог удержаться от комментария — никогда, мол, не думал, что члены Политбюро могут так нагло лгать Генеральному секретарю, притом что правду было легко выяснить, разоблачив обман. Брежнев в ответ только ухмыльнулся. Что значила эта ухмылка — не знаю. Возможно, он считал такие ситуации в порядке вещей. С этой встречи мы с Бовиным ушли со смешанным чувством. С одной стороны, были рады, что удалось предотвратить плохое дело. А с другой — были озадачены ситуацией наверху и моральным обликом некоторых руководителей, облеченных огромной властью.

Что касается Фадина и Кудюкина, то они после окончания следствия в 1963 году были без суда (вот так!) помилованы Президиумом Верховного Совета СССР за «помощь, оказанную следствию».

Но я отвлекся. Почему консервативные деятели так злобно, даже яростно обрушились на ИМЭМО? Это совершенно понятно. Когда ставилась задача отвернуться от реальностей, игнорировать их, потому что реальности требовали радикальных перемен в нашей экономике, внутренней и внешней политике, в наших подходах к духовной жизни общества, к окружающему миру, надо было заставить замолчать тех, кто все время о необходимости перемен напоминал. Отсюда гонения на экономистов из Новосибирска и Экономико-математического института в Москве, так же как на молодую, только встающую на ноги советскую социологию, критика, преследования в разной форме немалого числа советских специалистов, ученых. Отсюда и попытки лишить авторитета и влияния, опорочить, по возможности разгромить такой крупный исследовательский центр, как ИМЭМО.

К этому времени, как и двадцать лет назад, творческая общественная мысль могла развиваться лишь в отдельных «оазисах». Мы к этому вернулись. А точнее сказать, с конца пятидесятых — начала шестидесятых годов от этого по-

ложения дел так по-настоящему и не ушли. И они, эти «оазисы», стали почти такими же излюбленными мишенями для атак консерваторов от общественной науки, как журнал «Новый мир» для атак консерваторов от литературы.

Именно по этим причинам у меня ни тогда, ни сейчас не было сомнений, в том, что после ИМЭМО и Иноземцева следующим объектом атак станут Институт США и Канады АН СССР и лично я. Собственно, нападки уже начинались. А в январе 1982 года я узнал, что на Секретариате ЦК меня (за мои статьи) и институт с большим раздражением критиковал М.А.Суслов. Видимо, в аппарате усиленно подбирали ключи...

Я надеюсь, читатель не сочтет за нескромность с моей стороны то, что я причислил к «оазисам» творческой мысли институт, который возглавлял со дня его основания. Понимая всю щепетильность ситуации, все же решусь ниже коротко рассказать об Институте США и Канады. И в этом, мне кажется, есть смысл. Ибо новое политическое мышление, новые экономические и социальные идеи, вошедшие потом в арсенал перестройки, не упали с неба. Они рождались в недрах нашей доперестроечной жизни, в ее проблемах и бедах, разочарованиях и ошибках, в тех размышлениях, которые такой жизненный опыт пробуждал. В том числе и в размышлениях и поисках творческих коллективов, которые я упоминал. К числу их принадлежал и ИСКАН.

И в заключение этого раздела несколько слов о сугубо личном. Как я, такие люди, как я, занимавшие все-таки довольно заметные должности, воспринимали этот всеобщий упадок? И как вели себя в этой обстановке? И ощущали ли тогда и ощущают ли сейчас ответственность за то, что происходило в стране?

Это трудные, даже жестокие вопросы. И, отвечая на них, я возьмусь говорить только о себе одном.

Да, я упадок ясно видел, ощущал, переживал. Хотя понимал далеко не все — это тоже надо иметь в виду. Но

ощущение беды было. Меня мучили мысли о том, что будет, до тех пор, пока в качестве возможного преемника не замаячила на политическом горизонте фигура Андропова (а это случилось лишь в 1982 году). Я опасался, что после смерти Брежнева произойдет сталинистский правый переворот.

Но в меру сил там, где мог, я старался с этим упадком бороться. Это несколько успокаивало, но уверенности в будущем не добавляло. Предпринимая что-то, и я, и другие, такие же, как я, люди могли надеяться в лучшем случае на уменьшение ущерба, а никак не на выправление дел, выздоровление очень больного общества.

Общую ответственность за то, что происходило, конечно, никто из активно работавших в годы застоя с себя снять не может. Но при этом многое зависит от того, как каждый вел себя в конкретных ситуациях. Здесь различия были очень большие. Не раз я мысленно проводил «переучет» того, что делал в те годы, — и в институте, и как политический эксперт, и в разговорах сегодня сделал бы многое иначе. Но, в общем, оснований для угрызений совести не нашел.

Другой вопрос, что всем, стоявшим на позиции XX съезда, надо было быть решительнее и смелее, не давая себя запугать, не боясь неприятностей (тем более что такими уж страшными они все же не могли быть), лучше понимать, в какую трясину постепенно сползает страна. Смелости не хватило подавляющему большинству (может быть, давила на всех память о прошлом), включая и тех, кто по меркам того времени не был трусом, а в глазах бюрократов даже слыл законченным «очернителем».

Но при этом я не считаю правильным осуждать всех, кто не пошел по пути Сахарова, Солженицына, генерала Григоренко, некоторых других людей, работавших в науке, культуре и прочих сферах. И не только потому, что нельзя от всех требовать такого самопожертвования.

Разными у людей были убеждения, мировоззрение. Все же одно дело — бороться против социальной системы и

мировоззрения, считая их фундаментально порочными, и другое — стараться реформировать и систему, и мировоззрение. Реформировать, либо вернув к изначальным ценностям, либо сразу продвинув их к чему-то другому.

Свою роль в последующих событиях (здесь я повторюсь) играли и те, и другие. Перестройка ведь не родилась из морской пены и не упала с небес. Что-то и кто-то ее готовили.

Политическая система, которая сложилась в нашем государстве, делает крайне важной, зачастую решающей в жизни государства и общества личность. Сама система во многом определяется способностями, взглядами и предпочтениями высшего руководства — в первую очередь человека, занимавшего пост Генерального секретаря ЦК КПСС, а с конца 1991 года — Президента России.

О НЕКОТОРЫХ ЛИДЕРАХ ТОГО ПЕРИОДА

Одно из самых страшных последствий всякой деспотии, тоталитарной диктатуры, а тем более такой длительной и всеохватывающей, как сталинская, — это обеднение, оскудение интеллектуального потенциала народа. И чем дальше вверх — к руководящим постам, тем это оскудение больше. Диктатор, естественно, боится сильных, ярких людей в своем окружении — они могут стать соперниками и во всех случаях едва ли будут послушными, бездумными исполнителями его приказов. И потому он таких людей отодвигает на три, четыре, пять уровней вниз. Да и все условия жизни, правила выдвижения людей в тоталитарном обществе не способствуют расцвету талантов — особенно политических, а тем более их подъему по ступенькам лестницы политической иерархии. Система тоталитарной диктатуры делает также неизбежной безответственность руководителей. Самые высокопоставленные из них господствуют, диктуют свою волю и уже поэтому ни за что не отвечают. А остальные не отвечают потому, что только выполняют приказы других, получают большие права, но не несут ответственности. Это, увы, становилось системой.

И потому — я уже касался этой темы — крайняя бедность талантами, яркими личностями политического руководства является естественным последствием сталинщины. К тому же последствием долговременным. Как демографическая ситуация после опустошающих потерь большой войны, эта бедность талантами в высшем эшелоне руководства в таких условиях ощущается очень долго. Одна волна потерь сменяет другую, ибо тоталитаризм, массовые репрессии, свои специфические критерии и правила отбо-

ра «лучших», тех, кто продвигается на следующую ступень, безжалостно косили головы на всех уровнях политического руководства — от районного до Политбюро. И через расставленные на каждом уровне густые сети сколько-нибудь талантливые люди могли проскакивать лишь чудом, когда к выдающимся способностям добавлялся счастливый случай. А чудеса случаются редко.

Это объясняет крайне низкий уровень хрущевских выдвиженцев в Политбюро — они почти забыты; фролы козловы, кириченки, игнатовы и мухитдиновы на несколько ступеней превысили свой уровень некомпетентности. И то же самое относится к лидерам, окружавшим Брежнева (значительную их часть он, правда, «унаследовал» от своего предшественника). Прежде всего это были по всем своим личным данным, за редким исключением, абсолютные посредственности. И по своим природным талантам и дарованиям. И по образованию — как правило, это был либо заочный курс вуза, когда человек уже стал большим начальником (могу себе представить, как они сдавали экзамены!), либо заштатный институт, где опять же он больше занимался общественной работой, чем учебой, либо Высшая партийная школа — очная или заочная. Что касается уровня культуры, то можно ли многого ждать от человека, который в силу объективных условий — и было бы непорядочно его в этом упрекать — не мог многого получить в семье и школе, а основную часть жизни провел в бюрократическом аппарате на разных его уровнях? Его и отбирали на повышение за то, что он из общей массы не выделялся (кроме как послушанием, дисциплинированностью), он выжил, смог пройти через все зигзаги сложной, ломаной эпохи, потому что не имел собственных твердых убеждений, попал наверх прежде всего потому, что в нем те, кто стоял еще выше, не видели конкурента.

На таком фоне в 1964 году и Косыгин — грамотный, опытный, но, в общем-то, средний для сколь-нибудь высокого уровня государственного руководства человек — выглядел выдающейся личностью. За таковую могли при-

нять и Шелепина — человека, который, исключая студенческие годы (когда тоже учился еле-еле), всю жизнь провел в аппарате — комсомольском, а потом, уже в качестве «вождя», в партийном, исключая короткий срок на посту председателя КГБ. А ведь это тоже был претендент на «престол»!

Остальных — Кириленко, Черненко, Полянского, Шелеста, Воронова, Соломенцева, Гришина, Демичева — и почти всех других при определенных различиях в характере, взглядах, биографии объединяла одна черта — это были посредственности, которые могли подняться на такой уровень, занять такие посты в великой стране только в определенных исторических условиях, созданных сталинской деспотией. И дело здесь совсем не в социальном происхождении (сегодня большинство академиков и деятелей культуры происхождением не из дворян или буржуазии и даже не из интеллигенции, а из рабочих и крестьянских семей).

Важнее социального происхождения социальное положение и мироощущение. Мне кажется, что в этом плане нашу «политическую элиту» послесталинских лет объединяла принадлежность — использую старое русское понятие — в основном к мещанам. У этой элиты были мещанский кругозор, мещанские идеология и психология, мещанские идеалы (а внешне почти все они были «великими революционерами», «борцами за рабоче-крестьянское дело»).

Это некоторые общие наблюдения. Конкретнее о людях, которых я лично достаточно хорошо не знал, говорить не хочу. Подробнее расскажу в дополнение к тому, что написано выше, о Л.И.Брежневе, Ю.В.Андропове, М.С.Горбачеве и немножко о Б.Н.Ельцине.

О Л.И.Брежневе

В оценке каждого деятеля важно контролировать эмоции, следовать фактам, соблюдать пропорции. Если говорить, в

частности, о Брежневе, то негативная его оценка как лидера партии и страны, безусловно, оправданна. Но едва ли можно согласиться с попытками изобразить его чуть ли не такой же зловещей, как Сталин, фигурой в нашей истории (термин «сталинщина-брежневщина» между тем начинал входить в оборот в речах и в статьях). Истоки излишней эмоциональности, мне кажется, — в обиде на самих себя, в стыде за то, что мы хоть не верили, но послушно молчали и послушно аплодировали, когда этого очень маленького, к концу жизни впавшего в маразм человека на все лады хвалили, прославляли и награждали. Главной бедой было, собственно, то, что Л.И.Брежнев ходом нашей истории, существовавшими в обществе политическими механизмами был поставлен на место, для которого не был годен, вынужден играть роль, которая была ему абсолютно не по силам, — роль лидера державы, притом в очень сложное и ответственное время.

Я уже высказывал свое мнение, что до болезни Брежнев был даже лучше других, точнее сказать, был «меньшим злом». Это не равноценно высокой оценке его личных качеств. Скорее, оценка тягостных последствий сталинщины, закономерного состояния вещей после деспотической диктатуры. Независимо от оценки предшествующих событий — разве ситуация так уж изменилась бы, если бы смена руководства произошла в результате аппаратной договоренности (или интриг), а не «дворцового переворота»? Выдвижение не адекватного общественным потребностям руководителя стало уже не результатом злой воли какого-то лица или группы лиц, а естественным продуктом действия сложившихся в годы тоталитаризма политических механизмов.

Конечно, и при них остается место для случая. И, в общем, вполне возможным, а если говорить о длительных, измеряющихся десятком и более лет отрезках истории, даже вероятным остается появление неожиданных, выдвинувшихся, так сказать, «вопреки системе» личностей. Но это — случайность, на которую долго великая страна пола-

гаться не может. И потому один из главных уроков почти сорока послесталинских лет состоит в следующем: необходимы слом старых и создание новых политических механизмов, нужны демократия, политическая культура и просвещенное общественное сознание. По моему глубокому убеждению, это и есть главная задача перестройки. От того, решим мы ее или нет, и насколько хорошо решим, зависит будущее нашей державы. Зависит даже — надо смотреть правде в глаза, — будет ли у нее будущее. Равно как и у социализма.

Я бы рискнул провести здесь аналогию с более близкими мне внешнеполитическими делами. Если мы хотим исключить на будущее новые Афганистаны и Чехословакии, нам мало их задним числом осудить. Надо сломать социально-политические механизмы, которые делали их возможными. Это значит действительно искоренить все остатки и пережитки идей «экспорта» революции, своего революционного мессианства, равно как все остатки и пережитки имперского мышления. Это также значит создать новые, демократические механизмы выработки внешнеполитических решений, которые бы сводили к минимуму вероятность ошибок, особенно крупных, опасных ошибок. Это значит осторожный подход к любым военным обязательствам, ибо, начинаясь обычно с вещей сравнительно невинных — продажи или поставок оружия, — они имеют тенденцию к эскалации: за оружием следуют технические специалисты, потом военные советники, потом их надо охранять и за их советы отвечать. И не успел оглянуться, как ты уже втянут в конфликт. Чтобы избежать таких ситуаций, нужны крупные изменения в системе и механизмах выработки и осуществления политики. То же самое относится к внутренним делам.

Но вернусь к Брежневу — добавлю к сказанному выше то, что видел и знал, что запомнилось.

Человек этот был типичен для верхушки тогдашней политической элиты. Начиная уже с того, что, имея формально диплом об окончании вуза, был малообразованным и

даже не очень грамотным. Способностей он был средних, культуры низкой (если он что-то «для души» читал, то журналы вроде «Цирка», фильмы предпочитал смотреть о природе или животных, а также «Альманах кинопутешествий»; серьезные картины редко мог досмотреть до конца — одно из исключений, пожалуй, «Белорусский вокзал», который ему очень понравился, глубоко тронул; в театре, по-моему, вообще многие годы не бывал). Его самыми большими слабостями как руководителя государства были почти полное отсутствие экономических знаний, консерватизм, традиционность и прямо-таки аллергия на новое. Не хватало ему решительности, воли, что, правда, может быть, предохранило его от ряда ошибок, но в то же время питало застой.

Но это не значит, что у Брежнева не было сильных сторон; он был особенно искушен, даже изощрен, хитер и изобретателен в аппаратной борьбе. В общем, он сумел, пусть медленно, но, не рискуя конфликтами и срывами, вытеснить, «выжать» из руководства всех своих соперников и недоброжелателей. И без кровавых репрессий, как Сталин, и даже публичного словесного уничтожения, как Хрущев, он обеспечил полное послушание, покорность и даже вселил страх в души своих соратников (его ведь действительно боялись и такие люди, как Андропов и Громыко, мне кажется, Суслов тоже, не говоря уж об остальных). Брежнев очень ловко манипулировал властью, удерживая каждого на том месте, на котором, по его мнению, тот или иной человек ему был удобен. Взять хотя бы институт второго секретаря ЦК КПСС, почти всегда неконституированный, но неизбежный из-за огромной власти Секретариата ЦК, а значит, и объема дел, подведомственных ему при существовавшем всесилии партийного аппарата. И очень неудобный для Генерального (или Первого) секретаря, поскольку второй имел большую притягательную силу для аппарата и членов ЦК, областных секретарей и т.д. по той простой причине, что он вел Секретариат, а им постоянно надо было решать повседневные большие и малые дела.

Притягивая же руководящие кадры, неизбежно становился потенциальным источником соперничества или хотя бы человеком, с которым надо делить власть.

Хрущев после явно провалившихся экспериментов с Козловым и Кириченко установил порядок, при котором Секретариат по очереди вели секретари ЦК, члены Политбюро. Когда Хрущева освобождали, о введении официального поста второго секретаря ЦК заговорил на октябрьском Пленуме Н.Подгорный. Брежнев этого, по-моему, ему не забыл и вскоре перевел его в Президиум Верховного Совета СССР, но тут же установил свой порядок. При нем постоянно были два человека, которые вели Секретариат либо, во всяком случае, претендовали на это. И соперничали за власть не с Генеральным секретарем, а друг с другом — точнее, соперничали за право быть «более вторым», чем конкурент (напомню, вначале это были М.А.Суслов и А.П.Кириленко, потом, когда Кириленко заболел и фактически вышел из строя, на этот пост был продвинут К.У.Черненко, а когда умер Суслов, в ЦК тут же перевели на роль одного из вторых секретарей Ю.В.Андропова). Словом, в аппаратных играх, в аппаратной борьбе, то есть в тех реальностях власти и политики, которые тогда существовали, Брежнев отнюдь не был простаком. Наоборот, в делах и в среде, в которых он вырос, в этих политических шахматах он был настоящим гроссмейстером. Не все это сразу поняли, за что потом и расплачивались.

И еще одно. В вопросах власти он был большим реалистом, понимая реализм традиционно, в политических параметрах, сложившихся при Сталине. То есть когда власть лидера определялась не успехами экономики, уровнем благосостояния народа, популярностью политики руководства и благоприятным общественным мнением, а прежде всего силой, настоящей, грубой, физической силой, на которую тот мог при нужде опереться.

Потому он очень заботился о том, чтобы сохранять контроль над армией и КГБ. И он его имел. Не только из-за того, что с 1967 года во главе КГБ был поставлен лояльный

к нему Андропов, а министром обороны после смерти не очень надежного Гречко тоже стал «свой» человек — Д.Ф.Устинов. И там, и там он на разных уровнях имел и других «своих» людей, и руководители обоих ведомств об этом знали, каждодневно ощущали себя под контролем и потому были вдвойне лояльны.

Брежнев понимал и значение для власти средств массовой информации. Особенно главных из них — Гостелерадио и «Правды». И там, и там у руководства стояли люди, полностью ориентирующиеся лично на него.

Это, так сказать, сильные качества, важные для Брежнева самого. А были ли у него положительные качества, существенные для общества? По моему убеждению, были, во всяком случае, в первые годы и, конечно, до того момента, как он заболел. Среди них я прежде всего назвал бы отсутствие склонности к экстремистским, авантюрным решениям. В его внешнеполитической деятельности это довольно быстро развилось в искреннюю поддержку политики смягчения международной напряженности, улучшения отношений с другими странами, ограничения вооружений.

Умеренность, отсутствие стремления к ужесточению политики, нелюбовь к острым политическим «блюдам» проявлялись у Брежнева и в подходе к внутренним делам. Притом в условиях, когда многих в руководстве тянуло к ужесточению, возврату к старым методам. Он, конечно же, не дал этой тенденции решительного отпора. А нередко ей уступал, тем более что во многом разделял образ мыслей своих коллег, но только лучше, чем они, осознавал свою ответственность, опасался запятнать свое имя, пойдя во всем у них на поводу. И, кроме того, насколько я могу судить, он во многих случаях амортизировал этот натиск, давление справа.

Эти положительные стороны деятельности Брежнева, конечно, не решали всех назревших проблем страны, не могли даже остановить набиравшие силу негативные процессы. Но они все же предотвращали в течение ряда лет многие дополнительные неприятности, которые могли бы

произойти при тогдашнем уровне руководителей и их политических настроениях.

Все дело, однако, было в том, что Брежнев оказался не «проходным» лидером, правившим короткое время, а находился на высоком посту первого в стране человека целых восемнадцать лет. Притом в период, когда задача не сводилась к тому, чтобы «не раскачивать» государственный корабль, когда нужно было в продолжение курса XX съезда КПСС осуществлять радикальные изменения во всех сферах жизни общества. На это Брежнев был органически неспособен, в чем вскоре пришлось убедиться и тем, кто под впечатлением реформы 1965 года все же на что-то надеялся.

Почему? Из-за тех своих слабостей, отрицательных черт, о которых говорилось выше. У него не было ни представления о глубоких переменах, в которых нуждается страна, ни умения, если бы ему даже кто-то план таких перемен предложил, в нем разобраться, верно его оценить и провести в жизнь. Это был лидер, смотревший назад, неспособный подняться над старым.

Теперь коротко о личных чертах Брежнева. И я бы начал с положительного, тем более что и он сам умел и любил показывать именно эти, хорошие свои стороны. В принципе (до болезни — я снова вынужден сделать эту оговорку) это был человек, не лишенный привлекательности, даже известного обаяния. Он не был жесток (хотя, по-моему, был достаточно злопамятен). В обхождении — прост, умел (и, по-моему, любил) проявить внимание к окружающим — во всяком случае, к тем, кого хотел склонить на свою сторону. Во многих делах (особенно связанных с войной и своими военными воспоминаниями) был даже сентиментален. Друзей старых, если они его не предавали, помнил, как правило, не оставлял без поддержки (в ИМЭМО работали его однополчане — в отношении их он проявлял заботу). Не любил объясняться с людьми в случае конфликтов, вообще предпочитал избегать неприятных разговоров. Что, впрочем, оборачивалось нередко очень дурным

образом: люди, которых незаслуженно очернили, оклеветали, даже не имели возможности защититься, а иногда просто не знали, за что вышли из доверия и попали в опалу.

Мог он иногда и удивить. Так, когда бывал в хорошем настроении, особенно во время застолья (он рюмки, пока был здоров, не чурался, хотя меру, по-моему, знал; впрочем, тогда ему уже было почти шестьдесят лет, о том, что случалось в молодости, судить не берусь), вдруг начинал декламировать стихи. Знал наизусть, к моему удивлению, длинную поэму «Сакья Муни» Мережковского, а также немало стихов Есенина. Потом я узнал разгадку. В молодости Брежнев (об этом он как-то при мне сказал сам) мечтал стать актером, играл в «Синей блузе» — так называли коллективы самодеятельности, выступавшие в двадцатых, а может, и в начале тридцатых годов с революционным, ну а для того, чтобы привлечь аудиторию, и с лирическим репертуаром в клубах, на предприятиях и в красных уголках. Известная склонность к игре, к актерству (наверное, было бы слишком назвать это артистичностью) в нем была. Я иногда замечал, как он «играл» роли (надо сказать, неплохо) во время встреч с иностранцами.

Но так же как в политике Брежнева, в его личных качествах были негативные, даже очень неприглядные черты.

Была в нем подозрительность — может быть, и не природная, а воспитанная долголетней работой в аппарате. Отсюда же, я думаю, стремление и умение использовать других людей в своих целях, в том числе для наиболее неприглядных дел.

Пока Л.И.Брежнев был здоров, его негативные качества — и политические, и личные — были не так заметны.

Дело радикальным образом изменилось, когда он заболел. Я уже говорил, что знал двух Брежне ых: одного — до, а другого — после болезни. Не в том смысле, что один был хорошим, а другой — плохим. И до болезни Брежнев был, в общем-то, функционером, попавшим на должность лидера, человеком, наделенным всеми негативными чертами аппаратчика того времени, притом очень умелого. Но

вместе с тем он имел и качества, выгодно отличавшие его от большинства других: умение слушать, поначалу трезвое, непреувеличенное представление о своих возможностях, политическую осторожность и умеренность, склонность уходить от конфронтаций, искать, где можно, соглашения. Как во внешней политике, так в какой-то мере и во внутренних делах.

Болезнь притушила, а потом во многом вытравила положительные черты и всемерно развила негативные. Хотя, конечно, и здесь речь шла о процессе: после первого заболевания он поправился, временами даже складывалось впечатление, что дело идет на лад. Но ухудшения учащались, а улучшения становились все более короткими.

И вот как раз в этих условиях (отчасти, возможно, потому, что он утратил контроль над собой, перестал сдерживать воспитанные всем деспотическим прошлым черты) на первый план вышли подозрительность и любовь к сплетням, поначалу, видимо, тщательно скрываемое, а потом расцветшее с помощью подхалимов пышным цветом, ставшее безграничным тщеславие, страстная потребность собой красоваться. К этому добавлялись глубоко сидевшие в нем, в семье, в близком окружении мещанство, стяжательство, а главное — очень невысокий уровень нравственной требовательности к себе (как, впрочем, и к окружающим). Все это принимало такие формы, что мне не раз приходило в голову: может быть, болезнь только ускорила какой-то уже идущий процесс распада личности этого человека?

Другие отрицательные личные черты Брежнева, к сожалению, имели общественные последствия.

Много толков вызвал вопрос о приписанных Брежневу молвой материальных злоупотреблениях. Я не думаю, что есть основания, а тем более политический смысл затевать посмертно специальное расследование. Но поводы для сплетен и сам Брежнев, и особенно члены его семьи, несомненно, давали.

Например, его любовь сесть за руль автомобиля была

бы не таким уж предосудительным «хобби» (он, кстати, имел права водителя-профессионала), если бы он не выбирал самые роскошные заграничные марки — «роллс-ройсы», «мерседесы» и т.д. И не был бы столь неопределенным статус этих машин, составивших вскоре целый автомобильный парк: то ли они принадлежали ему и членам его семьи, то ли эти машины казенные и он просто садился «из любви к искусству» за баранку. А также если бы Брежнев не давал зарубежной печати повода так широко обсуждать тему страсти советского лидера к роскошным автомобилям, говорить о том, что при встречах на высшем уровне он их одну за другой получает в подарок.

Стяжательство, наверное, гнездившееся где-то глубоко в натуре Брежнева (не говоря уж о некоторых членах его семьи), стало в последний период его жизни проявляться в особенно неприглядных формах, притом часто на глазах самой широкой публики. Знаменитым перстнем с бриллиантами, подаренным ему в Баку Г.А.Алиевым, он открыто, забыв обо всем, любовался на глазах у миллионов советских телезрителей. Москвичи, а вслед за ними и жители других городов и регионов узнавали о дачах, которые строятся для его сына и для дочки. Ну и, конечно, «царские охоты», о которых шло немало разговоров, так же как об «охотничьих домиках» (на деле больших домах, настоящих хоромах с зимним садом, бассейном и прочими атрибутами).

Много было фактов — а к ним добавлялось, естественно, еще больше вымыслов и домыслов, тоже подрывавших авторитет власти, авторитет руководства, авторитет партии. Все это было тем вреднее, что подавало дурной пример руководителям всех рангов, фактически утверждало вседозволенность.

И она достигла невиданных масштабов. Произвол обязательно связан со вседозволенностью. Наивно думать, что при «строгом начальстве» одно можно отделить от другого. И зря здесь ссылаются на времена Сталина, хотя тогда действительно все начальники смертельно боялись его, а он

мог уничтожить, стереть в пыль просто из каприза или по самому неправдоподобному подозрению, а не то что из-за явного воровства и взяточничества. Во времена Хрущева правящая верхушка просто не успевала распоясаться — так быстро этих людей меняли.

Вседозволенность и отсюда особо благоприятные возможности для коррупции больших и маленьких начальников просто заложены в генетическом коде любой системы произвола. В этом смысле и сам застой, и все сопутствующие ему явления — логическое завершение, бесславный апофеоз сталинского тоталитаризма. Единственное, что мог в это привнести от себя Брежнев, — очень уж видный всем, беззастенчивый «личный пример» и не знавшие границ либерализм и попустительство в отношении особенно близких к нему людей — Щелокова, Медунова, Рашидова, Алиева и Кунаева.

Ну а если все дозволялось не только самому главному, но и целой группе окружавших его, узаконивались роскошные дома приемов и «охотничьи домики», дорогие подарки и всевозможные услуги тех, кто ведал дефицитом, такая система стремительно распространялась вглубь и вширь — на республики и их руководителей, затем на области и города, в чем-то на районы, а также на предприятия и хозяйства. Границы между дозволенным своим и недозволенным чужим стирались.

Ответственная должность превращалась нечестными людьми в кормушку, все дурное, что было в Москве, тут же дублировалось в провинции (и спецлечение, и специальные жилые дома, и столовые — все, вплоть до пресловутой «сотой секции» ГУМа, торговавшей импортным и отечественным дефицитом).

Позволю себе в связи с этим несколько отвлечься. К политическому произволу, всевластию и бесконтрольности начальства поразившие нас, как тяжкая болезнь, коррупцию, материальные злоупотребления, хищения и взятки все же, наверное, сводить нельзя. Мне кажется, эта болезнь точно так же заложена и в «генетическом коде» администт-

ративно-командной системы хозяйствования, берущей свои начала в «военном коммунизме».

Даже сейчас в дискуссии о путях экономической реформы и рынке делаются попытки связать все проявления коррупции с капитализмом — либо его пережитками, либо его подпольными формами, гнездившимися в «теневой экономике», либо с самими рыночными отношениями. На деле это не так. Хотя капитализм не дает гарантии от коррупции и «беловоротничковой преступности», не спасает от многочисленных скандалов, он все же не связан так органически с коррупцией, как административно-командная система. Система, где, с одной стороны, все является «общим», а значит, «ничьим» и снизу доверху рождается соблазн что-то от этого «общего» себе присвоить. А с другой стороны, создается огромный (во многом паразитический) аппарат, который «дает» или «отбирает», «разрешает» или «запрещает», всем распоряжается, может каждого выбросить с работы, понизить в должности, часто даже бросить в тюрьму или, наоборот, возвысить.

Отсюда следует вывод: как ни важно усиливать борьбу правоохранительных органов и общественности против коррупции, без ликвидации административно-командной системы настоящего успеха такая борьба никогда не принесет.

Я не берусь оценивать материальные издержки всей этой усилившейся в годы застоя и далеко еще не изжитой и сейчас практики — они, наверное, достаточно велики. Но еще более тягостными были моральные издержки: углублявшееся расслоение общества, рост озлобления постоянно сталкивавшегося с трудностями большинства против «избранных», тех, кто пользовался благами и привилегиями, обладая и привилегией безнаказанно присваивать себе незаработанное. Закладывались мины социальных конфликтов, падения авторитета партии, правительства, всего руководства, а также — в виде естественной реакции — правого и левого популизма.

Во всех неблаговидных делах, которые удобряли почву

для массового недовольства, немалую роль, как уже отмечалось, играла семья Брежнева. Конечно, трудно спорить с аргументом, что это не снимает ответственности с него самого — ведь он не только терпел, но, может быть, и поощрял дурные нравы членов семьи, прежде всего детей. Наверное, это так. Но я не хочу искать виноватых, а просто констатирую факт: от семьи, от многочисленных родственников, а также от близких к ним людей, тянувшихся за Брежневым шлейфом с Украины, Молдавии и других мест его прежней работы, шло что-то дурное, растлевающее, усугублявшее многие его личные слабости и недостатки.

Кое-чего он не мог не видеть. Рассказывали, например, что он не раз с горечью жаловался и на поведение дочери, и на сильно, запойно пившего сына. Но это не мешало ему покрывать скандальное поведение дочери, и, конечно же, без его ведома и согласия ее последний муж — Чурбанов — просто не мог бы сделать такую головокружительную карьеру. В считанные годы стал генерал-лейтенантом, из заурядного милицейского политработника — первым заместителем министра внутренних дел, был избран в высшие партийные органы, получал награды, машины, дачи. То же самое относится и к сыну, который был выдвинут в первые заместители министра внешней торговли. И в состоянии тяжкого похмелья, надев, чтобы не было видно опухших глаз, темные очки, не раз вел ответственные торговые переговоры (правда, им, как рассказывали, постоянно руководила одна из его сотрудниц, кстати, по слухам, более или менее сносно разбиравшаяся в делах).

И конечно же, нельзя снимать с Брежнева вину за то, что его слабостью, проявлявшейся в содействии блестящим карьерам своих детей, этим «чадолюбием» за счет государства, ловко пользовался карьерист Щелоков, а также, увы, несомненно, заслуженный человек, в прошлом крупный партийный работник Н.С.Патоличев, который таким путем, наверное, пытался подольше остаться в министрах, хотя был стар, немощен, серьезно болен, просто «не тянул».

Детьми дело не ограничивалось. Заместителем министра стал брат Брежнева, страдавший тем же пороком, что и сын. Не были обделены и дальние родственники, и родственники родственников, и их друзья.

К тому же, как часто бывает, хорошая черта — доброе отношение к товарищам, их поддержка, переросла в черту плохую и очень опасную — покровительство старым дружкам. В какой-то мере это было, конечно, частью той ловкой кадровой политики, о которой уже говорилось: он хотел и умел расставлять на ключевых постах «своих» людей, пусть совершенно бездарных, но преданных ему. Потом, насколько можно судить, к этому добавилось просто слабоволие перед напором, натиском рвавшихся к власти родственников, приятелей и знакомых. А Брежнев сознательно или интуитивно опасался свежих, сильных и ярких личностей, предпочитал людей серых, посредственных. И часто крайне сомнительных с точки зрения их моральных качеств.

Одним из таких людей был Щелоков. Брежнев отлично понимал, где находятся рычаги власти, и потому поспешил назначить «своего» человека на пост министра внутренних дел. А знал он Щелокова давно и был, видимо, уверен в его преданности. О его качествах, о том, что это был не только серый, ничтожный, но и аморальный, даже готовый на преступления человек, сегодня говорить, наверное, нет нужды. Как и о том, что под его руководством коррупция в одном из главных правоохранительных органов государства — МВД — достигла широчайших масштабов. О преследованиях и самоубийствах честных работников МВД, равно как о присвоении ценностей и хищениях писалось много, так что я останавливаться на этом не хочу. Упомяну только об амбициях этого человека, о которых слышал от некоторых секретарей ЦК, работников аппарата и от Андропова.

Дело в том, что Щелоков, видимо, ощущал, что зарвался, и выход видел только в одном: быстрее, как человек на тонком льду, бежать вперед, забраться так высоко, чтобы

обеспечить себе неприкосновенность и при Брежневе, и по возможности после него. Его мечтой было стать председателем КГБ и членом Политбюро. Не знаю, может быть, на каком-то этапе болезни Брежнев и уступил бы неистовому давлению своего старого приятеля. Но от такой перспективы приходили в ужас большинство тогдашних членов руководства. Мне несколько раз приходилось слышать, в частности, от Андропова, о том, что он, Андропов, договаривался с Пельше и Сусловым, что вместе или каждый в отдельности они со всей решительностью поставят перед Брежневым вопрос о Щелокове, о том, что его надо одернуть, остановить его карьеру, а лучше всего — снять. Знаю, что этот вопрос перед Брежневым ставили (правда, не уверен, что достаточно решительно). Но каждый раз дело кончалось ничем. Единственное, что, может быть, удалось, так это остановить бег Щелокова вперед (хотя, собственно, и того, чего он достиг, было более чем достаточно: генерал армии, член ЦК, Герой Социалистического Труда и даже доктор экономических наук).

Щелоков был фигурой одиозной, едва ли кого-то можно ставить с ним на одну доску. Но плохих «своих» людей у Брежнева было немало, и он постарался расставить их на многих ключевых постах. Брежнев считал, например, необходимым иметь несколько лично преданных, действительно доверенных лиц в Комитете госбезопасности. И держал их там на высоких постах заместителей председателя (Андропову он хотя и доверял, но тем не менее считал необходимым «проверять» — это был все-таки не полностью «его» человек, не такой, которого он поднял «из грязи в князи»). Я говорю о Цвигуне и Циневе. Оба также были щедро наделены наградами и званиями, обоих честные люди не любили и боялись. Первый из них покончил с собой еще при жизни Брежнева. Это самоубийство в ходивших тогда разговорах и публикациях западной печати связывали каким-то образом с делами, разворачивавшимися вокруг дочери Генерального секретаря, но я судить об этом не берусь. Что касается Цинева, то он еще несколько

лет после смерти Брежнева оставался на своем посту, а потом ушел в почетную отставку. Самым вредным, просто чудовищным для страны было, по моему глубокому убеждению, назначение Н.А.Тихонова — малограмотного, бездарного человека (тоже из старых приятелей Брежнева) — на ответственнейший пост Председателя Совета Министров страны. Вклад в экономический упадок нашего государства он внес немалый.

Много ставленников Брежнева было и на других высоких постах — заместителей Председателя Совета Министров, ответственных деятелей Вооруженных Сил, министров (один из них — печально знаменитый министр водного хозяйства и мелиорации Васильев).

Не могу не сказать коротко и о принявшем в ходе болезни Брежнева чудовищные размеры, но, видимо, заложенном в его характере изначально тщеславии. Самое нелепое его проявление — это страсть к наградам. Меня поражало, как этот человек, отлично знавший всю наградную «кухню», сам награждавший множество людей, мог придавать орденам и медалям такое большое значение. Оно было похоже на памятное с войны страстное желание молодых офицеров заслужить награду, вернуться домой «и с грудью в крестах, и с головой на плечах». Может быть, и у Брежнева что-то осталось от тех эмоций. Но это стало почти что помешательством: он забылся, перестал понимать, что награждает себя сам, а подхалимы ему только подают все новые идеи, делая на этом карьеру. Он любил не только получать награды, но и носить их. В этом, по-моему, уже проявлялись наряду с тщеславием патология, болезнь, распад личности, который становился все более очевидным в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов.

К этому же разряду дел относится и эпопея с писательскими «подвигами» Брежнева. Не знаю точно, кто был ее инициатором, но большую роль сыграли и немало от этого для себя получили Черненко и, как говорили, Замятин.

Брежнев был неплохой рассказчик, у него до болезни была хорошая память, и он любил делиться подчас остро-

умными, точно схваченными историями и сценками из своего прошлого — молодости, фронтовых лет, секретарства в Запорожье, работы в Казахстане и Молдавии и т.д. При этом часто повторялся, но слушавшие вежливо не подавали виду, смеялись, выражали одобрение. А подхалимы не раз подсказывали ему идею все это описать (имея, конечно, в виду, что писать будет не он — он вообще никогда не писал, — а продиктует, чтобы потом кто-то привел все в божеский вид). Но до поры до времени эти идеи воспринимались как дурная шутка. Пока не стали в конце концов дурной реальностью. Была собрана небольшая группа грамотных, обладающих литературным дарованием людей, в их распоряжение предоставили документы и продиктованные стенографистке «байки» самого Брежнева, его рассказы. Ну и, конечно, они получили возможность обстоятельно поговорить с очевидцами тех или иных событий, чтобы включить в повествование и их воспоминания. Весь проект хранился в глубочайшей тайне — я узнал о нем случайно, за пару недель до публикации первой повести в «Новом мире».

Вот так появились на свет ставшие печально знаменитыми «Малая земля», «Возрождение», «Целина».

Скажу честно, по тем временам появление книги, написанной за лидера другими, само по себе не было необычным делом, исключая разве что жанр — в «изящной словесности» другие руководители до этого себя не испытывали.

Но самое чудовищное было даже не это, а то, что началось после публикации повестей. Они были встречены оглушительным воплем хорошо организованного восторга. Соответствующие номера «Нового мира», а потом книги становились чуть ли не обязательным чтением в сети партпросвещения. Союз писателей тут же выдвинул повести на Ленинскую премию, которая поспешно была присуждена. И немалое число именитых писателей — я их ни критиковать, ни оправдывать не хочу, нередко им это сделать предлагали, а отказываться люди боялись, помнили, что не раз

это вело к опале, — опубликовали на эти сделанные посторонней (хотя подчас умелой) рукой поделки восторженные рецензии. Притом именно как на произведения литературы. Хотя, наверное, абсолютно все в нашем огромном государстве, включая самых глупых и неискушенных, были уверены, что ни одна страница в этих шедеврах «изящной словесности» лично Брежневым написана не была.

Сама по себе эта литературная эпопея в сравнении с другими огромными расходами на прихоти начальства стоила, наверное, не так уж дорого. Но, мне кажется, моральный урон общественному сознанию и общественной нравственности был нанесен огромный: всенародно разыгрывался постыдный спектакль, в который не верили ни актеры (кроме, пожалуй, исполнителя «главной роли» — «автора»), ни зрители. И это добавило изрядную дозу недоверия к власти, усиливая политическую апатию и цинизм, которые так разъедали сознание и душу людей. В символическом смысле это была как бы эпитафия очень печальному, много стоившему нам отрезку нашей истории — застою в самом подлинном смысле этого слова, апогей которого я бы датировал 1975—1982 годами.

Заключая свои воспоминания о Брежневе, хотел бы подвести некий баланс.

Первое. В период общего отката демократической, прогрессивной волны, поднятой XX и XXII съездами партии, это был отнюдь не худший из возможных тогда лидеров. Во всяком случае, пока его не сразили болезнь и старость.

Второе. Брежнев нагляднее, чем это могли бы сделать сотни политологов и публицистов, показал своим поведением, всем, что при нем происходило в стране, даже своим обликом, особенно в последние годы, насколько немощны, негодны вся политическая система, политические механизмы, выращенные в стране в результате сталинщины.

Третье. Я и, думаю, многие другие, во всяком случае, до середины 1982 года, не ждали, что процесс упадка страны и партии, так очевидно обнаружившийся в годы застоя, может быть остановлен. Возвращаюсь к тому, о чем уже

говорил: может быть, нам еще повезло. И Горбачев, и даже Андропов появились, скорее, вопреки, а не благодаря утвердившейся тогда политической системе. Хотя нельзя не видеть, что, какой бы политическая надстройка ни была, общественные потребности все же проявляются, пробивают себе дорогу. Не хочу только, чтобы это понималось как «фаталистический оптимизм». Я также верю и в дурные случайности и отнюдь не считаю, что мы уже вышли из зоны опасностей, включая самые серьезные.

И наконец, четвертое. Часто оценку политическим лидерам дают их преемники. В сравнении рождается новое понимание и пережитой эпохи, и тогдашнего политического руководства. Брежнев здесь не исключение.

Первоначально его и связанный с его именем период только что не проклинали. Потом, постепенно оценки и отношение к нему и его периоду начали меняться. Сравнения с современностью все более явно шли в его пользу.

Я не хочу этим сказать, что надо радикально менять оценку прошлого периода. Но сегодня стали виднее не только ее пороки, но и то, что отличает ее от последовавшего периода в лучшую сторону.

О Ю.В.Андропове

О многих его качествах уже говорилось выше — о незаурядном уме и политической одаренности, необычной для руководителей той поры интеллигентности. Хотя она не основывалась на солидном формальном образовании (в значительной мере его интеллект развивался на основе самообразования, которое, естественно, не могло гарантировать от известных пробелов в знаниях). Андропов выделялся среди тогдашних руководящих деятелей, в том числе оснащенных вузовскими дипломами и даже научными титулами, как весьма яркая фигура. Что, замечу, не всегда было для него, для его карьеры полезно. То ли понимая это, то ли в силу присущей ему природной скромности он всего этого стеснялся, пытался прятать. Выделялся Андро-

пов на фоне тогдашних лидеров и в смысле нравственных качеств: был известен личным бескорыстием, доходившим даже до аскетизма. Правда, эти качества, проявлявшиеся в личной жизни, когда речь шла о политике, уживались с весьма гибкими представлениями о дозволенном моралью, с неизменно негативным, но подчас примиренческим отношением к тем неприглядным, во многом отталкивающим «правилам игры» и нормам взаимоотношений, которые за долгие годы утвердились в обществе и особенно в его верхах.

Словом, фигура это сложная, многомерная, и у меня просто нет того писательского дара, который позволил бы дать его достоверный литературный портрет. Потому я ограничусь, в дополнение к сказанному, некоторыми впечатлениями о тех сторонах его личности и его деятельности, которые мне открылись в ходе многолетнего знакомства, общения, а в отдельные периоды — и совместной работы.

Хотел бы при этом оговориться, что в моих оценках, при всем старании быть объективным, может быть, все же проявится личное отношение — хорошее, в какие-то моменты граничившее с восхищением, а в другие — сменявшееся досадой, даже горечью: как так, почему он в этот важный момент дал «слабину», смалодушничал, ошибся! Вместе с тем я не был слеп к его недостаткам и неверным поступкам, замечал их и, случалось, о них говорил ему, что приводило подчас к охлаждениям в отношениях, обидам и даже ссорам.

В целом у нас были хорошие отношения, в чем-то доверительные, хотя — с учетом разницы в положении, а часто и во взглядах, естественно, — не до конца доверительные. И, конечно, с должной дистанцией. Начиная с внешнего: он со мною был на «ты», хотя звал по имени и отчеству, лишь в редких, более интимных разговорах обращался по имени. Я себе фамильярностей не позволял, и к ним — в общении с этим человеком — даже не тянуло. Но часто просто забывал о формальностях, говорил с ним прямо, хотя, если не был в запале, — с определенным резервом.

Он это понимал и, когда хотел получить совершенно откровенное суждение, старался раздразнить, что ему, как правило, удавалось; изредка к этому приему прибегал и я, хотя, скажу честно, с меньшим успехом — он намного превосходил меня по житейскому опыту, искусству и навыкам общения с людьми.

Само знакомство было давним: в конце пятидесятых годов нас познакомил О.В.Куусинен, в начале шестидесятых меня привлекали в творческие группы на работы, которыми он руководил. С 1964 по 1967 год я служил под его началом в аппарате ЦК КПСС — вначале консультантом, затем руководителем группы консультантов. Когда Андропов был назначен председателем КГБ, он постарался сохранить товарищеские отношения со мною и некоторыми другими работниками Отдела ЦК, нередко звонил по телефону, время от времени (со мною, наверное, раз в полтора-два месяца) встречался, как правило, в своем кабинете на Лубянке. После возвращения Ю.В.Андропова в ЦК КПСС (в мае 1982 года) я встречался с ним много чаще — как по его, так и по моей инициативе. О том, как складывались отношения, когда он стал Генеральным секретарем, расскажу ниже.

На чем основывались эти все же длительные — более чем двадцатилетние — и не лишенные доверительности отношения? С моей стороны — на искреннем уважении, его не меняли и понимание слабостей Юрия Владимировича, несогласие с ним и споры по ряду вопросов, в том числе крупных. А также на чувстве долга — я считал, что, излагая ему письменно и устно информацию, свои соображения по разным вопросам, могу как-то, хоть в минимальной мере, содействовать принятию, на мой взгляд, верных политических решений и препятствовать решениям, опять же на мой взгляд, неверным, опасным. Ну и, наконец, чтобы помочь людям, попадавшим в беду, кого-то прикрыть от несправедливых преследований, где можно — восстановить справедливость (через него я добился отмены тюремного заключения некоторым людям, в том числе не-

справедливо осужденному инвалиду Отечественной войны, Герою Социалистического Труда, известному председателю колхоза из Одесской области Белоконю, помог ряду людей, которым грозила расправа за «подписантство» или «инакомыслие», пытался, иногда не без успеха, выручить деятелей культуры, над которыми сгущались тучи). Для себя я у него ни разу ничего не просил, хотя он меня, случалось, прикрывал от наветов и доносов — некоторые мне (наверное, в назидание, чтобы держал ухо востро!) даже показывал, давал почитать.

Я как-то не задумывался тогда, в чем состояла его заинтересованность в поддержании добрых отношений со мною. Потом к определенным выводам пришел и изложу их, надеясь, что это не будет принято за нескромность. Андропов, во-первых, знал (и как-то даже сказал), что я не скажу ему неправды, тем более желая угодить или не желая вызвать недовольство и гнев (хотя он, конечно, понимал, что не во всех случаях я ему говорю всю правду). Это в те времена было не таким уж частым среди тех, кто общался с руководством. Андропов — сужу и по другим товарищам, с которыми он сохранял контакт, — такое качество ценил. Во-вторых, он все же с интересом и доверием относился к моим суждениям (хотя нередко их проверял), прежде всего по вопросам внешней политики. В-третьих, по моему мнению (как и по мнению других людей, с которыми общался), он из первых рук, а не по пересказам составлял собственные суждения о настроениях интеллигенции. И, в-четвертых, у него, как у каждого нормального человека, иногда возникала естественная потребность поговорить по душам; он со временем убедился, что я ни разу его не подвел, умел о деликатных вещах молчать.

Ну а теперь о своих впечатлениях об этом человеке. Повторю: в личном плане это был человек почти безупречный. Он выделялся среди тогдашних руководителей равнодушием к житейским благам, а также тем, что в этом плане держал в «черном теле» семью. Его сын работал несколько лет в Институте США и Канады на самой рядовой работе с

окладом 120 рублей, но когда в разговоре заходила речь о нем, Андропов просил об одном: «Загружай его побольше работой». Как-то с возмущением сказал, что сын совсем зарвался — попросил сменить двухкомнатную квартиру на трехкомнатную, хотя вся-то семья — он, жена и ребенок (от себя замечу, что дети других членов Политбюро с такой семьей имели и трех- и четырехкомнатные квартиры). Помню и такой эпизод: я ему рассказал как-то, что какой-то подхалим выписал партию автомашин «мерседес» и «вольво» и по дешевке продал детям руководителей, а те на них красуются, вызывая только еще большее раздражение и возмущение людей. Андропов покраснел, вспыхнул и сказал: «Если в твоих словах содержится намек, знай: у меня для всей семьи есть только «Волга», купленная за наличные восемь лет назад». А через несколько минут, когда отошел, сказал, что действительно это безобразие и разврат само по себе, а ко всему прочему — политическая бестактность. «Но ты сам понимаешь, что жаловаться мне на это некому, едва ли есть смысл в еще одном поводе для ссоры чуть ли не со всеми руководителями».

О семейных, личных делах Андропов говорил крайне редко. Помню, один раз рассказал — видно, тяжко было на душе — о болезни жены, начавшейся осенью 1956 года в Будапеште, во время осады восставшими советского посольства, и связанной с пережитым шоком. Сам он был лишен и житейских недостатков, во всяком случае, видимых, — был приветлив и тактичен, почти не пил, не курил. Но не делал из этого добродетели, не ханжествовал, не ставил такие (и некоторые другие) житейские прегрешения в вину другим. Иногда отшучивался: я, мол, свою «норму грехов» выполнил в более молодые годы.

Андропов мог расположить к себе собеседника. И это, наверное, не было просто игрой, а отражало привлекательные стороны его натуры. Не знаю и случаев, когда бы он сознательно сделал подлость.

Но оставить в беде, не заступиться за человека, даже к которому хорошо относился, Андропов мог. И здесь я хо-

тел бы сказать о его негативных чертах. Одна из них — это нерешительность, даже страх, нередко проявлявшиеся не только в политических делах, но и когда надо было отстаивать людей, тем более идеи. Не думаю, что это был «врожденный», генетически заложенный в его натуре недостаток. Мне кажется, как и большинство его сверстников, не только живших, но и пришедших в политику при Сталине, он был глубоко травмирован. Собственно, этого и добивался Сталин своей политикой физического и морального террора — сломить психологический и нравственный хребет людей, лишить их решительности, смелости, самостоятельности в суждениях и действиях. Травма эта была у Андропова, возможно, менее глубокой и неизлечимой, чем у других политиков его поколения. Тем более что он был умен и хотел и был способен самостоятельно мыслить. Но слабость эта вела к готовности слишком легко идти на серьезные компромиссы.

Мне кажется, Юрий Владимирович сам в глубине души это осознавал. И пытался найти какое-то себе оправдание. Такие компромиссы, уступки, уход от борьбы он прежде всего оправдывал соображениями «тактической необходимости». О них он охотно рассуждал вслух. И, в частности, нередко корил меня: вот, мол, цели ты видишь правильно, стратег ты неплохой, а тактик — дерьмовый (он употреблял и более сильные выражения). Иногда я с этой критикой соглашался, иногда нет. А один раз не выдержал и сказал ему, что так, как он все время предлагает (речь шла о внутренних делах), можно получить «короткое замыкание» в бесконечной тактике и напрочь потерять стратегию. Андропов обиделся, и на некоторое время отношения даже охладились, но потом восстановились.

Другой слабостью Андропова было неумение иногда правильно оценивать людей. В этом плане он был внутренне предельно противоречивым человеком. Отчасти это были просто ошибки, и только они. В других случаях — чрезмерное увлечение тактикой. А иногда — и следствие определенной противоречивости его политических взглядов.

Всю ту часть его жизни, которой я был свидетелем, ему были свойственны как кадровые удачи, даже находки, так и серьезные просчеты. Например, работая в ЦК КПСС, он, с одной стороны, собрал очень сильную группу консультантов — я о ней уже писал. А с другой — выдвинул своим преемником мелкого, неумного и лишенного принципов К.В.Русакова, не раз брал заместителями слабых, только вредивших делу работников. И терпел не только бездельников и бездарных людей, но и таких, которые наносили немалый политический вред, чего он не мог не понимать.

Его кадровую политику в КГБ оставляю за скобками — слишком уж это закрытая сфера.

Но если говорить о том, что он сделал в плане отбора и выдвижения людей, находясь в составе политического руководства партии и страны, опять сталкиваешься с труднообъяснимой противоречивостью.

С одной стороны, он был первым или одним из первых, кто оценил такого незаурядного политического деятеля, как М.С.Горбачев. Знаю это достоверно — впервые эту фамилию услышал именно от Андропова в 1977 году, весной. Дату помню, поскольку начался разговор с обсуждения итогов визита С.Вэнса, потом перешел на болезнь Брежнева. И я здесь довольно резко сказал, что идем мы к большим неприятностям, так как, судя по всему, на подходе слабые да и по политическим взглядам часто вызывающие сомнения кадры. Андропова это разозлило (может быть, потому, что он в глубине души сам с такой оценкой был согласен), и он начал резко возражать: ты, мол, вот говоришь, а ведь людей сам не знаешь, просто готов все на свете критиковать. «Слышал ли ты, например, такую фамилию — Горбачев?» Отвечаю: «Нет». — «Ну вот видишь. А подросли ведь люди совершенно новые, с которыми действительно можно связать надежды на будущее». Не помню, чем тогда закончился разговор, но во второй раз я фамилию Горбачева услышал от Юрия Владимировича летом 1978 года, вскоре после

смерти Ф.Д.Кулакова, бывшего секретарем ЦК, отвечающим за сельское хозяйство.

После чисто деловой беседы, касавшейся моих оценок ситуации в США, а также той реакции, которую вызвало в Америке и Европе размещение наших ракет СС-20 (я об этом писал выше), разговор перешел на внутренние дела. И здесь Андропов вдруг, без прямой связи с тем, о чем шла речь, как бы размышляя вслух, сказал: «Вот негодники (он употребил более резкое выражение. — *Г.А.*) — не хотят, чтобы Горбачев перебрался в Москву». И, отвечая на мой недоуменный вопрос, объяснил: речь идет о назначении Горбачева на пост, который занимал Кулаков. А потом заговорил о чем-то другом. Но осенью того же года М.С.Горбачев — как дальше развертывалось дело, я достоверно не знаю — стал секретарем ЦК КПСС, ведавшим сельским хозяйством (вскоре в ходе подготовки очередного Пленума ЦК я с ним впервые лично встретился).

Появление Горбачева в Москве в качестве секретаря ЦК КПСС оказалось, несомненно, очень важным делом, событием исторического значения. И если Андропов, как можно было догадываться, сыграл здесь какую-то роль — это одна из его больших, пожалуй, самых больших заслуг (что не исключает и того, что такой яркий, необычный человек, как Горбачев, мог бы и какими-то другими путями выдвинуться, оказаться в руководстве).

Но на одну удачу и здесь у Андропова пришлось несколько неудач — видимо, сыграли свою роль упомянутые выше обстоятельства. Он, в частности, пригласил из Ленинграда в Москву Г.В.Романова, фигуру совершенно одиозную. Он покровительствовал Г.А.Алиеву, хотя — в этом я абсолютно убежден — не только не был замешан, но и просто не знал о тех темных делах, в которых того позже обвинили, а в его способностях и характере не разобрался. В представлении Андропова Алиев был тем же борцом с коррупцией, каким он его воспринял в конце шестидесятых годов. Наконец, именно Андропов пригласил в Москву из Томска, поставил во главе кадровой работы в ЦК

Е.К.Лигачева. К нему его, видимо, расположила тоже непримиримость к коррупции (помню свой разговор с Лигачевым на поминках по Андропову в день его похорон, когда тот говорил, что не перестанет бороться против этого зла, чего бы это ему ни стоило, — я убежден, что говорил он искренне).

Но достаточно о личных достоинствах и недостатках. При всем их значении для политических лидеров самое важное, конечно, — это их политика, политическое соответствие тем высоким требованиям, которые предъявляются руководству такой партией, такой страной, как наша. Переходя к этому вопросу, я бы хотел прежде всего сказать, что, по всем моим наблюдениям и впечатлениям, Ю.В.Андропова отличало отсутствие властолюбия, стремления к тому, чтобы стать «главным». Не исключаю, что он и начал о себе думать как о преемнике Брежнева просто потому, что не видел никого другого (во всяком случае, достойного в тот момент в числе возможных кандидатур не было).

Сам Андропов, по-моему, до начала 1982 года даже не пытался готовить себя к этой новой политической роли. Я помню, в частности, как во второй половине семидесятых годов несколько раз отводил мои попытки заинтересовать его экономическими проблемами, говорил, что и не собирается становиться в них специалистом, хватает и своих дел. А на мои слова, что ему все же надо было бы пройти экономический «ликбез», чтобы лучше ориентироваться в ходе обсуждений этих вопросов на заседаниях Политбюро, так же, как на предложение с помощью специалистов подобрать ему соответствующую литературу, отвечал (даже с известным раздражением), что у него на это нет времени. Думаю, если бы он уже тогда мыслил себя будущим лидером страны, то не мог не видеть, что ему надо восполнить недостаток экономических знаний.

Другой вопрос — обстановка наверху, полное «безлюдье», отсутствие достойных претендентов на лидерство не могли, я полагаю, не заставить его в какой-то момент на-

чать думать, что он может стать политическим руководителем партии и страны — независимо даже от своего собственного желания. Ну а, кроме того, при нашей жестокой политической системе и традициях у каждого руководителя не могло не быть страха перед следующим лидером, который может с ним расправиться. Так что, если можно, лучше и безопаснее самому оказаться на самом верху.

Думаю, что по-настоящему такая перспектива обозначилась для него как более или менее реальная где-то в начале 1982 года, после кончины в январе М.А.Суслова. Уже в феврале начали ходить слухи, что Андропова прочат на его место. Вскоре мне представилась возможность спросить у Юрия Владимировича, имеют ли эти слухи под собой основание. При этом, помню, заметил в шутку, что со времени работы в аппарате ЦК в принципе не верю слухам о кадровых перемещениях, а став академиком, обосновал это научно: слухи рождаются на основе здравого смысла, а кадровая политика ЦК руководствуется какими-то иными, «более высокими» соображениями. Андропов рассмеялся и сказал, что на этот раз слухи верны. Уже через несколько дней после смерти Суслова Брежнев предложил ему вернуться в ЦК на должность секретаря. И сказал: «Давай решим на следующем Политбюро, и переходи на новую работу со следующей недели». «Я, — сказал Андропов, — поблагодарил за доверие, но напомнил Брежневу, что секретари ЦК избираются Пленумом ЦК, а не назначаются Политбюро. Брежнев тогда предложил созвать Пленум на следующей неделе. Я заметил, что ради этого одного не стоит специально созывать Пленум, можно все сделать на очередном, уже объявленном Пленуме, который намечен на май. Брежнев поворчал, но согласился».

У меня из разговора сложилось впечатление, что Андропов в связи с этим предложением испытывал двойственное ощущение. О причинах можно было догадаться. С одной стороны, Андропов хотел бы вернуться в ЦК уже потому, что при смене руководства — а болезнь Брежнева прогрессировала — председатель КГБ окажется в крайне

уязвимом положении. Сделать главу комитета лидером партии и страны, как уже говорилось, было бы против всех традиций. Так что преемником Брежнева стал бы кто-то другой. Но кто бы это ни был, он прежде всего заменит главу КГБ, так как тот слишком много знает, не говоря уж о том, что новый лидер предпочтет иметь на таком посту «своего» человека. Так что многое говорило «за». С другой стороны, Андропова — он потом об этом сам сказал — не мог не волновать вопрос: с чем связано, чем мотивировано предложение Брежнева? О своей смерти и о своих преемниках он вроде бы до сих пор не задумывался. Действительно ли Брежнев хочет, чтобы он руководил работой ЦК? Или же его под этим предлогом просто отстраняют от КГБ?

У меня было бы еще больше сомнений насчет отношения Ю.В.Андропова к этому предложению, если бы я знал некоторые другие детали. В частности, что Брежнев не прислушался к совету Андропова насчет его преемника и вместо рекомендованного им Чебрикова решил назначить Федорчука, возглавлявшего до того украинский КГБ. А также что какие-то уголовные дела, расследуемые КГБ, вроде бы коснулись людей, близких к семье Брежнева (с чем кое-кто связывал и самоубийство заместителя Андропова Цвигуна, лично тесно связанного с Брежневым).

Как бы то ни было, в мае Андропов сменил работу, обосновался на четвертом этаже в кабинете, ранее занимаемом Сусловым. (На его место в конце 1982 года пересел Черненко, того сменил М.С.Горбачев, а затем этот кабинет занял Е.К.Лигачев — прочная традиция: за вторым, как и за Первым, был давно закреплен определенный кабинет.) Уверен, тогда Андропов уже хорошо понимал, что вышел на позицию, которая делала его наиболее вероятным преемником Брежнева на посту Генерального секретаря ЦК КПСС. Собственно, теперь уже сам ход событий заставлял его добиваться положения второго человека в руководстве.

Это было очень своеобразное время. Брежнев, а также, чего уж греха таить, его сподвижники — кто из чувства са-

мосохранения, а кто из-за боязни людей, в свое время соперничавших с Брежневым, — утвердили власть узкой группы лидеров, в которой, несмотря на старость и болезнь, все же до последних дней своей жизни безоговорочно доминировал сам Генеральный секретарь. Все в этой группе уже стали практически несменяемыми, пока хоть как-то держались на ногах. И старыми. Поэтому физиология была важнейшим фактором политики. А иногда все просто зависело от того, кто кого переживет.

Скажем, если бы Черненко чувствовал себя лучше или если бы Брежнев не пережил Суслова, а тот прожил бы еще год, Андропов, вполне возможно, и не стал бы в ноябре 1982 года Генеральным секретарем. Правда, и в реальной жизни обстановка оказалась очень непростой. Летом и в начале осени 1982 года мне пришлось довольно часто общаться с Андроповым, и хотя он, как правило, был очень сдержан в разговорах о том, что происходило в руководстве, и тем более о шедшей там внутренней борьбе, время от времени его прорывало.

Почти тотчас после того, как Андропов стал секретарем ЦК, Черненко, а следом и Брежнев ушли в отпуск. В каких-то делах Андропов этим воспользовался. В частности, «пробил» решение ЦК о переводе первого секретаря Краснодарского крайкома партии Медунова — человека, наряду со Щелоковым ставшего символом беззастенчивой коррупции, — в Москву (кажется, на должность заместителя одного из министров). Это имело большое практическое значение — Медунов, будучи в Краснодаре, легко блокировал расследование злоупотреблений в своем крае. А вскрыть этот гнойник Андропов очень хотел, надеясь, что таким образом начнет «проветривать» всю политическую обстановку, стимулирует борьбу со злоупотреблениями и в других местах. С юга, где отдыхало начальство, правда, пришли сигналы недовольства. И не только от Черненко, но и от Брежнева, хотя с ним вопрос о переводе Медунова был, как рассказывал Андропов, согласован по телефону.

Насколько я могу судить, Андропов, видимо, утратил в

тот момент прежний контакт с Брежневым, не мог быть уверен, что за его спиной не плелись его противниками интриги. В частности, назначенный председателем КГБ Федорчук начал в комитете преобразования, которые очень задевали, беспокоили Юрия Владимировича (почему — не могу сказать, но он заметно нервничал, когда как-то об этом сказал). Вершились и какие-то другие дела, выводившие из себя Андропова. Летом и в начале осени 1982 года он часто бывал в дурном настроении.

Потом, кажется, 20 октября, через пару дней после выхода Андропова из отпуска, мне позвонили из его приемной и пригласили на встречу (я накануне попросился на прием, чтобы обсудить вопрос о преемнике недавно умершего Иноземцева). Я застал Андропова очень возбужденным и в таком хорошем настроении, в каком его давно не видел. Оказывается, у него пару часов назад было серьезное «выяснение отношений» с Брежневым. «Я, — сказал он, — набрался духу и заявил, что просто не понимаю своего положения, желал бы знать, чего, собственно, хотело руководство, лично Леонид Ильич, переводя меня на новую работу: отстранить от КГБ или поручить вести более важные политические дела в ЦК». Брежнев, выслушав, ответил: хочет, чтобы Андропов брал в руки «все хозяйство». «Ты — второй человек в партии и в стране, исходи из этого, пользуйся всеми полномочиями». И пообещал ему полную поддержку. Это развязывало Андропову руки — в Политбюро и Секретариате, в аппарате ЦК, где сильны были позиции Черненко, ситуация для него была, видимо, непростой.

Не прошло и трех недель после этого разговора, как Брежнев скончался и его преемником стал Андропов. Может быть, Брежнев ощущал близкий конец? А может быть, это была чистая случайность? Не знаю.

Существеннее, однако, чем хроника событий, политическая оценка роли Андропова на протяжении того времени, что он был в руководстве. Я выскажу некоторые свои соображения и предположения, оговорившись: есть нема-

ло деталей, которых я просто не знаю. Особенно в той части, что относится к его работе в КГБ. На эту тему он со мною почти не говорил, хотя кое-что было нетрудно «вычислить» самому и сверить с тем, что доводилось узнать со стороны.

Первый пост, заняв который, Андропов в силу логики событий начал оказывать влияние на политику, был пост советского посла в Венгрии. Он занимал его с 1954 до 1957 года, то есть в период, на который пришлись драматические события в Венгрии, сыгравшие заметную роль и в международных отношениях, и в наших внутренних делах.

Я не могу давать оценки его работе в этой должности. Да и интересуют меня лишь те аспекты, которые могли оказать влияние на формирование политических взглядов Андропова в последующие годы. Ограничены и источники — рассказы наших людей, работавших в это время в Венгрии, а также некоторых венгерских товарищей, включая Яноша Кадара (с ним я несколько раз в 1983—1988 годах имел длинные доверительные беседы).

Первое, в чем сходятся советские собеседники, — сообщения Андропова в Москву в месяцы, предшествовавшие вооруженному выступлению противников режима Ракоши осенью 1956 года, отличались необычной для тех времен откровенностью и даже остротой (возможно, это спасло его политическую карьеру после венгерских событий, когда, как рассказывал он сам, эти сообщения подробно, чуть ли не под лупой исследовались). Андропов, в частности, критически отзывался о Ракоши и других венгерских руководителях, предупреждал, что, если мы и дальше будем делать на них ставку, это может окончиться серьезными потрясениями. Вместе с тем не исключаю, что его рекомендации содержали и предложения о необходимости укрепления «закона и порядка», возможно, за счет какого-то наращивания нашего военного присутствия в Венгрии.

Это меня не удивило бы по той простой причине, что соответствовало тогдашнему нашему имперскому полити-

ческому мышлению, прежде всего в отношении социалистических стран Восточной Европы. Стран, которым при нашем активном участии, более того, по нашей воле в конце сороковых годов были навязаны политический режим, экономическое устройство, внутренние порядки, отвечавшие нашим представлениям (добавлю — того времени) о социализме. Это была одна из крупнейших ошибок нашей политики. Мы предпочли хорошим, взаимоуважительным отношениям с соседями военно-политический союз, который к тому же сопровождался грубым вмешательством в их внутренние дела. Тогда за это приходилось платить берлинскими, венгерскими, чехословацкими событиями. Но настоящий час расплаты наступил в конце восьмидесятых годов.

Нельзя сказать, что ненормальность, опасность положения, сложившегося после принудительной «социализации» восточноевропейских стран в конце сороковых годов, не была замечена. Уже в первые годы после смерти Сталина начались какие-то изменения в наших представлениях, пробивалось, пусть с трудом, понимание того, что надо считаться с экономическими и политическими интересами наших соседей.

Андропов, наверное, не мог вырваться за рамки противоречивого сочетания тех и других представлений. Но, судя по тому, что я знаю, он выделялся среди послов в странах народной демократии тем, что был больше других открыт для новых идей и раньше своих коллег перестал относиться к стране, в которой был аккредитован, как секретарь обкома к своей области.

Сами трагические события в Венгрии в конце октября — начале ноября 1956 года наложили очень глубокий отпечаток на Андропова. Он оказался в их политическом эпицентре. Понимал он их — это я знаю от него самого — действительно как вооруженную контрреволюцию, которую надо подавить, и это повлияло на его политическое мышление. Вместе с тем он, я уверен, лучше других видел, что распад существовавшей в Венгрии власти, размах и

накал массового недовольства имели своей причиной не столько то, о чем говорилось официально — заговор контрреволюционеров и происки из-за рубежа, сколько реалии самой венгерской действительности. Связанные, в частности, с тем, что все сталинские извращения, произведенные на свет у нас, были пересажены на венгерскую почву и приняли там еще более уродливые (если это только возможно) формы. Видел он и экономические проблемы, созданные неравноправным положением Венгрии в торгово-экономических отношениях с Советским Союзом.

На отношение Андропова к событиям в Венгрии, наверное, повлияли и личные, чисто эмоциональные впечатления. К нему стекалась информация о действиях тех, кто восстал, об их безжалостных расправах с коммунистами, партийными работниками и государственными служащими. Немало пришлось пережить и ему самому. Я уже упоминал, что события, в центре которых он оказался, стали причиной серьезной, на всю жизнь, болезни его жены. Вокруг посольства шла стрельба. Обстреливали и самого Андропова, в частности, когда он выезжал для встречи А.И.Микояна на аэродром.

Ну а, кроме того, нельзя переоценивать и степень интеллектуальной и политической зрелости Андропова в 1956 году — сорокачетырехлетнего провинциального партийного функционера, выросшего в сталинские времена, не имеющего международного опыта, воспитанного на жестких идеологических догмах. У меня сложилось впечатление, что у Андропова в результате как особенностей его интеллектуально-политического багажа, так и политических событий, в центр которых он попал, сложился определенный психологический комплекс. Люди, знавшие Андропова, назвали его позже «венгерским комплексом», имея в виду очень настороженное отношение к нарастанию внутренних трудностей в социалистических странах и — это уже моя оценка — излишне быструю готовность принимать самые радикальные меры, чтобы предотвратить перерастание этих трудностей в острый кризис. Хотя, надо

сказать, в отличие от многих других наших деятелей к причинам такого рода кризисов он не относился примитивно, видел их более глубокие экономические, политические и идеологические составляющие и, не исключая применения силы, вместе с тем не сводил к последнему антикризисные меры.

С этим связан еще один момент, отличавший Андропова от многих его коллег. Когда вооруженное сопротивление противников существовавшей власти в Венгрии было подавлено вооруженной силой, Андропов сразу же начал думать не о мести, не о сведении счетов с противниками, а о скорейшем установлении гражданского мира. Поэтому он в меру сил поддерживал кандидатуру Яноша Кадара, выдвинутого на пост руководителя партии, собственно, на пост нового лидера Венгрии. Кадара, которого Ракоши посадил в тюрьму, подвергал издевательствам и пыткам, держал под угрозой расстрела. Я знаю, что не все в Москве благосклонно относились к этому предложению, у многих было мнение: именно то обстоятельство, что Кадар был в тюрьме и чувствовал себя обиженным, могло отразиться на его отношении к Советскому Союзу, с руководством которого, как он знал, Ракоши не мог не согласовать его арест. Не окажется ли Кадар поэтому ненадежным союзником, не поведет ли он Венгрию по враждебному СССР пути?

Такие сомнения одолевали кое-кого в Москве. Они были сродни тем подозрениям, которые тогда питало советское руководство в отношении польского лидера Гомулки — человека схожей с Кадаром судьбы. Я уже писал: нам повезло, что поляки сумели проявить в октябре 1956 года решимость и не удовлетворили настойчивых требований Хрущева не допустить к власти Гомулку, оставить у руководства Охаба (это наверняка привело бы к взрыву в Польше и, поскольку он, скорее всего, совпал бы с событиями в Венгрии и, не исключено, что перекинулся бы потом на ГДР и другие страны региона, могло иметь трагические последствия для нас и всей нашей политики). Андропову,

однако, удалось убедить Москву, что лидером должен стать Кадар, и его приход к власти помог довольно быстро вывести Венгрию из состояния глубокого кризиса и полной национальной деморализации.

Более близко мне пришлось наблюдать деятельность Андропова уже в Отделе ЦК. Думаю, в целом его деятельность, а также его влияние на нашу политику во время пребывания на этом важном посту были положительными.

Конечно, если судить по критериям того времени, учитывать, что действовал он в рамках господствовавших тогда и бывших непререкаемыми представлений о политике в отношении социалистических стран, да и внешней политики в целом. Андропов в меру того, что считал возможным, настаивал, чтобы мы больше считались с самостоятельностью других социалистических стран, с их интересами. Он старался при помощи политических и экономических средств предотвратить ситуации, которые могли бы привести нас к использованию силы для подавления их попыток найти самостоятельные решения тех или иных проблем. Андропов выступал за более терпимое отношение к их поискам, даже если они означали отход от советского опыта. И был решительным сторонником экономической интеграции социалистических стран на новых основах, предусматривавших действительно взаимные интересы. Хотя, как упоминалось, глубоких экономических знаний у Андропова не было и он ставил эти вопросы лишь в общем, политическом плане. Как секретарь ЦК Андропов, насколько я мог наблюдать, не боялся выходить и за рамки своей непосредственной ответственности, поднимал вопросы об отношениях между Востоком и Западом, о нашей глобальной политике и о новых явлениях в международных делах.

В очень сложный период, непосредственно после октябрьского (1964 года) Пленума ЦК КПСС, Андропов, пережив кратковременную «опалу» и болезнь, вел себя активно, поддерживая линию XX съезда, курс на мирное сосуществование и старался в таком духе повлиять на Брежнева.

Думаю, что в этом плане его роль в тогдашнем руководстве была уникальной — я не знаю никого другого из людей столь высокого положения, кто бы последовательно пытался проводить такую линию. Хотя Андропов был при этом осторожным, соблюдал все правила тактики (мне часто казалось, что он ими даже злоупотреблял).

Что касается его деятельности на посту председателя КГБ, то по причинам, о которых говорилось выше, я не берусь давать ей сколь-нибудь однозначные оценки. Здесь, насколько я знаю, положительное и негативное было перемешано особенно густо.

Прежде всего надо иметь в виду, что в этот период все более заметной становилась тяга большой части руководства к возврату, хотя бы частичному, пусть без крайностей, к сталинизму и, в частности, к ужесточению карательной политики. Несколько раз я слышал от Андропова, а еще чаще от других, что в Политбюро раздавались открытые требования «сажать» — сажать диссидентов, людей, критикующих систему и отстаивающих свои мнения. Часто при этом выражалось недовольство «либерализмом» тех, кто за это дело отвечает. Знаю, в частности, что раздавались и требования арестовать таких видных деятелей культуры и науки, как Солженицын и Сахаров.

Андропов этого не хотел и, наверное, в меру возможного этому противостоял. Отчасти по убеждениям — он по характеру был человеком не из того материала, из которого получались в свое время ягоды, ежовы и берии. А отчасти, я допускаю, и потому, что был осторожен, усвоив урок XX съезда, разоблачившего злоупотребления в органах безопасности, оберегал свое доброе имя, свою репутацию.

В то же время в этот период в КГБ не только допускались аресты и осуждения просто невинных людей, которые впоследствии были реабилитированы, но получала все более широкое распространение весьма отталкивающая практика разнообразных форм борьбы с диссидентами. В дополнение к обычной слежке, постоянному политическому давлению на них использовались попытки полити-

чески и морально дискредитировать диссидентов, иногда даже при помощи провокаций, запугивания, незаконного помещения их в психиатрические больницы. Практиковались и высылка за границу, лишение советского гражданства.

Андропов не мог не нести за это вину. И очень трудно — даже людям, испытывающим к нему уважение, — оправдать это тем, что он на такую практику шел, ее санкционировал, чтобы избежать других, более жестоких мер, которых требовали некоторые его коллеги, — прямых репрессий, арестов и уголовного преследования невиновных. Хотя требования такие, несомненно, раздавались, и уж сам себя он мог в собственных глазах именно так оправдывать. Я отнюдь не хочу становиться в позу чистоплюя и моралиста; у меня, в частности, не вызывает сомнений правильность того, что он согласился возглавить КГБ в 1967 году — уступать этот стратегически важный пост неизвестно кому было просто опасно. Понятно и то, что за такое решение пришлось платить. Возглавив КГБ, Андропов должен был принимать соответствующие меры не только в отношении шпионов, изменников, но и ожесточенных врагов строя, добивавшихся его насильственного свержения.

Но остается фактом, что Андропов дал себя втянуть или сам втянулся в весьма неприглядные дела. В общем, оказалось, что и он не составлял исключения, поддался, как многие, той «порче», которая исходит от власти, от занимаемой высокой должности.

Не могу не сказать в связи с этим о деле, которым он очень дорожил, — о затее с организацией так называемого Пятого управления (думаю, идея была все же подсказана кем-то из старых работников комитета, что, конечно, не снимает ответственности с Андропова).

Впервые услышал я об этом вскоре после перехода Андропова в КГБ. Он как-то с гордостью сказал, что «работу с интеллигенцией» вывел из контрразведки: нельзя же, мол, относиться к писателям и ученым как к потенциальным шпионам и заниматься ими профессиональным контрразведчикам. Теперь, продолжал он, все будет иначе,

делами интеллигенции займутся иные люди, и упор будет делаться прежде всего на профилактику, на предотвращение нежелательных явлений.

Я тогда (поначалу с Андроповым спорить было легче: он только недавно ушел из ЦК, еще не ощущал себя «вождем», и отношения по инерции сохранялись у нас доверительные) набрался решимости и возразил. Сказал, что, во-первых, не понимаю, почему вообще КГБ должен «заниматься» интеллигенцией. Ведь не «занимается» он, скажем, рабочим классом или крестьянством. Понятно, что если какие-то представители интеллигенции, как и любой другой прослойки общества, становятся на путь преступлений, на путь контрреволюционных заговоров, антисоветской деятельности, то это уже дело КГБ. А остальное, мне кажется, вообще должно находиться в сфере внимания других организаций — ЦК КПСС, творческих союзов и т.д. но не карательных органов. Будь то контрразведка или какое-то новое управление. Во-вторых, мне не кажется привлекательной «профессионализация» сотрудников КГБ в работе с интеллигенцией, то, что какой-то их круг исключительно будет «занят» интеллигенцией. Не пойдут ли они по пути тех жандармских офицеров, «работавших» с интеллигенцией при царе, которых описал в «Климе Самгине» Горький, по пути чистой «бенкендорфщины»? Андропова покоробило это сравнение, он мне возразил, что я не понимаю реальностей, не знаю всего, что происходит в обществе, и то, что он задумал, означает значительный шаг вперед, отход от плохой старой практики, а отнюдь не возврат к «жандармской» деятельности.

Я высказал ему и еще одно сомнение — что создание специального управления приведет не к сокращению, а к росту числа различных дел и проблем с интеллигенцией. И по очень простым причинам: пока вопросы, связанные с интеллигенцией, оставались в ведении контрразведки, это было все-таки для последней не основным и тем более не единственным занятием. А главным было разоблачение шпионов. Если же будет создано специальное управление,

то ему ведь придется оправдывать свое существование и, когда нет реальной работы, ее придумывать, что может привести к возникновению серьезных проблем.

Андропов не принял этих замечаний всерьез, сказав, что я ничего в этом деле не понимаю, но через некоторое время увижу сам, какую эти изменения принесут пользу.

Потом из того, что доводилось услышать, в том числе от Андропова, у меня сложилось впечатление, что работой нового управления он весьма интересовался. И как «неофит» в делах КГБ чем-то в ней даже бывал увлечен, чрезмерно верил сотрудникам этого да и других управлений. А его работа оказалась отнюдь не безобидной. В общем, была вписана еще одна постыдная страница в историю деятельности этого учреждения. Произошло немало личных трагедий. Ухудшилась морально-политическая обстановка в стране. Был нанесен дополнительный ущерб нашему образу в глазах мировой общественности.

Так что — говорю об этом с горечью — Андропов несет ответственность за многие неправедные дела семидесятых — начала восьмидесятых годов, за преследование инакомыслящих, в том числе и за политические аресты тех лет, изгнание за рубеж, «психушки», включая и такие дела, ставшие печально знаменитыми, как преследование академика А.Д.Сахарова. От этого никуда не уйдешь. Хотя отдельных представителей интеллигенции он из беды выручал и от ударов прикрывал.

При Андропове, особенно по мере роста его политического авторитета, очень заметно росло и возглавляемое им ведомство — численно и даже по занимаемым в Москве да и на периферии зданиям, а также по своему весу в структурах власти. Конечно, люди там, как я себе представляю, в основном были иные, чем в 1937 году или в другие периоды сталинских репрессий. Но все-таки столь большой рост влияния карательных органов был ненормален, и он оказывал на жизнь общества негативное воздействие. Содействуя экспансии своей «империи», Андропов, я полагаю, не преследовал дурных целей, не стремился сделать наше

государство более «полицейским» — скорее речь шла просто о ведомственном интересе, от которóго не застрахованы и крупные политические фигуры. Но объективно это не могло иметь хороших последствий.

Не в оправдание, а для объективности хотел бы заметить, что при всем своем авторитете и в руководстве, и в возглавляемом им ведомстве, при всем том, что в период болезни Брежнева он мог пользоваться значительной самостоятельностью, полным хозяином «в своем доме», то есть в КГБ, Андропов все же себя не ощущал. Я писал уже, что Брежнев всегда старался иметь на достаточно высоких постах в комитете «своих», лично близких людей, докладывавших ему напрямую помимо Андропова. И это постоянно держало того в напряжении.

Вот один типичный эпизод. Как-то Андропов попросил меня срочно приехать. Пригласил сесть и сказал, что покажет мне одну «бумагу», о которой просит никому не говорить, но хочет со мной посоветоваться. «Бумага» представляла собой копию перлюстрированного письма одного моего близкого товарища, которого и сам Андропов знал лично, мало того — был с ним в хороших отношениях. Письмо было написано под настроение, очень искренне и касалось не только личных, но и политических переживаний автора, вызванных, в частности, тем, что работать приходится — по его выражению — под началом ничтожных людей, впустую, напрасно тратя энергию и время.

Поскольку речь шла о человеке, достаточно известном руководству, Андропов сказал, что ему придется показать письмо Брежневу. А тот, естественно, примет сказанное на свой счет. Потому реакции он ожидает самой негативной (таковой она и оказалась). Как быть?

Я попытался его отговорить: зачем показывать письмо, тем более что фамилии того, кого автор считает «ничтожным», нет и можно допустить, что имелся в виду не Брежнев, а кто-то другой. Мало ли у нас ничтожных и бездарных людей, в том числе и таких, на которых приходится работать автору письма? Андропов, сказав, что на такой

мякине никого не проведешь, заметил: «Я не уверен, что копия этого письма уже не передана Брежневу. Ведь КГБ — сложное учреждение и за председателем тоже присматривают. Тем более что есть люди, которые будут рады меня скомпрометировать в глазах руководства тем, что от Брежнева что-то утаил, да еще касающееся его лично».

Я ушел после этой беседы подавленный — в каком же мире кривых зеркал мы живем, насколько извращенные, аморальные нравы царят на самом верху! Перлюстрация личных писем. Доклад о них главному лицу в стране. Да еще и надзор за тем, кому руководитель доверил за всеми надзирать! А ведь в этом эпизоде, скорее всего, открылся лишь маленький кусочек действительности. Между тем Андропов, возглавив КГБ, естественно, не мог уйти от самых неприглядных сторон деятельности этого учреждения. Думаю, нелегко было, постоянно сталкиваясь с изнанкой политических, служебных и личных отношений, поневоле копаясь в грязном белье общества, оставаться прежним собою.

Вместе с тем я все-таки считаю, что, окажись в это сложное время (даже безвременье) на посту председателя КГБ другой человек — практически любой из тех, кто был в те же годы на политическом горизонте, развитие событий могло принять куда более тягостный оборот.

В течение многих лет своей работы в КГБ Андропов входил одновременно в высшее политическое руководство страны — был кандидатом в члены, а затем членом Политбюро, притом одним из самых влиятельных. В этом плане он, конечно, не может не нести ответственности за положение дел в стране, ее усиливавшийся упадок. Зная, однако, и политические механизмы, и нравы того времени, я бы не стал упирать на такие общие оценки — в существовавшей в руководстве обстановке не было принято вмешиваться в дела, тебе непосредственно неподведомственные, а тем более спорить с Генеральным секретарем. Так что, давая оценки, надо быть конкретным. Действительно большой грех на душе Андропова, если говорить о политике страны

в тот период, — это Афганистан. Но об этом я уже говорил.

Короткий период в деятельности Андропова между его возвращением в ЦК КПСС в мае 1982 года и до смерти Брежнева, наверное, заслуживает позитивной оценки.

Став, по существу, вторым человеком в партии, да еще в условиях тяжкой болезни первого, он, я думаю, больше, чем когда-либо раньше, ощутил ответственность уже не за ограниченный участок работы, а за общее положение дел в партии и в стране. Тем более что тяготы, проблемы и негативные стороны ситуации он знал лучше других из информации, которую много лет постоянно получал, возглавляя КГБ.

Вернувшись в ЦК, Андропов сразу же взялся за дело, не стал выжидать. Как я себе представляю, одной из проблем, которая его тогда больше всего волновала, были коррупция, разложение, глубоко проникшее почти во все ткани нашего общества. И прежде всего коррупция среди руководителей разного уровня. О семье Брежнева я от Андропова в связи с этим никогда ничего не слышал, хотя на Западе об этом писали. Не исключаю, что он просто не считал возможным со мною об этом тогда говорить. Но из тогдашних разговоров помню, что особенно беспокоили его фигуры Медунова и Щелокова — людей, наглядно символизировавших растленность, безнаказанность и вседозволенность руководителей. Ну а, кроме того, близких к Брежневу, бросавших на него тень.

В идеологической сфере, включая общественные науки, Андропов тоже проявлял известную активность, с чем были связаны и мои довольно частые в те месяцы встречи с ним. Он не планировал, во всяком случае тогда, каких бы то ни было драматических перемен, но явно хотел остановить наступление активизировавшихся консервативных, неосталинистских сил.

Во внешней политике с переходом Андропова на новую работу ситуация едва ли изменилась. Он не стал здесь более влиятельным, как и раньше, входил в «тройку», кото-

рая готовила, а нередко и решала вопросы (в ней состояли также Громыко и Устинов).

Многого Андропов за это время, конечно, сделать не смог — с момента перехода на новую работу и до смерти Брежнева прошло менее полугода. Но все же обстановка в ЦК начала меняться. Это ощущали многие люди, включая и меня. Те, кто видел перемены, начали с несколько большей надеждой смотреть в будущее. Потому прежде всего, что впервые появилась реальная альтернатива черненкам, гришиным, тихоновым.

Это, по существу, было главным — Андропов явно стал первым и основным кандидатом в преемники Брежнева. Наверное, он в это время шире — уже в масштабах государства — начал думать о тех проблемах, которые стоят перед страной. Это, возможно, помогло ему несколько лучше подготовиться к ожидавшей его роли политического лидера державы[1].

С ноября 1982 года начался последний период жизни Андропова, важный во многих смыслах, включая и возможность оценить вклад, который внес в политику, даже в судьбу страны этот деятель.

Сейчас уже начинают забывать, что после периода, который мы по праву зовем застойным, отнюдь не сразу последовала перестройка, что их отделяли почти два с половиной года. Период, мне кажется, важный для последующих событий, а также для нашего понимания собственной истории.

Пребывание Ю.В.Андропова на посту Генерального секретаря ЦК КПСС оказалось, как известно, очень коротким — четырнадцать месяцев, а если вычесть время тяж-

---

[1] К ноябрю 1982 года, когда скончался Брежнев, Андропов был уже самым вероятным его преемником. Но все же не имел уверенности, что все гарантировано. Знаю это и потому, что из Австрии, где меня застала весть о смерти Брежнева, меня срочно доставляли той же ночью в Москву на самолете Министерства обороны, который повернули в Братиславу с полпути, когда он летел из Праги в Москву. На Пленуме ЦК Андропов хотел все же иметь больше людей, которым мог доверять.

кой болезни, наверное, не более полугода. При всей скромности масштабов того, что было реально сделано, это были важные месяцы — они как бы ознаменовали собой перерыв дурной постоянности, движения по наклонной плоскости — движения, которому, как начинало порой казаться, просто нет конца.

Страна увидела, во-первых, что ею может руководить нормальный, внушающий доверие, даже не лишенный обаяния человек. Это само по себе давало немалые надежды.

Во-вторых, Андропов уже в первых своих выступлениях пообещал перемены — борьбу с коррупцией, всеобщей безалаберностью, поставил цель подъема страны, преодоления трудностей и решения проблем (о тех и других он начал говорить с откровенностью, от которой мы отвыкли).

В-третьих, люди увидели и реальные дела: они были восприняты как предвестники более значительных перемен. Были сняты с работы особенно одиозные фигуры (в том числе Медунов и Щелоков), усилилась борьба со взяточниками и казнокрадами, начали что-то делать для борьбы с коррупцией, наведения порядка, укрепления дисциплины (хотя иногда, скорее всего, по инициативе местных властей, действовали нелепыми методами, вроде «облав» с проверкой документов в ресторанах и кинотеатрах в рабочее время).

Все это с первых месяцев и даже недель обеспечило Андропову огромную популярность. От него многого ждали все слои общества: и рабочие, и колхозники, и интеллигенция (в ее среде он был весьма популярен, несмотря на подозрительность, которую традиционно интеллигенты питали к КГБ). У людей родилась надежда и даже вера, что мы не обречены на вечное жалкое политическое прозябание, что мы можем добиться чего-то лучшего. Можно ли сегодня ответить на вопрос, насколько обоснованными были эти надежды и что было бы, если бы Андропов прожил дольше, какой оказалась бы его программа и куда бы

он повел и привел страну? Это — непростой вопрос. Тем более что даже опытные, уже сложившиеся, сформировавшиеся политики, став лидерами государства, нередко меняются, развиваются в ту или иную сторону, растут, достигают вершин, которые могли еще вчера казаться для них недоступными, или, наоборот, обманывают ожидания и оказываются несостоятельными.

Но я все-таки рискну если не ответить на этот вопрос, то, во всяком случае, изложить некоторые свои соображения. О том, в частности, к чему Андропов, согласно моим впечатлениям, тогда стремился, что он планировал в первые недели и месяцы своего пребывания на высшем в партии и государстве посту.

Я уже говорил, что Андропов яснее других лидеров видел наши назревшие и перезревшие проблемы, болячки и язвы (это не значит, что даже он видел их все и в их подлинных размерах). Для первого периода у него, конечно, были и какие-то свои, родившиеся еще до смерти Брежнева, планы. И они, конечно, шли дальше наведения элементарного порядка и дисциплины, наказания особенно обнаглевших казнокрадов.

Судя по некоторым разговорам, он понимал, что общество, еще не оправившееся от сталинизма и натерпевшееся разочарований и унижений в годы, которые мы называем застойными, нуждается в серьезных реформах и обновлении. Но Андропов — этому его научила жизнь — был осторожным политиком и, как мне кажется, чрезмерно остерегался быстрых и крутых перемен. В том числе и в кадровых вопросах, избавлении партии и страны от некомпетентных, часто глупых, серых, к тому же очень старых, не имеющих сил работать людей.

Как-то, в первые дни после избрания Андропова Генеральным секретарем, мы с ним на эту тему поспорили. Я сказал, что без радикальных кадровых перемен ему ничего сделать не удастся. А он, согласившись, что множество работников, занимающих ответственные посты, несостоятельны, ответил, что пока их менять не будет. Ибо не

хочет иметь враждебный к себе Центральный Комитет. А нарушать Устав, преждевременно, за три года до срока, собирая съезд или пачками исключая этих людей из Центрального Комитета на Пленуме, как однажды сделал Брежнев, тоже не считает возможным. Веря, что Андропов не хотел нарушать Устав КПСС, я все-таки не убежден в том, что дело было только в его щепетильности. У меня сложилось впечатление, что Андропов просто не знал и не видел людей, которые могли бы заменить тех, кто достался ему по наследству. А многие из них при очевидной и для него слабости были ему не только понятны, но и чем-то близки. Кадровая политика, я думаю, как была раньше, так и осталась одним из его главных слабых мест. Андропов, хотя сам был другим, десятилетия жил и рос среди типичной для тех лет номенклатуры и просто не представлял себе ее массовой замены. Как и раньше, он, скорее, рассчитывал на то, что, повысив и приблизив к себе несколько человек, сможет компенсировать слабости остальных и решит проблему. Хотя уже в масштабах страны, а не ведомства, да еще если он хотел провести серьезные реформы, такая линия никогда не принесла бы успеха. Ну а к этому добавлялись и прямые ошибки, такие, как с Романовым или Алиевым. Впрочем, не могу исключать, что через какое-то время он занял бы в этих вопросах другую позицию — просто заставила бы жизнь.

Но кадры все-таки — инструмент, средство, пусть очень важные, такие, от которых зависит успех задуманного. А какие цели ставил перед собой Андропов?

Уверен, он видел, что состояние, в котором страна была не только при Сталине, но и при Брежневе, не является нормальным, что нужно многое менять, начиная с экономики. Но здесь скрывалась другая его слабость, которая, я думаю, со временем дала бы себя знать. К экономическим проблемам Андропов интереса никогда не проявлял, образа мыслей в этой сфере придерживался довольно традиционного, не выходя далеко за пределы представлений о необходимости навести порядок, укрепить дисциплину, ну

еще повысить роль материальных и моральных стимулов. Конечно, если бы судьба, жизнь дали ему побольше времени, его взгляды могли бы измениться и в этих вопросах. Но, к сожалению — и здесь я говорю не только о здоровье, но и о положении в стране, — такого большого времени история на просвещение наших лидеров не отпустила.

Наверняка была у нового Генерального секретаря своя программа в области внешней политики — здесь он был профессионалом (хотя профессионализм, бывает, сковывает новаторство). У него — это я знаю достоверно — не было сомнений относительно того, что жизненные национальные интересы страны требуют мира, ослабления напряженности, развития взаимовыгодных связей. Хотя он не всегда видел пути к этим целям, в том числе и потому, что не отдавал себе до конца отчета в том, насколько многое в сложившейся тяжелой международной ситуации надо отнести на счет нашей собственной политики.

Лучше всего он понимал, даже ощущал вопросы наших отношений со странами социалистического содружества. И здесь в его сознании, насколько я могу судить, созрел важный перелом — возможно, под влиянием наших неудач в Афганистане, за которые он вместе с Громыко и Устиновым нес особую ответственность, а также событий в Польше. Я склонен очень серьезно отнестись к выдвинутому (по нашей инициативе, конечно, — тогда иначе не могло быть) Организацией Варшавского договора предложению заключить с НАТО договор о неприменении военной силы. По этому договору, что специально оговаривалось, стороны брали на себя обязательства: во-первых (подчеркиваю, во-первых), не применять силу в отношении любой страны, принадлежащей к ее собственному блоку, во-вторых, к противоположному блоку и, в-третьих, в отношении любой третьей страны. Я думаю, это предложение отражало новые представления, созревшие в сознании Андропова и означавшие преодоление «венгерского синдрома», которым он долгое время страдал, а также, ко-

нечно, разрыв с тем, что во всем мире называли «доктриной Брежнева».

Андропов видел также, что перемены в Китае открывают возможность нормализации наших отношений. И сделал по этому поводу заявление в одной из своих первых в качестве Генерального секретаря речей.

Что касается США, Запада в целом, то он, конечно, был сторонником разрядки, улучшения отношений. Но у него были глубокие сомнения, что при администрации Рейгана на этом фланге удастся что-то сделать, — после бурной антисоветской реакции администрации США на трагический инцидент с южнокорейским самолетом КАЛ-007 эти сомнения превратились в уверенность.

Не думаю, что Андропов был готов пойти так далеко по пути к здравому смыслу вопреки всем старым догмам, как это было сделано позднее в концепции нового политического мышления. Но необходимость в каких-то переменах, в каких-то сдвигах в нашей окостеневшей (в период, кстати, когда он был одним из тех, кто формировал политику) политической позиции Андропов ощущал. Несмотря на хорошие личные отношения с Устиновым, у Андропова вызывали известные сомнения, в частности, наши военные программы, позиция Министерства обороны в вопросах разоружения. Думаю, поживи он дольше, в наших позициях на переговорах по разоружению произошли бы перемены, хотя, возможно, не такие решительные, как в период перестройки. К некоторым военным деятелям он испытывал и известное политическое недоверие. К их числу относился Н.В.Огарков. Как-то в моем присутствии, разговаривая с кем-то по телефону, он назвал его «наполеончиком» (напомню, что вскоре, но уже после смерти Андропова тот был смещен с поста начальника Генерального штаба).

Что касается внутренних дел, то Андропов, как мне кажется, имел все же намерение добиваться решения ряда серьезных проблем в социально-политической сфере. Здесь он чувствовал себя увереннее, чем в экономике. Судя по беседам, а потом появились на этот счет и другие дока-

зательства, он, в частности, считал необходимым развитие демократии (по тогдашним временам идеи, которые он высказывал, были смелыми, хотя сейчас показались бы очень скромными). Беспокоило его и состояние межнациональных отношений в стране — видимо, еще работая в КГБ, он лучше других знал, насколько оно опасно. Важной задачей Андропов также считал улучшение отношений руководства с интеллигенцией, восстановление доверия и налаживание взаимоуважительного сотрудничества. Эти планы, однако, только еще вынашивались. И шел этот процесс медленно, так как его отвлекала и чисто аппаратная «кухня», на него давили со всех сторон (и прежде всего справа), и он не всегда этому давлению мог, а может быть, и хотел противостоять.

Но это мне стало очевидно позже, уже после того, как закончилась большая ссора между мною и Юрием Владимировичем. Произошла она в конце декабря 1982 года. Причиной, а скорее поводом, послужила моя записка Андропову. Поскольку он мне ее в тот же день вернул с фельдъегерем, без предупреждения приехавшим домой (я был рад, что куда-то ушла жена, которую внезапное появление офицера КГБ расстроило бы — ей я о ссоре рассказал несколько лет спустя), сопроводив очень злым, фактически порывавшим многолетние товарищеские отношения ответом, я считаю себя вправе подробнее рассказать об этом эпизоде. О чем я писал Андропову? О том прежде всего, что представители творческой интеллигенции испытывают разочарование в связи с происшедшими уже при нем назначениями в Отделе культуры аппарата ЦК КПСС, а также в ряде издательств и редакций. «Параллельно, — писал я, — идет полоса снятия спектаклей в театрах, в том числе тех, что разрешались раньше (уже затронуты Театр сатиры, Театр Маяковского, не говоря уж о Театре на Таганке). Все это уже родило пословицу: «Вот тебе и Юрьев день». И далее я призывал Андропова «остановить активность некоторых товарищей, пока у Вас дойдут руки до этой сферы».

Второй вопрос из тех, что я поднял, — попытки вернуть в лоно классического, сталинского догматизма нашу экономическую науку.

Я сообщал, в частности, о «директивных» лекциях, с которыми в последнее время гастролировал по крупнейшим академическим институтам заведующий сектором экономических наук Отдела науки ЦК КПСС М.И.Волков. «Лейтмотивом этих поучений Волкова, — писал я Андропову, — было следующее: вся беда в том, что увлеклись конкретными исследованиями — хозяйственным механизмом, управлением и т.д., а надо заниматься главными категориями политэкономии, ее предметом и методом, общими законами, формами собственности и др. Везде как образец творчества и общественной полезности превозносилась экономическая дискуссия 1951 года и связанная с ней работа И.В.Сталина (по мнению настоящих экономистов — одна из самых неудачных и оторванных от жизни его работ). Вещал т. Волков и массу других нелепостей».

Весь дух лекций Волкова, по словам многих присутствовавших на них, был предельно догматичный и схоластичный. Выступления воспринимались как направленные против указаний о сближении экономической науки с практикой, помощи науки в решении наиболее острых и сложных экономических проблем. «В ИМЭМО и у Олега Богомолова есть записи этих выступлений — их Ваши помощники могут запросить, — писал я Андропову. — Гул в этой связи идет большой — люди, опять же, не понимают, куда идет поворот, и на сей раз не только деятели литературы и искусства, но и люди очень деловые. Гадают и насчет запланированного совещания — не задумано ли оно как дубина против многих ученых и закрепление догматических позиций. Словом, создается впечатление, что дело здесь делается вредное и нечестное».

Отвечая мне, Ю.В.Андропов обвинил меня в «удивительно бесцеремонном и необъективном» тоне, в «претензиях на поучения» и отсутствии объективности, заключив, что это — «не тот тон, в котором нам следует разговари-

вать с Вами» (меня удивило и насторожило, что впервые, наверное, с 1964 года он обратился ко мне на «вы»). Что касается существа поднятых мною вопросов, то он отверг все доводы о начавшемся зажиме в области культуры и не удосужился проверить факты о положении в нашей экономической науке.

«Я не знаю, что мог там «вещать» т. Волков, — писал мне он, — но даже если взять на веру то, что Вы об этом пишете, то оснований для паники нет. Надо поправить его там, где он ошибается, и все (и это писал мне искушенный политик, знавший субординацию, установленную между аппаратом ЦК и учеными! — *Г.А.*). Вы пишете, — продолжал он, — что «гул в этой связи идет большой — люди опять же не понимают, куда идет поворот... не задумано ли запланированное Совещание как дубина». На каком основании такие выводы? Разве ЦК «избил» кого-нибудь за последнее время? Ну а кому делать нечего, могут гадать, как им заблагорассудится». Тоже несправедливо, думал я: кто-кто, а Юрий Владимирович знает, как ответственные работники аппарата ЦК могли ломать судьбы людей и даже целых направлений науки.

Но самое для меня существенное было написано в конце: «Пишу все это к тому, чтобы Вы поняли, что Ваши подобные записки помощи мне не оказывают. Они бесфактурны, нервозны и, что самое главное, не позволяют делать правильные практические выводы».

Я это понял иначе. Не как попытку меня поправить — это я всегда готов был принять. А как своего рода «декларацию» о прекращении отношений и, уж конечно, прежних отношений. Притом почему-то не устную (даже пусть по телефону), а «документально оформленную».

Это был разрыв, большая ссора. Меня она крайне огорчила. И удивила. Дело в том, что и тон моего письма, и сами поднятые вопросы ничем не отличались от наших обычных бесед и тех записок, которые я Юрию Владимировичу время от времени посылал. Более чем двадцатилетние отношения как-то расположили меня к тому, чтобы не

обращать внимания на условности, писать то, что думаю, не особенно заботясь о форме. И никогда это не вызывало гнева. Перечитывая письма, я в тот вечер пришел к выводу, что могу себя упрекнуть лишь в двух вещах. Первая: излишне злой, хотя так не задумывал, получилась в контексте письма поговорка «вот тебе и Юрьев день», тем более что здесь упоминался спектакль «Борис Годунов», — Андропов мог подумать, что я имею в виду какие-то исторические параллели. И вторая: возможно, зря я выпустил из виду, что прежний Юрий Владимирович, став первым в партии и стране лидером, стал и несколько другим Юрием Владимировичем — во всяком случае, ожидал другого обхождения с собой. Хотя в это не хотелось верить, я считал его слишком крупным и умным человеком для того, чтобы власть вскружила ему голову и привела к такой неожиданной для меня открытой вспышке.

Тут же я позвонил А.Е.Бовину — единственному человеку, кому я мог оба письма показать и посоветоваться. Мы встретились на троллейбусной остановке на Кропоткинской. Шел дождь, и, прикрывая письма рукой, я их ему прочел при свете уличного фонаря. Бовин, тоже хорошо знавший Андропова, согласился со мною, что дело было не в самом моем письме, во всяком случае, не в одном моем письме, — Юрий Владимирович, скорее, использовал его как повод, чтобы осуществить что-то уже задуманное — «дистанцироваться», отодвинуть меня подальше. Согласился Бовин также с тем, что мне не надо ни извиняться, ни объясняться, ни пытаться уладить инцидент. Оставалось одно — принять и понять посланный сигнал: «Не путаться под ногами». Буквально через несколько дней по какому-то случаю аналогичное столкновение произошло у Андропова и с Бовиным, что утвердило меня во мнении: письмо было лишь поводом.

Но что же стало причиной? Я, естественно, не раз об этом думал. И все больше утверждался во мнении, что дело было в попытках некоторых представителей руководства, в частности, Зимянина, Устинова, может быть, Чер-

ненко (не исключаю, что участвовали и люди из окружения Андропова), изолировать нового руководителя от тех контактов и связей, через которые он мог получать независимые, отличающиеся от официальных мнения и оценки. До меня доходило: был пущен слух, конечно же, услужливо доведенный до Андропова, что некоторые люди, ранее работавшие с ним (включая меня), распространяются о своей давней дружбе с Генеральным секретарем, пытаются нажить на этом политический капитал.

Конечно, остается открытым вопрос: как сам Юрий Владимирович, столько лет знавший нас, мог поверить этой чепухе? Ответ я вижу прежде всего в том, что у Андропова была слабость прислушиваться к сплетням. И даже иногда внимать им. А также не портить отношения со сплетниками, особенно если это люди высокопоставленные. Ну а второе — это болезнь. Андропов уже был тяжко болен, и это нередко сказывалось на его суждениях. В том, что болезнь сыграла свою роль и Андропов не полностью себя контролировал, меня убедили последующие события.

В январе на каком-то приеме меня отозвал в сторону работник МИД СССР, мой хороший товарищ В.Суходрев. По его словам, сидящий с ним в одном кабинете сын М.В.Зимянина всем рассказывает, что Андропов «снял с Арбатова стружку» за то, что тот вмешивается в дела культуры и искусства, даже поссорился с ним. Ничем, кроме болезни Юрия Владимировича, я не мог объяснить такую его откровенность с М.В.Зимяниным, о котором он был нелестного мнения и не раз мне об этом говорил, и даже выразившееся в этой откровенности предательство. Чуть позже Андропов, поверив доносу, будто я что-то не то сказал о руководстве приезжавшим в Москву американцам, поручил поговорить со мной на эту тему своему преемнику в КГБ. И это, с учетом давних отношений и существовавшего доверия, я не мог объяснить не чем иным, как болезнью. В конце концов, даже получив донос, он просто мог спросить у меня о том, что происходило, — лично либо через

любого из своих помощников, а не обязательно через председателя КГБ.

Шли месяцы. В мае 1983 года Андропов неожиданно мне позвонил, чтобы поздравить с шестидесятилетием. Хотя разговор был короткий, почти официальный, мне показалось, что у него все же скребут на душе кошки, как и у меня: я не мог не думать, что вот сейчас, когда, может быть, особенно нужны нормальные рабочие отношения с этим человеком, мы с ним в ссоре, дали себя поссорить...

Вскоре — в июле или в начале августа — состоялось примирение. М.С.Горбачев позвонил и сказал, чтобы я немедленно связался с Юрием Владимировичем. Я это сделал, и в тот же день состоялась встреча — теплая, глубоко меня тронувшая, хотя и не обошлось без горьких слов, сказанных друг другу. А за ней последовали другие, деловые. Болезнь несколько отпустила, и Андропов стал серьезно думать о следующих шагах — и во внешней, и во внутренней политике.

Во время одной из таких встреч он поручил мне подготовить записку к крупному (это было его выражение) разговору об отношениях и работе с интеллигенцией. В те же дни Бовин получил аналогичное задание по национальному вопросу. Не исключаю, что подобные задания были даны и другим. В общем, у этого человека мысль снова активно работала, притом в правильном направлении. Складывалось впечатление, что он все же отходит от первоначального замысла «малых дел», готовится поставить крупные, жизненно важные вопросы.

Вскоре я отправил ему заказанную им записку, некоторое время спустя он по телефону меня поблагодарил и сказал, что читал ее, многое в ней ему показалось интересным и он надеется вскоре со мною ее обсудить, чтобы дать поставленным вопросам ход. Но это так и осталось одним из неосуществленных замыслов — вскоре Андропов снова заболел и уже к работе не вернулся...

После его смерти один из помощников, у которого хранилась личная рабочая папка Юрия Владимировича,

записку мне вернул. Мне было интересно увидеть отчеркнутые им места — то, что привлекло особый интерес и, видимо, должно было пойти в работу.

Скорее всего, это были мысли, которые волновали и его, их он хотел так или иначе воплотить в политику. Отчеркнуты были, в частности, рассуждения о том, что в плане социально-политическом и моральном интеллигенция даже и сегодня, через шестьдесят шесть лет после революции, «когда уже не осталось того, что называли буржуазной интеллигенцией, все же трактуется как последняя, наименее органичная и важная среди всех трех основных социальных образований общества».

«Конечно же, — продолжал я, — при случае о ней — после рабочего класса и крестьянства — говорят что-то хорошее. Но говорят с известным снисхождением, похлопыванием по плечу, даже с оговорками. А в разговорах среди чиновников, «в своем кругу», «интеллигент» остается почти бранным словом». И далее шел снова отчеркнутый текст: «Не знаю, нужно ли и важно ли сейчас что-то делать с этой, так сказать, доктринальной стороной вопроса. Хотя можно было бы, не отказываясь от признания особой роли рабочего класса, все же напирать на полноправность, на одинаково неотъемлемую роль и функцию обоих классов и «прослойки», на то, что различия носят, скорее, исторический и философский, а сегодня — профессиональный характер, но не затрагивают политического и социального положения в обществе...» Отмечая, что вопрос может казаться не таким уж важным, удаленным от реальности, я писал: «Не думаю, например, что рабочий и крестьянин получают большое удовлетворение оттого, что их ставят в перечислениях впереди, послышнее о них говорят, подчеркивают, что их много в Советах...» И сле ующая фраза была снова отчеркнута Андроповым: «Противостояние, как мне кажется, идет сегодня по другому направлению — не рабочие и крестьяне, а часть чиновничества и бюрократии (особенно руководящая интеллигенцией) противопоставляет себя интеллигенции, говорит о ней снисходитель-

но, а подчас даже и недоброжелательно. С ними рядом и те представители самой интеллигенции, которые свою профессиональную, а подчас и интеллектуальную слабость норовят компенсировать демагогией насчет близости к народу (особенно к деревне). Наверное, махаевщина не грозит рабочим и крестьянам, а стала, скорее, реальной болезнью обюрократившихся элементов аппарата».

Следующее отчеркнутое место относилось к «нововведению», автором которого был, насколько я знаю, Е.К.Лигачев, ставший при Андропове секретарем ЦК КПСС и ведавший организационно-партийной и кадровой работой: «Недавно было принято решение не принимать на работу в аппарат ЦК людей, не бывших ранее на освобожденной партийной работе. Это автоматически исключает из работы в аппарате ЦК специалистов-международников, ученых, журналистов, деятелей культуры и искусства, в конце концов, просто заслуживающих доверия хозяйственных руководителей, врачей и учителей. Утверждается, по сути, аппаратное сектантство. Учитывая, что из этого постановления сделают свои выводы республики и обкомы, партийный аппарат скоро будет состоять лишь из тех, кто с юных лет избрал чиновничью стезю и вознамерился «руководить», стать начальством, кто со студенчества или первых трудовых лет пошел в аппарат (сначала, как правило, РК комсомола) и рос в нем, двигаясь по ступенькам. Превращать работу в партийном аппарате в своего рода суррогат дворянства, как мне кажется, крайне опасно... Это более широкий вопрос, чем интеллигенция, но имеет отношение и к ней — думаю, в шестидесятых годах ничего плохого не произошло оттого, что наряду с повзрослевшими комсомольцами в международные и некоторые другие отделы пришли научные работники, журналисты, дипломаты. Может быть, стоило бы попробовать их, равно как отличившихся на работе, обладающих партийным складом мышления инженеров, экономистов, врачей и в других амплуа — скажем, секретаря или заведующего отделом обкома, на ответственной хозяйственной работе и т.д.?»

Судя по отчеркнутым на полях местам, заинтересовал Андропова и ряд суждений насчет «отношений между творческой интеллигенцией и руководством».

Я начал с утвердившихся, так сказать, традиционных принципов и методов руководства культурой и искусством. Наследие здесь у нас, наверное, нелегкое, и в нем мы еще как следует не разобрались. Я имею в виду и теорию, начиная с таких важных принципов, как партийность литературы, социалистический реализм, свобода творчества и т.д. Спору нет, написано о них и других аналогичных вопросах немало, но написанное благословляло очень разную реальную политику, в том числе глубоко неверную, впоследствии осужденную... Еще важнее два более практических момента. Один — уточнение представлений о том, что в культуре и искусстве дальше политического и идейного руководства лучше не идти. А сами критерии политического контроля тоже, видимо, должны устанавливаться без перегибов.

И второй — методы руководства. Здесь должны использоваться методы убеждения. И применяться они должны уважительно (следовала тоже отчеркнутая сноска следующего содержания: «Один из негативных примеров — опубликованная летом в журнале «Смена» разухабистая статья историка Н.Н.Яковлева о личной жизни академика Сахарова и даже интимной жизни Боннэр»), квалифицированно, со знанием дела. Примыкает к этому вопрос о Главлите. Он не должен участвовать в партийном руководстве культурой и искусством. Его дело — не допускать выхода в свет контрреволюции, порнографии и выдачи государственных тайн. И все.

Отчеркнуты были и места, касавшиеся более конкретных аспектов отношений руководства и интеллигенции, в частности, о необходимости «диалога, налаживания (не для проработки, как делал Никита Сергеевич, и не для показухи, как часто делал его предшественник) нормального, систематического общения. И чтобы работало оно не как полупроводник, а в обоих направлениях. Руководство рас-

сказывало бы цвету интеллигенции о тех проблемах, которые им важно знать, но вместе с тем внимательно и заинтересованно слушало бы и этих людей. И еще одно: у нас много талантов, но есть несколько безусловно великих деятелей культуры — таких, как Ч.Айтматов, С.Рихтер, Г.Товстоногов, Е.Мравинский. Их надо беречь и лелеять особо и не давать в обиду. Даже И.В. имел такой круг и сквозь пальцы смотрел на их грехи, а тем более — на доносы».

Вызвали у Андропова интерес и многие положения той части записки, где речь шла о больших проблемах так называемых массовых отрядов интеллигенции, прежде всего учителей и врачей, об их бедственном положении. Я писал (и он подчеркнул это место), что десять—пятнадцать процентов надбавки к зарплате здесь не помогут, надо готовить что-то более широкое и радикальное.

«Наверное, — писал я, — назрела глубокая реформа обеих сфер (образования и здравоохранения). Напрашивается, в частности, своего рода «индустриализация», а может быть, и научно-техническая революция — современная электроника и средства связи позволяют, например, лучшим преподавателям страны вести установочные уроки и тем более учить других учителей (в медицине еще шире поле для таких усовершенствований). Наряду с коренным совершенствованием программ это облегчит труд учителей, уменьшит их нагрузку (может быть, это позволит и дать им возможность достойным образом приработать к зарплате, пока их оклад не удастся поднять до приличного уровня). Для здравоохранения (это место Андропов опять отчеркнул), если нет иных путей, наверное, лучше пойти на частичную и посильную (т.е. относящуюся к тем пациентам, у кого приличная зарплата) легальную оплату услуг медицины вместо уродливых форм, в которых это фактически делается сейчас».

Обратило на себя внимание Андропова и следующее положение: «Примыкает к учителям и врачам и многочисленный отряд инженеров. Здесь есть своя специфика, но

общее одно — многое в их работе и условиях жизни и труда не соответствует высокому инженерному званию. И им, видимо, недодают. И они в ответ недодают, притом много. Может быть, стоит поговорить и на эту тему со специалистами»[1].

Я не исключаю, что Андропов попытался бы пробить какие-то политические решения в развитие хоть некоторых из этих идей. Хотя не уверен, что он проявил бы достаточную настойчивость, если бы столкнулся с серьезным сопротивлением.

Мне казалось, что судьба «бесхозяйственно» обошлась с этим незаурядным, даже талантливым, политически одаренным человеком. В том числе и тем, что «передержала» его на вторых ролях — он, может быть, просто слишком поздно, уже «перегорев», стал политическим лидером. Притом пришел к руководству изрядно помятым, изломанным теми политическими порядками и нравами, которые долгое время царили в стране.

Жить Андропову оставалось совсем немного. В начале января 1984 года я его видел в последний раз. Тогда с группой товарищей мы по его поручению готовили проект традиционной речи к намеченным на февраль выборам в Верховный Совет СССР. Предполагалось, что либо речь эта будет оглашена кем-то на собрании избирателей, либо, если позволит здоровье, он произнесет ее сам перед телекамерой.

И вот мне как-то позвонил один из помощников Андропова и сказал, что в связи с вопросами, относящимися к речи, тот просит приехать к нему в больницу.

В палате он почему-то сидел в зубоврачебном кресле с подголовником. Выглядел ужасно — я понял: умирающий человек. Говорил он мало, а я из-за ощущения неловкости, незнания, куда себя деть, просто чтобы избежать тягостно-

---

[1] Я подробно рассказываю об этой записке прежде всего по той причине, что она — одно из немногих, известных мне, пусть косвенных, свидетельств политических планов Андропова, выношенных в тот короткий период, когда он был лидером партии и страны.

го молчания, без конца что-то ему рассказывал. Когда я уходил, он потянулся ко мне, мы обнялись. Выйдя из палаты, я понял, что он позвал меня, чтобы попрощаться. Потом я узнал, что в эти дни с ним также встретились еще несколько людей, которых он давно знал, с которыми долго работал. Через пару недель Андропова не стало. О смерти Андропова люди у нас в большинстве своем, насколько я могу судить, искренне горевали. Придя к руководству, он разбудил много надежд, а его быстрый уход оставил народ с ощущением неуверенности и разочарования. Тем более что преемником оказался К.У.Черненко.

Но прежде чем коротко сказать о нем, хотелось бы все же подвести какой-то итог политической деятельности Андропова. Она, как я уже говорил, была совсем неоднозначна.

О плюсах и минусах, хорошем и плохом, белом и черном я уже говорил. Но как можно определить общий итог? Я думаю, он был все же положительным. Это — как бы пролог, увертюра к перестройке. И не только потому, что Андропов, возможно, сыграл роль в продвижении наверх — к позиции, которая открывала путь к политическому руководству страной — М.С.Горбачева. Мне кажется, важным было и то, что, именно когда к руководству пришел Андропов, страна начала просыпаться, выходить из состояния политического анабиоза, в который ее ввергли годы застоя.

Агония

Полоса реформ, перестройка могла бы начаться сразу после смерти Андропова. Судя по косвенным данным, он думал о смерти (даже спрашивал, сколько ему осталось жить, но его из человеческой жалости, а отчасти, может быть, и трепета перед «вождем» обманывали, говорили, что несколько лет). И, наверное, думал о преемнике. Незадолго до кончины у него состоялась, как я слышал, продолжительная встреча с Устиновым — он был тогда самым влия-

тельным, сильным человеком как по характеру (напористость, даже наглость со всеми, кто ниже, являлась отличительной чертой большинства «сталинских министров», тем более из оборонной промышленности), так и в силу того, что за ним стояло много дивизий. Громыко, например, сам человек напористый, перед Устиновым почти панически робел. Тем более это относится к другим членам тогдашнего Политбюро. Потому, наверное, именно Устинову принадлежало последнее слово в решении вопроса о преемнике. Думаю, хотя подтвердить это ничем не могу, Андропов обсуждал с ним этот вопрос и, уверен, не мог рекомендовать Черненко — он, наверное, называл Горбачева.

Почему же Устинов не внял этому совету, не прислушался даже к мнению врачей? (Чазов, с которым я возвращался с Красной площади после похорон Черненко, клялся, что предупреждал год назад членов Политбюро, что Черненко безнадежно болен, неработоспособен, скоро умрет и потому назначать его на пост лидера нельзя.) Думаю, из очень корыстных побуждений: он сам, человек уже старый и больной (через полгода Устинов умер), наверное, боялся молодого и энергичного Горбачева, комфортнее чувствовал себя с умирающим Черненко[1]. Эти чувства могли разделять и некоторые другие. Еще раз выявилась несостоятельность политических механизмов, сложившихся в нашей стране, всего наследия сталинистского тоталитаризма, открывавшего путь случайностям и нелепостям.

Что представлял собой Черненко? В общем, чтобы ответить на этот вопрос, не надо было очень хорошо знать

---

[1] Эту догадку подтвердил тогдашний помощник Андропова А.И.Вольский. В интервью «Литературной газете» 4 июля 1990 г. он рассказал: «Помню, в день Политбюро после смерти Андропова идут мимо нас в зал Устинов с Тихоновым. Министр обороны, положив руку на плечо премьер-министра, говорит: «Костя (т.е. Черненко. — *Г.А.*) будет покладистее, чем этот...» Горбачев, значит. Вот как решился вопрос о лидере великой державы».

его лично и по работе или вести серьезные исследования его деятельности. С ним все было ясно, очевидно, совершенно прозрачно.

Лидером стал профессиональный канцелярист, а не политик, среднего пошиба бюрократ. Его настоящий потолок был — заместитель заведующего Общим отделом ЦК КПСС или заведующий канцелярией Верховного Совета СССР — того, старого Верховного Совета, который был больше церемониальным, чем рабочим органом, тем более не верховным органом власти. Пользы от Черненко как руководителя, хотя он, возможно, был порядочный, не злой человек, ждать не приходилось. А зла он мог принести много — если бы, конечно, имел больше времени и был поздоровее. Фактор здоровья важен не просто в том плане, что он лично, собственноручно мог бы больше сделать, а прежде всего в том, что его бы принимали всерьез, боялись и слушались окружающие, старались под него подладиться, не колебались перед лицом близящихся перемен.

Реально же все понимали, что речь идет о переходном, очень кратковременном правлении. Одни делали вывод, что надо пройти через этот период с минимальными потерями, а по возможности готовиться к тем серьезным переменам, которые в стране назрели и перезрели. К их числу, несомненно, относился М.С.Горбачев. Он стал фактически вторым секретарем ЦК КПСС — это было легко распознать, поскольку он вел заседания Секретариата ЦК КПСС, а в отсутствие Генерального секретаря — и заседания Политбюро (Черненко из-за болезни почти не присутствовал). И был не только добросовестен — делал все, что мог, чтобы заржавевшая машина управления страной все же функционировала, проявляя при этом лояльность в отношении больного Генерального секретаря.

Вместе с тем М.С.Горбачев в течение этого года, насколько я могу судить, очень много работал, постоянно встречался со специалистами из разных областей, слушал их, нередко с ними спорил, формируя и уточняя свою позицию по основным вопросам внутренней и внешней по-

литики. Только после смерти Брежнева Горбачев счел возможным открыто проявить интерес к внешнеполитическим проблемам. Думаю, потому, что такой интерес секретаря ЦК, занимающегося сельским хозяйством, воспринят был бы окружающими как заявка на лидерство. При Андропове он перестал этого опасаться, а при Черненко просто вынужден был активно включиться в международные дела. Визиты во главе парламентских делегаций в Канаду (1983 г.) и особенно Великобританию (1984 г.) были, пожалуй, наиболее заметными его внешнеполитическими акциями в те годы. В месяцы черненковского периода — месяцы агонии застоя — вокруг Горбачева постепенно собиралась группа людей, поддерживавших идеи обновления, политики, которая потом получила название перестройки.

Основная часть руководства — члены и кандидаты в члены Политбюро, секретари ЦК, как я мог понять, в этот период затаились в ожидании. Исход — близящаяся кончина Черненко — не вызывал сомнения. И тем не менее у многих брало верх желание «жить, как всегда» — в обычных повседневных делах, а подчас и интригах, которым перед лицом предстоящих крутых перемен грош была цена.

А некоторые, судя по доходившим слухам, не имея на то никаких оснований, маневрировали в надежде стать преемниками смертельно больного руководителя, так сказать, примеряли на себя «горностаевую мантию». Да и можно ли их всерьез винить; практически каждый — Гришин, Романов, Громыко — мог себе сказать: а чем я хуже Черненко? Эти настроения были очевидны, они стали главным предметом разговоров и очень негативно влияли на общественную мораль.

Вспоминая тогдашнюю ситуацию, я могу оценить ее как полное безвременье, предельный упадок, символом которых стали два появления на телеэкранах в начале марта 1985 года умирающего, поднятого со смертного одра и под руки подведенного к объективу телекамеры Черненко. Насколько я знаю, инициатива принадлежала лично Гришину,

а не Секретариату ЦК. Во всяком случае, Горбачев, которому я высказал свои негативные эмоции после первой передачи, просто ничего не знал — передачу он накануне не смотрел. Эти кадры обошли весь мир, по многу раз прогонялись по телевидению как, видимо, желанное для наших недругов свидетельство нашей немощи, даже агонии.

Отчаянное состояние дел было очевидно вроде бы всем. И трудно поверить, что в тот период находились все же люди, пытавшиеся сделать ставку на Черненко, строить на нем, я бы даже сказал, на его немощи свои честолюбивые планы, а может быть, и свою карьеру. Но такие люди были. Среди них я прежде всего хотел бы назвать Р.И.Косолапова — тогда главного редактора журнала «Коммунист», до этого долгое время работавшего в Отделе пропаганды ЦК КПСС, депутата Верховного Совета СССР. Ему Черненко — не знаю уж почему — безгранично верил, считал его самым выдающимся идеологом и теоретиком, постоянно держал около себя. Косолапов вместе с некоторыми помощниками и приближенными Черненко вел себя смело, даже вызывающе. По взглядам своим Косолапов был, пожалуй, догматическим (хотя и грамотным, в смысле знания ортодоксальных цитат — начитанным) сталинистом. И старался — благо, должность главного редактора теоретического и политического журнала ЦК КПСС давала такую возможность — пропагандировать и распространять эти свои взгляды. Это меня, собственно, не удивляло, так как было для того времени даже естественно. Чего я не мог понять — так это его надежды использовать близость к Черненко, чтобы сделать карьеру, стать «главным» идеологом партии, пробиться в руководство.

Здесь Косолапов и его друзья бежали наперегонки со смертью. Их главная ставка была сделана на XXVII съезд КПСС, который по Уставу партии должен был состояться в начале (феврале—марте) 1986 года. Но уже к концу 1984 — началу 1985 года стало ясно, что Черненко до этого времени, скорее всего, не дотянет. Тогда под нажимом молодых карьеристов было принято решение перенести

съезд на осень 1985 года. В марте 1985 года группа работников во главе с Косолаповым должна была выехать за город для подготовки съезда. Но их отъезд опередила смерть — буквально на пару недель...

Чтобы закончить тему, должен сказать, что Р.И.Косолапов уже в годы перестройки стал одним из идеологов левоконсервативной оппозиции — так называемого Объединенного фронта трудящихся (ОФТ), созданного консервативной частью коммунистического партийного и государственного аппарата и руководства профсоюзов и рассчитанного на привлечение рабочих при помощи требований о «диктатуре пролетариата» и правопопулистских лозунгов.

Для меня период Черненко был очень нелегким. Я с ним лично был знаком и, в общем, не ощущал с его стороны недоброжелательства. Зато его с лихвой проявлял ко мне родственник Черненко М.И.Волков, остававшийся заведующим сектором экономических наук Отдела науки ЦК КПСС. Я уже говорил о развернутом при его активном участии (под руководством, видимо, Гришина и Зимянина) наступлении на экономические и международные институты Академии наук СССР. Одним из следующих объектов преследования должен был, судя по всему, стать ИСКАН.

Весной 1984 года подоспела и нацеленная против меня провокация. В западногерманском журнале «Штерн» появилась статья о К.У.Черненко, в которой приводились приписанные мне слова о том, что он, малограмотный крестьянин, никак не подходит для своей высокой должности. Я, разумеется, ничего подобного не говорил, да и чужд мне был сам подход — попрекать людей их «неаристократическим» происхождением. Зная московские связи западногерманского журнала, я пришел к выводу, что это — сознательно «скормленная» немцам одним из моих советских недоброжелателей дезинформация. И она, как я вскоре узнал, была тут же доложена руководству, стала предметом оживленных обсуждений в «коридорах власти».

Вскоре после этого я был у М.С.Горбачева и имел возможность поднять этот вопрос. Горбачев мне сказал, что

слышал об этой истории и его не надо убеждать, что это ложь. «В чем-чем Арбатова нельзя обвинить, — заметил он, — так это в том, что он идиот и будет говорить такие вещи иностранным журналистам». Пообещав поговорить с Черненко, дал совет попроситься к тому на прием.

Я это сделал (дело было в первой половине мая) и вскоре был принят. Минут двадцать ждал в приемной (оказалось тоже полезным: сновавшие туда-сюда человек десять аппаратных работников меня видели и быстро рассказали другим). Потом минут двадцать—двадцать пять разговаривал с Черненко. По делам — об отношениях с США и о необходимости выработки более активной политики в Тихоокеанском регионе. Черненко слушал, все время кашлял, сплевывал в больничный «флакон-плевательницу» (помню такие по туберкулезному госпиталю времен войны). Вел себя вполне доброжелательно, сказал, что с тем, что я предлагаю, в принципе согласен и чтобы я вносил в ЦК записку. Я это сделал, но при жизни Черненко записка последствий не имела. Собственно, я их и не ждал. Мой личный вопрос был на тот момент решен, меня на какое-то время оставили в покое, политическая же ситуация по-прежнему оставалась не только унылой, но и тревожной.

Вместе с тем в то время как-то вызревало понимание: еще одного Черненко, человека его взглядов, его интеллектуального и политического бессилия страна больше не выдержит. И хотя не в наших традициях было обсуждать политических деятелей, которые могли бы стать следующими лидерами, страна настолько устала от безликости, анонимности и серости руководства, что проблема преемника Генерального секретаря была у всех на уме. А к моменту смерти Черненко господствовало мнение, что единственным достойным претендентом на роль лидера является М.С.Горбачев (если только не считать мнения некоторых членов Политбюро, о котором можно судить по выступлению Е.К.Лигачева на XIX партконференции).

И еще маленький фрагмент. Весть о смерти Черненко застала меня в США, в Сан-Франциско, куда мы только ут-

ром прибыли с парламентской делегацией во главе с В.В.Щербицким. А вечером отправились в обратный путь. Люди в делегации и среди сопровождающих лиц были разные, в том числе по политической ориентации: писатель В.В.Карпов и старый аппаратчик, в то время заведующий Отделом пропаганды ЦК КПСС Б.И.Стукалин, президент Украинской Академии наук Б.Е.Патон и генерал-полковник Н.Я.Червов, председатель Госбанка В.С.Алхимов, обозреватель Гостелерадио В.С.Зорин, работники аппарата Верховного Совета, сотрудники КГБ из охраны. Но в ту ночь (перелет до Нью-Йорка длился пять с половиной часов) никто даже не вспомнил об обычной осторожности, все открыто говорили об одном: лидером должен стать Горбачев, и только он. И даже грозились, если что будет не так, выступить на Пленуме ЦК.

В Нью-Йорке, где мы должны были пересесть из американского самолета в наш, делегацию встречали представители конгресса США, наш посол в США А.Ф.Добрынин и представитель СССР в ООН О.А.Трояновский. Когда мы сходили с трапа, они шепнули: «Пленум уже состоялся. Генеральным секретарем избран Горбачев». И в делегации началось настоящее ликование. Я полушутя сказал своим коллегам: «Подождите радоваться, пока не сядем в самолет: у нас же национальный траур!»

Как можно оценить этот короткий, наверное, не имеющий шансов получить много страниц в истории период — период Черненко? Поначалу у меня лично был однозначный ответ: потерянные тринадцать с лишним месяцев в такой трудный для страны период. Потом я начал осторожнее относиться к оценкам. Может быть, эти тринадцать месяцев не были так уж потеряны, может быть, они даже были нужны, чтобы понять, насколько страна нуждается в переменах и реформах, притом радикальных. В этом смысле, может быть, и «черненковщина» готовила почву для перестройки.

ШЕСТЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ЛЕТ

Избрание М.С.Горбачева Генеральным секретарем ожидалось с известным нетерпением и широко (хотя отнюдь не всеми) приветствовалось. С первых дней пребывания на этом посту он имел многочисленных сторонников, готовых ему помогать, с ним работать, а если понадобится, и вместе с ним бороться. В этом смысле Горбачев был в гораздо более предпочтительном положении, чем, пожалуй, любой его предшественник (может быть, за исключением Ленина; но обстановку в стране, настроения политической элиты и руководства партии того времени я знаю лишь по книгам и поэтому от категорических суждений воздержусь).

Мне хотелось найти какую-то краткую, но емкую характеристику М.С.Горбачева. Не знаю, удалось ли, но я рискну изложить свой вариант. Мечтой, заветной целью Михаила Сергеевича было придать социализму «человеческое лицо», преобразовать социальный строй и режим. Это удалось лишь отчасти, пожалуй, и времени на это требовалось больше, и политическая программа должна была быть основательнее, точнее. Но что ему действительно удалось, так это то, что советский народ впервые за свою историю увидел во главе страны лидера с «человеческим лицом». Не божество и не тирана, не великого гения, но и не подпаска, а современного человека, с серьезным образованием, нормальной речью, цивилизованным поведением. Это заслоняло и ставшие вскоре очевидными недостатки — такие, как многословие, склонность к повторениям и т.д. Другие качества нового лидера — смелость, решительность (а порой и ее нехватка), способность глубоко прора-

батывать сложные вопросы экономики и политики становились очевидными со временем, в течение следующих лет.

И уже очень скоро стало очевидно, что очень многие (особенно среди более молодой части населения) восприняли перемены в высшем руководстве не только с удовлетворением, но в значительной мере даже с оптимизмом, обрели уверенность, что страна наконец выходит на верный курс.

Меня где-то с конца восьмидесятых — начала девяностых годов интересовал вопрос: имелся у М.С.Горбачева заранее продуманный, так сказать, «генеральный» план радикальных перемен или его политика была в основном импровизацией и он действовал по известному рецепту Наполеона Бонапарта — ввязаться в драку в надежде, что ход событий сам подскажет, как действовать дальше? Уже после того как Михаил Сергеевич отошел от руководства страной, я решился задать ему этот вопрос. Он ответил так: над несколькими важнейшими проблемами я думал давно и имел какой-то общий план, а во многом действительно ход событий подсказывал, что делать дальше.

У меня нет сомнений в том, что этот ответ был точен и правдив. О том, что Горбачев — человек незаурядный, думающий, способный к политическому творчеству, я впервые услышал от Ю.В.Андропова в начале семидесятых годов, о чем уже писал выше, а со временем я и лично убедился в справедливости тех высоких оценок, которые давал Андропов Горбачеву. Но сегодня меня больше занимает другое: что именно заставило Андропова обратить на него внимание, выделить из когорты многочисленных партийных руководителей?

Зная Ю.В.Андропова по совместной работе в ЦК КПСС, я убедился, что он быстро определяет интеллектуальный потенциал и способность к самостоятельному мышлению работников. Думаю, что он и увидел эти главные положительные черты тогдашнего секретаря Ставропольского крайкома и потому решил его поддерживать и

выдвигать, а позже — постараться сделать своим преемником на посту Генерального секретаря ЦК КПСС. И это дает мне основания думать, что на высокий пост Горбачев пришел с неплохими «домашними заготовками», кое-какие из которых он «обкатал» во время многочасовых бесед с Андроповым, ежегодно проводившим свой отпуск в Кисловодске, входившем в Ставропольский край.

Личность лидера, руководителя всегда была носителем субъективного, случайного в процессе развития общества, происходящего все же в соответствии с определенными объективными закономерностями. Но та или иная личность со своим набором качеств, особенностей мышления, характера и темперамента, как правило, оказывалась востребованной и могла по-настоящему реализоваться в качестве руководителя тогда, когда этот набор ее особенностей отвечал назревшим общественным потребностям.

Почему фигура Горбачева привлекала, я бы даже сказал, притягивала внимание руководящих деятелей страны, начиная с Андропова? Кроме молодости (а ему было тогда немногим больше 50 лет, что на фоне других тогдашних лидеров было просто «комсомольским» возрастом) — солидное образование: не разного рода суррогаты вроде партшкол, а Московский университет. И, что может быть еще важнее, — живой, острый ум, интерес к проблемам, к обществу, к людям. Эти качества были к 1985 году очевидны и более широким кругам как в партии, так и в обществе в целом. И они были востребованы, что объясняет быстрый и даже бурный рост популярности нового советского лидера.

Пока что я говорил о фактах, достоверность которых у меня не вызывает сомнений. Но отвечая на вопрос — с какими намерениями, с какими планами пришел Горбачев к власти в стране, я вступаю в основном в сферу догадок, ощущений, умозрительных суждений.

Прежде всего, будучи уверен, что Горбачев отвергал практику сталинского тоталитаризма, полагаю: он ясно понимал — Н.С.Хрущев только начал, я бы даже сказал —

обозначил борьбу с ним, но и сам был непоследователен и тем более не обеспечил преемственности линии XX съезда, не создал гарантий против попыток повернуть страну вспять.

А Горбачев, судя по тому, что я понял в его политических намерениях (притом изначальных, тех, с которыми он пришел на высокий пост), ставил своей целью продолжить и закрепить линию, начатую XX съездом КПСС. На практике это означало демократизацию порядков в стране, создание более надежных гарантий прав партийных и беспартийных граждан, включая право больше знать о политике и положении в обществе и более эффективно на эту политику влиять.

Вторая линия, я знал это с самого начала его деятельности на новом посту, относится к внешней политике — добиться серьезных и необратимых сдвигов, которые бы как минимум радикально ослабляли накал «холодной войны», а по возможности и положили ей конец.

Третья кардинальная задача политики — и ее тоже не мог не видеть, не понимать Горбачев — была реформа экономики, ее оздоровление, выход из состояния хронической слабости и отставания.

В решении первой из перечисленных задач Горбачев добился очень многого. И что бы ни говорили его противники и недоброжелатели, страна за шесть лет преобразилась. И если до сих пор у нас сохраняются в каком-то виде демократические порядки и институты, выборность, гласность, зачатки правового государства, то благодарить за это приходится не «либеральную» экономику, связанную с «шоковой терапией», Гайдара, не президентскую деятельность Ельцина. Это то, что осталось от «горбачевской эры», что не сумели до конца выполоть и вытоптать его преемники.

Что касается второй коренной задачи, связанной с внешней политикой, то здесь успехи были особенно велики. Горбачев завершил, хотя, может быть, несколько позже, чем это было возможно и необходимо, трагическую и бес-

славную войну в Афганистане и не начал ни одной новой войны, не спровоцировал ни одного международного кризиса. С «холодной войной» было покончено — и не из-за твердости и усилившегося нажима Рейгана, а благодаря недюжинной мудрости и гибкости Горбачева и его политики. И вопреки утверждениям его недоброжелателей это было достигнуто отнюдь не за счет односторонних уступок и ослабления страны. Нет, Советский Союз тогда продолжал существовать как единое и могучее государство (никто не оспаривал его статуса «сверхдержавы»), безусловно, сохранялся стратегический паритет, а затея со «звездными войнами» была если не похоронена, то оттянута на добрых два десятка лет. Международный авторитет Союза был высок как никогда.

Что касается третьей кардинальной задачи — подъема и оздоровления экономики, то здесь Горбачеву радикальных сдвигов добиться не удалось. Хотя он не вверг страну (в отличие от его преемника) в жесточайший экономический кризис, добился известных подвижек в создании зачатков рыночных механизмов и высвобождении инициативы отдельных граждан и целых хозяйственных коллективов.

К самому концу восьмидесятых — началу девяностых годов экономические трудности становились все более значительными. Нельзя сказать, что Горбачев этого не видел. Одно за другим он проводил совещания по экономическим вопросам, внимательно слушал выступавших — в речах некоторых содержалось немало дельных предложений, но в хозяйственной практике никаких достаточно серьезных шагов не предпринимал. Мало того — руководство экономикой страны оставалось в руках людей слабых, а нередко и готовых к совершенно негодным действиям (я имею в виду, в частности, премьер-министра Н.И.Рыжкова и вскоре сменившего его министра финансов В.С.Павлова, настаивавшего на значительном повышении цен).

Вскоре почти отчаянное положение экономики стало столь очевидным и не соответствующим быстрым и конструктивным сдвигам в политической и внешнеполитиче-

ской областях, что это противоречие создало серьезную угрозу дестабилизации всей новой, возникавшей при М.С.Горбачеве системы.

Справедливость требует тем не менее сказать, что в сравнении с тем, что происходило после отставки М.С.Горбачева с поста Президента СССР, шесть лет его «эры» можно считать поразительно успешными. Хотя, конечно, были и ошибки, были и неудачи. Но в целом, мне кажется, баланс таков: не было после 1917 года более плодотворных и благополучных лет в жизни нашего общества. Что и делает М.С.Горбачева самым выдающимся советским государственным деятелем второй половины XX века.

Избрание М.С.Горбачева Генеральным секретарем ЦК КПСС, новый стиль его работы, первые шаги и первые слова на новом посту породили большие надежды, особенно среди тех, кого условно называли «шестидесятниками», то есть людей, начавших свою политическую жизнь под впечатлением XX съезда КПСС, давшего им «глоток» свободы и желание вкусить ее сполна. Естественно, они потянулись к Горбачеву. Автор этих строк, собственно, много раньше, в конце семидесятых, познакомившийся с этим политическим деятелем, а с начала восьмидесятых начавший с ним работать, от всей души хотел в меру сил помогать ему. Я писал уже в связи с этим о подготовке визита М.С.Горбачева в Канаду и Великобританию (соответственно в 1983 и 1984 годах), участии в организации первых интервью иностранной прессе, нескольких совещаниях, посвященных экономическим и политическим проблемам.

С начала апреля 1985 года я засел за своего рода «меморандум», посвященный назревшим проблемам внешней политики. Получилась записка размером примерно в пятьдесят страниц. Излагать ее сколь-нибудь подробно не буду. Но среди главных моментов были:

1. Необходимость вдохнуть новую жизнь в переговоры об ограничении вооружений и разоружении.

2. Придание приоритетного значения нашим отношениям с социалистическими странами Европы (добавлю: «тог-

да» социалистическими), в том числе отношениям экономическим.

3. Нормализация отношений с Китаем и вообще оживление и активизация нашей политики на Дальнем Востоке и в Тихоокеанском регионе.

4. И как необходимое условие всего этого — восстановление доверия к Советскому Союзу, подорванного вторжением в Афганистан и рядом других действий, в том числе при помощи односторонних инициатив (в их числе — прекращением испытаний ядерного оружия).

Уверен, что я был не единственным, кто предлагал подобный план действий М.С.Горбачеву. Он едва ли сделал хоть одно из предложений частью своей программы, но все вместе они, я думаю, помогли ему в очень короткий срок стать активным и инициативным деятелем в тогда еще новой для него сфере — во внешней политике.

Другой мой «меморандум» касался готовившихся ограничений на производство и употребление алкогольных напитков. Я решительно возражал, напомнил о печальном опыте США с «сухим законом». Горбачев мне возражал: мы же не вводим «сухой закон», а только усиливаем борьбу с алкоголизмом, на что я ему ответил: «Вы что, не знаете наших чиновников, их готовности и способности довести любое начинание до абсурда!».

Как бы то ни было, вскоре Михаил Сергеевич мне сказал: «Когда появляются у тебя какие-то предложения или соображения, а со мной сразу встретиться не можешь, звони в секретариат, я их предупрежу, и они сразу за твоим посланием пришлют фельдъегеря, а потом его передадут мне лично в руки». С тех пор и наладилась такая (пусть во многом односторонняя) связь — в общей сложности я ему направил много десятков писем.

Хороши они были или нет, умные или глупые — не мне судить. Хвалить себя неудобно, а ругать ни к чему. Поэтому я лучше предоставлю слово генералу Д.А.Волкогонову, получившему доступ в президентский архив, куда, к моему сожалению, попала эта сугубо личная переписка. Он

писал по этому поводу в своей последней книге «Семь вождей» (седьмым как раз и был М.С.Горбачев) следующее:

«Помощь седьмому «вождю» от советников была разной. Я обратил внимание на активность Г.А.Арбатова, который написал Горбачеву множество обстоятельных записок. Впрочем, он немало писал и более «ранним» генсекам. Содержание писем весьма конструктивно. От простых советов (вроде: делайте Ваши выступления более короткими, прерывайте всех, кто начнет Вас хвалить) до буквально установок: Ваш главный приоритет на внешней арене — укрепление социалистического содружества (пока оно еще было. — *Д.В.*); не мешкая, уберите тактическое ядерное оружие из Закавказья; после XXVIII съезда откажитесь от поста генсека и т.д.

Что касается последнего совета, Горбачев сделал довольно вялую попытку в апреле 1991 года освободиться от поста генсека. Возможно, этот демарш был предпринят в уверенности, что его обязательно отклонят. Конечно, при сильном желании Горбачев мог бы оставить пост партийного «вождя», что освободило бы реформатора от многих организационных и идеологических пут. Но сыграл ли в этой слабой попытке какую-нибудь роль совет Г.А.Арбатова, может знать только сам бывший последний генсек. Многие советы Арбатова были действительно дельные, но, сопоставив их с практическими делами Горбачева, я увидел: они, как правило, так и остались советами».

Не хотел бы выглядеть в свете сказанного Волкогоновым бестактным и нахальным. Я никогда панибратства с руководителями не допускал. Но отношения с М.С.Горбачевым были настолько деловыми и доверительными, что я действительно писал все, что думал, не тратя времени и сил на церемониальные заходы и обороты.

Не сомневаюсь, что в истории страны короткий период, в течение которого ею руководил М.С.Горбачев, останется как один из важнейших рубежей, открывавший путь в более благополучное, безопасное и счастливое будущее.

И если сразу это не получилось, если за этим большим и очень важным шагом вперед последовала целая серия неверных шагов, уводивших страну пусть не назад, но в сторону, все дальше от верного пути обновления, то это не вина необычно смелого для нашей страны, умного, хотя и не очень удачливого реформатора.

В этой связи возникает вопрос: почему, в таком случае, массовая поддержка Горбачева, правда, начавшая быстро ослабевать к концу периода пребывания его руководителем страны, сменилась негативным отношением к нему довольно широкой общественности, столь разительно контрастирующим с его сохранявшейся, если не усиливавшейся популярностью на Западе?

Что касается Запада, то хотел бы сразу же сказать, что приняли (и поняли) Горбачева западные лидеры и общественность совсем не сразу. Мешали твердо укоренившаяся подозрительность, недоверие к Советскому Союзу и его руководителям. Лишь постепенно (хотя по историческим масштабам все же поразительно быстро) пробивалась вера в то, что речь идет о действительно серьезных изменениях в политике, а затем и во внутреннем режиме Советского Союза. И верили не столько словам (сколько их, хороших слов, мир наслышался и от прежних руководителей нашей страны!), сколько делам. Чем больше было дел, тем прочнее становилось доверие не только к Горбачеву, но и к его политике перестройки и гласности, к радикальным переменам, происходившим в нашей стране, к Советскому Союзу. Образ врага все больше размывался, все четче вырисовывался новый облик страны как ответственного участника международных отношений и возможного партнера во многих важнейших делах, начиная с безопасности и кончая экономическим и научно-техническим прогрессом, борьбой с терроризмом, наркоманией, экологическими бедствиями и опасными болезнями. О каких делах идет речь? О прекращении войны в Афганистане, одностороннем моратории на ядерные испытания, более гибкой, инициативной и, не побоюсь этого слова, честной позиции на

переговорах об ограничении вооружений (правда о наших вооружениях и вооруженных силах в Центральной Европе открыла путь к соглашению об их значительных сокращениях). Наконец, возросла открытость во внешней политике, были сняты многие ограничения на въезды и выезды из нашей страны.

Особенно важно было то, что именно во внешней политике при Горбачеве были достигнуты значительные успехи, приведшие к концу восьмидесятых — началу девяностых годов к окончанию «холодной войны». В связи с этим нельзя не сказать о советско-американских встречах в верхах с 1985 по 1991 год, очень разных, но всегда содержательных (особенно в сравнении с последующими) и результативных.

В период после 1991 года положительное отношение Запада к Горбачеву сохраняется, а в чем-то даже становится еще более доброжелательным, что, возможно, объясняется тем, что Запад получил возможность сравнивать его с его преемниками. Что касается падавшей популярности Горбачева в Советском Союзе, то отчасти это объясняется не совсем мне понятным креном «вправо», к консерватизму и консерваторам в 1990—1991 (первой его половине) годах, а так же тем, что он не смог воспрепятствовать тому, что все плохое, что делалось при Ельцине, вменялось в вину не только ему, но заодно и Горбачеву.

Сдвиг Горбачева и его политики не имел видимых причин. Политический курс перестройки и развития демократии пользовался поддержкой. В экономике было немало трудностей и проблем, но они, скорее, сохранялись, хотя частично и нарастали.

Единственное, о чем можно говорить как об источниках давления справа, — это усилившаяся критика Горбачева со стороны консервативных сил на пленумах ЦК, в парламенте, в некоторых органах печати.

Против моих ожиданий, Горбачев оказался очень чувствительным и уязвимым для этой критики, более чувствительным, чем к критике со стороны демократов. Кто-

то в связи с этим весьма точно сформулировал: он был верен тем, кто его предал, и предавал тех, кто в него верил и был ему предан.

Этот сдвиг вправо выразился во многом, и прежде всего в кадровой политике. Под нажимом правых был освобожден от должности министр внутренних дел В.В.Бакатин, пожалуй, наиболее достойная и значительная фигура из всех, занимавших на моей памяти этот пост. На его место был назначен Б.К.Пуго, под конец жизни (а с ней он вскоре покончил сам) опозоривший себя участием в руководстве антиперестроечным путчем в августе 1991 года. Вице-президентом страны стал пьяница и ничтожество, тоже один из руководителей путча Г.И.Янаев. Росла дистанция между Горбачевым и его наиболее демократическими, прогрессивными советниками — один из них, экономист, академик Н.Я.Петраков, подал в отставку. Из правительства ушел, выразив публично свою тревогу намечавшимися переменами в политике, Э.А.Шеварднадзе.

К кадровым перестановкам, однозначным по своей политической направленности, дело не сводилось. Горбачев, к удивлению всех, кто его поддерживал, предпринял ряд шагов, явно направленных на движение Советского Союза к военно-полицейскому государству. Осенью 1990 года общественность была встревожена массированным передвижением войск вокруг Москвы. И ее не успокоили разъяснения, что, мол, воинские части близ города приглашены на уборку урожая картофеля (дело в том, что совпало это с обострением борьбы демократических и консервативных сил, выплеснувшейся на улицы и выражавшейся в многочисленных митингах).

За этим последовало решение, позволившее передвижение войск в «беспокойные» регионы и их совместные действия с внутренними войсками МВД и милицией. Это привело к первому кровопролитию: войска вошли в Вильнюс и активно включились в схватку вокруг телецентра. В результате были убитые и раненые. Вскоре то же самое произошло в Риге.

В марте 1991 года, когда ожидалось обострение ситуации в Москве, столица была буквально наводнена армейскими автомашинами, запрудившими улицы и дворы города. Мне пришлось быть свидетелем бесед между группами народных депутатов и вышедшим в перерыве в зал М.С.Горбачевым в Кремлевском дворце съездов. Депутаты спрашивали Президента, чем объясняется явный сдвиг политики вправо. Горбачев отвечал, что вправо сдвинулось настроение общественности и за ним не может не следовать политика. Я написал тогда Горбачеву письмо, оспаривая это объяснение. Во-первых, писал я, общественность хочет порядка, но вовсе не сдвига вправо, ухода от демократических преобразований. И во-вторых, не всегда руководство должно следовать за настроением общественности. Бывает, что оно должно идти впереди нее, вести ее за собою.

Как бы то ни было, мои отношения с Горбачевым испортились, и длилось это до апреля 1991 года.

Период этого сдвига вправо имел негативные последствия прежде всего для самого Горбачева. Он упустил инициативу, упустил роль лидера демократии и демократических сил в стране, чем не замедлил воспользоваться Б.Н.Ельцин.

Это было тем более опасно для Горбачева, что он на протяжении последних двух-трех лет совершил ряд ошибок, которые со временем привели Ельцина к власти и помогли ему отстранить Горбачева от политики.

Первой среди них я бы назвал реакцию Горбачева на заявление Ельцина об уходе в отставку с поста кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС (а затем и первого секретаря МГК КПСС). Дело было на октябрьском 1987 года Пленуме ЦК.

Горбачев и другие члены Политбюро поначалу решили ограничить повестку дня сообщением Генерального секретаря об основных положениях его предстоящего доклада, посвященного 70-летию Октябрьской революции 1917 года. Горбачев сделал доклад, и его решили даже не

обсуждать, а принять к сведению. Затем председательствовавший Е.К.Лигачев объявил Пленум закрытым и в соответствии со сложившимся ритуалом задал традиционный вопрос: есть ли у кого-нибудь замечания или заявления?

И тут, к удивлению большинства собравшихся, с места встал и пошел к трибуне Ельцин. Ему дали слово, и он зачитал свое заявление об отставке, в котором содержались также критические замечания по поводу работы Секретариата ЦК.

Сразу же попросил слова один из присутствовавших (кажется, секретарь Омского обкома партии) и разразился гневной речью, по сути, грубой бранью в адрес Ельцина. Он как бы задал тон. Тут же взметнулось еще несколько рук — просили слова. Но был объявлен перерыв, после которого началась уже организованная проработка Ельцина в стиле, который мы слишком хорошо помнили с прошлых времен. Выступил и я, оказавшись единственным, кто сказал хоть что-то в защиту Ельцина и критически отозвался о характере развернувшейся проработки, — за это меня тут же осудил в своем выступлении Н.И.Рыжков. Когда я просил слова, то и ожидал осуждения — порядки и традиции ЦК мне были хорошо известны. Не было в моем выступлении ничего личного. Ельцина я едва знал и никаких чувств особой дружбы и привязанности к нему не питал. Но я ненавидел прошлые репрессии и проработки, свидетелем многих из которых мне пришлось быть. И просто почувствовал: если не выступлю, то утром проснусь с чувством, что вел себя нечестно, даже подло, смалодушничал.

Вместе с тем я бы сказал не всю правду, если бы не признал, что проклятый страх, презренная осторожность, вбивавшиеся в нас десятилетиями расправ и унижений, повлияли на мое выступление. Я все же не смог не отдать должное общему поветрию и защиту Ельцина «смягчил» критическими замечаниями в его адрес, в частности, заметил, что такие выступления в столь ответственный момент не могут не нанести ущерба, создавая впечатление отсутствия единства, неблагополучия в руководстве.

Через несколько дней избиение Ельцина повторилось уже в другой аудитории — на Московском комитете партии, в связи с просьбой Ельцина освободить его от обязанностей первого секретаря Московского горкома КПСС.

Не так давно я спросил у Михаила Сергеевича, не думает ли он, что эта интенсивная, повторенная дважды проработка Ельцина только вызвала к нему сочувствие, жалость, породила сомнение в справедливости атак. Тем более что по традиции на Руси любят мучеников. Не было бы правильней политически, заслушав заявление Ельцина, сказать: «Что ж, я, как, наверное, и большинство присутствующих, сожалею, что Борис Николаевич принял такое решение. Но он его принял, и мы едва ли вправе отказывать ему в его просьбе. Давайте поэтому поблагодарим товарища Ельцина за проделанную в ЦК работу» (и я бы даже поаплодировал ему, что было бы поддержано хотя бы частью зала). И уверен, через несколько месяцев люди забыли бы и его фамилию. А так Ельцин, не будучи демократом и реформатором, стал одним из лидеров демократического движения, возглавил вместе с А.Д.Сахаровым, Ю.Н.Афанасьевым, Г.Х.Поповым Межрегиональную группу и завоевал позиции, которые позволили ему успешно претендовать на роль лидера России.

Горбачев сказал, что, может быть, я и прав, но прошлого сейчас не вернуть.

Мне рассказывали, что как-то в 1998 или 1999 году в узкой дружеской компании у Михаила Сергеевича спросили: «А почему вы потеряли власть?» И тот, подумав, ответил: «Из-за излишней самоуверенности и самонадеянности». Я не знаю, что именно имел при этом в виду Горбачев, но я бы расшифровал это так: он был чрезмерно убежден во всеобщих к нему любви и уважении, чтобы допустить мысль о том, что кто-то попытается отстранить его от власти. Но, во всяком случае, ответ был откровенным, и это делает честь М.С.Горбачеву.

Конец «холодной войны» дал повод для оживленной дискуссии: а кто же, собственно, выиграл эту «войну», кто

стал ее победителем? Запад поспешил присвоить лавры себе, к моему удивлению, и у нас нашлось немало сторонников такой точки зрения. На мой взгляд, неверна сама постановка вопроса — «холодная война» в отличие от любой другой не имеет победителя. Строго говоря, большой урон в ней понесли — и в этом смысле ее проиграли — обе стороны.

Это не исключает того, что, будучи экономически более слабыми, Советский Союз и его союзники, втянувшись в ожесточенное военное и политическое соперничество с Западом, были обречены на более болезненное ощущение этих потерь. Но ни распад Советского Союза, ни распад советской политической системы нельзя относить за счет «холодной войны» и навязанного СССР бремени расходов на вооружение и другие затраты, связанные с «холодной войной».

Я далек и от того, чтобы считать беды, приключившиеся с Советским Союзом, случайностями. Хотя многое из того, что делалось, включая, скажем, Беловежскую Пущу или неожиданный взлет Гайдара и его команды, не было исторически запрограммировано и в немалой степени — следствие ошибок, бездумья руководителей и случайностей.

Другой вопрос, что в самой советской системе, как она сложилась при Сталине, были заложены семена самораспада, саморазложения, начиная с того, что она могла не то что действовать (эффективность она теряла сразу по окончании любого острого кризиса, в том числе, например, войны), но и сохраняться — и как система власти, и как своего рода империя — лишь при условии очень жесткой диктатуры, строжайшего полицейского режима, в свою очередь, требовавшего для своего обоснования острого кризиса, а по возможности и явной внешней угрозы. Без этого силы саморазложения начинали работать, что вело сначала к ликвидации режима, а затем и «империи».

Если говорить об этих силах саморазложения чуть подробнее, равно как о причинах того, что система как-то

еще работала в периоды кризисов, но начинала буксовать в нормальных условиях существования, то я бы указал на следующие из них.

Прежде всего — тоталитарная диктатура подавляла, деформировала, губила интеллектуальный потенциал — в нашу эпоху главный источник роста, развития и процветания любого общества. И это — самая тяжкая часть наследия, оставленного сталинщиной, большевистским образом мысли и действий.

Другая составная часть действующих внутри общества разрушительных сил состояла в том (это уже упоминалось), что вся система и ее институты, эффективные в чрезвычайных условиях войны и острых кризисов, начинали работать вхолостую и, в конечном счете, себя разрушать в нормальных условиях. Эти тягостные компоненты системы также замедлили и сделали трудным и противоречивым процесс возрождения страны в послесталинский период. Боюсь, что они еще долго будут давать о себе знать, мешая нашему полному и подлинному возрождению.

Подводя итог, можно сказать, что система — и в территориальном смысле, как союз ряда весьма разнящихся друг от друга республик, и в смысле внутриполитическом, как определенный режим, структуры и органы власти, государственного управления, наличия гражданских свобод и особенно их ограничений — была изначально обречена. Что неудивительно и с точки зрения философской — в основе ее лежала утопия или даже система утопий, не способных выдержать столкновение с реальной жизнью. И дав толчок этому самораспаду, было крайне трудно его замедлить или упорядочить. Огромная по своим масштабам и силовой мощи государственная машина к этому просто не была готова, а может быть, и пригодна.

В одной из предшествующих глав я касался милитаризма, избыточной военной мощи (не всегда эффективной). Не помогла она и в данном случае. Машина эта и не думала о сохранении и защите системы. Она, скорее, ей противостояла, особенно когда начала меняться политика и воз-

никла угроза для всевластия прежней военно-полицейской диктатуры.

Припоминаю один эпизод, относящийся к марту или апрелю 1991 года. В перерыве между заседаниями Съезда народных депутатов ко мне подошли два депутата-полковника, сказали, что группа военных депутатов хотела бы со мной поговорить. Я согласился, и они обратились ко мне с просьбой сообщить Горбачеву, что против него готовят военный переворот. И один из главных заговорщиков — генерал Варенников. Я обещал это сделать, и мне в тот же день удалось поговорить с Президентом. Он сказал, что до него уже доходили слухи о такой позиции и деятельности упомянутого генерала. Но ничего, видимо, так и не было предпринято.

Я потом задал себе вопрос: почему именно ко мне обратились военные депутаты? И сразу нашел на него ответ. С декабря 1989 года я вел довольно резкую и принципиальную дискуссию с военной (да и политической) верхушкой относительно военной политики. Меня удивило тогда, что, хотя моя позиция была позицией защиты перестройки, никакой поддержки я от Президента не получил.

Когда в 1956 году страна узнала о XX съезде, никто даже не догадывался, насколько сложная, острая и долгая борьба потребуется, чтобы покончить с тем, что было тогда названо культом личности Сталина. Когда начиналась перестройка, ее поначалу восприняли лишь как борьбу против так называемого застоя, то есть мертвящей, болотной неподвижности, а на деле — упадка во всех сферах общественной жизни, ставшего особенно очевидным в последние годы жизни Брежнева. И далеко не все сразу поняли, что это в то же время борьба против последствий сталинщины и она либо снова захлебнется, как в свое время курс XX съезда, либо перерастет в борьбу против всей извращенной модели общества, так долго преподносившейся нам и воспринимавшейся нами как «настоящий» и даже единственно возможный социализм.

Потому неизбежно и в годы перестройки на смену первоначальному, подчас даже эйфорическому единению (кому действительно по душе застой?) вскоре пришло размежевание. А на XXVIII съезде КПСС в ряде выступлений уже прозвучала ностальгическая тоска не то что по первым шагам перестройки, а по 1983 году (андроповскому) как самому лучшему, самому настоящему году перестройки. Отдавая должное Андропову (хотя и теневые его стороны, как заметил читатель, мне очевидны), я все-таки хотел бы призвать поклонников 1983 года к разуму.

Андропов ничего, кроме снятия с работы нескольких нечестных руководителей, а также считанных чисто административных мероприятий по укреплению дисциплины, сделать просто не успел. Напомню, при нем и, конечно, по его инициативе были выдвинуты на самые высокие посты Алиев и Романов. Председателем Совета Министров остался Тихонов, в Политбюро и Секретариате оставались Гришин, Соломенцев, Демичев, Зимянин. И хотя родились надежды на перемены, ничто реально не успело измениться — ни в экономике, ни в социальной сфере, ни в культуре, ни во внешней политике. Да и по-настоящему рабочего времени у Андропова в 1983 году было от силы четыре-пять месяцев (хотя и тогда его не отпускала болезнь). Не говоря уж о том, что о более далеко идущих планах этого политического деятеля остается только гадать. Я, как уже говорилось, допускаю, что он предложил бы некоторые серьезные перемены, хотя они далеко не дотянули бы до того, в чем, как мы узнали за эти годы, нуждается общество.

Думаю, если начнут создавать миф о 1983 годе, то, скорее всего, ради борьбы против перестройки. И для того, чтобы укрыться от того реального вызова, который был брошен после смерти Брежнева руководству партии и страны самой нашей жизнью, нашей деятельностью со всеми ее проблемами, накапливавшимися не только в предшествовавшие годы, но и десятилетия.

Предстояла не бодрящая прогулка, даже не легкая

встряска, а мучительная переоценка ценностей, переделка себя, переделка общества и партии, политических структур и экономики, общественного сознания. Мы все, включая и инициатора перестройки, тогда еще не сознавали до конца ни трудностей предстоящих дел, ни их масштабов. Начинался новый период нашей истории и кончался предшествующий.

Период 1953—1985 годов можно рассматривать одновременно и как продолжение болезни, и как начало долгого и сверх меры трудного выздоровления нашего общества. Окончательный вердикт вынесет сам ход событий, все будет зависеть от того, как пойдут дела дальше, найдем ли мы в себе силы и мужество принять нужные лекарства. Во всех случаях мы сейчас вступили в период сверхвысокой гражданской ответственности. История — притом не только девяностых годов, но и XXI века — делается у нас на глазах. Делается всеми нами. От нас, от наших сегодняшних действий зависит, каким будет это наше будущее. И будет ли у нас будущее вообще. Хочу надеяться, что будет, и хорошее.

ПОД ОТКОС

«Эра Горбачева» для людей моего да и не только моего поколения была периодом, когда мы впервые вздохнули по-настоящему свободно, вздохнули полной грудью, с верой, что оставшиеся (а их было еще немало) трудности удастся преодолеть и нормальное, приличное, более счастливое и благополучное будущее возможно.

Нельзя сказать, что приход к руководству Ельцина был воспринят обществом недоброжелательно, как грозящий ухудшениями и бедами. Ельцин — отчасти благодаря своим собственным заслугам (особенно во время августовского путча 1991 года), отчасти благодаря, как уже отмечалось, ненамеренной помощи М.С.Горбачева был встречен как продолжатель демократических перемен и реформатор. Но вскоре выяснилось, что смена лидера в данном случае сопровождалась сменой не только политического стиля, но и многих основ политики.

Отвлекаясь, хотел бы повторить, что почти о каждом лидере нашей страны можно сказать: руководителем партии и государства он стал в какой-то мере случайно. Вообще-то роль случая здесь, в принципе, исключать нельзя, и не только когда речь идет о нашей стране, но и о любой другой. Зрелость политической системы во многом определяется как раз тем, что она сводит эту роль случая к минимуму, равно как и последствия случайностей, то есть их воздействие на политику, а нередко и на судьбы государства.

В целом каждый политический строй создает систему, которая отбирает, воспитывает и продвигает в число лиде-

ров людей, отвечающих потребностям этого строя. Советский строй не был исключением. Ему были нужны лидеры, не только верные его идеологии (правда, не обязательно грамотные в ее теоретических основах, философии, экономических, политических и социальных воззрениях), но и достаточно жесткие и безжалостные, чтобы держать огромную, почти всегда неблагополучную, полную проблем и противоречий страну под твердым контролем. В силу ряда исторических причин эта сторона политики и власти была у нас часто гипертрофирована.

Но по мере перемен — экономических, политических и социальных — выпестованные системой руководители, как уже состоявшиеся, так и потенциальные, становятся все менее пригодными для выполнения каких бы то ни было общественно необходимых и полезных функций, заботясь лишь о самосохранении и самообогащении.

На этом окончу короткий экскурс в сферу общих проблем. Что касается прихода к власти Ельцина, то его было бы нелепо объяснять лишь одной игрой случая, хотя и он определенную роль сыграл.

К концу лета 1991 года Б.Н.Ельцин не только выдвинулся в число лидеров, но своим мужественным поведением во время августовского путча завоевал видное место в истории страны, помог избежать еще одного постыдного и губительного поворота (пусть даже кратковременного). Я себе просто не представляю, кто, кроме него, мог бы в тот момент сыграть роль смелого и твердого руководителя политических сил, противостоящих путчистам, лишить их решимости пустить в ход военную силу.

Собственно, путчисты, ненавидя Горбачева, едва ли относились много лучше к Ельцину. Но объективно они сыграли ему на руку, расчистили дорогу к власти, подорвав авторитет Горбачева, убрав главное препятствие, преграждавшее Ельцину путь наверх. Наверное, было здесь и немало византийских, дворцовых интриг. Я, например, просто не понимал причин поспешной амнистии путчистов,

кроме той, что Ельцин и пришедшие с ним к власти люди не хотели настоящего расследования антигорбачевского заговора — не исключаю того, что могли раскрыться вещи, отнюдь не выгодные Б.Н.Ельцину.

Но, как бы то ни было, в дни путча страна, народ увидели в Ельцине твердого и мужественного человека, не дрогнувшего перед наводнившими улицы Москвы танками, бронетранспортерами и солдатами, равно как угрозами штурмовать или бомбить Белый дом. Однако очень скоро все кончилось, путчисты позорно провалились и были препровождены в тюрьму. Горбачев вернулся в Москву.

Знал ли Ельцин, что делать дальше, думал ли он вообще об этом, исключая его несомненное желание отстранить от власти Горбачева? На сей счет у меня были и остаются серьезные сомнения. Я помню первую встречу с ним после путча, когда я решился сказать, что, надеюсь, он понимает, насколько радикально изменилась обстановка. И сейчас пора «слезать с танка», с которого он в разгар путча произнес смелую и важную речь. Пришло время вернуться в кабинет, сесть за письменный стол и заняться делами, может быть, более скучными, но в данный момент крайне важными. И, что особенно существенно, — окружить себя людьми, которые могут помочь в решении этих будничных дел, настоящими специалистами, хотя, может быть, они и не мастера говорить зажигательные речи на массовых митингах на площадях.

Ельцин не возражал, только спросил: а не предадут ли они, эти люди, его, как предали Горбачева некоторые в прошлом близкие ему деятели? Я ответил: в том-то и дело, что личные привязанности в политике не играют такой уж большой роли и путч это еще раз показал, продемонстрировав измену ряда людей, не только всем Горбачеву обязанных, но и слывших его личными друзьями.

Со сколько-нибудь ясной программой Ельцин так тогда и не выступил. Единственный лейтмотив его речей

был — борьба против привилегий; лозунг неплохой, хотя он так и остался лозунгом. Даже когда Борис Николаевич попытался сдобрить его кое-какими другими популистскими предложениями, а в период своей опалы и продемонстрировал серьезность своих намерений посещением районной поликлиники вместо «кремлевки», использованием в качестве средства транспорта скромного «Москвича» вместо ставшего для него уже привычным «членовоза».

Вряд ли на первых порах это ставилось ему в вину — и другие лидеры не баловали нас внятными, умными и привлекательными программами. Да и образование, и прошлый опыт жизни и работы не давали общественности повода ждать от Ельцина в этом плане очень многого. Это, естественно, огорчало, но не могло слишком уж сильно разочаровывать.

Сужу по себе — первые серьезные разочарования принесли не ельцинские планы на будущее и программы (вернее, их отсутствие), а его реальные действия, его политика. Что он сделает что-то важное сам, едва ли кто-нибудь тоже ожидал. Но надеялись на то, что он окружит себя толковыми честными советниками и консультантами, вообще попытается возместить какие-то из собственных слабостей профессиональным и интеллектуальным качеством своего окружения.

Можно полагать, что необходимость в этом ощущал и сам Ельцин. Так он создал при себе Высший консультативный и координационный совет — название несколько высокопарное и не совсем понятное, но стало ясно, что он просто хотел иметь около себя группу толковых советников, а это было уже хорошо. В Совет поначалу вошли академики Заславская, Богомолов, Рыжов, Емельянов, автор этих строк, писатель Данин, режиссер Захаров, мэры Москвы и Санкт-Петербурга Попов и Собчак, профессор Левада и ряд других уважаемых людей, несомненно, способных принести пользу руководству, если бы оно пожелало их слушать.

Впрочем, не прошло и года, как состав Совета радикально изменился — из него были удалены наиболее известные, самостоятельно мыслящие и смелые люди. Зато начались приток и выдвижение людей совсем другого сорта — людей, в большинстве даже без биографии, неизвестно откуда взявшихся и по какому принципу подобранных. Вначале главным фаворитом и временщиком стал Геннадий Бурбулис — в прошлом преподаватель «научного коммунизма» на заочном отделении одного из малоизвестных свердловских институтов. Для него даже изобрели особую должность «статс-секретаря». Но под его начало помимо многих обязанностей «наперсника» главы государства попали иностранные дела (и курирование МИДа), кадры (в том числе военные) и многие другие важные вопросы. С его подачи «экономическими царями» стали Егор Гайдар и его команда, правда, на время короткое, но достаточное, чтобы, пользуясь экономическим невежеством Президента, протолкнуть программу «шоковой терапии» — экстремистско-либеральной экономической реформы, нанесшей за десять лет народному хозяйству России больше ущерба, чем десятилетия разорительной гонки вооружений и «холодной войны».

Эта реформа была не только подсказана, но в известной мере и навязана (в частности, обещаниями щедрой экономической помощи) Западом и его главными финансовыми организациями — Всемирным банком реконструкции и развития и Международным валютным фондом. Москву наводнили западные финансовые и экономические советники (наиболее громогласными и беззастенчивыми из них были американец Джеффри Сакс и швед Андреас Ослунд). Они быстро состыковались и работали в постоянном тандеме, при этом ни для кого не было секретом, что наши либералы, как только над кем-то из них сгущались тучи, бежали за помощью к американцам, и те не стеснялись, давая понять, что размеры финансовой помощи будут зависеть и от того,

останутся ли угодные им люди на ключевых экономических постах.

Зато с нашими экономистами (а в это время среди них уже выросла группа знающих, умных и безупречно честных специалистов, таких, как Шаталин, Петраков, Абалкин, Заславская, Явлинский, Богомолов, Львов, Шмелев и др.) не посчитали нужным посоветоваться, так же как с общественностью. Вообще готовилась реформа — и планы ее осуществления — в глубокой тайне. Что касается упомянутых специалистов (в основном работавших в Академии наук СССР), то их гайдаровская группа постаралась загодя опорочить, изображая оторванными от жизни догматиками и недоумками.

Пустили в ход еще одну версию — будто «шоковой терапии» Гайдара и его команды нет приемлемых альтернатив. Это чистая выдумка. Они были уже тогда, начиная от программы «500 дней» Явлинского.

Экономические итоги «реформы» оказались плачевными — объем производства снизился больше чем наполовину, инфляция измерялась тысячами процентов. Сельское хозяйство почти что приказало долго жить.

Вот как оценивает эти последствия в одном из интервью академик Львов: «...Ситуация, которую мы с вами переживаем сегодня, является закономерным итогом тех реформ, которые на протяжении последних семи лет проводились в России. Курс был сформулирован в конце 1991 года, потом так называемая либерализация цен, и мы стали свидетелями огромной ошибки, допущенной правительством. Господином Гайдаром было запрограммировано повышение цен приблизительно в три раза, а на самом деле они подскочили в сотни и тысячи раз. Разве можно проводить эксперимент, не имея достаточно обоснованных цифр и расчетов? И сегодня мы переживаем не экономический кризис, а социально-политический обвал, и совсем недостаточно сказать, мол, была недостаточно обоснованная политика — все нужно называть своими имена-

ми, иначе мы никогда не сможем выйти из подобных состояний. Общество потерпело крах, и потребуется немало времени, чтобы как-то преодолеть последствия этой страшной катастрофы...»

Невиданных размеров достигла поляризация общества — разница между наиболее богатыми, составляющими десять процентов населения, и наиболее бедными выросла до десяти, а по некоторым подсчетам — до двадцати с лишним раз. В условиях, когда большая часть населения была отброшена за черту бедности, Москва оказалась первой среди столиц по числу «Мерседесов-600» и казино. Непрерывно росли отток капиталов на Запад, объемы недвижимой собственности и накопления на счетах «новых русских» за рубежом. Все это усиливало социальную напряженность.

Одновременно невиданных масштабов достигла коррупция. Большая часть богатств, доставшихся стране от природы и созданных напряженным трудом нескольких поколений россиян, была бессовестно расхищена коррумпированными чиновниками, бесчестными коммерсантами и криминальными элементами.

Воровство и коррупция стали в глазах широкой общественности одной из острейших (если не самой острой) проблем страны, тем более, что господствовала почти полная безнаказанность, убеждавшая, что эти социальные пороки уводят очень высоко, если не на самый верх общества.

Никто, правда, не мог с фактами в руках обвинить в подобной практике самого Ельцина. Но количество косвенных улик непрерывно множилось. Начиная с того, что на верхушке власти сформировалось нечто вроде царского двора, получившее почти официальное наименование «семьи». В нее входили не только «сам» с супругой и дочками (одна из них была даже им официально назначена его советником), но и руководитель президентской администрации и наиболее доверенные ее члены, а также самые близкие из олигархов: Борис Березовский, а затем и Роман Аб-

рамович. Они активно участвовали в политике и своей деятельностью давали основания подозревать в коррупции самого Президента.

Все шире распространялись слухи о приобретении в собственность олигархами недвижимости для Ельцина. Уверенность в том, что и он пользовался своим положением в корыстных целях, выросла, когда начался процесс отбора преемника. Ибо быстро выяснилось, что главный критерий — это не способность руководить страной, а надежность в плане преданности «семье», и прежде всего готовности отстаивать ее пожизненный иммунитет от любых расследований и обвинений в преступлениях. Если такой приоритет дает возможность скрывать происходившее, значит, есть что скрывать.

Все это имело и внешнеполитические последствия — роль Запада в «шоковой терапии» была настолько очевидна, что подорвала доверие общественного мнения России к намерениям Запада. В ход была даже пущена версия, что все это был сознательный заговор, имеющий целью подрыв экономической мощи, политического влияния и международного авторитета России.

Как определил известный американский исследователь Советского Союза Стивен Коэн — это был запланированный и осуществленный Западом «крестовый поход» против Советского Союза (России).

В этих условиях, естественно, урезались и раньше-то довольно скудные ассигнования на образование, здравоохранение, науку, культуру и социальные нужды. Под угрозой оказались и социальные достижения, которыми по праву гордился Советский Союз и которые нашли признание практически во всем мире — общедоступные образование и здравоохранение. Параллельно с социальной напряженностью, а отчасти и в связи с нею обострились межнациональные отношения в Российской Федерации, временами достигая интенсивности конфликтов, а в случае с Чечней — и кровопролитных войн.

Инфляции подверглись не только деньги, но и моральные, нравственные ценности.

За реформой стояла ясная цель — вернуть страну в лоно капитализма. И это было сделано. Но здесь возникает важный вопрос: какого капитализма? По многим параметрам — изначального, дикого, времен Адама Смита, весьма красноречиво описанного Чарлзом Диккенсом. Капитализма, который не мог не породить рабочее движение и революционеров и в полном соответствии с предсказаниями марксистов рано или поздно должен был рухнуть. И спасли его от гибели, заставили пойти на серьезные реформы, как ни странно это может звучать, именно внутренние кризисы и парадоксальным образом реальный социализм, хотя и далеко не такой, каким его видели основоположники революционной теории.

Капитализм, осознав угрозу революции, довольно рано уяснил необходимость реформ. И тот капитализм, который существует сегодня, так же сильно отличается от капитализма XVIII—XIX веков, как военный коммунизм от советской власти времен НЭПа или перестройки. Если бы не кризис, с одной стороны, и страх перед большевизмом и революцией — с другой, консервативный Конгресс США сорвал бы планы перехода к «новому курсу» Рузвельта, который не только помог США выйти из кризиса, но и стал огромным шагом вперед в стабилизации экономического и социального развития этой страны.

То же самое происходило в Европе. Уже благодаря усилиям социал-демократии, а после войны — опять же из-за страха правящих кругов перед революцией. Известно, что революционная ситуация сложилась в те годы во Франции и Италии, и лидеры коммунистов обеих стран, Морис Торез и Пальмиро Тольятти, даже спрашивали у Сталина совета — не следует ли им воспользоваться этой ситуацией для революции. На что Сталин ответил решительным «нет», поскольку понимал, что остальной капиталистический мир, и прежде всего США, не остановится ни перед

чем, дабы не допустить перемен, которые привели бы к радикальному изменению социальных и политических сил в мире в пользу коммунистов, социализма, Советского Союза.

Как бы то ни было, мы благодаря экономическому невежеству ельцинского руководства, самоуверенности и нахальной нахрапистости Е.Гайдара и его команды хотя и пошли в том направлении, которое избрали архитекторы «шоковой терапии», но привели страну не туда, куда планировалось. Как в некоторых фантастических романах о «машине времени», мы высадились на век-полтора (если не миллион веков) раньше и попали в окружение динозавров, а говоря конкретно, в окружение реликтовых неработающих устоев архаического капитализма и исчезающего типа капиталистов.

Пожалуй, за всю новую и новейшую историю, исключая разве что период Отечественной и Гражданской войн, наша страна не несла таких потерь, не переживала такого регресса, как за декаду девяностых годов. Вдобавок к экономическим, политическим и нравственным потерям обострились демографические проблемы из-за роста смертности и сокращения рождаемости, происходит сокращение населения на полмиллиона человек в год.

Вот как оценивает сложившуюся ситуацию наш известный экономист академик Абалкин: «...Мечтали о рынке, а на самом деле получили нечто отвратительное, за которым ничего рыночного и в помине нет. Смотрите: не может быть такого параметра в экономике как «дефицит денег»... Другое: мы начали приватизацию с самых эффективных предприятий и отраслей. «Газпром», нефтяные компании, никелевые и алюминиевые комбинаты и другие, то есть те предприятия, которые стабильно приносили государству большую прибыль. Приватизация началась там, где Россия всегда получала огромный доход. Зачем менять форму собственности там, где предприятия хорошо работают! В нормальных странах изменяется форма собственности

там, где предприятия убыточны, на них нужно проводить санацию... И теперь мы видим, что в промышленности две трети предприятий являются нерентабельными. Не парадокс ли это! Сменили собственника, а в результате получили неработоспособную промышленность... В нормальной экономике эффективность основного капитала выше, чем оборотного и финансового. У нас же опять не так: господствует финансовый капитал, и его эффективность в десятки раз выше — вот основа для всевозможных финансовых «пирамид»...»

Сделано это было без подготовки, без создания механизмов, способных хотя бы смягчить последствия этой политической импровизации. Другими словами, сделано воистину по-большевистски.

С журналисткой Еленой Волковой поделился своим мнением лидер фракции «Яблоко» Г.А.Явлинский:

«В о п р о с: Неужели нет никаких положительных результатов?

О т в е т: Видимый результат 1992—1993 гг. в том, что насытился товарный рынок. В 80-е годы на Черемушкинском рынке в Москве всегда можно было купить практически все, потому что там были запредельные, или, говоря в экономических терминах, запретительные цены. Купить можно было все что угодно, но далеко не каждый мог себе это позволить. В такой рынок превратили сначала всю Москву, а потом всю страну...»

Провальная экономическая реформа была лишь первым из шагов Ельцина, имевших для страны катастрофические последствия. Вторым стала ликвидация Советского Союза как союзного государства.

В конце 1991 года волею трех лидеров славянских республик, входивших в Советский Союз (России, Украины и Белоруссии), Союз был распущен и заменен аморфным (до сих пор неработающим и неизвестно, способным ли вообще работать) образованием «Содружество Независи-

мых Государств» (СНГ). Одним махом разорваны налаживавшиеся десятилетиями экономические, культурные, оборонные и демографические связи, тоже «по-большевистски».

Вслед за этим последовала кровавая схватка президента Ельцина с парламентом, где, чтобы не изменить правде, тоже хватало негативно настроенных людей, создавшая дурной прецедент и означавшая чувствительный удар по неокрепшим еще институтам демократии.

А вскоре началась кровавая, нелепая и по своим целям, и по исполнению война в Чечне. Вначале — первая, окончившаяся договором, а затем — вторая, случайно, а может, по чьему-то умыслу ставшая частью избирательной кампании выдвинутого президентом Ельциным своим преемником В.В.Путина.

В целом же период правления Ельцина стал одним из самых тяжких и печальных в российской истории XX века. Приведу в подтверждение лишь одну из многих цитат. Я решил, что в этом случае будет вполне уместно сослаться на Солженицына, хотя по многим вопросам его взгляды расходятся с моими да и просто не являются прогрессивными, но никто не заподозрит, что его критика нынешней ситуации продиктована ностальгией по прежним временам. В интервью «Новой газете» (11—14 мая 2000 года) А.И.Солженицын говорил: «В результате ельцинской эпохи разгромлены или разворованы все основные направления нашей государственной, народнохозяйственной, культурной и нравственной жизни. Мы буквально живем среди руин, но притворяемся, что у нас нормальная жизнь... Мы слышали, что у нас проводятся великие реформы. Это были лжереформы, потому что они оставили в нищете более половины населения страны... Продолжаем реформы. Как это понять? Продолжаем разграбление России до конца? Не дай Бог те реформы продолжать до конца».

Малопросвещенное и сумбурное управление страной в период президентства Ельцина имело и негативные внеш-

неполитические последствия. Не только в том смысле, что ввергнутая в глубочайший кризис, подтачиваемая изнутри безудержной коррупцией и преступностью Россия заметно утратила международный авторитет.

Как отмечалось, Запад и его финансовые организации очень активно вмешались в осуществление реформ в России, а потому, естественно, в глазах российского общественного мнения несли и немалую ответственность за ее результаты. А поскольку они оказались плачевными, родились и серьезные сомнения в истинных намерениях Запада — действительно ли он хочет помочь России или ведет другие, настораживающие политические игры. Более дальновидные американские специалисты по советским делам давно уже предвидели эти опасности. Например, Джордж Ф. Кеннан еще в 1951 году, имея в виду близящийся, как он считал, закат советского коммунизма, предостерегал своих соотечественников: «Давайте не будем судорожно искать решения за тех людей, которые придут позднее, не будем поминутно вытаскивать лакмусовую бумажку, решая, соответствует ли их политическая физиономия нашим представлениям о «демократии». Давайте дадим им время, дадим им быть русскими, дадим возможность решать их внутренние проблемы по их собственному усмотрению и выбору... То, как та или иная страна устанавливает у себя достойное и просвещенное правление, относится к самым глубоким и интимным процессам народной жизни. Нет ничего более трудного для иностранца, чем понять это, и ни в какой другой области иностранное вмешательство не принесло бы меньше пользы, чем здесь»[1].

В последнее время, надо сказать, в США и других странах Запада начинает пробивать себе дорогу трезвая оценка подсказанной, а отчасти и навязанной Западом России «шоковой терапии», а также много более осмотрительный,

---

[1] George F. Kennan. American Diplomacy. N.Y., 1952. P. 192.

осторожный взгляд на попытки грубо влиять на внутренние дела и процессы, развертывающиеся в постсоветский период в нашей стране. В качестве примера могу привести изданные в США и России книги группы российских и американских специалистов, содержащие критический анализ «реформы Гайдара», а так же недавно выпущенную московским издательством «АНРО» книгу Стивена Коэна «Провал Крестового похода США и трагедия посткоммунистической России», книги итальянского публициста, исследователя Советского Союза и России Джульетто Кьеза «Прощай, Россия» (М. 1997) и «Русская рулетка» (М. 2000). Не знаю, как они повлияют (и повлияют ли вообще) на нашу политику. Очень трудно признавать ошибки, за которые стране, обществу, всему народу пришлось так дорого заплатить. То, что даже распад советской системы не положил конец злоключениям России, выносит этой системе особенно жесткий и, пожалуй, окончательный приговор. Поскольку весь этот период упадка СССР и России связан с именем Б.Н.Ельцина, руководившего с конца 1991 года страной, хотел бы также коротко поделиться своими впечатлениями об этом человеке.

Даже на фоне своих предшественников и коллег Ельцин выделялся своим невежеством и самонадеянностью. Естественно, это отразилось как на его политике, так и на окружении, людях, которых он привлек «во власть». Вину за это нельзя целиком возлагать на него. Он — типичный партийный аппаратчик, которого выбрала для продвижения и продвигала — вплоть до руководства всей страной — существовавшая система.

Ельцин был предельно властолюбив. Мне часто казалось, и у него это иногда проскальзывало в разговорах, пусть нередко в виде шуток, что он начал себя видеть абсолютным монархом, «царем». Под влиянием таких взглядов сверстал новую Конституцию, дававшую ему неограниченные права за счет ущемления прав других ветвей власти.

Но даже созданный на такой основе слабый парламент он не смог долго терпеть; уже в 1993 г. кончил дело конфликтом, вывел против парламента танки, «расстрелявшие» само здание парламента, и арестовал всех, с ним не согласных.

При том, что внешне Ельцин хотел отличаться от других лидеров вежливостью, уважительностью к людям — ко всем обращался на «вы», по имени и отчеству, что его действительно отличало от других лидеров, но это была внешняя, так сказать, «показная» часть. В самом отношении к людям он оставался хамом, барином, не считавшимся с человеческим достоинством.

Он внезапно назначал на большие посты людей, появившихся «из ниоткуда» и часто никак не ожидавших такого назначения. Но точно так же с ними и расставался. Не сказав ни слова, ничего не объяснив, просто подписав указ об освобождении от должности. И так до самого верха — вплоть до министров и даже самого премьер-министра, не говоря уже о помощниках и советниках, среди которых, как казалось, были и лично близкие ему люди (очень, кстати, переживавшие такие свои увольнения). Нередко использовал он против людей, в том числе близко с ним работавших, компрометирующие материалы из необъятных «отстойников» КГБ.

Мне как-то с этим тоже пришлось столкнуться. В ноябре или декабре 1992 года у меня была назначена встреча с Ельциным. Хотелось с ним поговорить вот о чем: меня беспокоили растущая нетерпимость Президента ко всяким признакам несогласия с ним и в связи с этим усиливавшаяся, как мне виделось, угроза его конфронтации с Верховным Советом России и ее Конституционным судом. Поздоровавшись, я сразу сказал, что мне хотелось бы поговорить на серьезную тему. Ельцин ответил: да-да, мне тоже, я бы хотел, в частности, задать вам вопрос о вашем сотрудничестве с КГБ. «Простите, — сказал я, — я просто не знаю, что вы имеете в виду». Тогда он вытащил бумагу

и зачитал: «В ЦК КПСС и лично тов. Л.И.Брежневу. Считал бы целесообразным...» (Андропов, как видно, писал от себя лично как от члена Политбюро, а не от КГБ — ведомства, которое он возглавлял.) И далее такой текст: «Считал бы целесообразным поручить тов. Арбатову Г.А., используя его авторитет в США и обширные связи, провести беседы с Киссинджером и другими видными деятелями с целью ускорения советско-американской встречи на высшем уровне».

Я сказал Ельцину, что впервые узнаю об этой инициативе Андропова. Мне о ней раньше ничего не говорили, но вместе с тем это предложение представляется мне весьма лестным, это, мне кажется, не сотрудничество с КГБ, а доверие высшего руководства страны. Ельцин ничего не возразил, только вспомнил, что Андропов был в то время членом Политбюро, то есть входил в высшее руководство страны. Сказал затем, что не хочет называть мне того человека, который нашел и принес ему этот документ («Зачем, мол, портить ваши отношения»). И на этом разговор закончился. Так что мне до сих пор не ясно, ради чего он затевался.

Как правило, Ельцин не мог долго терпеть на высших постах и в своем окружении умных и самостоятельно мыслящих людей и безо всяких объяснений их увольнял.

Зато поразительную терпимость он проявлял к людям не только неумелым и бездарным, но и нечистым на руку.

У старой («советской») системы принятия решений было много недостатков, но при Ельцине никакой системы просто не существовало. Решения принимались, скорее всего, по его прихоти, без основательной проработки и даже обсуждения. Не была отменена «номенклатура» — просто одна была заменена другой. То же самое относится к системе привилегий многократно выросшего в числе начальства.

Большим заблуждением было и распространенное на Западе мнение о Ельцине как стороннике демократии. На-

оборот, это была авторитарная личность, нагребающая себе все больше прав и не желающая ни за что нести ответственность.

Словом, и в силу старых традиций, и в силу особенностей его политики и его личности Ельцин оставил своим преемникам страну в значительно большем беспорядке, чем она была, когда он пришел к власти.

Я уже упоминал о том, что при выборе преемника Ельцин руководствовался, скорее, заботой о неприкосновенности и благополучии «семьи» и самого себя, нежели о необходимости скорейшего вывода страны из тяжелого и, как многим начало представляться, беспросветного кризиса. Не исключено, что это обстоятельство сыграло роль и в том, что выбор остановился именно на Путине.

Конечно, такие страны, как Россия, так легко не гибнут, и у нас достаточно большие материальные и интеллектуальные ресурсы, чтобы преодолеть нынешний острый кризис и выйти на путь нормального развития и благоденствия. Это — лишь вопрос времени и цены. Можно надеяться, что они окажутся умеренными и терпимыми. А зависит это прежде всего от мудрости политики и политиков, а также от темпов политического созревания народа.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я не знаю страны, в которой исторический процесс не был бы трудным, мучительным, не приносил бы много разочарований и был скуп на сюрпризы и надежды. Но Россия, несомненно, относится к числу стран, к которым история проявляла особенно малую щедрость, но зато, как из «рога изобилия», высыпала на головы бедных россиян бесконечные испытания. Достаточно напомнить трехсотлетнее татаро-монгольское иго, тяжелейшее, по сути, мало чем отличавшееся от рабства многовековое крепостное право, отмененное всего полтора века назад, многочисленные жесточайшие военные нашествия как с Востока, так и с Запада, наконец, жестокую, кровавую большевистскую революцию и сталинскую тоталитарную диктатуру со всеми их последствиями, не преодоленными до конца до сих пор.

Все это россиян, несомненно, закаляло, но не сделало их жизнь более счастливой и радостной.

Нередко этими тяготами истории объясняют и известную социальную и экономическую отсталость России, необычную покорность, а в чем-то и забитость ее народа, его готовность к огромным жертвам, лишениям и несправедливостям во имя целей, указанных вождями. В этом же пытаются найти оправдание и нашей отсталости во многих сферах жизни, и архаичности многих социальных институтов и идеологических воззрений.

Думаю, что особенно в свете опыта XX века такие взгляды не выдерживают критики. Мы стали свидетелями поразительно быстрого восстановления и прогресса многих стран, в частности, после Второй мировой войны. Япо-

ния, одновременно решавшая сложнейшие задачи избавления от пережитков феодализма и многовековой изоляции, восстановления после страшных бомбардировок, в том числе атомных, — один из ярких тому примеров. Южная Корея, превращенная после мировой и корейской войн в груды щебня, не говоря о людских потерях, — тоже очень красноречивый пример. То же самое можно сказать о Германии и ряде других стран. Менее драматичны, но весьма убедительны примеры Италии и Испании, из «бедняков Европы» быстро ставших процветающими государствами.

К сожалению, одержав блестящую и стоившую нам так дорого победу над фашизмом в сороковых годах XX века, в реформировании страны мы не преуспели.

Уже полвека мы от чего-то отходим, а к чему-то никак не придем. Сегодня, в начале XXI века, положение у страны особенно сложное и неопределенное. За полвека у нас переменилось экономическое и социальное устройство, сменились семь лидеров. И нынешний стоит перед труднейшими задачами.

В.В.Путин пришел к власти, когда люди устали от слабости государства и неразберихи, царившей в обществе. И он первым делом постарался государство укрепить. Складывается, однако, впечатление, что вместо этого укрепилось, стало неуправляемым и всевластным во много раз выросшее чиновничество, взявшее себе в заложники и государство, и самого Президента.

При всех высоких рейтингах популярности Путина чиновничество, по сути, превратилось в главную реальную опору высшей власти, оттеснив далеко на задний план и парламент, и судебную систему, и региональные органы управления. При такой концентрации власти неизбежно начинается межклановая борьба (в данном случае «семья» против «силовиков» и «питерцев»). Это бывает в любом государстве, даже там, где прочны устои демократии и где президент приходит к власти от победившей на выборах партии, вместе с ее программой и правительственной ко-

мандой (в том числе в США). Но в авторитарном государстве, как ранее в СССР, или в стране молодой и неразвитой демократии, как сейчас в России, эта межклановая борьба «вокруг трона» становится определяющим фактором всей внутренней и внешней политики, подменяя собой открытый цивилизованный политический процесс, взаимное сдерживание и взаимодействие разных ветвей и разных уровней власти. И эта сшибка кланов может привести к полному хаосу государственную политику по всем направлениям.

Настоящей преградой беспределу чиновников могут быть лишь сильный и независимый парламент, крупные партии и свободные СМИ, настоящее гражданское общество, то есть все те, кого во имя усиления государства в последнее время ощутимо поприжали. Между тем демократический лидер, если он таковым является не на словах, а на деле, должен был бы как раз всемерно холить и лелеять эти молодые ростки демократии хотя бы как залог своего контроля над огромной бюрократической машиной.

Пока самое ощутимое, что сделал Путин за два прошедших года, — это вторая чеченская война, прибранные к рукам Дума и губернаторы, два закрытых независимых телеканала и усилившийся нажим на печать да еще «новая» советско-царистская государственная символика. С этим балансом триумфальное окончание первого срока президентства становится более чем сложным, особенно если хуже пойдут дела в экономике. Правда, в ней был сделан ряд правильных, хотя и половинчатых шагов, а во внешней политике после американской трагедии 11 сентября 2001 года достаточно решительно избран курс на сотрудничество с цивилизованным миром по вопросам международной безопасности.

Эта внутренняя противоречивость политики Путина делает ее весьма непредсказуемой, заставляет всех в России и за рубежом постоянно гадать: что тут тактика, а что стратегия? Ясно, однако, что сближение с Западом будет оста-

ваться тактическим и поверхностным, пока эти противоречия не устранены и внутренняя политика не приведена в соответствие с внешней. Более того, стремясь к сотрудничеству с США, Западной Европой и Японией, но чувствуя свою уязвимость для критики по внутренним делам, Путин подчас идет гораздо дальше в односторонних внешнеполитических уступках, чем нужно было бы, если бы на внутреннем демократическом фронте все обстояло хорошо. Ясно и то, что рано или поздно Президенту придется делать выбор, и чем позже — тем это будет труднее.

Ну, а нельзя ли кроме этих общих рассуждений сказать что-нибудь более конкретное? Что же, попытаюсь быть несколько конкретнее, исходя как из того, что больше всего нужно обществу, стране, так и из того, чего можно в обозримом будущем достигнуть с учетом личных качеств и свойств самого Президента.

Я далек от того, чтобы давать советы правительству. Не собираюсь давать их и Президенту Путину, если только он сам достаточно ясно не проявит в этом заинтересованность. Тем не менее я рискнул бы предположить, что из всего множества проблем, стоящих перед страной, начать ему следовало бы с серьезных усилий по обузданию коррупции, преступности и казнокрадства.

Почему мне кажется, что начать следовало бы именно с этой проблемы? Первая причина, пожалуй, в том, что сам Президент из всего обилия существующих проблем больше к этому подготовлен в силу хотя бы своего профессионального чекистского прошлого (подготовлен, во всяком случае, лучше, чем к решению экономических, социальных и культурных проблем). Во-вторых, борьба с преступностью — действительно приоритетная проблема. От этого зла страдают экономика, социальные отношения, воспитание молодежи. В-третьих, это проблема, задевающая каждого гражданина. И успехи в борьбе с преступностью и коррупцией, мало того что они будут видны населению, наверное, окажутся среди самых популярных дости-

жений руководства, уменьшат общественные настроения цинизма, недоверия к власти и апатии. И наконец, еще одно: без подавления коррупции любое усиление «вертикали власти» и расширение полномочий государства повлекут лишь еще большее казнокрадство, произвол, беспорядок и бессилие в решении реальных проблем общества — будь то Чечня или улучшение коммунального хозяйства.

Проблем, как уже отмечалось, множество, и для решения их во многих сферах жизни общества требуются далеко идущие реформы. Военная и судебная реформы, реформа деятельности средств массовой информации, образования, словом, сумма реформ, которая поможет нам создать гражданское общество — демократическое и эффективное.

Мне кажется, руководству следовало бы не импровизировать в закрытом узком кругу высших чиновников, а создать группы высококвалифицированных и безупречно честных людей для выработки программ каждой из реформ. Эти программы должны быть прозрачными и ясными обществу. Только тогда они превратятся в большую политику, без которой нам не добиться возрождения и процветания России. И наконец, одну, наиболее квалифицированную, творческую программу, возможно, следовало бы создать для решения общих и наименее ясных для населения проблем: о наших целях, о том, куда мы хотим вести страну и какой хотим ее видеть через десять—двадцать—тридцать лет. Общая ориентация необходима для сплочения народа, для пробуждения его творческой энергии и сознания.

Есть ли у В.В.Путина такие возможности? Безусловно, есть, хотя никто, кроме него самого, не может дать гарантии, что эти возможности будут должным образом использованы. Во всяком случае, такие возможности могут появиться, когда и если он окончательно освободится от уз «семьи» и ближайших сподвижников своего предшественника, наберется больше опыта и соберет вокруг себя более способных людей — не обязательно из Санкт-Петербурга,

и не обязательно очень молодых и имеющих стаж работы в силовых структурах.

И в заключение еще один момент. В последние годы перед глазами миллионов россиян сменились несколько руководителей, и обычно ситуация была такой: встречали их с надеждой и сразу давали высокий рейтинг. Потом рейтинг и надежды все больше падали, достигая, как правило, очень низкого уровня. Почему бы нынешнему Президенту не изменить эту динамику: получив высокий начальный рейтинг и большие надежды, устремить все силы на то, чтобы теперь их приумножить, достигнув самых больших успехов именно к концу правления нынешней команды?

Это исключительно трудная задача. Но положение страны, пережившей крушение мощнейшей в истории тоталитарной системы и гигантской империи, не предполагает легких решений и простых ответов. Впрочем, разве были они когда-нибудь в нашей истории вообще?

СОДЕРЖАНИЕ

5 Почему я взялся за перо

15 Моя семья, моя юность и моя война

49 Пробуждение

89 «Оазисы» творческой мысли

Творческий коллектив О.В.Куусинена. Учебное пособие «Основы марксизма-ленинизма»

105 Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО)

119 Журнал «Проблемы мира и социализма» и его шеф-редактор А.М.Румянцев

124 Группа консультантов Отдела ЦК КПСС. Ю.В.Андропов: первые впечатления

132 Институт США и Канады АН СССР, или Как мы «открывали» Америку

148 Ветры из Китая

167 «Дворцовый переворот» 1964 года. «Борьба за душу» Л.И.Брежнева

217 «Ползучая ресталинизация» (1968—1974)
234 Короткая жизнь разрядки
279 Застой в апогее (1975—1982)
282 От разрядки ко второй «холодной войне»
308 Упадок в стране
316 Политика, государство, партия
336 Культура, идеология, общественная мысль
347 О некоторых лидерах того периода
349 О Л.И.Брежневе
367 О Ю.В.Андропове
409 Агония
417 Шесть знаменательных лет
436 Под откос
453 Несколько слов в заключение

Георгий Аркадьевич Арбатов
Человек Системы

РЕДАКТОР
В.П. Кочетов
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
С.А. Виноградова
ТЕХНОЛОГ
С.С. Басипова
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА ОБЛОЖКИ И БЛОКА ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Д.Э. Назаров
ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ
И.В. Соколова
П. КОРРЕКТОРЫ
В.А. Жечков, С.Ф. Лисовский

Оптовая торговля:
Эксклюзивный дистрибьютор издательства «Клуб 36'6»
Тел./факс: (095) 265-13-05, 267-29-69, 267-28-33, 261-24-90
E-mail: club366@aha.ru

Фирменный магазин «36'6 — Книжный двор»:
(мелкооптовая и розничная торговля)
Тел.: (095) 265-86-56, 265-81-93,
523-92-63, 523-25-56. Факс: 523-11-10

КОРФ «У Сытина»:
125008, Москва, пр-д Черепановых, д. 56
Тел.: (095) 156-86-70 Факс: (095) 154-30-40
Интернет: http://www.kvest.com;
Электронная почта: shop@kvest.com

Интернет-магазин:
http://www.24×7.ru

Получить подробную информацию о наших книгах и планах, авторах и художниках,
истории издательства, ознакомиться с фрагментами книг,
высказать свои пожелания и задать интересующие Вас вопросы
Вы сможете, посетив сайт издательства в сети
Интернет: **http://www.vagrius.ru**

Издательская лицензия
№ 065676
от 13 февраля 1998 года
Подписано в печать
12.09.2002
Формат 60x90/16
Гарнитура Таймс
Печать офсетная
Объем 29 печ. л.
Тираж 5 000 экз.
Изд. № 1873
Заказ № 3348

Издательство «ВАГРИУС»
129090, Москва, ул. Троицкая, 7/1
Электронная почта (E-Mail) –
vagrius@vagrius.com

Отпечатано во ФГУП ИПК
«Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

В СЕРИИ Мой 20 век

ВЫШЛИ КНИГИ

Жоржи Амаду
КАБОТАЖНОЕ ПЛАВАНЬЕ

Николай Амосов
ГОЛОСА ВРЕМЕН

Ирина Архипова
МУЗЫКА ЖИЗНИ

Григорий Бакланов
ЖИЗНЬ ПОДАРЕННАЯ ДВАЖДЫ

Брижит Бардо
ИНИЦИАЛЫ Б.Б.

Георгий Бурков
ХРОНИКА СЕРДЦА

Константин Ваншенкин
ПИСАТЕЛЬСКИЙ КЛУБ

Евгений Весник
ДАРЮ, ЧТО ПОМНЮ

Андрей Вознесенский
НА ВИРТУАЛЬНОМ ВЕТРУ

Олег Волков
ПОГРУЖЕНИЕ ВО ТЬМУ

Егор Гайдар
ДНИ ПОРАЖЕНИЙ И ПОБЕД

Александр Городницкий
И ЖИТЬ ЕЩЕ НАДЕЖДЕ...

Максим Горький
КНИГА О РУССКИХ ЛЮДЯХ

Антон Деникин
ПУТЬ РУССКОГО ОФИЦЕРА

Марлен Дитрих
АЗБУКА МОЕЙ ЖИЗНИ

Татьяна Доронина
ДНЕВНИК АКТРИСЫ

Дон-Аминадо
ПОЕЗД НА ТРЕТЬЕМ ПУТИ

Евгений Евтушенко
ВОЛЧИЙ ПАСПОРТ

Борис Ефимов
ДЕСЯТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Вальтер Запашный
РИСК, БОРЬБА, ЛЮБОВЬ

Марк Захаров
СУПЕРПРОФЕССИЯ

Илья Збарский
ОБЪЕКТ №1

Лазарь Каганович
ПАМЯТНЫЕ ЗАПИСКИ

Клаудия Кардинале
МНЕ ПОВЕЗЛО

Валентин Катаев
ТРАВА ЗАБВЕНЬЯ

Василий Катанян
ПРИКОСНОВЕНИЕ
К ИДОЛАМ

Игорь Кио
ИЛЛЮЗИИ БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ

Михаил Козаков
АКТЕРСКАЯ КНИГА

Алексей Козлов
«КОЗЕЛ НА САКСЕ»

Агата Кристи
АВТОБИОГРАФИЯ

Анна Ларина (Бухарина)
НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Муслим Магомаев
ЛЮБОВЬ МОЯ – МЕЛОДИЯ

Карл Густав Маннергейм
МЕМУАРЫ

Жан Маре
ЖИЗНЬ АКТЕРА

Анатолий Мариенгоф
«БЕССМЕРТНАЯ ТРИЛОГИЯ»

Евгений Матвеев
СУДЬБА ПО-РУССКИ

Анастас Микоян
ТАК БЫЛО

Павел Милюков
ВОСПОМИНАНИЯ

Андре Моруа
МЕМУАРЫ

Родион Нахапетов
ВЛЮБЛЕННЫЙ

Вацлав Нижинский
ЧУВСТВО

Юрий Никулин
ПОЧТИ СЕРЬЕЗНО...

Татьяна Окуневская
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Юрий Олеша
КНИГА ПРОЩАНИЯ

Лучано Паваротти
МОЙ МИР

Софья Пилявская
ГРУСТНАЯ КНИГА

Иосиф Прут
НЕПОДДАЮЩИЙСЯ

Виктор Розов
УДИВЛЕНИЕ ПЕРЕД ЖИЗНЬЮ

Анатолий Рыбаков
РОМАН-ВОСПОМИНАНИЕ

Эльдар Рязанов
НЕПОДВЕДЕННЫЕ ИТОГИ

Давид Самойлов
ПЕРЕБИРАЯ НАШИ ДАТЫ

Владимир Семичастный
БЕСПОКОЙНОЕ СЕРДЦЕ

Юрий Сенкевич
ПУТЕШЕСТВИЕ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Вениамин Смехов
ТЕАТР МОЕЙ ПАМЯТИ

Лидия Смирнова
МОЯ ЛЮБОВЬ

Константин Станиславский
МОЯ ЖИЗНЬ
В ИСКУССТВЕ

Алла Сурикова
ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО
ВЗГЛЯДА

Михаил Танич
ИГРАЛА МУЗЫКА В САДУ...

Татьяна Тарасова
КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ

Микаэл Таривердиев
Я ПРОСТО ЖИВУ

Александра Толстая
ДОЧЬ

Лев Троцкий
МОЯ ЖИЗНЬ

Олег Трояновский
ЧЕРЕЗ ГОДЫ
И РАССТОЯНИЯ

Леонид Утесов
СПАСИБО, СЕРДЦЕ!

Федерико Феллини
Я ВСПОМИНАЮ...

Константин Феоктистов
ТРАЕКТОРИЯ ЖИЗНИ

Вячеслав Фетисов
ОВЕРТАЙМ

Фредерик Филипс
ФОРМУЛА УСПЕХА

Милош Форман
КРУГОВОРОТ

Кэтрин Хепберн
Я. ИСТОРИИ ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ

Тур Хейердал
ПО СЛЕДАМ АДАМА

Владислав Ходасевич
НЕКРОПОЛЬ

Никита Хрущев
ВОСПОМИНАНИЯ

Марина Цветаева
ГОСПОДИН МОЙ – ВРЕМЯ

Чарльз Чаплин
МОЯ БИОГРАФИЯ

Ольга Чехова
МОИ ЧАСЫ ИДУТ ИНАЧЕ

Федор Шаляпин
МАСКА И ДУША

Георгий Шахназаров
С ВОЖДЯМИ И БЕЗ НИХ

Татьяна Шмыга
СЧАСТЬЕ МНЕ УЛЫБАЛОСЬ

Анатолий Эфрос
ПРОФЕССИЯ: РЕЖИССЕР

Сергей Юрский
ИГРА В ЖИЗНЬ

Александр Яковлев
ОМУТ ПАМЯТИ